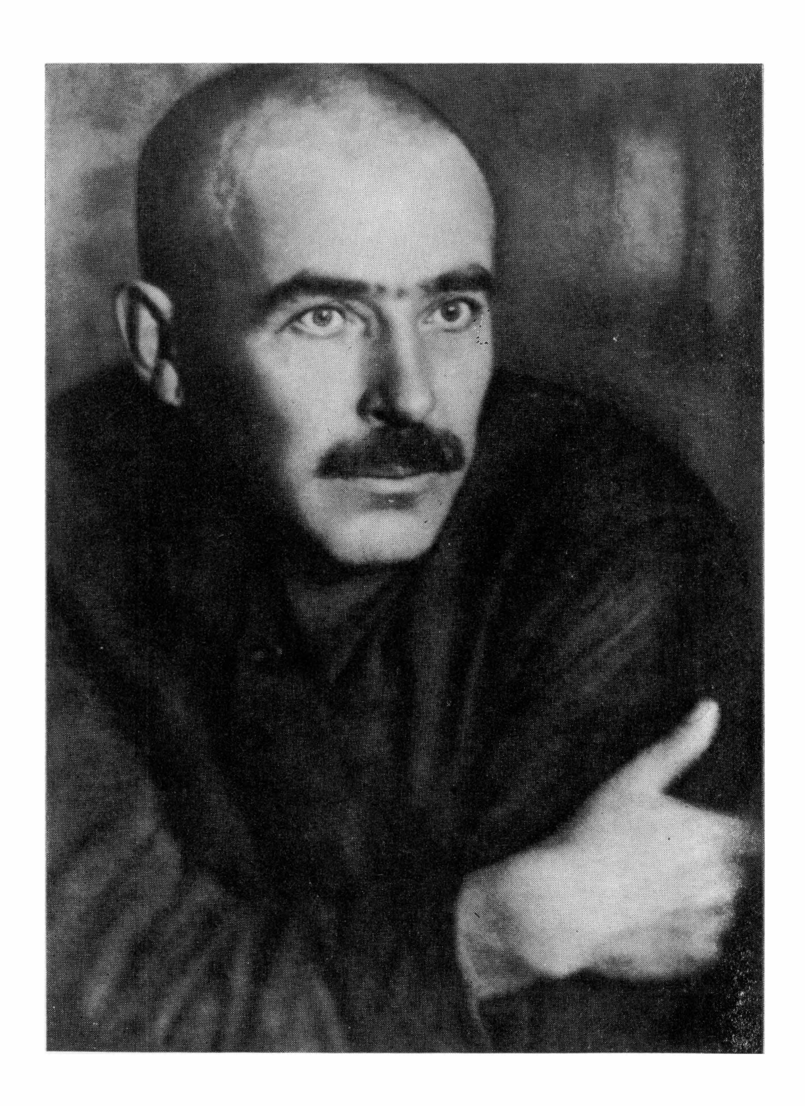




ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ



И·Е·ВОЛЬНОВ

Избранные произведения

ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МОЕЙ ЖИЗНИ

РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

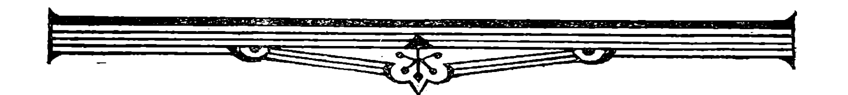
ББК 84Р7
В 71

Составление
А. И. Вольнова и Н. Н. Примочкиной

Вступительная статья
и комментарии
Н. Н. Примочкиной

Оформление художника
И. Гирель

В $\frac{4702010200\text{-}241}{028\,(01)\text{-}87}$ 40-87



ТВОРЧЕСТВО ИВАНА ВОЛЬНОВА

Иван Вольнов принадлежит к тому типу художников, чьи произведения как будто вырастают из самой их жизни, столь полной и яркой, что, кажется, часть ее, не вмещаясь в судьбу одного человека, «выплескивается» в художественное творчество.

Еще не вступив на литературный путь, он уже был человеком-легендой, биография которого могла стать сюжетом политического или приключенческого романа.

Иван Егорович Вольнов родился 3 (15) января 1885 года в селе Богородицком Куракинской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии. Выходец из беднейшего крестьянства, он сумел выучиться на сельского учителя, был революционным пропагандистом, активно участвовал в революционном движении, в 1906 году руководил восстанием крестьян Куракинской волости, после поражения первой русской революции организовал боевую террористическую группу, несколько раз был арестован, пережил пытки знаменитой своей жестокостью Орловской каторжной тюрьмы, лишения сибирской ссылки, откуда бежал через всю Россию за границу. (Подробнее о жизни писателя-революционера рассказано в автобиографической заметке «О себе», помещенной в наст. изд.)

Появившись в начале 1911 года в Италии на Капри, Вольнов и поразил М. Горького прежде всего как человек трудной, необычной судьбы. Этот 26-летний революционер из крестьян как будто «материализовался» из заветных помыслов писателя, воплощенных незадолго до этого в образе Егора Досекина в повести «Лето» (1909).

«В то время,— вспоминал впоследствии Горький,— ему было, вероятно, лет 25—27; крепкий такой был он, двигался осторожно, тяжеловато, как человек, который еще не совсем овладел своей силой, и она его несколько стесняет. Над его невысоким, но широким лбом — плотная шапка темных, туго спутанных волос, на

круглом безбородом лице — карие глаза с золотистой искрой в зрачках, взгляд — пристальный, требовательный и недоверчивый»[1].

По признанию самого Вольнова, писать он начал лет с десяти, писал стихи, которые пели в деревне. Потом, уже в тюрьме, сочинял «в уме» рассказы. Первые его произведения, напечатанные при содействии М. Горького в февральском номере журнала «Современник» за 1911 год, представляли собой лирические «стихотворения в прозе» и имели общее заглавие «Три грезы». Но Горький сумел разглядеть в авторе абстрактных и художественно бледных «грез» будущего крепкого реалиста, которому вскоре суждено будет войти в литературу со своей темой — темой современной ему деревни.

Осмысление этой темы в русской литературе шло разными путями, оно основывалось, в частности, на том огромном опыте, который был накоплен со времен Тургенева и Григоровича, Г. Успенского и писателей-народников, Короленко и Чехова. Некоторые русские писатели, напуганные веками копимым народным гневом, прорвавшимся всесокрушающими аграрными бунтами 1905—1907 годов, после поражения революции сосредоточились на изображении страшного лика мужика. Выступление таких писателей как В. Муйжель, с его «мистическим» ужасом пред мужиком и деревней»[2], или черносотенца И. Родионова, в своей нашумевшей книге «Наше преступление» (1909) призывавшего «водворять мир посредством виселиц»[3], Горький объяснял их стремлением к «удовлетворению запроса со стороны общества, напуганного «мужичком» и желающего, чтобы литература представила ему мужичка черненьким и грязненьким скотом...»[4]

Сам Горький в подобной ситуации посчитал необходимым сказать свое слово о деревне, о тех молодых революционных силах, которые рождались и крепли в ней, в упоминавшейся повести «Лето».

Отрицательное отношение к «мужику» определенной части русских литераторов задевало и сердило Вольнова. Он, по словам Горького, «довольно быстро разобрался в смысле неласковых суждений о мужике... Чем больше он читал и слушал о деревне, о мужике, тем более ясно звучало в его речах чувство личной боли и обиды» (т. 20, с. 332). Молодому писателю в то время казалось, что по-настоящему показать современную деревню, сказать «по-

---

[1] Горький М. Полное собрание сочинений, т. 20. М., Наука, 1974, с. 325 — «Иван Вольнов» (в дальнейшем ссылки на этот очерк даются в тексте, с указанием лишь тома и страницы).

[2] Горький М. Собрание сочинений в 30-ти т., т. 29. М., Гослитиздат, 1955, с. 70.

[3] Там же, с. 157.

[4] Там же, с. 70.

следнюю» правду о ней сможет только выходец из крестьянской среды, бывший мужик. «Чтобы знать деревню,— говорил он,— надобно родиться в ней, надобно вместо материна молока жеваный хлебный мякиш из грязной тряпочки сосать, надобно в шесть лет от роду видеть, как мужик топчет ногами жену, а после того сидит в огороде над лужей, плачет, сморкается в нее и орет...» (там же).

Горький, подтолкнувший Вольнова к созданию первого большого произведения о деревне, вспоминал: «Он уже работал над «Повестью о днях моей жизни», просиживал над нею ночи, стал молчаливее, осунулся и ходил, глядя в землю, точно боясь споткнуться, рассыпаться. Часто спрашивал, как надобно писать о том или о другом... Но уже ясно было, что советам он не верит из боязни заговорить чужими словами» (там же, с. 335). Нелегко давалась Вольнову писательская премудрость. Первый вариант повести, чтение которого состоялось в доме у Горького в присутствии каприйских литераторов, был весьма далек от того, который впоследствии появился на страницах журнала «Заветы». «Видно было,— вспоминал о своем впечатлении Горький,— что... писал он «бегом», спеша рассказать как можно больше тяжелого и страшного. Одна за другою, но бессвязно, необъясненно следовали сцены драк, избиения баб, детей, лошадей...» (т. 20, с. 336). В дальнейшем работа над повестью шла, под руководством Горького, по линии освобождения от излишне натуралистических сцен и нагромождения ужасов, высветления ее общего тона.

«Повесть о днях моей жизни» имела большой успех. (Только при жизни автора она издавалась двадцать раз!) Что же привлекло современников к этому произведению молодого писателя? Ведь написано оно совсем просто и безыскусно, к тому же не имеет яркого или острого сюжета. Тем не менее повесть читается с захватывающим интересом, местами трогает до слез. Главная ее особенность в том, что жизнь деревни в ней показана не со стороны, а изнутри, с позиций самих крестьян. Вольнов писал об этом Горькому: «Ко всему и везде герой будет подходить *с мужицкой* точки зрения и *с мужицкой* оценкой» [1]. В отличие от многочисленных «этнографических» произведений о деревне, показывающих преимущественно быт, обычаи и коллективную крестьянскую психологию, предметом художественного изображения в повести Вольнова становится пробуждение в крестьянине личности, рост его исторического и революционного самосознания. Ему удалось раскрыть внутренний душевный мир крестьянина, его постоянные трудные поиски подлинной справедливости. Успеху «Повести» так-

---

[1] М. Горький и советские писатели. Неизданная переписка.— Литературное наследство. М., Изд-во АН СССР, 1963, т. 70, с. 54.

же способствовали повышенная эмоциональность и обнаженная искренность чувства, с которыми автор относится ко всему изображаемому. Эта эмоциональная энергия, этот накал чувств передаются читателю, заставляя сжиматься его сердце и сопереживать героям.

Произведение написано в жанре автобиографической хроники (недаром сам автор дал ему подзаголовок «Крестьянская хроника»). В основу его нехитрого сюжета легли воспоминания Вольнова о детстве, события его собственной жизни. Однако было бы ошибкой считать повесть полностью автобиографическим произведением: многие образы и факты, изображенные в ней, являются плодом авторского вымысла и художественного обобщения.

Вольнов показывает жизнь деревни глазами главного героя повести — крестьянского мальчика Вани Володимерова. Воспринимаемая впечатлительным и по-детски восторженным героем деревенская жизнь, любая ее мелочь приобретают особый драматизм, окрашиваются в яркие цвета. Писатель изображает формирование характера Ивана в активном сопротивлении «идиотизму деревенской жизни», в борьбе за правду. После очередного зверского избиения отцом маленький мальчик предлагает матери: давай его убьем. Столь же решительно он собирается расправиться с всесильным кулаком Шавровым. В конце повести четырнадцатилетний Иван, уходя из деревни на заработки, дает себе клятву «не бить детей, не мучить женщин и не пить вина,— не жить вообще тою дикою, мучительною жизнью, какою живут *они*, а искать всеми своими силами лучшее, которое... есть на свете».

Горький высоко оценил произведение молодого автора. Еще до его выхода в свет, 7 января 1912 года, он писал редактору журнала «Вестник Европы» Д. Н. Овсянико-Куликовскому: «Мне эта вещь кажется очень интересной и даровито сделанной»[1]. Не исключено, что повесть Вольнова была одним из толчков, побудивших Горького вскоре приняться за создание своей знаменитой автобиографической трилогии («Детство», «В людях», «Мои университеты»), посвященной истории формирования характера нового человека в его борьбе с обстоятельствами и «свинцовыми мерзостями» жизни.

Несомненно, Горькому очень импонировал просветительский пафос «Повести о днях моей жизни». Страстью к образованию, к чтению книг охвачены все ее «положительные» персонажи: сам Ваньтя, его сестра Мотя, его товарищ Петя, бедный крестьянин Егор Пазухин и его сын Вася. В детском воображении главного героя идеальная будущая жизнь представлялась в виде огромной Голубиной Книги, по которой «с трепетом и благоговением ходят

---

[1] Горький М. Собрание сочинений в 30-ти т., т. 29, с. 214.

люди и черпают и пьют, как сладкий мед, все то, что в ней написано: о звездах, о земле, о жизни и счастливых людях». Культуре, знаниям Вольнов придавал огромное значение в процессе рождения новой личности в деревне, в той перестройке жизни, которая, по мысли писателя, должна будет привести народ в царство свободы, равенства и счастья. С этой точки зрения интересно сопоставить сцену в ночном из «Отрочества» Вольнова с поэтичнейшим рассказом «Бежин луг» Тургенева. Вольнов вообще с особым вниманием относился к творчеству своих земляков-орловцев, часто вступал с ними во внутреннюю полемику. Возможно, что и сцену в ночном он писал, помня об авторе «Записок охотника». Не беpясь сравнивать художественные достоинства этих двух произведений, отметим лишь, в каком направлении развивал Вольнов традиции Тургенева. Если детская впечатлительность и острая любознательность крестьянских мальчиков у Тургенева находит пищу в народных деревенских поверьях, то у Вольнова дети с замиранием сердца слушают рассказы семинариста Васи, почерпнутые им из книг, и разговор ребят в ночном превращается у него в гимн знаниям. Эта ночь совершила переворот в душе главного героя, вдохновила его на самостоятельные регулярные занятия для подготовки в школу.

Просветитель по натуре, Вольнов яростно отрицал чисто внешние попытки насадить в деревне «цивилизацию» в виде зубных щеток и полотенец. Он понимал, что века рабской жизни и непосильной работы искалечили не только быт мужика и его внешность, но и его душу. В такой ситуации надо было менять сам социальный уклад жизни крестьян, внедрять новые представления и идеи в их сознание. В этом плане весьма важной в повести является фигура солдата Демки. Вначале его «цивилизованность» внушает герою повести изумление и восхищение: солдат утирается полотенцем, спит на настоящей постели, обращается к бабам на «Вы». Однако вскоре выясняется, что все эти внешние приметы «культуры» не изменили его зоологической сути. Демка готов жестоко избить и даже убить любого, кто осмелится покуситься на эти его «атрибуты». И в трагическом поединке Демки с работником Пахомом автор вольно или невольно отдает предпочтение злому, грязному, несчастному Пахому.

Кроме романтически светлых, несколько идеализированных образов молодой поросли, в повести интересны и образы крестьян старшего поколения. Здесь с полной силой проявилась тяга писателя к реалистическому изображению ярких и сильных, но сложных и противоречивых характеров, глубоких психологических конфликтов и ситуаций.

Отец главного героя повести — беднейший в деревне крестьянин. Беспросветная нужда и тяжкая, нечеловеческая работа озло-

били его, сделали жестоким. Невозможно без содрогания читать сцены страшных избиений им домочадцев: жены, дочери, сына. В бешенстве от собственного бессилия он может даже убить кормилицу-лошадь, из-за которой совсем недавно плакал и унижался перед барином. В то же время отец способен на ласку и доброту, он закладывает единственную новую рубаху, чтобы купить гостинцев больному сыну. Автор точно лепит этот характер, показывает, что его издевательства над близкими, злоба вызваны, как правило, безысходной нуждой, постоянной заботой о куске хлеба для семьи. Образ отца — один из самых удавшихся в повести. Он волновал писателя на протяжении всей жизни. Не случайно в написанных уже в 1929 году первых главах незавершенной четвертой части «Повести о днях моей жизни» образ отца и его сложные, конфликтные отношения с сыном опять стали в центр повествования. Эти первые главы Вольнов читал весной 1929 года в Сорренто М. Горькому, на которого они произвели «необычайное» впечатление [1].

Возвращаясь к первым книгам «Повести», следует сказать несколько слов о ярком образе кулака Созонта Шаврова. Он тоже искалечен условиями деревенской жизни, но не нуждой и бесправием, а властью денег и полной безнаказанностью действий. К сожалению, стремясь к психологической усложненности и неоднозначности этого образа, Вольнов сделал Шаврова столь противоречивым в поступках, что это привело к нарушению психологической правды. Так, после пьяного дебоша и издевательств над Васей Пазухиным, Шавров как будто искренно, со слезами раскаивается в содеянном, но сразу после этого, придя домой, пытается изнасиловать свою сноху. Стремление если не оправдать, то хоть как-то понять кулака-кровопийцу кажется неубедительным, недаром именно этот образ вызвал наибольшие нарекания у критиков. Вл. Кранихфельд, например, отмечал, что образ Шаврова, «на лицо которого Ив. Вольный чересчур усердно лепил черные и белые мазки, расплылся в конце концов в одну сплошную серую... кляксу» [2].

В «Повести о днях моей жизни» почти нет развернутых описаний, очень мало пейзажей. Автору достаточно самого краткого обозначения времени действия: «на воздвиженье», «на Фоминой» и т. д.— чтобы сведущий в религиозных и народных праздниках читатель мог домыслить окружающую природу и обстановку. Зато большое место Вольнов уделяет диалогу, которым мастерски вла-

---

[1] Подробнее об истории создания этого произведения см. в коммент. к рассказу «Возвращение».

[2] Кранихфельд Вл. Литературные отклики.— Современный мир, 1913, № 8, с. 275.

деет и пользуется для характеристики говора мужиков, баб, детей. Великолепной передачей детского языка ему удается воссоздать трогательный мир крестьянского ребенка, детское сознание в первых главах «Детства». В точном знании быта и психологии крестьянства, в воспроизведении живой мужицкой речи, ее колорита писатель подчас поднимался до высот классической русской литературы.

Горький с самого начала предполагал, что молодой писатель напишет свое первое произведение о деревне «под Бунина» (т. 20, с. 335). Действительно, сопоставление «Повести» Вольнова и «Деревни» (1910) И. Бунина позволяет выявить черты сюжетного сходства этих произведений, близость отдельных образов и описаний. Можно найти много общего в образах деревенских «крёзов»: бунинского Тихона Ильича и вольновского Созонта Шаврова. Особенно отчетливо влияние Бунина, как справедливо заметил исследователь творчества Вольнова[1], проявилось в конце второй книги «Повести» в сцене свадьбы Моти с Мишкой Сорочинским. Описание невеселого свадебного обряда, свадебные песни, состояние Моти — все это напоминает финальные эпизоды «Деревни», свадьбу Молодой и Дениски Серого. Добавим к этому еще и такие яркие и запоминающиеся детали, как вышитая надпись на кисете у бунинского Дениски («Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно»)[2] и вышивка на наволочке у солдата Демки («Помни, помни, друг любезный, свою прежнюю любовь»). На первый взгляд мелкие и незначительные, эти детали на самом деле несут у обоих писателей одинаково важную смысловую нагрузку, демонстрируя их скептически-ироническое отношение к проникновению в деревенскую жизнь мещанской городской «культуры» в виде таких ее «атрибутов», как пошлые книжонки и надписи, фотографии усатых генералов, «чумаданы», «вендерки» и пр.

Но главное заключается, конечно, не в сходстве отдельных образов и деталей. Гораздо важнее то, что в литературном процессе предреволюционной эпохи, в борьбе двух основных направлений в русской литературе о деревне: трезвого, критического и беспощадно-правдивого отношения к мужику Чехова и Бунина и слащавого, идеализирующего — писателей-народников — Вольнов поддерживал и развивал традиции первого направления. Именно в этом литературно-историческом контексте рассматривал творчество Вольнова Горький. «Выразителем резко отрицательного отношения к идеализации деревни,— писал он в одной из статей,— яв-

---

[1] Пономарев В. Творчество Ивана Вольнова. Жешув, Институтское изд-во Высшей педагогической школы, 1976, с. 51—66.

[2] Бунин И. А. Собрание сочинений в 9-ти т., т. 3. М., Художественная литература, 1965, с. 60.

ляется А. П. Чехов в его... рассказах «Мужики», «В овраге»..., а особенно резко это отношение выражено И. Буниным в повести «Деревня» и во всех его рассказах о крестьянстве... Так же беспощадно изображают деревню писатели-крестьяне Семен Подъячев и Иван Вольнов, очень талантливый, все более заметно растущий писатель»[1].

В то же время изображение деревни Вольновым существенно отличается от бунинского. И эта разница была сразу замечена демократической критикой[2]. Да и сам Вольнов в своей работе старался не столько подражать маститому писателю, сколько отталкиваться от него. Он всю жизнь искренно восхищался мастерством Бунина, наизусть читал целые страницы из его произведений, но не мог согласиться с бунинской концепцией современной деревни. Чувствуя в нем «чужого», «барина», говорил, что в «Деревне» Бунин «отомстил нашим за своих» (т. 20, с. 334). И свою «Повесть» Вольнов задумал, несомненно, в противовес Бунину. «Я — не писал, а — спорил»,— признавался он (там же, с. 336).

Свое осмысление современной деревни и русского крестьянства Вольнов наиболее четко выразил в одном из писем 1912 года: «Сейчас в русской литературе о деревне пишут исключительно пакости, приравнивая ее к звериному или скотскому логову... Это — ложь: деревня не такова. Она — груба, жестока, в ней много хамского, подлого, звериного, но рядом с этим в ней много такого прекрасного, такого чистого, чего не сыщешь у помещиков, у городской буржуазии, у всех правящих классов»[3].

Несмотря на обилие страшных сцен пьянства (в том числе и детского!), жестоких драк, бесправия и угнетения крестьян властями, «Повесть о днях моей жизни» не производит беспросветного, тягостного впечатления, так как проникнута ощущением близких перемен к лучшему, историческим и социальным оптимизмом. Новый герой Вольнова, в третьей части повести поднимающийся до сознательной революционной активности, формировался под влиянием творчества Горького. Бунин же, при всем его огромном таланте и художественной зоркости, не сумел увидеть тех свежих молодых сил, которые зарождались и крепли в деревне накануне и в разгар первой русской революции. В отличие от Вольнова, Бунин не мог также рассказать о деревне с точки зрения ее коренного жителя — мужика, он смотрел на нее то сквозь черные очки ненависти и страха кулака Тихона Ильича, то состра-

---

[1] Горький М. Собрание сочинений в 30-ти т., т. 24, с. 476—477.

[2] См. об этом подробнее в коммент. к «Повести о днях моей жизни».

[3] Цит. по кн.: Вольнов И. Избранное. М., Гослитиздат, 1956, с. 609.

дающими и скорбящими о народе глазами интеллигента-самоучки Кузьмы.

Если в первых двух частях «Повести» рассказывается преимущественно о жизни старой, предреволюционной деревни, то в третьей книге — «Юность» — речь идет о деревне новой, о ее пробуждении к революционной борьбе. Вольнов был одним из первых писателей, отразивших революционные события в деревне во время революции 1905—1907 гг. Процесс пробуждения революционной мысли деревни, революционного самосознания он стремился показать во всей его сложности и противоречивости. Одна из наиболее сильных сцен «Юности» — восстание крестьян и разгром барского имения. Вольнов вообще был мастером изображения массовых сцен, психологии толпы, охваченной единым чувством мести. Писатель не склонен был идеализировать человека массы, он считал необходимым показать его в самых страшных, жестоких проявлениях и осмыслить такое поведение, увидеть его историческую закономерность. Стремясь обнаружить социальные и психологические корни народной жестокости, он видел в ней пусть извращенную и злую, но форму народной энергии, которую нужно направить на борьбу за социальное переустройство жизни. Писатель как будто практически откликался на призыв А. Блока, напряженно размышлявшего о судьбах русского народа в предреволюционные годы: «Откройте в этой жестокости хоть ее *несчастную*, униженную сторону; если же умеете больше, покажите в ней *творческое*, откройте сторону могучей силы и воли, которая *только* не знает способа применить себя и «переливается по жилочкам»[1].

В отличие от автора, главный герой «Юности» Иван Володимеров не сразу приходит к пониманию исторической закономерности стихийных выступлений народа и его жестоких расправ с угнетателями. Во время разгрома барской усадьбы им овладевают сомнения в правильности действий восставших крестьян, охватывает горькое разочарование в результатах и «методах» их борьбы. И только на похоронах жертв восстания, потрясенный всеобщим горем, он осознает свою ошибку, публично кается и клянется быть всегда заодно с народом.

В произведениях, написанных вслед за «Повестью», Вольнов в основном продолжал и развивал темы и мотивы своей трилогии. В рассказе «На рубеже» он вновь вернулся к дням революции 1905—1907 гг. в деревне, к картинам разгрома восставших крестьян. В повести «На отдыхе» писатель изображает деревню в мрачную эпоху после поражения революции. Здесь впервые Вольнов попытался показать крестьянство глазами героя-интеллигента, художни-

[1] Блок Александр. Записные книжки. М., Художественная литература, 1965, с. 276.

ка Вострухина, приехавшего в деревню реставрировать церковные иконы. Однако образ этот не совсем удался писателю, он остался бледным и психологически не всегда убедительным. Наиболее впечатляющими получились в повести «На отдыхе» страшные картины разгула черносотенцев, их расправы над молодыми парнями.

В годы эмиграции Вольнов начал работать над обширным циклом очерков «Огонь и воды» [1], в котором задумал изобразить жизнь и судьбу крестьянского рода на протяжении нескольких поколений, начиная от времен крепостничества. Наиболее яркие образы автору удалось создать в очерках «Батя» и «Орел», повествующих о старшем поколении крестьян. Он считал, что Тургенев, Григорович, Толстой изображали крепостных слишком «мягко, осторожно». «...разве это наши крестьяне — орловские, тульские, калужские? — спрашивал он.— Места — наши, а мужик — не наш! У нас таких тихоньких — нет, я таких — не знаю, не видел. Я знаю страшного мужика, он живет в грязи, в тоске, он — дикий и несчастный. Значит — что же? При крепостном праве — мужик лучше, благообразнее был?» (т. 20, с. 337). Как бы споря с подобным изображением крепостных крестьян в русской литературе, Вольнов подчеркивал в созданных им образах их бунтарский дух, рисовал недюжинные, сильные характеры, не лишенные, впрочем, пороков собственничества и жестокости.

После Февральской революции, весной 1917 года Вольнов смог вернуться в Россию. Еще в самом начале пути связав свою революционную биографию с деятельностью эсеров, он по возвращении в свои родные места стал опять работать в этой партии, был назначен уездным комиссаром Временного правительства и избран членом Учредительного собрания.

Октябрь нанес первый сильный удар по эсеровским иллюзиям и заблуждениям писателя. Он воочию убедился, что народ в своем подавляющем большинстве поддерживает не Временное правительство и Учредительное собрание, а большевиков, ленинский декрет о земле. В жизни Вольнова начался драматический период мучительных сомнений и исканий, пессимистических настроений и горьких разочарований. Нелегко было расстаться с прежними идеалами, за которые он не раз рисковал жизнью и платил собственной кровью. К этому еще прибавились конфликты с местными уездными властями. В 1919 году его арестовывали три раза. Но тут в его судьбу вмешался сам В. И. Ленин. Горький позже рассказывал об этом: «Однажды он (В. И. Ленин.— *Н. П.*), улыбаясь, показал мне телеграмму: «Опять арестовали скажите чтобы выпустили». Подписано: Иван Вольный.

— Я читал его книгу,— очень понравилась. Вот в нем я сразу

---

[1] Подробнее об этом цикле см. коммент. к рассказу «Батя».

по пяти словам чувствую человека, который понимает неизбежность ошибок и не сердится, не лезет на стену из-за личной обиды. А его арестуют, кажется, третий раз» [1]. Ленин не только каждый раз давал распоряжение освободить писателя, но и принял меры к спасению его рукописей, отобранных при аресте. В октябре 1919 года Вольнов приехал в Москву и был принят Лениным в Кремле. Эта двухчасовая беседа с вождем революции, поддержавшим его намерение «пошляться по России» [2], чтобы написать затем повесть о революционном времени, сыграла важнейшую роль во внутренней перестройке писателя.

После поездок в 1919—1921 гг. в Поволжье на борьбу с голодом и тифом Вольнов решил поселиться на родине и заняться там строительством новой жизни деревни. Своими планами он поделился с Горьким. Как известно, пролетарский писатель в первые послереволюционные годы с большим скептицизмом относился к русскому крестьянству, к возможностям его социального и психологического перерождения на началах коллективизма. Ему казалось, что политика большевиков, направленная на союз пролетариата с крестьянством, «приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству» [3]. Позже Горький признал ошибочность этих взглядов, а пока, в январе 1921 года, он так отвечал Вольнову: «На мой взгляд, ехать жить в деревню теперь — совершеннейшее безумие. Нимало не сомневаюсь, что работать там Вы не сможете... Наивно думать, что какая-то «охранная грамота» оградит Вас от глупости, дикарства и гнусненького зверства... А возвращаясь к деревне, скажу Вам: да погибнет она так или эдак, не нужно ее никому, и сама себе она не нужна... Эти мои слова не «с точки зрения», а из опыта, от многих, тяжких дум над судьбами русского народища» [4].

Эти рассуждения Горького огорчили и встревожили Вольнова. Несколько лет он проверял правильность горьковских слов о деревне, и только убедившись в их ошибочности, уяснив для себя ход и направление социального развития деревенской жизни, он смог ответить на это письмо учителя и старшего друга.

А проверять было что, и было чему огорчаться. Отнюдь не сразу многомиллионная масса русского крестьянства встала на путь социалистических преобразований. Деревня была истощена войной

---

[1] Горький М. Полное собрание сочинений, т. 20, с. 37—38.
[2] Цит. по кн.: Минокин Мих. Иван Вольнов. Очерк жизни и творчества. Тула. Приокское книжное изд-во, 1966, с. 64.
[3] Горький М. Полное собрание сочинений, т. 20, с. 27.
[4] Литературное наследство, т. 70, с. 57.

и голодом, поражена болезнями, нищетой и невежеством. Медленно, с натугой совершался трудный поворот от векового рабства. Всем этим можно объяснить мрачный, пессимистический тон его первых послереволюционных произведений о деревне. В таких рассказах, как «Самосуд», «Чужие», «Василий Иванович», «Трясучий департамент» и др., писатель с беспощадной откровенностью обнажал в характере мужика черты, порожденные собственническими низменными инстинктами: жестокость, эгоизм, равнодушие к чужой беде, жадность, пьянство.

Мрачным колоритом окрашен блестящий по мастерству, один из лучших послереволюционных рассказов Вольнова — «В поезде». Напряженный драматизм событий, стройность композиции придали особую силу трагическому сюжету рассказа, заставляющего вспомнить некоторые произведения из «Конармии» Бабеля или один из лучших эпизодов о «поезде № пятьдесят седьмом смешанном» из романа Пильняка «Голый год». Образ мчащегося по степи поезда вообще был очень популярен у писателей 20-х годов, видевших в нем символ сдвинувшейся с места, устремленной в будущее России (как когда-то Гоголь воплотил свою мечту о будущем родины в символическом образе «птицы-тройки»). Повествуя о возвращении солдат с империалистической войны, Вольнов вновь показал себя здесь искусным мастером изображения поведения и психологии толпы, с ее стремлением к справедливости и бессмысленной жестокостью, безоглядной добротой и страшной безответственностью поступков. Рассказ «В поезде» — о коллективной расправе «по ошибке» над пожилым солдатом, а затем над «виновниками» этого первого убийства, старухой и другим солдатом,— производит очень сильное впечатление. Он был не только положительно оценен современной критикой, но и сыграл определенную роль в литературном процессе 20-х — начала 30-х годов. М. Горький в статье «О бойкости» проницательно заметил, что Вс. Вишневский использовал оригинальный сюжет этого рассказа Вольнова в одной из сцен «Оптимистической трагедии»[1].

В 20-е годы у Вольнова проявился незаурядный талант юмориста и сатирика (ранее ему мало свойственный). В ряде рассказов он остроумно и зло бичует пороки и недостатки тех, кто мешал строительству новой жизни в деревне: бюрократов, взяточников, расхитителей общественного имущества, пьяниц. Если в более ранних рассказах мрачно рисовалась деревня в целом, то теперь писатель оборачивает острие критики против нерадивого уездного и местного начальства, различных «радетелей» о народном благе, вроде лектора в «Сходе», Полфунтикова в «Женмассе», взяточника «штрухтора» в «Эпитафии».

---

[1] Горький М. Собрание сочинений в 30-ти т., т. 27, с. 158.

Живя в деревне, Вольнов все яснее видел, как сквозь вековую коросту старых привычек, дикости и зоологического индивидуализма пробивают себе дорогу молодые ростки будущего, новых социальных отношений, идеи коллективизма. Через четыре года, в январе 1925-го, он уже с уверенностью мог ответить Горькому на его опасения: «Я мучился над этим 4 года. Слишком больно задело меня это в Вашем письме. Проверял, проверил. Много жестокой, страшной правды в словах Ваших. Разумом — да, да погибнет,... а сердце кричит: да воскреснет из мертвых!..» Он писал в том же письме: «Все время путаюсь с мужиками, омужичился, одичал, обовшивел и т. д., но жизнь полна и радостна,— еще бы мне прожить сто лет!.. Главное — в деревне ледоход, ломка, скоро весна. И знаете, ломка страшная, ломка духа и навыков, быта, основ «расейских»... Мне думается, только *теперь* начинается революция в деревне в форме сознательного отношения к жизни, человеческого, не скотского... Милый, родной Алексей Максимович! Не умерла, не умрет Русь, из мук, из крови, из грязи, из слез вырастет краснощекая здоровеннейшая бабища!» [1]

Это исполненное искреннего воодушевления и веры письмо произвело большое впечатление на Горького, воспринимавшего слова Вольнова как голос самой деревни, и, вполне вероятно, сыграло определенную роль в изживании им скептического отношения к встающему на ноги «мужичку». «...очень обрадован Вашим письмом,— отвечал Горький,— а еще больше тем, что оно такое бодрое: письмо человека, который верует в людей и видит смысл жизни, потому что сам творит ее» [2].

Вольнов действительно сам, своими руками преобразовывал жизнь в деревне. Еще в 1922 году он организовал первое сельскохозяйственное товарищество, в период коллективизации был одним из самых активных ее проводников у себя в деревне, стал первым председателем Куракинского колхоза, названного после смерти писателя его именем.

Пробуждению деревни, ее тяге к новому Вольнов посвятил ряд очерков и рассказов. Не затушевывая трудностей на пути к осознанию крестьянами выгоды и пользы коллективного труда, писатель создает в очерке «Новая земля» художественно убедительный образ не только новой деревни, но и новой России. «Я знаю, верю,— писал он в финале,— светлое земли русской не за столетиями... И мне тепло и радостно. Хочется крикнуть этому ласковому, знойному полю: «Слава жизни! Слава труженикам! Слава новой Руси!» Тем же светлым чувством пронизан и небольшой рассказ «Батя на празднике», в котором описывается новый, при-

---

[1] Литературное наследство, т. 70, с. 58—59.
[2] Там же, с. 59.

шедший на смену религиозным, праздник цветения трав. Успехам коллективного труда в деревне был посвящен также предназначавшийся для горьковского журнала «Наши достижения» очерк «Мужицкая артель». Редакция во главе с Горьким признала, что очерк «по живописи, картинности, популярности изложения должен явиться образцом, как следует писать... для широких масс рабочих и крестьян» [1]. В лучших рассказах и очерках конца 20-х годов Вольнову удалось подняться до изображения жизни в ее поступательном развитии, и это дает нам основание говорить о них как о произведениях социалистического реализма.

Вольнов вошел в историю русской советской литературы не только как первопроходец крестьянской темы. В 1924—1925 гг. он написал одну за другой две крупные и значительные вещи о гражданской войне: «Самара» и «Встреча». В основу сюжета обоих произведений положены драматические события лета и осени 1918 года, когда эсеры и меньшевики, опираясь на мятежных военнопленных чехов и местное кулачество, свергли в Поволжье Советскую власть и образовали так называемое «самарское правительство». В 1918 году, во время поездки Вольнова в Сибирь с продовольственным поездом за хлебом для советской республики, он оказался в Самаре и стал очевидцем этих событий. Здесь он вблизи наблюдал за поведением вождей эсеровского движения. Их моральное растление, пьяные дебоши, та пучина «грязи и крови», в которую забрались эти оторванные от народа вожди, поразили и навсегда отвратили Вольнова от эсеровской партии.

Главной художественной задачей повести «Самара» стало исследование мучительного и сложного духовного пути к приятию правды большевизма, который пришлось пройти эсеру, сельскому интеллигенту Ивану Петровичу Володимерову. Эта задача определила жанр «Самары» — жанр дневниковой исповеди героя. Форма внутреннего монолога позволяла показать мечущееся сознание человека, раздираемого внутренними противоречиями. Ценность этого произведения заключается прежде всего в его правдивости и искренности.

«Самара» и «Встреча» создавались в те годы, когда Вольнов встретился с такими литераторами, как Л. Леонов, Ф. Гладков, С. Есенин, С. Клычков, Н. Никандров и др. В молодой советской литературе того времени шел бурный процесс поиска новых форм для изображения революционной действительности, испытания различных приемов и методов ее художественного освоения. Естественно, что Вольнов, обратившись к теме революции и гражданской войны, в своих художественных исканиях не мог пройти мимо этих опытов. В «Самаре» его художническая манера становится

[1] Известия ЦИК СССР и ВЦИК, 1928, № 220, 21 сентября.

более резкой, стиль — кратким, «телеграфным», все произведение строится как будто из отдельных, непосредственно не связанных между собой фрагментов. В попытке показать мучительный разлад в душе и сознании героя Вольнов обращался, вероятно, не только к опыту современной литературы. Думается, он не мог пройти и мимо такого нашумевшего в свое время романа, как «Конь бледный» одного из лидеров эсеровского движения Б. Савинкова. Этот роман был также написан в форме дневника саморазоблачающегося героя. Вольнов, как и Савинков, прибегает в «Самаре» и «Встрече» к цитатам и реминисценциям из «Апокалипсиса». Но путь героя-эсера у Савинкова ведет его к полной духовной опустошенности, к самоубийству; Вольнов же проводит своего героя через ненависть к большевикам, страшные душевные терзания и смятение к пониманию новой правды.

Следует отметить, что это «экспериментальное» произведение не во всем удалось автору и во многом осталось интересной заявкой. Фигуры основных персонажей (цекиста, Самого, Берты) не прорисованы до конца, схематичны. Стремясь побыстрее «разделаться» с ненавистными ему вождями эсеровского движения, Вольнов прибегнул к сатире, переходящей местами в грубоватую карикатуру. За противоречивыми поступками и душевными метаниями главного героя, за мельканием противоречащих друг другу кусков текста не всегда можно уловить цельность и определенность авторского взгляда на изображаемое.

Вольнов не закончил «Самару». Он оставил работу над этим произведением, чтобы начать повесть «Встреча», продолжавшую ту же тему в более привычной для автора форме объективного повествования. Вольнов показал в ней, как крестьянские массы Поволжья, обманутые вначале щедрыми посулами эсеров и меньшевиков, очень скоро убедились в антинародной сущности «самарского правительства» и «добровольческой армии», которой командовали царские офицеры. Писатель изображает поворот в настроениях крестьянства в сторону советской власти, его ненависть к «грабь-армии», моральную деградацию, мародерство и кровавые злодеяния «добровольцев».

Во «Встрече» Вольнов продолжает разоблачение главарей эсеровской партии, прибегая при этом, как и в «Самаре», к иронии и сатире. Наиболее разработанным среди подобных персонажей стал образ главы «самарского правительства» Сольского, прототипом которого послужил писателю один из лидеров партии эсеров В. М. Чернов. Самоуверенность, маниловское прожектерство, неумение трезво оценить реальную обстановку — все эти черты «Наполеончика» — Сольского доведены до гротеска. Как бы предвидя упреки критики, Вольнов писал в предисловии к повести: «Некоторые из фигур моей повести как бы утрированы. Да, мне хоте-

лось бы ярче оттенить их слабость, никчемность или ничтожество. Я как бы сгустил краски. Но в жизни они были еще слабей и противнее»[1].

В центре повести находится герой, некоторыми чертами характера и судьбой своей напоминающий героя «Самары», а отчасти и самого автора. Позже Вольнов признавался: «В Недоуздкове есть кое-что мое — презрение и ненависть к вождям» (т. 20, с. 341). Но Иван Недоуздков, ненавидя вождей эсерства, не может преодолеть и своей смертельной вражды к большевикам, к Советам. Центральный эпизод повести — роковая для обоих встреча начальника штаба добровольческой армии Недоуздкова со своим бывшим учеником, пленным красноармейцем Алешей. Алеша потрясен тем, что кумир его детства, его учитель оказался в стане предателей народа, убийцей. Недоуздкова окончательно сразила весть о том, что его любимый ученик, как и почти все мужики из родного села, пошел за большевиками. Исполняя свой долг карающей машины, Недоуздков расстреливает Алешу, а потом, морально раздавленный происшедшим, кончает жизнь самоубийством. В душераздирающей сцене встречи двух друзей-врагов сказалась давняя тяга писателя к сложным психологическим ситуациям и острым конфликтам, резким контрастным краскам, показу духовных коллизий в духе Достоевского (невольно образ юного красноармейца Алеши наводит на мысль об Алеше Карамазове).

По яркости и силе изображения характеров «Встреча» заставляет вспомнить первое крупное произведение Вольнова — «Повесть о днях моей жизни». И здесь писатель обнаруживает прекрасное знание быта и психологии русского крестьянства, мастерски воспроизводит образную и яркую речь мужиков. М. Горький, сразу по выходе «Встречи» в свет, выделил «эту искреннюю и очень жуткую повесть» из потока литературы о гражданской войне прежде всего за ее правдивость, как «один из наиболее ярких документов гражданской войны» (т. 20, с. 340). Эти качества повести навели его даже на, казалось бы, парадоксальную мысль о том, что «художник — больше историк и лучше историк, чем специалисты-историки»[2]. В письме Вольнову от 29 апреля 1927 года Горький дал высокую оценку также художественным достоинствам «Встречи»: «Комплиментов Вам говорить — не намерен: Вы сами знаете, что Вы — талантливый человек. Я нахожу, что талант Ваш стал резче и крепче. В повести есть отличные страницы и фигуры, напр.— реалистик, Недоуздков. Мужиков Вы пишете, пожалуй, как никто не умеет, есть что-то рубенсовское в их фигурах и есть бесстрашие пред уродливым, которым обладали только голландцы — Ван

---

[1] Молодая гвардия, 1927, № 3, с. 3.
[2] Литературное наследство, т. 70, с. 62.

Остаде, например... Очень хорошо сделано пение «Интернационала» мужиками. Недоуздков хорошо расстреливает, он вообще удался. Чисто написан мальчик-красноармеец... Вам часто удается несколькими строчками дать вполне четкий образ, характер» [1].

В то же время Горький не мог не отметить ряд недостатков нового произведения: «небрежность письма», «нарочитую грубоватость», незаконченность некоторых образов и сцен, излишне прямую публицистичность авторского предисловия, от которого «на всю книгу падает как бы тень *личного* раздражения, личной мести». «Встречу,— писал далее Горький,— Вы могли бы написать лучше, чем она написана; это вовсе не значит, что Вы написали ее плохо. Нет, не плохо, но — не во всю силу. Силы же у Вас — много» [2].

И. Е. Вольнов трагически погиб 9 января 1931 года, в возрасте 46-ти лет, в расцвете жизненных и творческих сил. В очерке, созданном вскоре после смерти Вольнова как предисловие к первому тому его собрания сочинений, Горький писал: «Жалко. Он был еще молод, очень талантлив и мог бы написать весьма ценные, яркие книги... Хоронить его собралось несколько тысяч крестьян-колхозников, и он был похоронен как настоящий революционер, с красными знаменами, пением грозного гимна, в котором все более мощно, все более уверенно звучат слова:

«Мы — свой, мы новый мир построим!» (т. 20, с. 344).

У Вольнова была непростая, но счастливая творческая судьба. В самом начале литературного пути она свела его с великим Горьким, на протяжении всей жизни с неизменным вниманием и большой нежностью относившимся к писателю-революционеру. На Капри благодаря Горькому Вольнов познакомился с такими русскими писателями, как И. Бунин, Л. Андреев, А. Новиков-Прибой и др. Первое же крупное произведение — «Повесть о днях моей жизни» — принесло ему литературную славу. Он встречался с В. И. Лениным, который читал эту книгу и которому она «очень понравилась». В 20-е годы его печатают лучшие журналы и издательства, он вхож в круг писателей, которым суждено было стать вскоре классиками советской литературы. Еще при жизни писатель получил заслуженное признание у критики. Высоко отзывались о его творчестве А. Луначарский и А. Воронский, А. Фадеев и С. Есенин. Вольнов является героем целых монографических исследований [3].

---

[1] Литературное наследство, т. 70, с. 61—62.

[2] Там же, с. 62.

[3] Уже цитировавшихся книг Мих. Минокина «Иван Вольнов» и В. Пономарева «Творчество Ивана Вольнова».

В. Сурганов в книге «Человек на земле» верно определил место писателя в истории русской и советской литературы: «Книги Вольнова стали одним из звеньев, прочно соединивших все лучшее, что было написано о русской деревне до Октября, с тем, что, едва зародившись, уверенно набирало силы» [1].

Вольнов не успел осуществить все свои творческие замыслы и планы. Но и созданное им дает основание говорить о нем как о большом советском писателе и замечательном человеке, отдавшем все свои силы, неукротимый темперамент борца и незаурядный талант художника родному народу, кровную связь с которым он всегда ощущал.

Н. Примочкина



---

[1] Сурганов В. Человек на земле. Историко-литературный очерк. М., Советский писатель, 1975, с. 121.



О СЕБЕ

Родился в 1885 году в селе Богородицком Орловской губернии. Родители — крестьяне, самые бедные в селе. Родился в курной избе, маленькой, пятиаршинной. Лет до семи был очень болезненным. Помню, это время никуда не выходил из избы: не было обуви, одежды. Сторонился сверстников: они смеялись над нашей бедностью. Отрочество вылилось в мечтательность. Целыми сутками, бывало, просиживал где-нибудь в углу и думал-думал о чем-то. Крайне любил нищих, которые рассказывали о других деревнях, неизвестных мне людях, событиях... Отец пьянствовал, бил меня, мать, выгонял осенью, часто зимою на улицу, и мы ночевали или в сенях, или еще где-нибудь. Ночами часто плакал. Просил бога, чтобы он убил отца. Оттого что не было одежды, не ходил в школу.

Потом, когда научился читать (лет девяти) в церковной школе, жизнь стала праздником. Каждый день мне приносил радость. Все отошло на задний план: побои, бедность, голод. Физически стал крепнуть и развиваться. Читал всякую печатную строку, обрывки газет, календарей, часословы и прочее. Потом у нас при волости открыли земскую библиотеку-читальню. К одиннадцати годам читал классиков. Я был как глухой, слепой. Не видал окружающей жизни, да она и чересчур страшна была,— день и ночь читал все подряд, что давали в библиотеке.

Меня не заставляли насильно работать. Я был один у отца с матерью; быть может, это заставляло их жалеть меня, а может быть, им нравилось, что я учусь. Кончив свою приходскую школу, я стал ходить верст за пять учиться в двухклассную, тоже церковноприходскую. Там впервые узнал о существовании географии, истории и т. д. Это меня привело в такой восторг, что я просил учителя, чтобы он сразу рассказывал мне все науки, какие знает, и давал мне книжки, «какие есть на свете». И в эту полосу своей жизни я был застенчив, сторонился товарищей, так как ходил в лохмотьях, от которых пахло копотью курной избы, а там учились дети лавочников, дьячков, богатых мужиков.

Учитель начал отдельно заниматься со мною,— это было хорошо. Я не умею передать радости, какою я горел в ту пору. Я боялся, что ему надоест со мной заниматься. Крал у отца последние копейки, покупал учителю водку, чтобы он учил меня; мать закладывала свои тряпки и давала мне деньги. Месяца через три-четыре уже учиться у него было нечему; «все книжки, какие есть на свете» по истории и географии, были прочитаны. Тощенькие патриотические учебники... Еще три года ходил в эту школу, все надеялся узнать что-нибудь новое, но не узнал. Зубрил катехизис, псалтырь, порядок богослужения. Увял за это время. Никто-никто не хотел или не мог помочь...

Четырнадцати лет поступил помощником учителя в приходскую школу верстах в тридцати от родины. Учителем был дьякон, который почти не посещал школы. Ребят было много. Учеба сводилась к заучиванию молитв, чтению и переводу на русский евангелия. Не любил я этого. Стал учить истории, географии. Пособий не было никаких, даже учебника. Многие не верили и говорили: «Брешешь ты, Иван Егорыч». Я, бывало, божусь им, что не брешу, что так в книжке написано, требуют: «Покажи книжку».— «Книжку не показываешь, значит — брешешь». Не раз плакал в классе, просил верить, что земля меньше солнца, что она кругла, что на ней набиты «железные обручи» — параллели и меридианы... На следующий год отказался: самому нечему было учиться.

Получал я за это ученье пять рублей в месяц жалованья, но отдавал отцу, а сам жил в церковной сторожке, и если, бывало, поповы работники позовут пообедать,— сыт, а то и натощак ложился. Помню, среди уче-

ников у меня был товарищ одногодок, сын нищей. Нищая весь мясоед и пост болела. После занятий в школе товарищ надевал сумку и шел побираться. Принесет несколько кусков, пообедаем, накормим его мать и — хорошо. Мне как помощнику учителя ходить по селу побираться было неудобно. От четырнадцати до семнадцати лет занимался хлебопашеством. Летом, кажется, 1900 года получил от родственника письмо, что можно ехать учиться в Курск, в учительскую семинарию, в которую принимают и мужицких детей. Отец дал три рубля, и я попал на конкурсные экзамены.

Дико было первый раз в городе. Он мне показался раем. Ночевал где попадется. Решил непременно поступить. А сам — пыльный, в больших чужих сапогах, лохматый. Горожане останавливались, рассматривали меня. Помню, на экзамене по русскому языку предложили написать пересказ: «Галуб» Пушкина. Я целиком переписал его на память. Директор на следующий день спросил, почему я написал самое стихотворение, а не пересказ. Я ответил: «Лучше не написать». Пожал плечами, засмеялся, похлопал по спине... На экзамене естественной истории предложили мне «рассказать что-нибудь по естественной истории». Я никогда не слышал, что такое естественная история, «отчибучил» им по библии историю царя Соломона, все с мельчайшими подробностями. Поп, член комиссии, пришел в восторг: «Это, знаете ли, лучше козявок да тараканов». Я думаю: при чем тут козявки с тараканами. «Аль что напутал?» — спрашиваю. Одни смеются, естественник морщится, а поп: «Ничего, очень хорошо. И всю священную историю этак знаете?» — «Всю,— говорю.— Библию, евангелие и апокалипсис, и катехизис...» Меня приняли.

Учился много, но ненавидел учителей, которые брезгливо относились к нам, называли нас чуть не хамами, на каждом шагу подчеркивали, что мы неучи, неотесы, едим, как животные, сопим и чавкаем, как свиньи, обовшивели, как арестанты, и т. д. И ни один из них никогда не показал нам, как надо ходить, пить, есть, одеваться по-городскому. Издеваясь над нашей неотесанностью, они доводили учеников до того, что те стыдились своего мужицкого происхождения: приезжавших проведать их отцов выдавали за работников.

Я перестал учиться: противна стала их наука. Правда, все легко давалось мне — урывками, удачами застре-

вали в голове сведения. С этими поверхностными сметками наук так и остался жить: революционная работа не давала возможности пополнить знания. Остались воспоминания о словеснике Кашенском: он первый познакомил нас с Чеховым, Короленко, Гаршиным, Горьким. Вскоре стал читать нелегальную литературу... 1903 год был уже поворотным в моей жизни. Почувствовал, что есть то дело, которое я должен делать: жизнь деревни была лучшим пропагандистом, толкнувшим меня в революционную толчею. Отдался ей всей душой и всеми мыслями, стал ею жить. Снова стал читать, учиться.

В 1904 году ходил под нищего, безработного по деревням Орловской губернии с сумочкой нелегальных книг. Осенью того же года назначили сельским учителем в Белгородский уезд. Через несколько месяцев был арестован. Мужики чуть не сожгли меня вместе со школой. В марте 1906 года был освобожден. Снова ходил по деревням. После разгона Первой думы был пойман отрядом казаков, жестоко избит, сидел в орловских арестантских ротах до мая 1907 года. В мае организовал побег оттуда, неудачный, с жертвами. В конце ноября освобожден на поруки... Пошел опять, как нищий, по Орловской губернии.

За время тюрьмы много думал о работе, строил планы, а вышел на волю — дело стало круче. В чужой деревне, у чужих, я заболел воспалением мозга. Выздоровел в 1908 году, когда уже в тюрьмах начались истязания, а на родине у нас образовался «Союз русского народа». Председатель «Союза» вскоре был убит. Союз рассыпался. Истязания в тюрьмах все усиливались.

Я поехал в Донецкий бассейн, организовал там боевую дружину. Задача: истреблять всех причастных к тюрьме, казням, пыткам, которые производились там. В отряд вошли матросы-очаковцы и часть моих учеников-куракинцев. В феврале — по дороге в Орел — заболел воспалением легких; выздоровев, через три недели опять заболел воспалением легких. Отряд действовал слабо, мог быть активнее. В июне 1908 года — во время моей попытки застрелить мценского исправника — я был арестован, бит, пытан. Арестован по фальшивке, после опознан «шпиками», перевезен в Орел, предан военно-окружному суду. Много видел казнимых, пытаемых, истязуемых, забитых до сумасшествия. Среди них много

близких, дорогих. Этот период сиденья в орловской тюрьме (1908—1910 гг.) — самый страшный в моей жизни по тем ужасам, что пришлось мне наблюдать.

В конце 1910 года я бежал. Бежал из Сибири за границу. Жил там до 1917 года — главным образом в Италии. Был во Франции, Англии, Швейцарии, Германии.

Писать начал лет с десяти, стихи давались мне поразительно легко. В деревне их пели. Хороши ли они были, не знаю — не помню ни одного. Вероятно, плохи, потому что потом уже взрослым, когда пытался писать стихи, выходило неудачно. Лет с пятнадцати пытался писать прозою, но не умел ни одного рассказа кончить. Потом в тюрьме бóльшую часть времени проводил в сочинении рассказов. Письменных принадлежностей не давали, поэтому сочинял в «уме». Происходило это от безделья, я не верил, что смогу написать рассказ. В Сибири в ссылке отдавал все время сочинительству.

В Цюрихе в 1910 году попал в компанию русских студентов, издававших рукописный журнал. Я с рвением усердствовал в нем. Студенты меня похваливали, а я чуть не задыхался от усердия. В январе 1911 года, затесавшись на Капри, показал Максиму Горькому то, что я писал в Цюрихе. Все приставал к нему с вопросом, следует ли мне писать дальше. Просил, чтобы «честно» мне ответил. Горький ласково обходил вопрос, щадя мое самолюбие. Все, что я показал ему, было плохо. Как-то он стал расспрашивать о прошлом моем. Послушал и предложил написать это, и именно так, как я рассказывал. Я год писал. Когда кончил, принес Горькому. Понравилось. Он выбросил все лишнее, остальное же составило «Повесть о днях моей жизни». «Юность» написана уже самостоятельно. Вплоть до отъезда в Россию в 1913 году Горький возился со мной. Заставлял читать, исправлял рукописи. На Капри встретился с Коцюбинским, Буниным, Андреевым, итальянскими и немецкими писателями, русскими художниками, артистами Художественного театра. Встречи, беседы оттесали меня чуть-чуть на время.

В 1917 году я был избран членом Учредительного собрания. В 1919 году я был арестован в Орловской губернии. Благодаря вмешательству В. И. Ленина был освобожден и через неделю уехал с эпидемиче-

ским отрядом на тиф в Самару. Работал там больше года.

Теперь живу в деревне. У меня неисчерпаемый источник наблюдений. Но трудно писать, когда полна изба народа. Главное же — писать некогда...

У нас организуется колхоз в шестьдесят семь тысяч гектаров, я в котле этой интереснейшей работы и занят буквально двадцать четыре часа в сутки.

Иван Вольнов

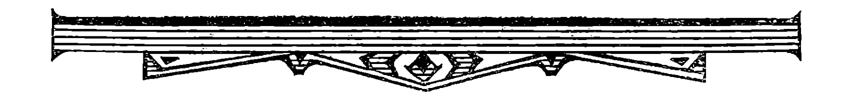




ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МОЕЙ ЖИЗНИ

Крестьянская хроника





КНИГА ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

I

В орловской степной полосе, прижавшись плетневыми гумнами к мелководной речушке Неручи, раскинулось наше село Осташково-Корытово. С восточной стороны оно упирается в бор, с запада идут «бурчаги», «прорвы» и овраги, а на юге, на горе, усадьба князя Осташкова-Корытова с белою круглою церковью, каменными службами, конским заводом и садами. Побуревшие соломенные крыши курных изб, плетни, корявые ракитки, десяток ветел у реки и деревянная облупленная церковь рядом с благоустроенным барским имением похожи на кучку нищих, усталых, больных и голодных, которые присели отдохнуть. Село тянется извилистой лентой вдоль реки: по одну сторону — избы, по другую — клуни и сараи, а на конопляниках — овины.

Исстари Осташково делится на пять концов: Новую Деревню, Пилатовку, Сладкую Деревню, Драловку и Заверниху. Жители Сладкой Деревни буйны нравом, славятся драками и пьянством. Чуть не под самыми их окнами барин сеет бураки для коров; по осени мужики воруют овощь, а при оплошности жестоко платятся боками от помещичьих черкесов и рабочих. Раз-два в неделю у них производится урядником обыск. Сначала отбирают бураки, потом ищут траву. Ее урядник узнает потому, что на наших лугах вообще не растет никакая трава, и косить, стало быть, нечего, так как вместо лугов у нас «мысы» какие-то: Попов мыс, Терешкин, Сухонькое, Долгонькое, Жуковы Портки,— где много щебня, лисьих нор, буераков, мусора, прошлогоднего навоза, полыни и крапивы, но где мало съедобной травы, а трава с помещичьих лугов, которую воруют бабы, жирна, све-

жа и зелена; в ней попадается осока, рыжий конский щавель и мягкий красный клевер. На Ягодном же поле, под березками, растет люцерна, «тимошка» и вика. А еще дальше — еще что-то растет.

Бураки — еда сладкая; деревня, которая ворует их и отсиживает за это под арестом, прозвана Сладкой Деревней, Лакомкой.

Пилатовка — от Понтия Пилата, судьи двуликого, усердного. По бабе одной,— «Верую» читала: «Припантей распилати меня, хосподи, Варвару Шарапову». Пилатовка — рассадник свежих новостей, удивительных слухов и сплетен. Народ мелок, белоглаз и беловолос, ленив, беспечен. Весною, как только покажутся проталинки, на проталинках зачувикают жаворонки, грачи хозяйственно пойдут проверять дороги, пилатовцы любят греться на солнышке, сложа на животе руки, заваляниые за зиму, закоптелые, с перьями в волосах, глаза — по ложке; летом — звонко ругаться по заре; круглый год — судачить. Мужики — смертные охотники до перепелиной ловли на дудочку, бабы — мóдницы. В каждом пилатовском доме — хохлатые голуби разных мастей и «заводские» куры, необыкновенные перепела, удочки и дудочки. Ни у кого нет таких хороших прозвищ, как у пилатовцев: Куриный бог, Собачий царь, Шельма-вносу, Астатуй Лебастарный, Маньчжурия, Недоносок.

В Драловке бьют жен, свежуют палый скот, ходят по попам и дворовым резать свиней и овец, пьют до белой горячки вино, увечат под пьяную руку детей и плачут по-бабьи, катаясь по полу и ломая в отчаянье руки, когда жить становится невмоготу.

Я — из Драловки.

Заверниха и Новая Деревня — глоты. Там народ степенный, рассудительный, гордый. Попади к ним в лапы — всю родню забудешь. Из Завернихи и Новой Деревни выбирают сельских старост, ктиторов церковных, судей волостных и председателей, а сотских — от нас, из Драловки, потому что сотский должен быть битым и урядником, и старшиной, и становым, а новодеревенцу не с руки получать оплеухи и заверниховцу не с руки. Из Сладкой Деревни сотских совсем не выбирают — боятся: сладкодеревенец — лакомка, или нагрубит начальству, или что-нибудь украдет; пилатовец — легкомыслен и нерадив, пойдет с эстафеткой к господину земскому начальнику, а очутится на перепелиной ловле да еще удивляться после станет:

— Чума его знает, как занесло меня туда. Мне бы идти да идти, куда надо, а я, вишь, вот куда затесался, братец ты мой! — станет, разинув рот, и поддергивает штаны.

Сотскими испокон века драловцы, потому что терпеливее их нету никого: и бессловесны, если «не под банкой», и не кричат, а кланяются, когда бьют их.

Родился я в коровьей закуте зимою, под крещенье, часа в четыре дня.

Долго ли мать возилась со мной, я этого не знаю, но когда принесли меня в избу, синего от стужи и заиндевевшего, все решили, что я — не жилец на белом свете. А мать не верила.

— Не с первым такая оказия,— сказала она, влезая на печку,— выживет!

Я и выжил, слава богу, и только кривые ногти на руках да выщербленное левое ухо — все знаки от мороза.

В рабочую пору, когда дома никого не оставалось, меня затворяли на крючок в избе, и я спал на полу с поросятами, кошкой Прасковьей и собакой Мухой, играл с ними, разговаривал, дрался из-за еды, пел песни. Под лежанкою привязан был теленок Ванька, самый большой из нас и самый смирный. Мы часто обижали его. Муха лаяла, Прасковья прыгала на спину и царапала затылок, а поросята, Миколка, Вьюн и Непоседа, таскали от него солому к себе под печку, а если Ванька не давал, кусали за ноги. Я учил теленка хрюкать, как Миколка, лаять, как Муха, и визжать, как Вьюн, а он не понимал и отмалчивался. За это я бил его старым лаптем по голове, приговаривая:

— Не слушаешься, супротивный? На,— получай!

Наигравшись, отдыхали. Поросята убегут под печку, а я, бывало, прижмусь к теленку, обхвачу его шею руками, а голову положу на теплый живот. Рядом мурлыкает кошка, обнявшись с Мухой, Ванька расчесывает языком мои волосы или жует подол рубахи, тихонько подергивая, а я не разберу спросонок — кто это, вскочу и спрашиваю:

— Мам, это ты?

Опомнившись, опять уткнусь и задремлю.

В обед иль перед вечером придет с работы мать. Посмотрит на нас, засмеется:

— Ишь, два Ваньки лежат — красный и белый... два бычка.

Теленок был красный, а мои волосы — белые.

Как сквозь далекий, полузабытый сон, мерещатся другие сцены.

Вот я — совсем маленький, бегаю по избе без штанов. На лавке сидят старшая сестра моя Мотя и мать. Сестра прядет лен, а мама сучит нитки. За столом отец ковыряется со старым хомутом, напевая:

— Господи поми-илу-у-уй! Дед бабку поки-и-ну-у-ул...

Зима. Хочется побегать по улице, покататься, попрыгать, но мы — бедны и одеться не во что. Для меня притащили санки в избу. Я пою самодельную песню, хлопаю кнутом по земле и кричу: но! — а мать, отец и Мотя смотрят на меня и смеются:

— В извоз, сынок, собрался?

— В извоз! — кричу я весело,— за угольем!

Потом, помню, вошла тетка моя, сестра матери. Помолившись на иконы, она сказала:

— Ты что же, жених, без штанов щеголяешь, а? Вот я товарищам на улице скажу!

Мне в первый раз стало стыдно. Улучив минутку, я наедине попросил мать сшить мне новую «железную» рубаху и портки «с потолком», как у отца. Синюю замашную рубаху я звал «железною».

Другие сцены:

Присев на корточки и обхватив меня руками, чужой высокий парень расспрашивает меня:

— Ты чей?

— Материн.

— Ловко! А еще чей?

— Отцов.

— Тоже ловко! Как тебя по батюшке?

— Не знаю.

Приятель мой, Мишка Немченок, подсказывает:

— Говори: Петрович.

— Петрович.

— Верно! — крутит головой парень.— А по матушке?

— Петрович.

— Врешь, это — по батюшке, а по матушке — Маланьич. А по сестре?

— Петрович.

— Вот ты какой дурак! По сестре ты — Матреныч.

— Матреныч.

— Ну, говори теперь сразу.

— Петрович, Матреныч...

Я забываю, и мне стыдно. Пытаюсь вырваться из его

рук, но они — такие волосатые, крепкие. Я только жмусь. Он научил меня скверно ругаться и посоветовал повторить это за обедом, за что меня похвалят и дадут гостинец. Когда я так сделал, все положили на стол ложки и смотрели на меня во все глаза. Я повторил. Отец вытащил меня из-за стола и бил, расспрашивая, кто меня научил и когда.

Я говорил:

— Чужой парень.

А ему нужно знать, как парня зовут. Подумав, что я скрываю из упрямства, он бил меня еще то хворостиной, то веревкой.

Потом мать сказала:

— Будет, он еще не понимает... Брось, Петрей!

Мать моя редко смеялась. Девушкою она любила одного парня и семнадцати лет вышла за него замуж, но, копая осенью в овраге торф, этот парень простудился и умер. Замужество ее продолжалось два месяца. Мать не любила говорить о том, как ей было тяжело и как она плакала.

Через шесть недель после поминок деверь сказал матери:

— Шла бы, девка, к отцу, теперь ты лишний рот у нас.

Мать подчинилась.

Когда она лето работала, родители молчали, но к зиме стали попрекать то тем, то этим, придираясь ко всякому слову.

— Замуж выходи,— говорили ей.— Тебя и так кормили до семнадцати годов, а теперь опять навязалась на нашу шею!..

А мать было решила замуж не ходить. Тогда они сговорились с кем надо и выдали ее вторично за моего отца, Петра Лаврентьевича Володимерова.

Мать вопила во весь голос, грозила утопиться, иль чего-нибудь еще наделать, а бабы ее урезонивали:

— Не глупи, Маланья... Эка, право, ты! Поплачешь малость и забудешь... Перестань!..

Так оно и вышло: мать поплакала и перестала.

Помню, в троицу как-то я сижу у окна. Отворяется дверь, входят мать и отец, за ними чужие мужики и бабы — все навеселе. Помолившись богу, расселись по лав-

кам, на скамейке и кутнике. Одна баба — в желтом завесе, выступив на средину избы, подбоченилась и стала плясать, помахивая белым платочком: «Й-их! й-их! чики! чики!» — а мать хлопала в ладоши, смеялась и пела:

Вот Егор, ты Егор
Да Егорушка,
Кучерявая твоя
Вся головушка.

Я подсел к ней поближе, тоже смеюсь:

— Ну-ка, мама, еще! Ну-ка еще!..

Приходи, кума, за медом — меду дам,
Приходи, кума, вечерять нынче к нам!..—

запела мать другую песню. Обернувшись, обняла меня за шею и сказала:

— Загуляли мы нынче, сыночек! Троицу веселую справляем!

Я эту сценку хорошо помню, тогда было много солнца и у всех — милые, славные лица. К нам в окна смотрела молоденькая нарядная береза, тоненькая и нежная, как церковная свеча, а по улице ходили девушки и пели весенние, звучные песни; мать моя тоже смеялась и пела.

Еще один случай,— не помню, когда это было — раньше иль позже описанного,— я ходил тогда по лавке.

Поздним вечером, на масленице, отец, помню, сидит ужинает. Мотя спит. Мать возится на кутнике. Положив руки на стол и склонив на них голову, отец о чем-то думает. На конце стола, у лампы — полштоф водки. Отец время от времени «прикладывается» к полштофу, а я стою около него, держась рукой за шею, и пою ему песню про сиротку Машу.

— Ел бы, песенник, блины с отцом,— кричит мать.— Будет тебе,— завтра напоешься.

Я сажусь к отцу на колени, треблю его бороду.

— Вина хочешь? — спрашивает он.

— Давай.

— Что ты делаешь, не надо! — подскочила мать.

А отец ей на это ответил:

— Ничего, он немножко, пускай привыкает, пока я жив.

Выпив глотка три, я стал еще веселее. Соскочив на пол, показал, как ходит пьяный Гуля и как пляшут пар-

ни с девками на улице, еще что-то сделал смешное, а потом опять взобрался на колени к отцу и опять ему пел про сиротку Машу.

Посидев с полчаса, залезли на печь, и отец крикнул матери:

— Маланья, слушай!

— Песни, что ли, петь собираешься? — спросил я...

— Да,— сказал отец и заорал во всю глотку:

Как приехал мой миленький с поля...

Мотя проснулась на лежанке, зашмыгала носом и завозилась.

— Матрешила, лезь к нам,— сказал я.— Отец теперь всю ночь будет петь: все равно ведь не уснешь...

Сестра пожевала спросонок губами, поскребла в голове и опять уткнулась в подушку.

— Эка соня! — упрекнул я.— Только б дрыхнуть!..

А отец кричал:

Он поставил коня край порога...

Обратившись ко мне, сказал:

— Подтягивай, чего ты ждешь!

Сам заплакал, край коника стоя,—

подхватил я.

Несчастная-ая на-ша с тобой до-о-ля...—

запели мы вместе.

Мой голос дрожал и срывался, а голос отца ревел, как колокол. Под конец я стал сбиваться, путая слова.

— Это ты нарочно, что ль, щенок? — спросил отец.

— Какой там черт нарочно: слова позабыл! — ответил я.

Отец расхохотался.

— Ты отвечаешь, словно большой!

Мать, сидя на лавке, прошептала:

— Полуношник, кобель старый!

Я сказал отцу:

— Тебя мать кобелем назвала, слышал али нет?

Отец ответил:

— Вот я ей сейчас всыплю за это, я ей дам кобеля,— и полез с печки.

Мать выскочила в сени, а мы зажгли лампу и стали пить вино.

— Давай напьемся досыта,— сказал я,— то-то мать рассердится!
— Верно,— согласился отец,— давай!
Выпив рюмку, я сказал:
— Ты мать мою не бей.
— Почему? — спросил он.
— Жалко ее.
Отец нагнулся и засопел.
— Она — хорошая, нужда только заела нас... Другой раз не утерпишь...
— А ты кого-нибудь другого. Чужих лупи!
Отец закрыл лицо руками.
— Плачешь, что ли? — спросил я, дергая его за локоть.— Брось,— не маленький, смеяться будут.
Отец спихнул меня с колен, стукнув кулаком по голове.
Ночью я бредил и весь пост пролежал в горячке.

Изба у нас маленькая, курная. Когда мать затапливала печь, мы садились на пол для того, чтоб дым не выедал глаз. Двери отворялись настежь, и дым серым коромыслом тянулся в сени, оттуда на потолок, пробиваясь сквозь трещины и прорехи в крыше.
Как-то, гоняясь за курами, которые оравой набивались в избу, вышел я в сени. Первое, что увидал я там, была огромная свинья у корыта.
— Эге! — сказал я.— Какая барыня — повыше меня!
Подошел и погладил ее, заглянув в корыто.
Свинья повернула голову, хрюкнула и ткнула меня под бок носом. Я упал.
— Ты за что же?
Свинья, наклонившись над моим лицом, обнюхала, сопя, чавкая и обнажая острые клыки.
«Сейчас проглотит»,— с ужасом подумал я и заорал благим матом.
Это было мое первое сознательное чувство страха.

Два раза я напивался в детстве пьяным.
Играя однажды со своим двоюродным братом, ровесником, у них в избе, мы нашли в шкафу бутылку с водкой.
— Хватить, что ли, с горя? — спросил Тимошка.
— С какого горя?

— Я не знаю. Так мой тятя говорит.

— А мой говорит не так,— сказал я.— Мой говорит: «Али пропустить по маленькой?»

— И то не плохо,— засмеялся Тимошка.

Он налил в рюмку вина и проговорил:

— Ты будто ко мне в гости пришел. Будь здоров, сватóк!

— Кушай на здоровье,— ответил я, подражая большим.

Отпив немного, двоюродный брат наполнил рюмку снова.

— Принимай, сват.

— Будьте все здоровы! — Я раскланялся на все четыре стороны.

У окна сидел работник, Сенька Секлетарь,— мальчишка лет одиннадцати, а нам в ту пору шло по пятому году.

— Ванюшка пьет лучше, ты не умеешь,— сказал Сенька, следя за нами.— Если б я — по всей бы хлопал!

— Как же — лучше! — ответил Тимошка.— Смотрика! — и он выпил целую рюмку.

Потом Сенька подзадорил меня, потом опять Тимошку. Взрослых в избе не было; мы выпили много, а когда валялись на полу пьяными, он нашел мою мать и рассказал ей обо всем.

— Я им говорю: бросьте, дураки, обопьетесь! — а они не слушаются: не твое, бат, это дело, и водка не твоя.

Нам по очереди разжимали свайкою зубы, лили в рот парное молоко. Как протрезвились, не помню.

Другой раз напился дома.

Сошлись в праздник гости к нам, и отец угощал за обедом всех вином: гостей, мать и Мотю, а меня обнес.

«Я — большой, почему ж он обносит? — подумал я и надулся.— Может, он забыл?»

Но вторично — то же самое. Я перестал есть.

— Ты что же, свинопас, сидишь сложа руки? — спросили меня.— Таскай говядину.

— Я не свинопас,— ответил я.

— Ну так — курощуп,— сказал чужой старик.

Я промолчал и, достав из кармана горсть семечек, стал лущить их, выплевывая шелуху на скатерть. Отец искоса посмотрел на меня, подумал, вытер ложку о подол и треснул ею меня по лбу.

— Эге — шишка? — засмеялись гости.— Это тебя Николай-угодник сзади шлепнул.

Нырнув под стол, я просидел там до конца обеда.

Подвыпившие мужики шутили.

— Петр Лаврентьич! — говорили они отцу,— щенок-то у тебя, видно, молодой еще — не лает?.. Забился под лавку и лежит как зарезанный.

Отец отвечал:

— И то — не лает, дьявол! Надо мещанам продать.

Прикидывая так и этак, как бы насолить насмешникам, я решил выпить всю водку, какая была в доме. Как только все вышли из хаты, я пробрался в чулан, затворился на щеколду и стал пить.

— Черта два чем будет опохмелиться им,— посмеивался я.— Пускай их!.. Выпью все — и ладно дело!..

Перед вечером меня долго искали и, наконец, почерневшего, стащили с печки. Сначала подумали, что я угорел, но по запаху узнали, что я — пьян. Обливали холодной водою и щекотали до рвоты, а секли на третий день, когда я оправился.

Придавило в поле возом дядю моего, Ивана Иваныча Горохова, Тимошкина отца. Он поохал дня четыре, покатался по полу, хватаясь за живот, а на пятый — взял и умер середь ночи. В первый раз тогда я увидел попа на похоронах. Вероятно, я и раньше бывал в церкви, но я этого не помню.

В избе было много народа, и нас, ребят, послали на печь.

— Оттуда,— говорят,— вам виднее будет: лезьте-ка на Сионские горы, не мешайте здесь.

Со страхом смотрели мы, как поп, махая кадилом, сердито что-то говорит, а дьячок жмется в угол, косит глаза на баб и нараспев ему поддакивает. Под конец и поп и дьячок закричали вместе, поп стал отмахиваться от мужиков лампадкой, а Тимошкина мать упала на пол и задрыгала ногами.

— Богу это они молятся, чтоб батя в рай попал,— говорил мне Тимошка.— А матери не хочется: скотину, говорит, некому убирать. Гляди-ка, у попа волосья-то — как у бабы!

Потом дядю унесли на улицу, а дома остались моя мать, стряпуха и работник.

— Вы есть, поди, ребята, захотели? — спросила стряпуха,— помяните вот раба божьего Ивана Иваныча,— и подала нам на печь масленых блинов и чашку кутьи.

— Вот это важно! — пришел в восторг Тимошка.— Спасибо, Вань, бате, что умер, а то где бы нам кутьицы похлебать, как ты думаешь?

Я уже набил полный рот и в знак согласия мотнул лишь головою.

Стряпуха поглядела на нас и ответила:

— Ах ты, дурак! Какие ты слова сказал? А кто кормить тебя без отца будет, а?

— Фи-и! — засмеялся Тимошка.— Сам буду есть!..— И лукаво подтолкнул меня, шепча: — Нашла чем застращать!..

II

Про род наш говорили так.

Лет сотню назад пришла в помещичью усадьбу князей Осташковых-Корытовых неизвестного звания дебелая старуха с молодым сыном Матвеем и записалась к барину в крепость.

— Ты, красавица, не беглая? — спросил ее бурмистр.— Как зовут?

— Пиши: Анна, дочь Володимерова, вольная крестьянка... Никуда ни от кого я не бегала...

Это все, что можно было узнать о ней, потому что на другие вопросы прабабушка отвечала уклончиво, ссылаясь на старые годы и плохую память.

Поселившись на вырезанном участке земли, старуха вскорости женила сына, а через год отдала богу душу, объевшись соленой рыбой.

От Матвея пошел наш род Володимеровых — крепкий в хозяйстве, послушный барину и предприимчивый в работе.

На весь край Володимеровы славились лучшими набойщиками; на их постоялом дворе, просторном и дешевом, с теплыми полатями, сытым ужином и хмельной брагой, вечно стояли обозы, тянувшиеся журавлями в Полесье: с хлебом и маслом — туда; лесом, углем и сушеными грибами — оттуда.

В Крымскую кампанию Матвеев сын, мой прадед, Калеканчик, закупив десять пар лошадей, сам отправился в извоз — доставлять провиант для армии, поручив вести дом жене и детям.

— Мешок денег, что привез покойный из Перекопа,— говорил мне не раз отец,— старик насилу втащил в избу,— во-о!..

После войны дали «волю», отняв землю, политую кровью отцов. Застонали землеробы, получив взамен ее буераки, пески и болота, где можно стоять, сидеть и посвистывать, а работать — нельзя.

С тех пор постепенно стало выветриваться наше хозяйство. Недостаток земли и неурожаи сожрали скот и припасенные про черный случай деньги; железная дорога — извоз; обременительные налоги и упадок набойного промысла — силу.

При покойном дедушке, Лаврентии Ивановиче, земли было еще четыре надела и кое-какой скот, но с его смертью петля затянулась туже, отец начал пить, а напиваясь, буянить, выгоняя всех нас из избы; иногда бил посуду и мать.

Еще в начале жизни я помню случай, когда мы позднею осенью ночевали на улице. Падает, бывало, маленькими пушинками снег, ветер свистит и рвет солому с крыш, из избы несется брань или пьяная песня, кругом — жуткая муть, а мы вчетвером спим у дверей, положив головы на порог: мать, Мотя, я и Муха. Мать закутывала меня вместе с собакою в полушубок, кладя на самое удобное место, по одну сторону ложилась сама, а по другую — Мотя. К первым петухам отец засыпал, и тогда мы, затаив дыхание, пробирались в избу. Утром отец вставал раньше всех и уходил на работу.

Никогда за всю мою жизнь не назвал меня отец в трезвом виде ласковым именем, не погладил по голове, не обнял, как другие отцы, и когда я, бывало, видел, как мои товарищи целуют своих отцов, а те с ними играют, мне становилось обидно, больно, потому что я боялся отца, его вечной угрюмости, матерной брани и звериного взгляда из-под густых полуседых бровей.

Раз он послал меня за лошадью, которая паслась сзади сарая.

— На́ вот оброть,— сказал он,— приведи ступай мерина... Гляди — к чужим не подходи: убьют.

— Еще там что! — воскликнул я.— Чего ж они будут убивать — я стороной!

Поручением я гордился: шутка ли — отец за лошадью послал!.. Доверяет!..

Лошадь наша, Буланый,— старая, со сбитыми плечами и вытертой холкой, с отвислой нижнею губой, бельмом на правом глазу, желтыми зубами, смирная.

Накинув ей на голову оброть, я подумал: «Если я большой, могу и верхом забраться»,— и вцепился в гриву.

При помощи ног и зубов кое-как вскарабкался.

Сижу сияющий и думаю:

«То-то отец удивится!.. Сам, спросит, сел? — Конечно, скажу, сам,— кобель, что ли, подсадит? — Молодчина,— похвалит он,— в ночное скоро будешь ездить».

А это — моя заветная мечта.

— Но-о, милок, шевелися! — дернул я за повод.

Лошадь постояла, покрутила головой и фыркнула. Я ее подхлестнул. Лошадь нагнулась, сорвала головку колючки и почесала о колено губы.

— Ты почему меня не слушаешься? — рассердился я и подхлестнул сильнее.

Лошадь затрусила.

— Ты что там полдня копался? — неласково спросил отец.— Не мог поскорее?

— Я, тять, сам сел верхом! — закричал я.— Не веришь? — и я мигом сполз на землю, чтобы снова взобраться на Буланого.

Отец пошел в амбар.

— А ты обожди,— попросил я,— посмотрел бы, как я влезу, я ведь не обманываю.

Он остановился.

— Не подходи близко к мерину, а то еще убьет. Стань в сторонку.

— Ну-ну! Он скорей тебе отдавит ногу,— проворчал отец.

На мое горе, я начал волноваться, оттого — слабеть. Несколько раз я вцеплялся за шею, но руки не подчинялись, и я падал.

Отчаяние прокрадывалось в душу:

«Не поверит... Скажет: зря хвалюсь...»

И я с еще бо́льшим стараньем пыхтел около Буланого.

— Я сейчас... сейчас...— бормотал я, готовый разрыдаться.— Обожди немного, я сейчас!.. Мне вот штаны сильно мешают: я поправлю и вскочу...

Буланому, должно быть, тоже надоело ждать: он обернул голову, пожевал губами — тоже, дескать, строит мужика из себя, чертенок! — Потом переступил с ноги на ногу и сделал шаг к сараю.

— Хоть бы ты стоял, не шевелился! — закричал я,—

трудно потерпеть, домовой? — и чуть не выругался матерно.

— Вот и не выходит дело,— подошел отец,— держись, я подсажу.

— Нет, не надо, не надо! — торопливо сказал я и, собрав последок сил, метнулся на шею Буланого. Перебрасывая ногу, я пяткою ударил отца под подбородок.

— Э, сволочь! — воскликнул он, рванув меня за рубашку и сбрасывая на землю.— Пошел к чертовой матери, наездник! — и начал потирать ладонью подбородок.

Я съежился и задрожал, как облитый холодной водою, смотря на отца глазами, полными слез. А он, надевая хомут на Буланого, опять закричал:

— Не тебе я сказал? Уходи, покуда морду не набил!..

Что бы ему так не делать!

III

Мать имела одиннадцать детей, но в живых осталось только двое: сестра и я — последыш. Маленькою девочкой, четырех-пяти лет, сестра хворала оспой, на лице ее остались шрамы. Росту она высокого, широкоплечая, скуластая, с большим приплюснутым носом, обветренная, молчаливая. Густые темно-русые брови и длинные опущенные ресницы, из-под которых блестят серые глаза, равнодушные и чужие, как у отца; у самого ядрышка на них — легкая желтизна. Губы плотно сжаты, говорит мало, глухо отрубая слова и глядя в сторону; зубы — крепкие, белые, крупные; длинные волосы мягки, как шелк, и нежны, как паутина. Руки от грубой работы в рубцах и ссадинах; на ногах — лапти.

Помнить хорошо сестру я стал пяти-шести годов, когда ей было за тринадцать. Стояли знаменитые петровки 1892 года, деревня голодала и гибла от холеры. Каждое утро и вечер тянулись вереницы гробов, остро пахнувшие известью и карболовкой. На мысах, у реки, жгли одежду и утварь незнакомые люди с орлами на картузах. Неслись, не смолкая, рыдания осиротевших детей; люди выбились из сил, питаясь травою, луком и хлебом, смешанным с древесною корою, горьким, как полынь.

Утром однажды я лежал еще в постели. Слышу: мать плачет, упрекая кого-то или жалуясь. Отец сидит, насупив нос, на лавке и молчит: он с похмелья угрюм.

— Что я с ним буду делать, а? — часто повторяет мать.

Сначала я подумал: не обо мне ли речь? — но, вспомнив весь вчерашний день, тотчас же успокоился.

«Либо что случилось, либо мать ругается за пьянство,— решил я.— Толку все равно не будет».

Отец, заметив, что я не сплю, прикрикнул:

— Ты что там, барин, дрыхнешь до обеда, забыл про кнут? — Шаря около себя руками, он добавил: — Я тебя выучу!.. Дворяниться не будешь с этих пор!

Отца я боялся, как огня, и этот окрик отнял у меня всякую возможность двигаться.

На счастье, заступилась мать.

— Он тебе мешает? — сказала она, возясь с горшками.— И так разогнал всех, мучитель!

Сметая веником с шестка пыль, мать причитала:

— Скоро и меня в гроб вколотишь, руки бы твои отвалились поганые... И бога не боишься, змей!

Я заплакал. Вспомнилась вчерашняя сцена, сестра Мотя, которая теперь где-то пропадает, избитая.

«Может быть, она уж больше не придет никогда»,— подумал я и стал плакать громче.

Накануне было вот что.

Запряг отец лошадь и, войдя в избу, сказал матери:

— Давай холсты, я поеду на станцию.

Сестра стирала рубахи, а мать возилась с шерстью.

— Не дам,— сказала она.

— Что ж, не жравши будешь? — спросил отец.— Я куплю муки на них.

Мать молчала.

Отец пошел в амбар, сбил топором замок с ящика и начал выбирать холсты, полотенца и сарафаны, складывая все в мешок и бросая на телегу.

— Мамка! — закричала сестра, посмотрев в окно.— Гляди-ка, он сундук разбил!

Обе с плачем выскочили на улицу и подбежали к амбару. Отец уже добирал последки. Ни просьбы, ни мольбы не помогли. Тогда мать вцепилась обеими руками в мешок и закричала:

— Не дам последнего, злодей!

Отец сказал:

— Брось.

Мать еще крепче вцепилась.

Отец молча ударил ее кулаком по лицу. Она мотнула головой по-лошадиному и опрокинулась на спину.

Изо рта ее обильно заструилась кровь. Полежав чуть-чуть, она вскочила на колени и поймала отца за руку. Она умоляла пожалеть нас, детишек, и «доброго» не продавать. Протягивая губы, мать пыталась целовать его руку, но отец вырывал ее и снова ударял по голове и по губам... Мать падала навзничь, хваталась за лицо, плакала и опять лезла. Отцу надоело это: взяв ее за волосы и обмотав их вокруг руки, он приподнял от земли голову ее и бил по правому виску, уху и щеке толстым ореховым кнутовищем. Мать только стонала.

Я помню: отец бил часто лошадь так, когда та не могла везти тяжелый воз,— по уху и скулам, норовя попасть ближе к глазу. Как и в тех случаях, лицо его становилось багровым, глаза мутнели, он трясся.

В это время сестра моя вскочила на телегу, схватила мешок с добром и убежала в избу, бросив его там на печку и прикрыв дерюгой.

В продолжение всей этой сцены я стоял, как прикованный к месту, не в силах вымолвить слова. Потом какой-то ужас охватил меня: я вскрикнул и побежал вдоль деревни, сам не зная куда.

Очутившись на чужом дворе, я лег там в хворост, затаив дыхание. Руки и ноги тряслись, по спине ползли мурашки, а сердце то замирало, то колотилось. Страх был настолько велик, что я даже не плакал.

Вышла пожилая женщина, мать Мишки Немченка, отыскала меня в конуре.

— Ты чего тут забился? Али отец выдрал? Эх вы, озорники!

Ничего не сказал, не нашелся. Поспешно выскочив из хвороста, я с плачем побежал домой.

Мать лежала у телеги одна. Раза два она приподнялась на локте, силясь встать, но тотчас слабела и тыкалась головою в землю.

— Ваня,— увидела она меня,— помоги мне, батюшка, подняться! — Мать вытерла с губ кровь.

Я подскочил к ней, обхватил руками ее шею и, трясясь весь, как лист, затвердил:

— Мамочка, не надо!.. Мамочка, не надо!..

Что́ не надо, я не знал. Стоял перед ней на коленях и говорил как в бреду:

— Не надо!.. Не надо!..

— Подыми меня,— повторила мать и, освободившись из моих объятий, кое-как встала. Шатаясь, схватилась за задок телеги, поглядела туда.

— Где же добро? Куда его девали?

— Унесла Матрешка в избу,— сказал я.

— Матрешка унесла?

Мать подошла к амбару и опустилась на приваленный к стене камень. Упершись локтями в колени, склонила на руки голову, сплевывая по временам кровавую слюну.

Отец же, заметив, что мешок пропал, пошел в избу.

— Ты куда его прибрала, стерва? — обратился он к Моте.

— Я, тятя, не знаю,— ответила сестра, всхлипывая и предчувствуя близкую расправу.

— Врешь, холсты здесь!

Отец схватил девчонку за косу.

— Слышишь или нет?

Но с сестрой случилось странное: она вырвалась из его рук, вскочила на лежанку и, загораживая собою мешок, проговорила твердо:

— Уйди! Не получишь холстов! Пропивай свое, а нашего не трогай!..

Вся она тряслась, глаза горели, а рябое лицо дышало решимостью.

Это было неожиданно и дерзко. Отец в первую минуту даже растерялся. Потом, сурово сдвинув брови, он направился к сестре и схватил ее за подол платья. Но тут случилось невероятное: со всего размаха Мотя ударила его лапотной колодкой по голове. Отец схватился руками за ушибленное место, съежился и раскрыл рот, ожидая нового удара. Обеими руками сестра с еще большею силой опустила колодку на темя отца.

— Вот тебе!

Он вскрикнул, метнувшись в сторону, и зашатался. А Мотя стояла будто в столбняке каком: лицо побелело как полотно, глаза неестественно расширились. Только губы по-прежнему были сжаты и чуть-чуть дрожали.

Опомнившись, отец закричал на нее, матерно ругаясь, замахал руками, затопотал, но подойти боялся. На несчастье сестры, с другой стороны печки стояла деревянная лопата, на которой сажают хлеб. Со злорадно заблестевшими глазами отец схватил эту лопату и, подскочив к лежанке, ткнул ею изо всей силы в грудь сестру. Та ахнула, свалившись снопом на пол.

— Ага, сволочь! — заржал он.

Через значительный промежуток времени соседи вырвали бесчувственную Мотю из рук отца. Все тело ее

распухло и почернело, как земля; волосы местами были выдраны, образуя на голове плеши, местами спутались в куделю; на них запеклась кровь.

Отец, взяв холсты, поехал на станцию, сестру соседи увели к себе, а мать по-прежнему сидела у амбара. Подняв валявшийся платок, я подал его матери и сел у ног ее.

— Больно тебе, мама? — спросил я.

— Больно, сынок,— ответила она.

Ярко блестело солнце, накаливая сухую, потрескавшуюся серую землю. Пахло гарью, карболовкой, дорожной пылью. Большим вымершим домом стояла деревня, молчаливая, покорная, привычная ко всему.

IV

Эту ночь мы не ночевали дома. Знали, что отец приедет пьяный, будет кричать и драться, поэтому, как только пригнали скотину, мать напоила ее, и мы ушли на Новую Деревню — к тетке.

Дома не было хлеба, я не ел второй день, но пережитые волнения отбили всякую охоту, так что, когда нам предложили ужинать, мы отказались.

Стемнело. Тетка стала готовить постель на кутнике, мать о чем-то с нею разговаривала, а я дремал. Вдруг задребезжала с большака телега, издали послышалась пьяная песня.

— Кажется, ваш воин едет,— промолвила тетка, заглядывая в окно.

Мать побледнела и проговорила дрожащим голосом:

— Загаси, пожалуйста, огонь.

Мы остались в темноте. Я прижался к матери, обхватив руками ее шею, и заплакал.

— Бедная моя детка,— говорила мать, гладя меня по голове и целуя.— Не плачь!.. Он не найдет нас тут... Ложись в постельку...

Слезы текли у нее по щекам и горячими каплями падали на мою руку, но она сдерживала рыдания, утешая меня.

Колеса загремели под окнами. Можно было разобрать слова любимой песни отца, которую он пел всех чаще:

Собачка, верная служанка,
Не лает у ворот:
Заноет мое сердце,
Заноет, загрустит...

Язык его заплетался, телегу трясло, песня, обрываемая на полуслове, выходила несуразной, похожей на икоту.

— Нализалась, собачка! — со злобой бросила тетка, прикрывая окно.— Дуролом непутный!..

А мать все гладила меня по голове, лаская и называя нежными именами. Рука ее дрожала; целуя, она прижималась правым углом губ, потому что левый был рассечен кулаком.

— Усни, мой миленький,— шептала мать,— усни, мой сокол ясный!..

Всхлипывая, я целовал ее несчетно раз, прижимаясь головою к груди. Передо мною снова встала картина, как она лежит беспомощная на земле, а отец бьет ее кнутовищем по лицу... Я весь затрясся от рыданий, крепче обвил ее шею и с безумной болью в душе стал твердить:

— Мамочка!.. Мамочка!..

И мы долго сидели так, тесно прижавшись друг к другу.

Тетка давно уже спала, а нам все не хотелось расставаться. Потом как-то незаметно я уснул на коленях у матери. Чуть-чуть помню, как она перенесла меня на постель и поцеловала, перекрестив.

Ухватившись ручонками за плечи, я спросил:

— Ты тоже со мной ляжешь?

— Да, спи, Христос с тобой,— ответила мать.

И я снова задремал.

Во сне бегал с Мухой по какой-то балке, гоняясь за журавлем. Оступившись, упал вниз, закричал и проснулся. Хотел было заплакать — незнакомая хата, один, темнота, но услышал тихий разговор и притаился.

— Лежи, успеешь,— шептала тетка.— Петухи еще не пели, почто пойдешь ни свет ни заря?

— Нет, надо идти,— узнал я голос матери,— там, чай, лошадь не распряжена: пить, есть хочет... Пойду... А ты утречком, убравшись, приведи Ванюшку.

— Мама, я с тобой пойду,— отозвался я, приподнимаясь на локте.

— Вон он — сверчок, не спит! — рассмеялась тетка.

— Зачем же, милый? — сказала мать.— Рассветет, тогда с тетей придешь.

Голос — неуверенный: идти одна, должно быть, мать боялась. Мигом я вскочил с постели, отыскал картуз, и мы вышли на улицу.

Было еще темно. Небо казалось чистым и бесконечно глубоким. Светлым бисером на нем рассыпались звезды. Тишину нарушали лишь наши шаги, мягко тонувшие в дорожной пыли, да ночной сторож, бивший в колотушку.

Минут через двадцать приблизились к дому. Навстречу выскочила Муха, радостно визжа и прыгая на грудь.

— Что, разбойница, соскучилась? — спросил я, наклоняясь к ней.

У забора стояла привязанная лошадь. Увидя нас, она заржала и стала бить копытом землю.

Тихонько открыв ворота, мы ввели ее во двор, распрягли, дали корму. Набросившись на свежую траву, лошадь захрустела, быстро передвигая челюстями.

Осмотрели телегу. На дне ее, завернутый в веретье, лежал мешок с мукою в пуд.

— Только всего и привез, пьяница! — грустно проговорила мать.

Пока она снимала и развязывала мешок, я присел на веретье и начал дремать. Куры завозились на насесте. Я открыл глаза. Склонившись над мукою, мать торопливо захватывала полные горсти ее, суя себе в рот. Еще сквозь дрему я слышал ее слова: «Не затхлая ли — надо попробовать»,— а когда проснулся, увидел, как она жадно жует, все спеша, все стараясь взять больше.

— Мама, что ты делаешь? — спросил я, смотря на нее в недоумении и страхе.

Мать сконфузилась.

— Ты, знать, задремал? — прошептала она, поспешно вытирая губы.— Пойдем в избу.

— Нет, я есть хочу.

Проснулся голод, в животе заныло и засосало.

— Ничего нету, сынок,— ответила мать.— Пойдем, поспи немножко, а утром я тебе калачик испеку.

Но голод — не тетка, и сдаться я уже не мог.

— Мама, а муку нельзя есть? Ты же ела, дай и мне.

Мать развязала мешок, и я поспешил запустить туда руки.

— Смотри, не рассыпай,— предупредила мать.— За нее деньги платили.

Без привычки есть муку было неудобно: она лезла в горло и нос, захватывая дыхание; образовавшееся во рту тесто прилипало к деснам, вязло в зубах.

— Ты не торопись, понемножку,— вот так,— учила мать, беря муку щепотью и кладя себе в рот,— не жуй ее, а соси... Больше соси...

Запели вторые петухи.

— Пойдем в избу,— заторопилась она.— Отец скоро проснется.

Я покорно встал. Мать взяла меня на руки, и я тотчас же уснул, положив голову на плечо ее.

V

Купленная мука оказалась гнилой, с песком. Хлеб совершенно не выходил: на лопате он был еще ничего, но стоило посадить в печку, и он расплывался безобразным блином.

Правда, год был голодный, хорошей муки нигде нельзя было достать, но такой, кажется, и не видали.

Когда ковригу вытаскивали из печки, верхняя корка вздувалась пузырем, под нею образовывалась измочь, и мякиш превращался в тяжелую, вязкую глину. В другое время такой хлеб собакам стыдно было бросить, а тогда — ели, радовались и хвалили.

Потом опять доели все. Последние десять фунтов муки мать смешала с двойным количеством лебеды, и нам хватило хлеба суток на трое. За день же до петровского разговенья, вечером, мы получили по последнему куску.

— Ну, детки, нынче ешьте, а завтра — зубы на полку: хлебушка больше нет,— сказала мать.

Мотя в это время ходила на поденную к помещику.

Мне дали два ломтя, а отец, мать и сестра получили по одному. Ложась спать, я один съел, а другой спрятал к себе под подушку — на завтра.

«Скоро у нас опять будет драка,— думал я,— отец станет хлеб добывать».

Закрывшись с головою дерюгой, я прикидывал на разные манеры, как бы помочь: попросить бы, что ли, у кого или украсть, а то еще что-нибудь сделать, чтобы отец с матерью завтра обедали, а драться обождали.

Незаметно мысль перешла на сегодняшнее.

«Жалеют меня: два ломтя дали... а сами по одному...»

Засунув руку под подушку, я нащупал хлеб.

«Как только встану, умоюсь — сейчас же и съем».

Вдруг пришло в голову:

— А ну-ка, кто-нибудь вытащит ночью — Мотя или мыши?

Вскочив с постели, я подошел к матери, собиравшейся улечься:

— Мама, дай мне, пожалуйста, замок с ключом.

— На что тебе, детка?

— Нужно, дай.

— Сейчас я поищу.

Покопавшись в углу, мать принесла замок. Я побежал в сени к своему ящику, в котором у меня хранились бабки, осколки чайной посуды, самодельные игрушки, лоскутки цветной бумаги, примерил замок и, тихонько прокравшись к постели, взял оттуда хлеб, чтобы спрятать его.

— Глупенький, его же никто не возьмет, зачем ты затворяешь?

Склонившись надо мною, стояла мать, смотря мне в лицо, и тихо плакала.

В душу прокрался мучительный стыд, но я сделал попытку оправдаться.

— Я боюсь, кабы его ночью кошка не съела,— сказал я, но, вспомнив, что кошку отец еще осенью убил, стал путаться.

— Чужая прибежит и слопает, когда я сплю,— неуверенно, чуть не с мольбою, говорил я.

Мать, должно быть, поняла меня.

— Затвори, затвори,— сказала она,— так надежнее.

На другой день, когда я проснулся, все уж были на работе и возвратились поздним вечером усталые, голодные.

Мать я увидел далеко за деревней и побежал к ней навстречу. Засмеялся сначала от радости — скучно же целый день одному! — а потом прижался к ее платью и горько заплакал.

— Ты что, миленький, о чем? — спросила она.— Тебя кто-нибудь побил?

Безумно хотелось есть, но я постыдился сказать ей об этом и, всхлипывая, проговорил:

— Да, меня ребятишки обижают — не принимают играть.

— За что же они, голубчик? Ну, погоди: я им ужо накладу, озорникам!.. Не плачь, на вот гостинчик. Бабушка Полевая прислала.

Развернув тряпицу, мать подала мне кусочек запыленного хлеба.

— На вот, ешь.

С непередаваемым наслаждением съел я эту корочку, и на душе сразу повеселело.

Я шел, уже посмеиваясь, а когда увидел Мишку Немченка, стал поддразнивать его:

— Михаль! Мне мама принесла гостинец, а у тебя нету.

— Ну-ка — какой? — подскочил он ко мне.

— Не покажу,— заважничал я.— Бабушка Полевая прислала: хороший, хоро-о-оший!..

Мотя пришла всех позднее, когда я лежал уже в постели. Она молча сняла зипун, разула лапти, выбила пыль из них и развесила онучи по веревке.

— Матрешк,— не утерпел я,— мать мне гостинец принесла.

— Какой? — равнодушно спросила она.

— Ого! Ты больно любопытна! А если не скажу?

— Не скажешь — не надо.

Она зачерпнула воды из кадки и стала умываться, потом долго, усердно молилась богу.

— Будет тебе, монашка,— сказал я,— в святые, что ли, метишь?

— В слепые!

— Ты нынче что-то сердитая, бил, видно, кто, или — так? — высунул я голову.

Мотя отвернулась.

На дворе стемнело. Лаяла где-то собака. Скрипели ворота. Прохор, сосед, кричал работнику, чтоб взял из сарая клещи. Под кроватью щелкала зубами Муха, выкусывая блох. Отец шаркал босыми ногами по полу, натыкаясь то на ведро, то на лохань.

— Ты нынче обедал? — спросила сестра, ложась.

— Нет, а ты?

— Я обедала.

— Счастливая какая, где?

— Мало ль где,— ответила она.

Пошарив рукою под изголовьем, Мотя проговорила, поднося что-то к моему лицу:

— Съешь-ка вот.

— Что это?

— А ты ешь, не расспрашивай, коли дают.

Она держала тот самый ломтик хлеба, что получила накануне. С одного угла он был обломан.

— Это — твой вчерашний? Как же...

— Фи-и,— засмеялась сестра,— тот я еще утром съела!..

— А этот?

— А этот мне девки дали... Целый ломтище!.. Ела-ела, некуда больше, я и принесла тебе.

— А не брешешь?

— Жри, сволочь, что пристал? — закричала со злобой сестра, тряся меня за локоть.

— Сама ты сволочь,— сказал я и принялся за хлеб.

Мотя отвернулась, кутаясь в дерюгу, но через минуту, приподняв голову, спросила:

— Засох небось?

— Хлеб-то? Ничего: есть можно.

Она ощупью собирала крошки и клала к себе в рот.

— Тебе дать немного? — спросил я.

— Сам-то ешь, я ведь обедала.

— Чего там — на кусочек! — и я отломил ей чуть-чуть.

Мотя отнекивалась, потом взяла хлеб, отщипывая помаленьку и сося, как леденец, а я, дожевав остаток, уткнулся в подушку и захрапел.

VI

На преображение Буланый наелся на гумне ржи из вороха, раздулся, как бочонок, и стонал, лежа в углу, на соломе, а через сутки издох.

Мать вопила в голос, когда с него Перфишка сдирал кожу, а отец молчал как истукан.

— Недогляд — это дело не важное,— бормотал Перфишка, обчищая ноги.— Глядите-ка! — и воткнул большой ржавый нож в живот Буланому.

— Что ты, живодер, надругаешься! — сказала мать со слезами.— Он кормил нас девять лет, а ты его ножом.

— Я пары выпускаю,— ответил мужичонка.— У него пары скопились ото ржи.

В животе Буланого заурчало, и со свистом и шипением начали выходить пары.

— Ишь, как валит! — восхищенно говорил Перфишка, обминая драные бока,— как из трубы! Рожь у него теперь в кутью распарилась.

Облупивши мерина, кожу бросили в одну сторону, а дохлятину — в другую. Я поглядел на желтые зубы

Буланого, на его выпавшие глаза, отрезанные уши, распоротый живот и заплакал.

— Теперь его куда-нибудь подальше от деревни,— сказал Перфишка,— чтобы не воняло.

Отец взял у соседа лошадь и, привязав Буланого веревкою за шею, стащил за огороды в ров.

— Лежи тут, голубок,— сказал он, глядя на мерина.— Лежи...— Вздохнул, надвинул на глаза шапку, помялся и пошел домой. Обернувшись, спросил: — А ты что же не идешь?

Хотел еще что-то сказать, но только покашлял, отвернувшись.

Я крикнул ему вслед:

— Я буду караулить, чтоб не слопали собаки!

И я сидел до самого обеда.

Пришел Тимошка поглядеть.

— Издох ваш мерин!

— Да, издох.

— Теперь вас будут звать безлошадниками, нищетой несчастной.

— И вы нас не богаче,— сказал я.

— Богаче — не богаче, а у нас все-таки матка с жеребенком.

— Может, бог даст, и у вас матка издохнет, тогда и вы будете нищетой.

— Чтоб у тебя язык отсох, у паскуды! — сказал Тимошка, сплевывая.— Чур нас! чур нас! чур нас!

— Чтоб у тебя отец издох за эти слова! — добавил он.

Я тоже сплюнул три раза и ответил:

— А у тебя мать.

За ужином отец сказал:

— Без лошади не жизнь, а дрянь одна,— и продал наутро теленка, корову и овец.

За эти деньги он купил в Устрялове Карюшку, низенькую черную лошаденочку с тонкими ногами, тонкой шеей и белой звездочкой на лбу.

— Теперь, Иванец, у нас новая лошадь,— сказал он, отворяя во двор двери,— погляди-ка.

Целую неделю, каждое утро, я бегал в закуту кормить ее хлебом.

— Машка! Карюшка! — кричал я.— Па́пы хочешь?

Лошадь весело ржала и подходила ко мне, протягивая морду. Я гладил ее по бокам и, давая хлеб, говорил:

— Ешь, да только не издохни, чумовая!

Отец однажды услыхал мои слова и рассердился:

— Еще накаркаешь, чертенок! Не говори больше так! — и, как Тимошка, три раза сплюнул.— Господи Сусе-Христе, чур нас! чур нас! чур нас!

И я перекрестился на колоду и сказал:

— Господи Сусе-Христе, чур нас! чур нас! чур нас!

Про Карюшку люди говорили:

— Лошаденка — ничего... Мелковата будто, слаба, но цены стóит, поработает годок-два.

Но, приехав с поля, отец сказал раз матери:

— Пропали денежки: кобыла с норовом.

Лицо его было мрачно, и говорил он сквозь зубы.

Мать побледнела.

— Неужто с норовом?

— Остановилась на горе... упала... Отпрягать пришлось.

— Эх, старик, поторопился ты малость. Приглядеться бы надо получше!

— Что ты понимаешь? — ответил отец.— Приглядеть-ся! Когда? Рабочая пора-то или нет? Языком болтать любишь, баба!

Перевозив с грехом пополам овсяные снопы, отец поехал сеять озимь и меня с собою взял.

— Картошки будешь печь мне,— говорил он.

Я в поле ехал первый раз, и радости моей не было конца. Мигом собравшись, я уселся на телегу, когда лошадь еще не запрягли. Вышедший отец засмеялся.

— Рановато, парень, сел,— сказал он,— семян надо прежде насыпать.

Положив мешки с рожью и укутав их веретьем, сверху бросив соху с бороной, лукошко, хребтуг, в задок — сено и хлеб, отец сказал:

— Теперь лезь.

— А Муху возьмем? — спросил я.— Ишь как ластится, непутная!

— Муха пускай дома остается,— ответил отец.

В поле я собирал лошадиный навоз и пек в золе картошки, ездил верхом на водопой, приносил отцу уголек закурить, ловил кузнечиков и все время думал, что я теперь не маленький.

Встречая у колодца товарищей, я снимал, как большие, картуз и здоровался:

— Бог помочь! Много еще пашни-то?

Мне серьезно отвечали:

— Много...

Или:

— Добьем на днях: осминник навозный остался... жарища-то!..

Не умываясь по утрам, я хотел быть похожим на отца: запыленным, с грязными руками и шеей. Бегая по пашне, выбирал нарочно такое место, где бы в лапти мои набилось больше земли и, переобуваясь вечером, говорил отцу, выколачивая пыль о колесо:

— Эко землищи-то набилось — чисто смерть!

Отец говорил:

— Червя нынче много в пашне, дождей недостает: плохой, знать, урожай будет на лето.

Я поддакивал:

— Да, это плохо, если червь... С восхода нынче засинелось было, да ветер, дьявол, разогнал.

— Не ругай так ветер — грех,— говорил отец.

Ложась спать, я широко зевал, по-отцовски чесал спину и бока, заглядывал в кормушку — есть ли корм, и говорил:

— Не проспать бы завтра... Пашни — непочатый край...— И опять зевал, насильно раскрывая рот и кривя губы.— О-охо-хо-хо!.. Спину что-то ломит — знать, к дожжу.

Отец разминал ногами землю у телеги, бросал свиту, а в голову — хомут или мешок, и говорил:

— Ну, ложись, карапуз.

Трепля по волосам, смеялся:

— Вот и ты теперь мужик — на поле выехал.

Я ежился от удовольствия и отвечал:

— Не все же бегать за девчонками да щупать чужих кур — теперь я уж большой.

Отец смеялся пуще.

— Не совсем еще большой, который тебе год?

— Я, брат, не знаю — либо пятый, либо одиннадцатый.

— Мы сейчас сосчитаем, обожди,— говорил отец,— ты родился под крещенье... раз, два, три... Оксютка Мирохина умерла, тебе три года было — это я очень хорошо помню: мы тогда колодец новый рыли... Пять, шесть... Семь лет будет зимой,— ого! Женить тебя скоро, помощник!

— Немного рано: не пойдет никто!

— Мы подождем годок.

Отец вертел цигарку и курил, а я, закрывшись полушубком, думал,— какую девку взять замуж.

— Тять,— говорил я,— а Чикалевы не дадут, знать, Стешку за меня, а? Они, сволочи,— богатые.

— Можно другую,— отвечал отец, улыбаясь.— Любатову Марфушку хочешь? Девка пышная!

— Что ты выдумал? Ее уж сватают большие парни!

— Ну, спи,— говорил отец,— а то умаялся я за день, надо отдохнуть.

Пашня наша подвигалась, но Карюшка с каждым днем худела. Бока ее осунулись, кожа присохла к ребрам, над глазами появились две большие ямы, а шея стала еще тоньше. Когда наступал обед и отец подводил лошадь к телеге, она, всунув голову в задок, где привязан был хребтуг с овсом, жадно хватала зерно и, набрав полный рот, замирала. Раздувались красные ноздри, шея и ноги тряслись, на водопой шла спотыкаясь.

— Что, Карюшк, замучилась? — спрашивал я, давая ей хлеба.

Лошадь наклоняла голову и терлась о мое лицо.

— Трудно тебе, девка,— говорил я, гладя ее гриву.

Она клала морду на плечо и шевелила мягкими губами.

— Трудно, трудно,— повторял я.— Хочешь огурцов?

Лошадь отказывалась, крутя головой и вздыхая.

Подходил отец.

— Что, разговариваете? — спрашивал он и, трепля Карюшку по спине, говорил ей: — Дотяни как-нибудь до конца, а зимой отдохнешь, матушка... Постарайся!..

Дня через четыре мы переехали на прогон. Пашня там была труднее: стада овец и коров утрамбовали землю так, что соха еле брала. К позднему завтраку сломали сошник.

— Ах, черт бы тебя взял! — воскликнул отец и стал бить лошадь кнутовищем.

Та заметалась, бессильная, и, споткнувшись на обжу, переломила ее.

— Погоди, я тебе задам горячих,— сказал отец,— ишь ты — падать! — и бил ее сильнее.

Пока приехали домой, да пока справляли новую соху, прошел день.

— Ну, как,— не видал Полевую Бабушку?— спрашивала мать.

— Только мне и дело, что Бабушку смотреть,— ответил я,— я, чай, работал, слава богу.

— Ах ты, мужик мой милый,— засмеялась она и дала мне вареное яичко.— На-ка, съешь.

А сидевшая на лавке Мотя дернула презрительно губою и сказала:

— Тоже пахарь, коровья пришлепка!..

— Это дело,— сказал я, беря яйцо и не обращая внимания на сестру,— в поле только хлеб да печеные картохи.

— Молочка не хочешь ли? — спросила мать.— Тетуня принесла.

— Как не хочу! — воскликнул я.— Давай и молоко: все давай, что есть.

Потом я сел посередь избы разуваться, так, чтобы видели все.

— Смотри-ка, мать, землищи-то сколько в лаптях,— говорил я, хмуря брови.— Пыль эта совсем меня замучила!

Мать втихомолку смеялась, а сестра поддразнивала:

— Весь день под телегой пролежал, поди, а тоже хвастается, овечий выродок!

Я ей ответил на это:

— Хорошо тебе, сидя на печке, болтать языком, а съездила бы раза три на водопой да посбирала бы котяшья, так узнала бы, как на пашню ездят, тумба!

И я победоносно взглянул на сестру, потом, усевшись в передний угол, стал крутить цигарку из мха.

— Покурить,— говорю,— что-то захотелось.

Мать мне на это ответила:

— Как бы я тебе, друг, губы не обтрепала! Ишь ты выдумал чего!

— А как же ты отцу ничего не говоришь? — спросил я, отодвигаясь на всякий случай подальше.— Дрейфишь, старая? Он бы тебе всыпал!

Мать не нашла, что сказать.

Утром следующего дня Мотя принесла нам в поле завтрак.

— Приказчик был с нарядом,— сказала она.— Беспременно, чтобы нынче выезжать, а то — штраф большой.

Отец бросил ниву и поехал сеять барскую землю.

Зимой, в бескормицу, Осташков дал соломы мужикам, которая была ему не нужна, с тем, чтобы они обработали летом по две десятины земли на двор.

На нашу долю достался пай у оврага. Земля там волнистая, крутая, заросшая пыреем и диким клевером. К вечеру пошел небольшой дождь, разрыхлил почву. Отец радовался:

— Слава богу, как-нибудь осилим... Ишь, соха-то — как по маслу прет.

Поужинав, мы улеглись под телегой, стреножив лошадь на отаве. Ночью меня разбудил крик и матерная брань. Отбросив полушубок, я прислушался.

— Домой, что ли, приехал, с... с...? — кричал чужой мужик.— Я тебе покажу, как баловаться!

Послышались удары кнута по спине и странный голос отца:

— Что ж вы делаете, Гордей Кузьмич?.. Я на минутку!..

Отец будто лаял, когда говорил, или будто кто держал его за глотку.

Началась возня, удары участились и были глухими, словно выбивали пуховую подушку.

— За что-о вы, господи-и! — кричал отец.— Трава-то так же пропадает!

А чужой мужик, которого отец величал Гордеем Кузьмичом, сердито спрашивал:

— Где оброть? Давай сюда скорей!

— Где же ее взять? Теперь темно,— отвечал отец.

— Неси, подлец, всю морду разобью! — орал Гордей Кузьмич, и снова по траве или спине хлопал кнут.

Отец подошел к задку телеги, пошарил там руками и нагнулся к хомуту. Рядом с ним стоял высокий человек с ружьем через плечо, держа в поводу оседланную лошадь. Лошадь била копытом землю и жевала удила, отчего они хрустели, а помещичий объездчик, обрусевший черкес, ругался матерно, сопел и чванился.

— Нате,— сказал отец, подавая оброть.

Чужой мужик, Гордей Кузьмич, отъехал и вскоре с луга донеслось:

— Стой, дохлая стерва! Вся в хозяина — упрямая!..

В воздухе свистнул арапник.

Потом затопало четыре пары ног, зашумел лозняк на дне оврага, и затихло.

Я дрожал, притаившись.

Отец, подойдя к телеге, упал на землю около заднего колеса и, вцепившись в обод пальцами, стал трясти телегу, стукаясь головою о спицы. После заплакал как маленький:

— Батюшки мои! Родимые! Голубчики милые!.. Ох! ох! ох!.. Смертушка приходит!..— И закатился, раскинув руки и уткнувшись лицом в сырую землю.

Утром, чуть свет, когда я спал еще, он побежал на

барский двор выпрашивать загнанную с княжеской отавы лошадь. Возвратился через час, осунувшийся, серый, усталый. Молча сел на втулку колеса, схватился обеими руками за волосы и завопил:

— Где я возьму трешницу? За что-о? — и покрутил головою не то икая, не то кашляя, не то стараясь удержать рыдания. Под левым глазом у него синяк, в пятак величиною, на ухе — ссадина.

Перед завтраком опять пошел в имение и возвратился только вечером. Я же, сидя на телеге, ждал его.

— А где же отец твой, эй ты, барин! — спрашивали проезжавшие мимо мужики.

— Я не знаю,— отвечал я.

— Вот так штука! — хохотали они.— Его, видно, цыган ночью украл?

Когда выросла в четыре шага тень от сохи и перестали кусаться мухи, захотелось есть. Встав на телегу, я осмотрелся и закричал:

— Тятя-а-а! Иди домой: е-е-сть хочу-у! — закричал я со слезами.

На пригорке, в полуверсте, между кущами деревьев, золотились на ярком солнце соломенные крыши служб, над ними — церковь с бледно-голубым, под цвет неба, куполом и рыжим восьмиконечным крестом; красные крыши молочни, кузницы и конского завода — словно яркие платки деревенских модниц, развешанные на кустах. Между серыми полосами теса белели каменные столбы — наугольники амбаров с хлебом и зерносушилки; дальше — пруд и около — высокий старый лес, откуда выглядывал двухэтажный барский дом с десятком лучистых окон. По другую сторону, совсем вдали, за синим маревом — Захаровка, рядом — Свирепино. Между деревнями и имением ровная, буро-желтая полоса овсяного жнивья, ряды посеревших копен и два оврага; направо — пашня с рубежами, по которой ползали в сохах мухи-лошади, а налево — бугристый берег Неручи, изрезанный морщинами, с каймою чапыжника, лозы и дягиля у воды. В лощине, между нашими полями и помещичьим имением, лежало Осташково, не видное отселе. Между ним и деревней, описав кривую, текла Неручь.

Вдали послышалась песня. Она становилась слышнее, и вскоре застучали колеса в логу. Подъехавший с боронами молодой парень спросил меня:

— Чего ты плачешь, мальчуган?

— Есть хочу,— ответил я.

— Эх ты, пахарь! — сказал он.— А где же отец?
— Пошел к барину за лошадью.
Он подошел к телеге, пошарил в веретье и сказал, доставая мешок:
— Вот он — хлеб: жуй. Вот огурцы соленые.
Солнце зашло, побагровело небо, земля и жнива посерели. Приплелся понурый отец.
— Ты ел? — спросил он.
— Ел.
Достав хлеб, отец отломил маленькую корочку, с неохотой пожевал ее, запивая теплым квасом, потом сказал:
— Пойдем домой.
— А лошадь как же? — спросил я.
Он промолчал.
Думая, что он не расслышал, я переспросил. Отец топнул ногой, закричал, замахал руками, матерно ругаясь, и схватил меня за шиворот.
— Какое тебе дело,— тряс он меня, как котенка.— Чтоб тебя черт задавил!
Дышать было трудно; я крутил головою, упирался руками отцу в живот и визжал.
Он толкнул меня в спину ладонью, я упал, заорав во всю глотку:
— Ой, спину повредил! Ой, что-то колет!..
— Перестань! — цыкнул отец.
Я вытер глаза и сказал:
— Теперь я больше не поеду с тобой на пашню: ты дерешься.
— Нужен ты, как пятая нога собаке! — проворчал отец.
— Вырасту большой — отделюсь от тебя.
— Замолчи!
— Что ли, я Карюшку-то увел?.. Ты бы этак по спине объездчика хватил...
Отец взялся за голову.
— Замолчи, Христа ради, сатана!.. Замолчи!..
Мать дома плакала, когда мы поздним вечером вернулись: она знала о несчастье.
На второй и третий день Гордей Кузьмич Карюшки не отдал. На четвертый мать побежала упрашивать его сиятельство, но около дома ее укусила легавая помещичья собака, и мать воротилась в слезах. Пообедав, отец сам пошел — второй раз за этот день.
— Что хочете, то и делайте со мною,— сказал он в

экономии.— У меня пропадает год.— И сел на землю у крыльца.

Осташков, князь, назвал его мерзавцем, хамом, свиньей.

— За такие вещи вас, разбойников, в конюшне драть! — покраснел он и затопал ногами.— Что-о?

Отец молчал.

— Избаловались!.. Что-о?..

— Я ничего.

— Как ты смеешь разговаривать?..

— Пожалейте, бога для.

Узнав, что отец пахал его землю, помещик смилостивился, распорядившись отдать лошадь без денег, но с условием, чтобы он обработал полдесятины лишних. Отец поклонился ему в ноги и приехал домой веселый. Голодная лошадь набросилась во дворе на старую солому.

— Дай мне хлеба поскорее, я поеду допахивать! — сказал он матери.— И так почти неделя лопнула.

— Три рубля, говорит, а где я их возьму — давиться, что ли? — бормотал отец, завязывая у окна мешок.— Три рубля — штука немалая! Ихний брат эти три рубля, может, в три дня заработает, а нам надо полмесяца, да и то — негде... Три целковых,— хорош Лазарь?

Обернувшись ко мне, он спросил:

— Поедешь или нет?

— Поеду,— сказал я.— Я теперь на тебя не сержусь.

— Вот и молодчина,— засмеялся отец.— И я не сержусь на тебя.

— Я, тять, и делиться не буду: я только постращать хотел, ей-богу! — тараторил я, отыскивая лапти.

— Хорошо, хорошо, об этом мы дорогою поговорим... Там просторнее...

Он посадил меня верхом на Карюшку, сунув в руки мешок с хлебом, а сам пошел сзади.

— Ну, трогай, белоногий,— сказал он, хлопая лошадь по крестцам ладонью.

Ночью пошел дождь. Карюшку привязали за крючья, а сами легли под телегу, набросав сверху мешков из-под зерна и веретье. К полуночи зашумел ветер, дождь перешел в ливень, под нас ручьями подтекала вода; я промок, перезяб и просился домой, а отец сначала уговаривал тихонько, а потом прикрикнул. Дождь шел до самого рассвета, днем солнце не выглянуло, и пашня стала тя-

желой, вязкой, липкой, для лошади — непосильной. Не успели вспахать и пол-осминника, а она была уже в мыле и тряслась. Отец ввил проволоку в кнут, а на конец его приделал гвоздь. Когда он стегал этим кнутом лошадь, она ежилась, сжималась, шатаясь, в комок и раскрывала рот. Правый пах ее, ляжка и бок покрылись волдырями и рубцами в большой палец толщиною, из которых текла кровь. К обеду лошадь стала: она даже и дрожать не могла, когда ее били. Отец был мрачен и зол, на глазах его блестели слезы, а я, прячась за телегу, навзрыд плакал, глядя на Карюшку.

В этот день мы отдыхали больше, чем следует. Запрягли лошадь снова только перед вечером, когда солнце стояло на три дуба от заката. Оправив вожжи и привязав их к рогачам, отец взял в руки страшный кнут. Карюшка, увидя его, нелепо подобрала зад, согнувшись, как хилый ребенок, и пошла боком, следя за отцом. Она сбивалась с борозды, и отец то и дело кричал:

— Ближе!.. Вылезь!.. Ближе!.. Тпррру-у!..

Борозда выходила кривой, с «селезнями». Чем больше отец бил Карюшку, тем она больше кособочилась, и тем хуже была пашня. Тогда отец сбил с шелевочного гвоздя шляпку и всадил этот гвоздь в обжу — там, где лошадь терлась левой ляжкой. Взмахнув кнутом, он крикнул:

— Н-но!

Карюшка дернула соху, заглядывая по обыкновению на правую руку отца и прижимаясь левым боком к обже. Гвоздь глубоко царапнул по ляжке. Она вздрогнула, метнулась и заржала, таща рысью соху. Отец, цепляясь за рогачи, не отставал. Через двадцать шагов силы убыли, ход замедлился, лошадь вывернула ноздри. Отец подстегнул. Кобыленка опять вильнула задом, и опять ей впился в ляжку гвоздь; опять брызнула кровь, и опять на теле появилась кровавая борозда... Лошадь опять засеменила ногами, хрипя и фыркая...

Через три с половиною дня барскую пашню окончили, а еще через три — свою. Лошадь ходила теперь прямо, но на левой ляжке у нее образовалась полоса, ладони в полторы шириною и ладони в две длиною красного ободранного мяса, из которого сочилась кровь, стекая по ноге на землю, и на которое садились тучами зеленовато-черные полевые мухи. Правый бок ее разбух от кнута, глаза обметались гноем, из них стала бить слеза, а ходила она раскорячившись.

Пашня кончилась. Поспела конопля. Карюшку выпустили в поле. Там она чуть-чуть оправилась: поджили раны, пропали рубцы, высохли слезы. Отец подкармливал ее ухвостьем и резкой, обильно посыпанной свежей мукою. Работа теперь сосредоточилась у дома: копали картофель, мочили пеньку, обкладывали к зиме сухим навозом.

Утром на Александра Невского отец запряг Карюшку в борону, посадил меня верхом и сказал:

— Поедем на конопляники сгребать суволоку.

Я ездил вдоль полосы, а отец шел следом, приподнимая борону, когда в ней набиралось много суволоки. Железными вилами он складывал ее в кучи. Покончив с работою, сказал:

— Валяй домой и скажи Матрешке, чтоб надела пахотный хомут и дала возовую веревку.

Когда я возвратился, отец привязал концы веревки за гужи и, захлестнув петлею суволоку, приказал везти волоком.

— Ну-ка, Машка, трогай! — сказал я.

Лошадь натужилась, но не осилила.

— Вези, чего ты стала? — крикнул я, стегая поводом ее по гриве.

Она выгнула спину, опустив к земле голову, сделала шага четыре и остановилась.

— Подгоняй! — крикнул отец,— чего разеваешь рот?

Я дергал за повод, подталкивал ногами, лошадь пыжилась, а воз стоял.

— Стегай же, чертова душа! — подскочил отец, толкая меня в спину деревянной рукояткой.

— Н-но! — кричал я.— Н-но! Чего же ты меня не слушаешься? Н-но!..

Лошадь надувалась и хрипела, копыта ее вязли в рыхлой земле, веревка туго натягивалась, но суволока, качаясь из стороны в сторону, шуршала, а с места не двигалась.

Тогда отец, рассвирепевший до последней степени, подскочил к Карюшке и ударил ее с размаху рукояткой по лбу. Лошадь шарахнулась в сторону, выскочив из постромок, и задрожала всем телом.

— Гони! — ревел отец.

Я бил лошадь, отец бил меня, и все мы тряслись.

Схватив обеими руками вилы, отец обернул их рожками вперед и, выпучив глаза, как исступленный, всадил их в спину лошади.

Карюшка заржала, опускаясь на зад, как садится собака, и оскалила зубы. Я кувырком полетел на землю.

— А-а-а!..— захрипел отец, выдергивая вилы и опускаясь рядом с лошадью.

— Батюшки мои, что я наделал? — сказал он через минуту и схватился за голову.

— Что я наде-елал!..— повторял он.— Ваньтя, что я наде-елал?..— и стал рвать на себе волосы,— старый дурак!

VII

Осенью, перед Покровом, я сказал матери:

— Все ребята собираются в училище, надо и мне идти.

— Что же, ступай,— ответила она.— Не мал ли ты?

Я ответил:

— Ничего, пойду: есть которые меньше меня.

— Вот тебя там вышколят,— постращала сестра.— Учитель-то, сказывают, сердитый: как чуть что — так розгами.

— А ты как же хочешь: на то и ученье! Читать, девка, штука не легкая.

В воскресенье, после обедни, сходили на молебен, а утром, чуть свет, к нам в избу прибежали: Мишка Немченок, Тимоха, Калебан и Мавруша Титова.

— Эй, барин Осташков, еще храпака воздаешь? — загалдели они.— Пора, вставай!

Ребята гладко причесаны, головы намазаны лампадным маслом, под шеей пестрые шарфы. Маврушка в новом платке с красными горошинками, расстегай весь в кружевах, а из-под сибирки выглядывает желтый завес.

— Эге, вы все — ровно к обедне обрядились! Ну-ка, мать, давай и мне вышитую рубаху! — закричал я.— А где же у вас сумки?

— Сумки пока в кармане, книжки дадут, тогда наденем.

Мать смеется:

— Ах вы, о́трошники! Что вы побирушками обрядились?

— А как же? Чай, все ученики так ходят,— ответил Мишка, произнося с особым ударением слово «ученики».

По пути забежали за Козленковым Захаркой, который учился третью зиму и сидел в «старших».

— Ты, Захар, не давай нас в обиду,— упрашивали мы товарища.

— Ничего, не робейте: кто полезет, вот как кукарекну, только чокнет! — успокаивал он.

Мавра достала из кармана ватрушку с толченым конопляным семенем и, подавая Козленкову, сказала:

— Может, ты плохо, Захар, позавтракал — сомни ее.

Захарка ответил, что позавтракал он хорошо, но ватрушку съест, «чтоб зря не пропадала».

Школа, несмотря на ранний час, была полна и гудела, как улей. Она помещалась в просторной избе, перегороженной на две половины: в одной сидели «старшие» и «другозимцы», а в передней — новички.

В девять часов пришел учитель в поддевке тонкого сукна и светлых калошах, высокий, тонкий, с реденькой русой бородкой кустами и утячьим носом.

— Гляди-ка, чисто барин,— шепнул мне Тимошка,— учитель-то!..

Он поздоровался и скомандовал: на молитву. Ребята повернулись лицом к иконе и запели на разные голоса. Учитель рассадил всех по местам, старшим выдал книги и приказал что-то писать, а сам подошел к нам.

— Что, ребятишки, учиться пришли?

Мы молчали.

— Вы что же не отвечаете, не умеете говорить?

— Умеем,— выручила Маврушка.

— И то слава богу! Учиться, что ли?

— Да! Да! — запищали мы вперебой, как галчата.

Учитель улыбнулся.

— Садитесь пока здесь,— указал он на свободные места.— Я запишу вас.

Из дверей выглядывали знакомые лица товарищей, привыкших уже к школьной обстановке и державшихся свободно: они смеялись, подталкивая друг друга, ободрительно кивали головою: не робей, дескать, тут народ все свой!

— Как тебя звать? — обратился ко мне первому учитель.

— Ваньтя.

— Иван,— поправил он, записывая что-то на бумажку.— А фамилия?

— А фамилия.

Учитель поднял голову:

— Что ты сказал?

— А фамилия.

— Что «а фамилия»?

— Я не знаю.

Учитель потер переносицу, покопал спичкою в ухе, сделал лицо скучным и подсказал:

— Как твое прозвище?

— Жилиный,— ответил Калебан.— А Мишку вот этого Немченком дразнят, Тимоху — Коцы-Моцы, Маврушку — Глиста...

— Эх ты, а сам-то хороший, Калеба Гнилозадый? — пропищала обиженно Маврушка.

Все захохотали.

— Здесь ссориться нельзя,— остановил учитель.

— Парфе-ен Анкудины-ыч! — крикнул из соседней комнаты Козленков: — это их на улице так, а Ива́нова фамилья — Володимеров.

Учитель пожурил:

— Что ж ты, братец, а? Иван, мол, Володимеров... Смелее надо...

— Ты бы поглядел, какой он дома вертун,— опять не утерпел Калебан.

— Помалкивай! — прикрикнул на него учитель, а потом, обратившись ко мне, продолжал: — Ну, Иван Володимеров, как тебя по батюшке?

— Петра.

— Иван Петрович?

— Да.

— Хорошо-с, мать как величают?

— Она уж старая, ее никак не величают.

— Как же так: не величают? Имя-то есть?

— Маланья.

— Так, а братьев?

— Нету, одна Матрешка... Сестра... Она у нас рябая.

— Матрена, что ли?

— Да.

— Добре. Сказывай, сколько тебе лет?

— Семой пошел с Ивана Крестителя.

С такими же вопросами обращался учитель к Тимошке, потом к Мишке, Калебану и Маврушке, и все путались. Маврушке он сказал:

— Ты, девочка, умная, что вздумала учиться. Не ленись, большая польза потом будет.

Она ответила, что в школу ее тятя послал.

— И отец твой молодчина,— сказал Парфен Анкудиныч.

— Меня тоже послал тятя,— похвалился Калебан.—

«Осатанел ты, говорит, всем, убирайся, дьявол, с глаз долой в училищ-шу!..» — И, увидав своего приятеля Цыгана, зафыркал: — Егоран! У нас под печкой голубята вылупились! Глаза лопни! Пищ-шат!..

Мишка его дернул за рукав, а Калебан огрызнулся:

— Чего ты щипешься, стервило?

Учитель взял за подбородок Калебана и сказал:

— Нельзя так, выгоню на улицу, понял?

Перед отпуском учитель объявил: Мавра Титова принимается в первое отделение, а мы четверо должны прийти на будущий год, потому что теперь молоды.

— Поешьте дома кашки побольше,— смеялись над нами.

— Ничего, мы за год сильно вырастем, тогда и нас учиться примут,— утешали мы себя дорогой.— Маврушке-то девятый год!..

VIII

Пришла моя восьмая зима. Мать выпросила, Христа ради, у Тимошкиной матери старый дядин тулуп и сшила мне из него полушубок.

Целый день я пропадал на улице, катаясь на салазках, и возвращался домой с красными, как у гуся, пальцами и закоченевшими ногами. Поспешно разувшись, я хватал круто посоленный ломоть хлеба и лез на печку, рассказывая оттуда, что со мною было за день. Когда руки и ноги в тепле отходили, их ломило. Мать становила на лежанку ведро с водою, бросала туда снег и опускала в воду мои ноги, а руки терла суконкой или чулком.

— Экий бестолковый,— ворчала она,— до каких пор бегаешь, подумай-ка!

Я оправдывался тем, что на улице ноги не зябнут, что им холоднее от печки, и божился не запаздывать.

— Ты всегда так,— упрекала мать,— простудишься, тогда я тебя выпорю.

Любимым местом наших игр была Федина гора — крутой скат к реке, рядом с мельницей. Как только занимался день, ребята поливали на скорую руку ледянки и бежали на гору кататься.

К вечеру сходились парни с девками с гармонями и прозвонками, на катке устраивалось игрище, пелись песни и плясали. Полоумный Базло, скинув валенки, пры-

гал босиком. Охрем Лобач становился на руках «березою», Дарка Крымска́я с Гуляевым, солдатом, плясали по-господски, схватив друг друга в охапку, крутясь и топая на месте. Нас большие гнали от себя, потому что кончив пляску, парни хватали девок за руки и целовали, а мы подглядывали и, придя домой, пробалтывались, кто кого тискает и кто кого целует.

По воскресеньям на горку приходил пьяный Ортюха-сапожник. Стащив у кого-нибудь из-под навеса сани, он набивал их нами доверху и, крича: «Горшки продаю!» — спускал сани вниз, к реке, хохоча как сумасшедший. Мы визжали от восторга, летя вихрем под гору, а Ортюха кричал:

— Что, шелудивые, нравится?

На зимнего Николу сапожник принес в кармане бабок.

— Ну, на драку! — крикнул он, бросая пару бабок.

Человек двенадцать метнулись, навалившись друг на друга кучей. Под градом кулаков, смеха и брани счастливец хватал бабку, отбиваясь от товарищей, и подбегал к Ортюхе: бабка становилась его собственностью.

Разбросав десятка полтора, мужик крикнул:

— Айда́ на лед!

Там, где вода сбегает с мельничных колес, у «холостой», застыла свежая полоска льда.

Сапожник, бросая на этот лед сразу три пары, сказал:

— Кто из вас смелый, тот достанет.

Тимошка отозвался.

— Я смелый! — и полез за бабками.

— А еще кто смелый? — спросил Ортюха, кидая два пятка.

Я достал два пятка.

Мальчики, которые поменьше, и девочки, стоя в снегу по щиколку у плотины, рядом с Ортюхой, пугливо жались, боясь, чтоб лед не проломился. И мы сперва боялись, но когда в четвертый раз на лед вскочили двое, Тимошка и Матрос, скользя по нем и матерщинничая, страх прошел.

Вывернув из кармана последки, сапожник закричал:

— Кто скорей! На драку!

Человек пять-шесть бросились за бабками. Лед затрещал под ногами, и мы в ужасе схватились друг за друга. Лед выгнулся, осел и лопнул. Первым опустился в воду Клим Хохлатый из Пилатовки, вдовин сынишка.

— Ма-ам-ма!.. Ма-ма-а!..— крикнул он, хватая за полу Тимошку.

— Ой! — взвизгнул тот, хлопая по голове Хохлатого, и сам опустился под лед.

Из всего того, что дальше было, я помню только свой собственный вопль. Меня будто облили кипятком... Закружилась голова, замаячило в глазах...

Пришел в себя я за день до своих именин, в крещенский сочельник, перед вечером. У моих ног, с чулком в руках, сидела Мотя; с печки, свесив голову, в лицо мне смотрел отец, а в избе от запушенных снегом стекол было сумрачно.

— Мама,— сказал я,— я дома?

Голос у меня — чужой и слабый, вместо слов — тихий стон.

— Поправь ему подушку,— проговорил отец.

Мать, осторожно ступая, подошла к постели, наклонившись над изголовьем. Я улыбнулся. Она радостно вскрикнула, упала на колени, плача, смеясь и целуя мою руку.

— Проснулся? — ласково спросил отец.

— Проснулся,— хотел я сказать, но только пошевелил губами.

Соскочив с печки, отец сел на скамейку около меня и, трепля по волосам, сказал:

— Что ж ты этак, а? Хворать не полагается на праздниках...

Матрос утонул, а Климка умер от простуды; Цыган и Тимоха хворали, как и я. Тимоха оглох на весь век, а Ортюху-сапожника мужики больно били за баловство, и он с тех пор стал кашлять и прихрамывать.

После обедни на праздник меня спрыснули крещенской водой, напоили чаем из сушеной малины и, укутав с ног до головы горячей посконью, положили на лежанку ближе к печке. Отец отнес в залог Перетканову свою новую рубаху со штанами и валенки и купил на эти деньги виноградного вина, связку кренделей и монпасеев.

— Будет тебе, пахарь, валяться-то,— сказал он, подавая гостинцы.— Пятая неделя никак.

И, сидя около, рассказывал:

— Иду я, братец ты мой, по деревне, а Стешка Чикалева выскочила за ворота и кричит: «Дядя Петра! дядя Петра! Что, жених мой встал?»

— Вот и брешешь! — смеюсь я. — Не угадал! Стешка — невеста Игнатова, а моя — Маврунька!

— То бишь Маврушка, — поправляется отец.

Я хлопаю в ладоши и кричу:

— Слава богу, спутался! Слава богу, спутался!

Подошла мать.

— Не надо так на тятю — «брешешь»: грех.

Отец перебивает:

— Не мешай, старуха.

И я говорю:

— Грех — с орех...

— А спасенье — с ложку! — подхватывает отец и, грозя пальцем, продолжает: — Ты меня не проведешь, малец, я все-о понимаю!.. — Собрав лицо в ряд лучистых морщин, он наклоняется ко мне и дразнит: — Кунба́ твоя невеста, а не Мавра, вот что, друг любезный!..

— Глаза мои лопни — Мавра, — встал я, чтоб перекреститься, но закружилась голова, и я ткнулся лицом в подушку и застонал.

Перепугавшаяся мать прогнала отца с лежанки, и я заснул.

На Ивана Крестителя отец важно промолвил:

— Иван Петров, поздравляем вас с именинами.

— Зачем? — спросил я.

— Потому как вам пошел восьмой год, значит, получай вот, чтобы целый год веселым быть, — и подал мне губную гармошку.

— Где ты ее взял? — выхватил я у него игрушку.

— Э-э, — подмигнул отец, — еще молод знать, — и засмеялся.

Вечером мы остались вдвоем с Мотею.

— Что, ребятишки на Фединой горе катаются? — спросил я у сестры.

— Воспа, — ответила она.

— Чего ты говоришь?

— Хворают воспой.

— Как я? — спросил я, приподнимаясь.

— Нет, как я, — ответила сестра, — все в шелухе...

Вся Драловка и Заверниха лежали в оспе. Зайдя через неделю к Титовым после того, как я оправился, я увидел на кутнике, в тряпье, Маврушку, рядом с братом, всю в коросте. Глаза ее слиплись, руки завязаны тряпицею назад, рот обметан гнилыми струпьями и перекошен от боли. Девочка сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, терлась щеками о плечи, на нее кричали, а она

просила водки тоненьким, жалобным голосом. Рядом с нею — Влас, двухгодовалый братишка, похожий на тупорылого кутенка, шевелил беспомощно ручонками, смотря на меня одним глазом, из которого текла слеза, а другой глаз слипся и распух. На веке рана, бровь ободрана, из уха ползет грязно-зеленоватый гной.

— Ма-а...— пищит он, раскрывая рот и цепляясь за дерюгу тонкими пальчиками с отросшими грязными ногтями.

Я подошел к Маврушке, спрашиваю:

— Не ходишь в школу-то иль ходишь?

Девочка протянула вперед шею.

— Кто там? — прошептала она.

— Я...

— Кто — Ваньтя?

— Да. Я тоже хворал... утонул было под мельницей.

— Я знаю,— ответила Мавра и, повернув лицо к столу, заныла: — Пое-е-есть!..

Мать ткнула ей в рот кусок хлеба.

— Жуй.

— Вина-а да-а-ай...— заплакала девочка.

Мать толкнула ее в голову, ворча:

— Куражишься, дрянь! Как вот хлясну по губам-то!..

Маврушка заскулила. Глядя на нее, и Влас заплакал.

— Уходи отсюда, выпороток! — крикнула на меня Маврушина мать и принялась, плача в голос, стегать детей лапотной веревкою.

IX

На трех святителей драловский сотский дядя Левон, Кила-с-Горшок, наряжал народ на сходку.

— Эй, вы, слышите? Земский будет! — зычно кричал он, постукивая в раму батогом.— По́дати!..

Отец возвратился со сходки поздно вечером, когда я спал. За завтраком поутру был угрюм и ни за что обругал Мотю.

На сретенье Кила-с-Горшок опять стучал под окнами, земский в этот раз приезжал с становым и что-то там такое говорил, отчего отец пропадал весь следующий день.

— Ни с чем, знать? — встретила его мать.

Отец так цыкнул на нее, что я со страху подскочил на лавке. Разговора за весь вечер никакого не было.

Чуть свет отец с сестрой долго копались в сарае, потом свели туда Пеструху — телку. Вслед за ними побежала мать, прикрыв полою самовар, а за матерью — я. Отец прятал зачем-то телку между старновкой и стеной, заваливая сверху и с боков на поставленные ребром жерди соломой. Между жердями темнела дыра, в которой пугливо возилась Пеструха.

— Не задохлась бы,— шептала мать.— Крепки колья-то!

— Крепки,— говорил отец.— Вали сверху овсяную солому.

Мотя таскала вилами солому, мать зарывала в мякину самовар и новые коты, которые лет пять берегла на смерть, а я, стоя с разинутым ртом, дивился.

— Зачем вы, мама, это делаете, а?

— Марш домой! — крикнул отец, грозя веревкой.— Везде, дрянь, поспеваешь? — И, понизив до шепота голос, добавил: — Если кому скажешь, изувечу...

По деревне ездили начальники, выбирая подати, недоимку и продовольственные деньги. Они ходили от двора ко двору, ругались матерно, грозили согнуть в бараний рог, вымотать душу, а следом плелись старшина со старостой в медалях, понятые и мещане из города на широких розвальнях.

На улицу, прямо на снег, выбрасывали из клетей холсты, одежду, самовары, сбрую — все, что можно продать. Скупал рыжий мещанин в крытом тулупе. Становой величал его Василием Васильичем и угощал желтыми папиросами из легкого табаку. Цену назначал становой, старшина поддакивал, воротя в сторону от мужиков лицо, староста молчал, понятые вздыхали. Василь Васильич, ткнув ногою вещь, сипло отрубал: беру! Работники тащили скупку в сани, а мещанин, отдуваясь, лез за пазуху, вытаскивал холщовый засаленный, в пол-аршина длиною, денежный мешок и отсчитывал красными озябшими пальцами мелочь. Бабы истошно выли, мужики бухались в снег на колени перед полицейским, стукались лбами в глубокие калоши, обметая волосами снег с них, хрипели что-то. Становой благодушно отстранял лежачих, притрагиваясь кончиком шпаги к спине, или кричал то милостиво, то зло.

За добром выводили живность: поросят, коров, птицу. Кур и поросят совали в широкие мешки, овец бросали, скрутив ноги, в сани, а коров и телят привязывали к оглоблям и сзади саней. Куры кудахтали, вырываясь из

рук, по улице летели перья; поросята, бабы и дети визжали; коровы угрюмо мычали, разгребая ногами снег и крутя головою... Нашествие татарское на Русь...

Скоро четверо мещанских розвальней нагрузили доверху.

Становой сказал:

— Не закусить ли теперь нам, Василь Васильич, а?

— Пора,— ответил тот.

Возы, нагруженные холстами, обувью и одеждой, утварью и ветошью, отправили с мальчишкой и десятскими в город; начальники, ежась от холода и потирая руки, полезли к старосте в горницу, сотский побежал за водкой, понято́й — к попадье за мочеными яблоками.

Пока они в тепле кушали, мужики терпеливо ждали у крыльца. Старостина дочь, Палагуша, и сама старостиха то и дело бегали из погреба в кладовую, из кладовой в избу, торопливо неся миски с огурцами, кислую капусту, хрен, ветчину и кринки молока, а мужики завистливо смотрели им в руки и шептались:

— Эко, братцы, жрать-то охочи!..

— Еще бы... привыкли, чтоб послаще, побольше... господа называются...

Потом, стоя в дверях, начальники курили и отрыгивались, а осташковцы, кто ближе, толпились без шапок.

Напившись чаю с кренделями, опять приступили к описи и распродаже. Отдохнувшие бабы снова завыли; опять пристав кричал и топал ногами, а мужики барахтались в снегу.

Дошла очередь до нас, а у нас продать нечего.

— Беднота несусветная, ваше благородие,— говорит староста, сдергивая шапку.— Ничего у них нету... Один только близир, а не крестьяне, верно говорю!..

Понятые смотрят на отца, который посинел.

— Не робей, Лаврентьев,— тихо говорит отцу Фарносый.— Упади на коленки: зарежьте, мол, а денег ни гроша... Он отходчивый... Покричит-покричит, а после — помилует... Ну, может быть, ударит раз или два, стерпи... Главная задача — голод, мол, проели все... Ишь, шубенка-то у тебя, хуже бороны...

Входя уличными дверями в сени, становой стукнулся лбом о притолоку и выругался матерно, поднимая шапку со звездой. Мать со страху схватила метлу и давай разметать у него под ногами сор, причитая:

— Батюшка, начальничек наш милый... в кои-то веки к нам заглянули...

Урядник толкнул ее в плечо.

— Отойди, старуха, не мешай,— сказал он.

— Кланяйся барину в ноги, пень! — подскочила ко мне мать.— Упади перед ним!.. Упади!..

Увидя Муху на соломе, принялась лупить ее метлою.

— Что ты, стерва, притаилась, а? Марш на улицу, одежу господам хочешь порвать, одежу?..

Собака огрызнулась...

— А-а, так ты та-ак?

Мать саданула Муху толстым концом метлы по голове.

— Пошла прочь, паскуда!.. Ишь ты, что надумала! Одежу рвать?.. Чистую одежу рвать? А метлы не хочешь?.. Я тебе порву!.. Ты у меня узнаешь!.. Барыня какая!..

У нее из-под платка выбивались волосы, слабо завязанная онуча на правой ноге сползла, а мать все бегала по сеням как шальная.

Становой посмотрел, усмехнулся.

— Эко чучело!

И урядник усмехнулся.

Из отворенной полицейскими в избу двери пахнуло теплом. Становой сморщил рожу, сплевывая:

— П-пффа! Какой тут смрад!.. Скоты!..— и поспешно хлопнул дверью, выходя на улицу.

— Где хозяин?

— Вот мы... вот я,— выступил отец.

— Подати.

— Нету... голод... бьемся... Обождите, богом заклинаю!..

Отец опустился на колени. Подбородок у него трясется, широкую, с проседью, бороду развевает ветром, на лысине в три пятака тают снежинки...

Стоя на коленях, отец часто и невнятно что-то говорит, царапая пальцами грудь; Мотя, бледная, с красными пятнами по лицу, трясется и хрустит пальцами; мать трясется и плачет, а отец по-собачьи смотрит в глаза уряднику и становому. Я в толпе ребятишек.

— Отец-то твой никак заплакал,— шепчет мне Немченок.

Мне стыдно за него, я возражаю:

— Это ему ветром в глаза дует,— говорю я горячо.— Он у нас, ты сам знаешь, какой: молотком слезы не вышибешь!.. Не может он плакать...

Но Мишка ладит:

— Плачет, вот те крест! Гляди-ка: за нос все хватается!

Тогда я сам сквозь слезы говорю:

— Погоди, и твой заплачет, как черед дойдет... осталось три двора...

— Мы с утра отплакались все разом,— говорит Немченок.— Отец нас матом, а мы — в голос... Отец говорит: «Надо давиться»,— а мать говорит: «Добрые люди скотинку прячут, где получше, а не давятся...» Отец корову и жеребенка свел в овраг, а большую свинью, говорит, девать некуда и заревел: «Черти, говорит, сожрут ее, а не мы»,— а мать говорит: «Бог милостив, Лексеич...»

Наклонившись к уху, Мишка шепчет:

— Отец свинью-то все-таки зарезал... Не паливши, понимаешь, в омет ее... На куски да в омет... Идем, я покажу...

Начальники пошли обыскивать наш двор, а мы с Немченком — за сарай, в ометы.

— Сюда, сюда! В среднем! — кричал Мишка.— С того краю!

Увязая по живот в снегу, он бормотал:

— Сейчас я покажу тебе, где наша поросятина лежит, сейчас ты, друг, узнаешь.

Но, завернув за угол, Мишка завыл:

— Глянь-ко-ся-а!

Четыре здоровенных собаки, раскопав дыру в соломе, жрали мясо. На снегу алели пятна крови, в стороне крутились белопегий поджарый щенок и три вороны, из соломы торчала обглоданная кость.

— Тятя-а! — взвизгнул Мишка, постояв с минуту,— тятя!

Несясь вихрем по деревне, так что только развевались из-под шапки льняные волосы, Немченок что́ есть силы голосил:

— Собаки, тятя!.. Свинью, тятя!.. Только косточки, тятя!..

Стоявшие у крыльца мужики в недоумении обернулись, а отец Немченка тут же, на снегу, присел.

— Что́ ты, оглашенный! — цыкнул староста, хватая метлу.

— Собаки... съели! — выпалил Немченок, растопырив руки.

— Э-э-э... что ты мелешь? — едва сумел промолвить отец Мишкин.— Что ты, бог с тобой?.. Окстись!..

— Ветчину сожрали! — кричал Мишка.— Говорила

мать: прячь подальше,— не послушался,— и он заплакал, сморщив по-старушечьи лицо.

— Головушка ты моя горькая! — схватился за волосы Мишкин отец: по бледным щекам его покатились слезы.

Трясясь, я неожиданно для самого себя завыл, глядя на отца:

— И нашу Пеструху собаки съедят!.. Беги скорей в сарай!..

Начальник круто обернулся.

— Что ты, мальчуган, сказал? — спросил он у Немченка.

Тот вылупил глаза, раскрыв рот, и поперхнулся. Начальник обратился ко мне:

— Что случилось? Чей ты, а?

— Свой,— скороговоркой ответил я, глотая слезы.— У Мишки закололи свинью, а ее собаки слопали в омете, а у нас в старновке телка...

Взглянув на отца, я вспомнил об угрозе и закричал, обливаясь слезами:

— Сейчас он меня увечить будет!.. Нету у нас телки, мы продали!

Мишкин отец, сидя на снегу, качался из стороны в сторону, причитая, мой отец упал становому в ноги, Мотя зарыдала, мужики оцепенели.

С размаху начальник ударил отца кулаком по скуле. Желтая перчатка на руке его лопнула. Отец ткнулся головою в порог и застонал. Зверем бросилась на станового Мотя, вцепившись в рукав. Ее ударили по голове, она свалилась рядом с отцом, но, вскочив, метнулась снова, а ее опять ударили; сестра опять упала. Начальник пнул отца в живот ногою, и он скрючился, скуля, а мать полезла на чердак.

— Караул!.. Душегубство!.. Спасите!..— кричала она и с четвертой ступеньки шлепнулась на пол.

...Когда начальники уехали, Мишке вывихнули ногу и возили в город поправлять, а я с неделю ходил кровью на двор за Пеструху.

X

Я лежал в постели. Мать поила меня грушевым отваром, на живот клали пареную бузину; отец четвертую неделю сидел под арестом за подати.

— Легче? — спрашивала мать.

— Легче,— ответил я, глядя в сторону.— Почему ты за меня не заступалась?

Мать потупилась.

— Я боюсь его,— ответила она.

В промерзлые окна смотрит февральское солнце; льдинки на стеклах горят синими и желтыми огнями, по спущенному концу толстой шерстяной нитки, положенной на подоконник, стекает в черепок вода.

— Когда он перестанет меня мучить? — спросил я, помолчав.

— Не знаю... Когда вырастешь большой... Его ведь тоже били...

— Это не указ.— Приподнявшись на локте, я шепчу, замирая от страха: — Если б умер он...

Мать смотрит на меня испуганно и тоже шепчет:

— Брось... Отец ведь он тебе!...

Но горечь, что скопилась в сердце, кружит голову, подталкивает: хватая мать за шею, я опять шепчу:

— Мы лучше б жили, верь мне!.. Я пахал бы, Мотя помогала, а ты дома с курами да с разной рухлядью... Я не бил бы вас... Зачем?..

Мать молчит, прижавшись к моему плечу.

— Или вот что: мне уйти куда-нибудь... Подальше, чтоб не знал он.

— Ванечка!..

— Он ведь все равно убьет меня когда-нибудь... Кабы сила, его б надо прикокошить... Топором иль чем-нибудь другим... Бацнул, а потом в навоз... А на улице сказали бы: в Полесье уехал на пять лет...

— Он здоровый: ты не сладишь...

— Сонного...

В сенях звякнула щеколда. Кто-то обивал о стенку лапти.

— Кто там? Если он — молчи, не сказывай, что я надумал... Приставать будет — крепись...

Отец пришел из города худой и грязный, влез на печку, не поевши, и уснул. Мы ходили тихо, разговаривая шепотом.

— Вашего-то били там! — прибежала с новостью соседка.— Старик Федин сейчас сказывал.

— Нуко-ся опять! — всплеснула мать руками.

Мотя искривилась, глядя в угол, лицо покраснело, по щекам потекли крупные слезы.

— Их бы надо! — сцепив зубы, прошептала она зло.— За что они?.. Их бы надо!..

— Что ты, девка, обалдела, не проживши веку? — цыкнула соседка.— Без пути и там не бьют!..

Оказалось, что в полиции мужиков заставили колоть дрова, но отец наотрез отказался, говоря:

— Положи цену, зря работать не согласен.

Ключник донес приставу, а пристав отца бил.

— Я тебя сгною! — кричал он.— Проси у меня прощенья.

Отец просил.

— То-то... Пойдешь теперь на работу?

— Нет.

Пристав снова бил.

— Становись, разбойник, на коленки!..

Отец становился.

— Я начальник,— размахивал руками пристав.— Как ты смеешь мне перечить?

Отец молчал, склонив голову. Пристав учил отца до обеда, весь измучился, вспотел, а толку не добился никакого. Рассердившись, затворил его на хлеб и воду и надбавил сроку на неделю.

Дома, на печи, отец лежал недели полторы. Он не охал, не стонал и ни на что не жаловался, лежал вверх лицом и глядел в черный, закоптелый потолок или бесперечь курил. Приходили мужики по делу — он молчал, оставаясь вдвоем с матерью — молчал; есть слезал, когда все спали. На четвертый или пятый день у него вышел табак: отец стал курить конопляную мякину вперемешку с полынью.

— Отлежится на печи-то и опять начнет лупить нас чем попало,— шепнул я матери.

Та мельком взглянула на меня и не ответила ни слова.

— И охота же ему курить эту пакость,— продолжал я, сплевывая,— душу всю захватывает... Нету табаку — не надо, подождал бы, когда новый купится.

— Пошел прочь! — рассердилась мать, толкая меня в спину.— Тебя не спросили, что курить!..

На второй неделе отец засвистел на печи, потом громко засмеялся, а мы переглянулись.

Отец свистел до обеда.

— Шел бы закусить чего-нибудь,— сказала мать.— Что ж ты все лежишь колодой?

Отец засмеялся, но обедать не пошел.

— Голос подал, значит, встанет,— сказал я сестре.

Шел великий пост. Пригрело солнышко. С крыш текла капель.

В сумерки ударили к вечерне. Потянулся народ в церковь.

— Эх ты, мать честна́я, отец праведный! — сказал отец, слезая с печки.— Принеси, Матреш, цибарочку водицы.

Он был черен, как араб, седые спутанные волосы его стали от копоти дымчатыми, веки покраснели и разбухли, в бороде торчали перья.

— Ну, что, как твои дела? — спросил он, щекоча меня под подбородком.— Много бабок выиграл на масленой?

— Слава богу,— сказал я, отодвигаясь.

Отец вымыл лицо, голову, переменил рубаху и причесался. Мать юлила около него, подавая чистую утирку, гребешок и бесперечь советуя:

— За ухом-то вытри, за ухом-то!.. Обожди, я тебе ножницами подровняю волосы. Постой, Петрей, чуточку!..

Нарядившись, отец сел на коник, поглядел на всех, оперся о стол локтями, склонил голову и снова засвистел, постукивая лаптем о проножку.

— Бросил бы, старик,— сказала мать,— жутко ведь!.. Ну, что же теперь делать? Перестань, пожалуйста!

Отец притворился, что не слышит. Мать уткнулась в угол, скрывая слезы.

— Так-так-так,— сказал он, насвистевшись.— Так-так-та-ак!..

Мать повеселела. Ласково притронувшись к плечу его, она спросила:

— Поговеть не думаешь? Сердокрестная неделя уж...

— Поговеть? — Отец задумался.— Можно поговеть.

Мать обрадовалась пуще.

— Поговей! — воскликнула она.— Вот увидишь, легче станет.

— Мо-ожно,— повторил отец.— Отчего нельзя?

Причесавшись еще раз, он пошел к вечерне, а вернулся к третьим петухам пьянее грязи.

— Малаша! Ваня! Мотечка! Милые мои! Голубяточки! — кричал он с улицы.— Говельщик ваш идет, встречайте...

Стуча зубами, мать металась по избе. Я залез под лавку... Мотя торопливо одевалась...

— Рцы, ерцы, господи помилуй... Слава в вышних богу... Упокой, господи, рабов твоих...— бормотал отец, с трудом переступая избяной порог.

Он был без шапки, бледен, с разорванным воротом новой рубахи. Войдя, ткнул ногою овцу, которая с ягненочком жевала сено у лежанки, осмотрелся мутным взглядом, мотнул головою, засопел.

— Рцы, ерцы, господи помилуй... Еже словом, еже делом... Все живы?

— Живы,— прошептала мать запекшимся ртом.

— Живы? Ну и ладно... Дай поесть... Сущую-рущую, пресвятую богородицу, тебя величаем...

Мать нарезала хлеба, налила похлебки.

— И во веки веков, аминь!..— Отец дернул за конец столешника, еда полетела на пол.— Жарь яичницу!.. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим...

— Батюшка! Петрей! Желанный мой! — закричала мать.— Окстись, что ты — пост великий, какую тебе яичницу?

— Жарь яичницу, а то окна поломаю! — стукнул отец кулаком о стол.

Мать заплакала, отыскивая сковороду.

— Еже словом, еже делом...— Отец опустился на колени.— Нет... не так... постой! — Он снял с божницы большой медный крест, родительское благословение, трижды перекрестился и поцеловал его.

— Слушай,— сказал он, глядя на крест,— исповедоваться буду... Грехи мои слушай... Двадцать лет не исповедовался, а теперь вот вздумал, на старости годов... Слушай: с восьми лет пью водку, ругаюсь матерно... и до гроба буду пить, понял? С десяти курю табак, с молодых лет бью жену... завидовал богатым... лошадей увечил, слышишь?.. Много в сердце зла имею... Не люблю людей... Кругом меня — злодеи, я — первый... Ну, еще что?..— Отец притронулся корявым пальцем к распятию.— Небось сердишься? Что ж мне делать, если жизнь моя такая... сердись не сердись, а никому не покорюсь!.. Хоть на месте истопчи!.. Хоть по жиле вытащи мою утробу! — заревел отец, бледнея, и, схватив распятие, стал с ожесточением топтать его.

Остолбеневшая мать пронзительно завыла:

— Старичо-ок! Опо-омнись!..

Пошатываясь, отец взял ее за руку, поставил затылком к дверям, размахнулся и хлестнул кулаком по лицу.

Мать затылком отворила дверь и растянулась на полу в сенях. Подбежавшую сестру отец поставил носом в сени. Падая от подзатыльника, та поползла раком.

— Иди третий... Эй, наследник, где ты?

Я полез было под печку, но отец вытащил за ногу. Держа на весу, сопел и матюкался, а я ловил его за штанину.

— Лети! — сказал отец, и я шлепнулся на что-то мягкое: не то на мать, не то на Мотю. Отец затворился.

Пил отец шесть дней. С барышником Хрипуном он заездил лошадь, рыская по кабакам. На седьмой пришел в одной рубахе, хворый, желтый, щипаный, лежал долго без движения, ничего не ел, кроме капусты, ни с кем не разговаривал. Оправившись, стал работать.

XI

Осенью мое желание сбылось: я получил в школе букварь и грифельную доску.

Долгими зимними вечерами, когда за окном трещит мороз, а в избе так тепло и уютно, зажгут наши маленькую лампочку-моргасик, я примощусь к столу и, подобрав под себя ноги, заявляю:

— Ну вы, тише теперь там — читать зачинаю.

— Читай, читай,— скажут домашние,— а мы послушаем. Чисто ли на столе-то — книжку кабы не замарал? — и мать прибежит смахнуть пыль рукавом.

— Ничего, чисто, вы не разговаривайте, а то собьете,— и начинаю выводить нараспев: — Ми-ша. Мы-ши. Мы-ло. Ма-ма ши-ла.

— Какое тут шитье,— скажет мать,— у меня и глаза-то ничего не видят...

— Да нешто про тебя это? — крикну я.— Мешаешь только!

— Ну, не буду, не буду, милый!

— Пи-ли-ли. Мы-ли-ли. Шли. Ма-ша тка-ла полот-но...

— Это, видно, про Жолудеву Машу — она первая в деревне мастерица ткать холсты...

Я опять закричу:

— Вот ты, мать, какая! Язык-то, словно помело в печи,— туда и сюда... Ведь это в книжке так написано, а ты почнешь набирать кто знает что!

Все смеются, а я злюсь.

— Не выучу вот урок-то,— обращаюсь я снова к матери,— а тебе, видно, хочется, чтоб меня завтра на коленки Парфен Анкудинович поставил?

— Ох, Ванечка, я и забыла, касатик! Больше не буду, верное слово! Мне все дивно — Маши да Саши разные набираешь, а я думаю: не про нашу ли деревню отпечатали?

— Про вашу, как же!.. Бестолковщина!.. Кузь-ма купил ко-зла...

— Ха-ха-ха! — заливается мать: она у нас всех непонятнее была.— Кузьма купил козла!..— почесывая за ухом веретеном, говорит в раздумье.— Наточкин Кузя, должно быть, так у нас козлов-то ни у кого нету, разве в городе?.. Старик,— смотрит она на отца,— ты, часом, не знаешь, у кого козлы в городе?..

И так, бывало, каждый вечер.

Однажды, середь зимы, нам задали большой и трудный урок: полстраницы прочитать и рассказать, что в книжке писано.

Я устроился у стола — поближе к огоньку, рядом — сестра вышивает, отец слушает с печки.

— Му-ра-вéль и го-луб-ка,— распеваю я.— Му-равлю за-хо-тел...

— Ваньть, постой! — свесил голову отец.—Ты, знать, не так читаешь, а?

Я посмотрел на его лысину, которая от лампочки блестела, как коленка, свистнул, еще посмотрел и ответил:

— Ты надумаешь на печи-то. Считай лучше прусаков!

— Верное слово, не так! — пристал отец.— Ну-ка, погляди получше!..

— Ну что ты понимаешь? — закапризничал я.— В училище не ходишь, книжек у тебя нет, доски — тоже нету, а лезешь поправлять, новомодный ученик! Дай тебе грифель — сразу сломаешь, а говоришь: не так! Сказывай, какая буква на жука похожа? «А», по-твоему? Держи карман!

Я даже в азарт вошел.

— Конечно, не так! — сказала вдруг Мотя.— Где ж тут «лы»?

Подвинув ближе к себе книгу, сестра улыбнулась.

— Читай лучше: му-ра-*вéй*,— делает она ударение на последнем слоге.

Я в удивлении смотрю на нее:

— Ты... почем же знаешь?

— Читай как следует — лучше дело будет,— проворчала она, принимаясь за вышивание.

— Ах ты, трепло! — вскипел я, задетый за живое.— Одно слово узнала и уж куражится, ведьма!

— Может быть, еще побольше знаю,— ответила сестра, вставая из-за стола.

Мать прикрикнула:

— Будет тебе хвастаться-то, ягунка! Вот в писаря скоро выйдешь.

Отец, не менее моего пораженный, твердил:

— Ай да Матрешила, ай да Матрешила! Разуважила ученика, ха-ха-ха! Шибко разуважила! Утерла сопли! Вот тебе книжки и грифель — лезь под лавку со стыда!..

Зло меня разобрало.

«Погоди,— думаю,— холера! я тебя подкараулю!..»

Случай представился скоро. В один из праздников, набегавшись вволю и проголодавшись, я вскочил в избу за хлебом. Наступили сумерки.

— Мамка, дай поесть,— закричал я, отворяя двери.

— Какая тебе еда, скоро ужинать,— ответила сестра. Она сидела одна.

— А где же мать?

— Поехала на свинье грушей торговать! Чего орешь как сумасшедший,— не заблудится.

Сбросив полушубок и разувшись, я полез за стол.

— В карты, что ли, сыграть? — посмотрел я на сестру.— В свои козыри?

Та ответила:

— Играй, коли охота.

Смотрю: в руках у нее книжка. Попалась, барыня! Попалась, слава богу!

— Тебе кто же велел брать без спросу? — говорю ей ласково.

Мотя смутилась.

— Я ее не съела,— проговорила она.— Я — поглядеть немного.— Сестра бросила книгу на стол.— Жадничаешь, жила? На — подавись!..

Мне, конечно, не книги было жалко, а обидно, что она меня недавно подкузьмила.

— Стой, за это вашего брата не хвалят — получай-ка вот! — и я треснул ее по голове.— Ты у меня будешь знать, как воруют чужие книжки!

Мотя ничего не сказала. Я ждал, что она тоже чем-нибудь меня ударит, и приготовился к обороне, но сестра отвернулась к стене и так простояла несколько минут.

Стыдно стало как-то: до слез ведь довел, а за что? Не съела ж, в самом деле, книжку?

— Мотя,— проговорил я нерешительно,— брось, я пошутил!.. Давай вместе читать. Тут, знаешь, есть статья про старика и смерть — смешная, будь она неладна! Давай, Мотя!

Сестра повернула ко мне лицо и смущенно улыбнулась.

— Я уже читала ее,— сказала она,— давай другое что-нибудь...

Губы ее вздрагивали, на глазах блестели слезы; сестра старалась незаметно их смахнуть.

Я с готовностью согласился, и Мотя отыскала в конце книги «Последнюю беседу Иисуса Христа со своими учениками», говоря, что она уж начала было читать, да я помешал.

— Ты будешь читать? — спросила она.

— Нет, читай уж ты, а я послушаю... Я до туда не дошел еще...

Сестра начала:

— «Заповедь даю вам новую: да любите друг друга, как я вас возлюбил. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит богу. Вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного; но я не один, потому что отец мой со мною. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: я победил мир...» Тебе нравится? — восторженно твердила сестра, прерывая минутами чтение.— Слушай! Слушай!..

Читала она, кстати, лучше меня.

— «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю...»

— «...и был пот его, как капли крови, падающие на землю»,— вновь прошептала Мотя.

В шепоте этом был восторг непередаваемый и ужас.

— Давай помолимся.

И мы молились. Сестра, стоя на коленях, говорила:

— Спаситель! Нам обоим хочется пострадать за тебя

так же, как и ты за нас страдал,— Ваньте, брату моему, и мне, Матрене, рабе твоей...

Прижавшись лбом к холодному земляному полу, я повторял за ней самодельную молитву.

— Дай, господи, счастья родителям нашим: отцу Петру и матери Маланье...

Я возражал:

— За отца-то не следовало бы: он бьет нас...

Но сестра не слушалась меня, продолжая просить счастья родственникам, и всей деревне, и всем людям...

XII

Этот вечер, проведенный в жаркой молитве и чтении, стал началом других вечеров, ему подобных. Как-то так вышло, что у нас с сестрою оказался неисчерпаемый источник душевных слов друг для друга, ласк и внимания, тесно нас сблизивших.

В разговорах мы чаще останавливались на загробной жизни, на радостях праведников в раю и на муках грешных; читали жития святых, евангелие, псалтырь.

Я спросил однажды Мотю:

— Слушай, как ты научилась грамоте — ведь ты же не ходишь в школу?

Сестра, улыбнувшись, ответила:

— Я уж и сама не знаю. Смотрела на тебя, как ты учишься, и запоминала... Ты, бывало, водишь пальцем по строчкам, слова разные говоришь — смешно мне, ну а потом — занимательным стало: «Почему так,— думала я,— крючочки и знаки, а через них — разные слова?» Втихомолку стала присматриваться, где какое слово писано и как ты его выкрикиваешь, а после, без тебя, разгляжу его, бывало, получше... Я скоро это поняла.

Однажды Мотя принесла с базара «Страшный суд». Наверху, с левой стороны, нарисован был желтый домик, похожий на перепелиную клетку, в решетчатых воротах — святой с плешью, в белом венчике, в руках у святого — два ключа. Человек пять-шесть монахов и царей, опустив глаза и склонив голову, ждали очереди.

— Это рай,— сказала Мотя.— Если бы нам с тобой пришлось пострадать за веру, мы тоже бы там были.

Но *как* пострадать, мы не знали, и это являлось причиною наших немалых слез и молитв.

Внизу картины в разной посуде мучились поджариваемые грешники. Хвостатые и черные, как уголь, черти с пламенем во рту и козлиными ногами на острых копытцах, размахивая железными трезубцами, гнали мужиков и нищих в ад, в центре которого,— там, где пламя особенно густо,— сидел большебородый сатана в красной короне, с воловьими глазами, длинным, горбатым носом и железными крючковатыми когтями. На коленях у него Иуда-христопродавец — рыженький, тщедушный мужичонка с кошельком в руках и без штанов. Над адом — змей с разверстой пастью, копьеобразным жалом и широкими кольцами красных грехов по гибкому зеленому телу; рядом — рыба-кит с полчеловеком во рту и зверь лесной, тоже с полчеловеком. На палец повыше — воскресение мертвых, наверху — спаситель, бог отец, бог дух, апостолы, Иван Креститель — мой ангел — в вывороченной шубе, пресвятая богородица, ангелы и мученики.

Я рыдал, глядя на картину, каялся Моте во всех своих грехах, и сестра каялась. Ночью мне снились черти. С ужасом вскакивая с постели, я становился на колени перед иконами и, обливаясь холодным потом и слезами, просил прощения у бога.

Долгое время меня пугало представление о вечности, и слово «никогда» доводило до отчаяния, чуть не до припадков. Этим словом нас пугал законоучитель в школе.

— Кто грешит,— говорил он, исподлобья щупая глазами нас,— кто грешит, тот век будет в огне гореть, *никогда* не прощенный...— и грозил пальцем, пожелтевшим от курения.— Лучше б тому не родиться!

Ад мне представлялся ревучим потоком раскаленной смолы, в которой за ложь и непочтение к родителям, за обжорство, воровство и курение табаку я *вечно* буду гореть, *никогда* не сгорая, *вечно* мучиться и плакать, *никогда* не прощенный сердитым богом. Я пытался всеми силами представить конец «никогда», но не мог. Крича неистово, в полусне-полубреду молился, целуя иконы и землю, прося у них заступничества, помощи, прощения, пока я жив. Мать хватала меня на руки и, прижимая к груди, ласкала, успокаивала, но я вырывался и падал снова на колени.

И Мотя молилась. Она похудела, глаза ввалились, остро выдались скулы, пожелтело и поблекло лицо.

Так было весь пост. Весна и работы отвлекли немного от самобичевания, чему помог отчасти сон: я видел

себя на старой княжьей мельнице, окруженным ребятишками и маленькими девочками, у которых за плечами были крылья. Сестра сказала мне, что это ангелы, радующиеся моей праведной жизни. В эту пору мы решили с нею стать преподобными, для чего закопаться где-нибудь подальше от людей по шею в землю, как Иван Многострадальный, или жить в лесу вместе со зверями, как святой Тихон Калужский. Подоспевшая страда, когда людям впору было передохнуть от изнеможения, заглушила затею: о подвигах и спасении я перестал думать, хотя еще долго молился все так же усердно и так же горячо...

С глубокою отчетливостью запечатлелась в душе моей такая сцена из школьной жизни. Раннею весной подвыпивший отец с компанией соседей и родственников, зайдя однажды в избу, сказал мне:

— Почитай нам что-нибудь, сынок.

Сынок! Я даже не поверил! Это был первый и единственный случай в моей жизни, когда он назвал меня сыном своим. Захватило дыхание от радости, хотелось броситься к нему на шею и заплакать счастливыми слезами, поцеловать его руки и, крепко прижавшись, самому сказать что-нибудь ласковое, душевное...

Было вознесение. Я прочитал им историю праздника. Я с таким увлечением сделал это, так мне было приятно и весело, в ушах так сладко звенело чудное слово: «сынок», что все невольно залюбовались мною.

А отец подозвал меня ближе к себе, маня пальцем и любовно глядя добрыми глазами: он гордился мною, старый. Схватив обеими руками мою голову, он близко-близко наклонился и поцеловал меня.

— Милый мой, славный Ванюша... дитятко мое...

У него по щекам текли крупные слезы, прячась в широкой бороде, изрубцованные пальцы перебирали мои волосы, а затуманенные слезами глаза ласкали и грели.

— Хороша эта штука — грамота,— сказал кто-то, вздохнув.— Карапуз еще, мальчонка, а все понимает, не как мы, грешные: смотрим в книгу, а видим фигу.

— Учись, родной, учись...— шептал отец.— Я не буду приневоливать тебя к работе нашей, пустая она и неблагодарная... Учись!..— тряхнул он головою.— Находи свою светлую долю, я не нашел... Искал, а не нашел...— Он опустил руки, вздохнул и промолвил, глядя в зем-

лю: — Я бы хотел, чтобы ты хоть один раз в жизни сытно поел... да... и не из помойного корыта. Я весь век голодал, а работал, как вол, больше... Учись, ты, может быть, пробьешь себе дорогу... Мы умрем скотами, падалью, а ты ищи свое счастье и учись, понял?

— Понял,— прошептал я, прижимаясь к нему.

Отец снова поцеловал меня, трепля по волосам.

— Эх ты, Ваня, Ванечка, голубчик ты мой!..

Я разрыдался от счастья.

XIII

Осень. Сбившись в плотную кучу, мы сидим на берегу реки — Цыган, Тимошка, Мавра, я и еще кое-кто из ребят. Рассказываем друг другу разные истории, смотрим на тихую воду и белую паутину, которая тонкими светящимися нитями летает по воздуху, цепляясь за чапыжник и древесные ветви. Мечтаем.

— Лето прошло,— задумчиво говорит Мавра.

Пока еще играет солнце, отражаясь перламутровыми блестками в реке; золотится разостланный по лугу лен; над нами вьются ласточки, кувыркаясь и ныряя в светлом и прозрачном воздухе; крикливою стаей мечутся скворцы, перепархивая с места на место, но во всем уже чувствуется особая, осенняя усталость: как будто земле и небу, реке и ласточкам захотелось смертельно поспать, отдохнуть, собраться с новыми силами; жмурится солнце, бодрясь и скрывая от людей докучливую зевоту: красновато-бурыми и лиловыми мазками оно бросает свои лучи по серым облакам, далекому лысому плоскогорью, по вершинам деревьев и спокойной глади дремлющей реки, силясь зажечь ярким полымем небо, расцветить багрецом даль, позолотить вершины, но сейчас же торопливо срывает краски: ни к чему-де это — зима скоро, стужа.

Стыдливо развернула последнюю зелень и последние цветы земля: не хочет сознаться, что и она устать может, и ей ли, богачке, щеголять теперь чахлым клевером и пыльным подорожником, размашисто-лапчатыми лопухами, дягилем да конским рыжим щавелем?..

Тихими сумерками ложатся неуверенно прозрачные тени прибрежных ракит на серовато-пепельную землю; прощально улыбается день. За рекой, на княжеских по-

косах, мохнатыми шапками высятся стога, с кучками ворон на вершинах. Длинными рядами тянутся неубранные копны ячменя и пшеницы, а меж них, с каймою полыни по сторонам, ужом ползет серая дорога. Морщинистая даль сливается, темнея, с частым гребнем леса.

— В волость книжки, говорят, прислали,— прерывает сонную тишину Цыган, цыркая сквозь зубы.

— Книжки, говоришь? Какие? — встрепенулась Мавра.

— Черт их знает,— люди сказывали,— пожимает он плечами и, помолчав, добавляет: — Будут раздавать их, книжки-то... а зачем — не знаю... Велено будто читать, кто грамотен...

Подняв голову, смотрит мечтательно на небо:

— Эх, скворцы-то, словно пчелы, чёмер их схвати!.. Из ружья бы теперь...

Неожиданная новость глубоко запала в душу, и я весь вечер думал о книгах. Пытался заговорить о них с отцом и матерью, но те ничего не могли мне сказать.

— Я ведь в бумагах-то, сынок, не понимаю,— ответила мать, а отец, почесав поясницу, зевнул и полез на печку.

— Насчет новых оброков эти книжки,— проворчал он.

На крыльце затопал кто-то, хлопнула щеколда — Мавра прибежала.

— Завтра не сходишь со мною к Парфену Анкудинычу? — потупившись и искоса посматривая на домашних, промолвила девочка.— Знаешь, насчет *этого*...

Меня будто осенило.

— Непременно сходим, непременно! — закричал я радостно.— Как поднимемся, сейчас же сбегаем!..

Утром, постучав тихо в двери, мы пожелали вышедшему сторожу доброго здоровья, похвалили новую кадку, поставленную в сенях для воды, сказали, что кончается лето и близки занятия, потом справились об учителе.

— В книжки смотрит целый день,— ответил важно старик.— Дошлый он до книжек, страсть: день и ночь так и торчит, не разгибаясь, будто курица на яйцах.— Склонившись, сторож таинственным полушепотом говорит: — По-моему, бо-ольшущую надо голову иметь, чтобы одолеть по-настоящему писанье, бо-оль-шущую!.. Вон на Хуторах мужик был — Кузя Хлипкий — одну только библию прочитал, да и то ума решился, а у на-

шего их, может, двадцать пять, и все — одна одной толще... Посиди-ка над ними — хуже косовицы уломает.

По привычке вдруг звереет и шипит:

— Не галдеть!..

Мы смеемся.

— Ты, Ильич, там с кем воюешь? — послышался сзади голос учителя.

— Грачи к тебе прилетели; принимай, коли охота... Ноги шапкой вытри, бестолочь!

— Это вы, друзья? — радостно воскликнул Парфен Анкудиныч, выходя из комнаты и застегивая ворот рубашки.— Ну, здравствуйте! И ты, Мавруш, пришла проведать? Добре, добре... Идите в хату чай пить.

После четвертого стакана я сказал:

— Вот Маврушка насчет книжек все думает: что там за книжки присланы в волость?

— И ты думаешь,— сказала девочка.— Мы оба...

— Ага, насчет книжек — дело! — воскликнул учитель и рассказал нам, что у нас при волости будет бесплатная земская библиотека, откуда можно будет получать всем книги.

— Книга — нужная вещь: она — друг,— наставлял нас учитель.— Книга учит жить людей; непременно запишитесь.

Через неделю я получил: «Вениамин Франклин, его жизнь и деятельность» и «Полное собрание сочинений И. С. Никитина», а Мавра — «Австралия и австралийцы» и «Параша-Сибирячка».

— Спасибо скажешь и царю,— рассуждал Калебан, размахивая «Графом Монте-Кристо», завернутым в тряпицу.— Заботится о черни: книжки вот прислал, чтоб зимой не скушно было, то, другое, пятое... Господа, паршивцы, его одолели,— повторяет он любимую мужицкую жалобу,— а то бы он не так показал себя.

Обе книжки я прочитал в один присест — за вечер и ночь.

Несколько раз мать поднималась с постели и насильно тушила лампу, хлопая меня по голове, отец грозил выбросить в лохань «дурацкие побасенки», потому что керосин теперь — четыре копейки фунтик, но я, переждав, когда они засыпали, снова зажигал огонь и читал.

Утром слипались глаза от бессонницы. Ползая по распаханным грядам и подбирая картофель, я несколько раз чуть не уснул, за что отец кричал на меня и называл нехорошими словами, а в душе у меня то вставала свет-

лая чужая и далекая земля и в ней дерзкий человек, затеявший борьбу с небом, то грустные, тоскующие песни, так складно сложенные, такие звучные, простые и понятные.

Дотянув кое-как до обеда, я убежал с книгою стихов в амбар и снова перечитывал их, а вечером, при огне, сам написал стихотворение, озаглавив его:

НАША ЖИЗНЬ

Близко речки стоят хаты —
Не убоги, не богаты:
То без крыш, то без двора,
Кругом нету ни кола,
На стенах везде заплаты.

Наш народ все неуклюжий
И подраться любит дюже;
Он прозванье всем дает,
В праздник песенки поет.

Начиная с крайнего двора, я перечислял всех осташковцев — какие они есть:

Дядя Тихон — киловатый,
А Митроха — жиловатый,
Есть Ориша, толстый пупок.
Есть и староста сельско́й —
Кожелуп, дурак надутый,
Он жену взял из Панско́й...

И так — до другого конца всех подряд. Заканчивалось мое писание так:

Каждый день здесь ссоры, драки,
Каждый день здесь визг и плач.
Вот поеду с отцом в город —
Там куплю я им калач:
Может, бог даст, перестанут
И немножко отдохнут,
Драться-биться позабудут,
Покамест калач-то жрут...

Ребята, выслушав на следующий день мою песню, пришли в восхищение.

— Вот это важно,— сказали они,— только знаешь что? Матерщинкой ее надо подперчить — слов пятнадцать!.. Тогда, понимаешь,— скус другой, петь будет можно...

— А если так, без матерщины? — попробовал защищаться я.— Ее и так бы можно спеть.

— Ну, брат, не та материя! — засмеялись товарищи.— Про всех бы, знаешь! Подошел к окну и выкладывай что надо, а матюком — на смазку, чтоб не отлипло!.. Как там у тебя про старосту?

Я прочитал.

— Ну вот! А тут бы — обложить его, ан смеху-то и больше б.

После ужина я присочинил, что советовали товарищи, и, кроме того, выдумал припев:

Гей, куриный бог — Барбос,
Колышек-вояка.
Киловатый, жиловатый,
Шухер-мухер, черт горбатый,
Жители без толку!

Шумной оравой мы бегали вдоль деревни от одного окна к другому, распевая с гиком и присвистом срамную песню.

Вдогонку нам летели поленья и кирпичи; визгливые и злые бабьи голоса посылали проклятья и невероятные пожелания распухнуть, подавиться колом. А наутро говорили:

— Володимеров грамотей-то что, сукин сын, выдумал! Старшине бы пожаловаться!

— Поумнел, безотцовщина! Косить да пахать не умеет, а матом лаяться да песни зазорные петь — мастер! Горячих теперь бы дать с полсотенки кутенку,— пускай заглядывал бы в зад...

Пришедшую с жалобой Оришу отец выругал и выгнал из избы, а когда мы остались вдвоем, сказал мне:

— Начитался, стерва? Сам умеешь песни складывать? — и бил до тех пор, пока мог,— кулаками и за волосы.

А через день, когда я побежал в лавку за мылом, меня увидал Митроха.

— Поди ко мне, малец, на пару слов,— кивнул он пальцем.

Я бросился в сторону, и Митроха пустил в меня железными вилами, которые держал в руках. Одним рожком они воткнулись мне в ногу — повыше колена: я упал. Тогда он подскочил ко мне, бледный, говоря:

— Не сказывай дома — я тебе копейку дам!.. На борону, мол...

XIV

Гранью моего детства было событие, происшедшее год спустя, летом, в ночь под Илью-пророка, когда мне шел тринадцатый год. Я был судим тогда, в числе шести, всем Осташковским обществом, как вор, и ошельмован, как вор.

Вспоминать этот вечер и особенно этот день — годовой праздник Ильи Наделящего — тяжело, но я решил ничего не утаивать: пусть будет так, как было.

Убравшись с овсяным жнитвом и перевозив домой копны, мы стали ездить в ночное. В поле оставались горохи, проса, картофель и льны — лошадей без призору пускать было еще рано.

— Завтра праздник: можешь пасти до обеда,— сказал мне отец,— лошадь поест лучше, и ты выспишься.

Табун собрался в Поповом мысу у речки.

Темнеет июльское небо, чистое и далекое, ласково смотря на нас миллионами лучистых глаз, горят Стожары, искристо улыбается Млечный Путь — божья дорога в святой город Иерусалим, невидимая благословляющая рука трепетно держит Петров Крест над нашими головами; шуршат по берегу сухими метелками серые камыши, будто старики на завалинке разговаривают о прошлом. В заводи плещется рыба, ухает выпь, фыркают стреноженные лошади, жалобно блеет забытый пастухом ягненок.

Чутко насторожив уши, дремлют собаки. Звенят на молодых жеребятах колокольчики. В Борисовке, верстах в трех от табуна, в плотной вечерней тишине сочно шлепает валек: а-ах! а-ах!.. Кружится нетопырь.

А от реки поднимается пар, холстом расстилаясь по низине, потягивает свежестью, пропитанной илом и водорослями. Когда ветер забегает с другой стороны, чувствуется запах гари выжженного солнцем поля и полыни.

Ползая на коленях по росистой отаве, мы ощупью собираем в темноте щепки и хворост для костра. Несколько человек, подсучив штаны, режут тростник. Наступив босой ногою на жесткие корни или порезав о шершавые листья руку, они ругаются, а стоящие повыше смеются и советуют:

— Вы легонечко — не жадничайте... Не в чужом огороде.

Вокруг огня, лежа на боку и животе, подперев кула-

ками белые, черные и русые головы, лежат малыши, подкладывая в пламя упавшие ветви. Смотря на него синими, карими и серыми глазами, перебрасываются шутками, блестя крепкими, как из слоновой кости, белыми и ровными зубами. Огонь играет на их румяных щеках и темных ресницах, в спутанных курчавых волосах прячутся пугливые тени, молодой смех переливается и звенит, как хор веселых колокольчиков.

— Дядя, расскажи что-нибудь страшное,— пристают они к старику Капкацкому, николаевскому солдату, работнику старосты.

— Смешное лучше,— говорят другие,— про попа иль барина.

Изъеденный морщинами, с лицом, похожим на захватанную классную губку, Капкацкий жмурит под лохматыми бровями старые выцветшие глаза, из которых бьет слеза; седые щетинистые усы его пропитаны табаком и пожелтели, давно небритый подбородок торчит ежом, по переносью и лбу лежат темные борозды.

— Сказку? — хрипит он.— А на табак дадите?

Вперебой кричат:

— Дадим, дадим, ей-богу! Завтра целую пачку получишь!

— В некотором царстве, не в нашем государстве, а именно в том, в котором мы живем, жил-был царь Латут...

Делает длинную паузу, смотря подслеповатыми глазами в лица слушателей, и заканчивает речь под неистовое ржание и хохот грязною рифмой.

— Это присказка, а дальше будет быль,— говорит он, гнусавя и сплевывая беззубым ртом желтую тягучую слюну.— Сошел раз Спаситель на землю, а с ним — Петр-апостол, Илья-пророк и Никола-зимний. Видят: бедный мужичок пашет землю. «Бог на помощь!» — говорят они. «Спасибо, добрые люди».— «Что сеешь?» — «Гречу».— «Уроди бог гречу». Идут дальше — богач с пашней ковыряется. «Здравствуй, мужичок-серячок, что сеешь?» Ничего им не сказал богатый — погордился, потому они идут с сумочками и в свитенках заплатанных, вроде как бы нищие. Объехал богач еще борозду, а Спаситель и угодники стоят на меже — дожидаются. Спрашивает Петр-апостол: «Мужичок, что ты сеешь?» Гордый человек посмотрел на святого и сплюнул...

Прижавшись друг к другу, ребята впиваются острыми глазами в лицо повествователя, напряженно ловят каж-

дую гримасу на нем, запоминают каждое слово и каждый взмах сухих рук.

Захрустело жнивье, послышался топот и глухой кашель.

— Ой, кто это? — испуганно встрепенулся маленький Ваня Зубков.

Посмотрев на шорох, Дюка равнодушно сказал:

— С телегой едут.

На фоне потухающей вечерней зари медленно двигалась черная точка, как жук, распластавший черные крылья.

— Сиденье вам,— охнула темная ночь.

— Садись к нам.

— Тпрррy!.. Греетесь?

Мерцающий свет костра обнял круглое, обросшее пушистой бородой лицо, шапку спутанных волос, посконную рубаху и лапти.

— Архипка Мухин с работником,— шепнул Зубков соседу.— А я испугался: не межевой ли, думаю?

— Что ты! — пробасил он снисходительно.— Межевой ездит в полночь, это надо знать.

Спутав лошадей, приехавшие расположились у костра, оба серые от пыли и пота, с красными воспаленными глазами.

— Умаялись,— просипел работник Так-Себе, подгибая длинные жидкие ноги.— Последки нынче добивали, осыпается овес-то...

Его движения медленны и неуклюжи, большой рот обметан волдырями, голова пыльна и нечесана; липкие, потные волосы свисают грязными прядями на уши и бронзовое лицо; заскорузлые руки — как разбитые крылья больной, бессильной, неуклюжей птицы.

— Сказки слушаете? Промышлять бы шли! — говорит, присаживаясь, Мухин.

С давних пор молодежь и дети делают набеги из ночного на деревню, обивая сады и огороды, таская чужих кур, уток и гусей. Это в обычае, считается молодечеством.

— Ступайте,— повторяет Архип,— я кувшин дам для варки.— Мужик щурит узкие глаза и причмокивает: — Важно бы теперь цыплятинки хватить — сладкая она, молодая-то... Эх, вы!.. Бывало, вашу пору...

Шесть человек: Андрюшка Жук, Калебан, я, Так-Себе — работник, Федька Пасынков и Алешка Горлан от-

правляемся на промысел. Никто из нас молодой цыплятины не хочет, но нужно показать, что мы — не трусы.

А перед утром, когда запели жаворонки и пар от реки поднялся выше осокорей, нас поймали с поличным.

Товарищи спали мертвым сном. Одежда покрылась росою, и лица посерели, измялись. Медленно тлели дрова, натасканные из изгороди; тонкими струйками шел от них дым, расстилаясь ковром по лугу. Мы шестеро дремали у костра, ожидая ужин.

— Вы что тут варите? — спросили неожиданно. Вскинув глаза, оглушенные и растерянные, в предчувствии близкой беды, мы едва проговорили:

— Нет, мы ничего не варим... Сидим и греемся.

Склонившись лохматыми головами, в свитах, перетянутых поводьями, на нас враждебно смотрят три пары глаз. В руках у каждого по палке.

— Поздно сидите... Подай сюда кувшин!..

Слетела с головы шапка, в затылке отдалась тупая, ноющая боль, закружилась и запрыгала земля.

Нас били ногами и палкой, таскали по земле за волосы, заставляли становиться на колени и просить прощения.

В плотном кругу товарищей, разбуженных шумом и бранью, бегал Архип, всплескивая руками и визгливо крича:

— Глядите-ка, робятушки, они и посуду у меня украли, сукины дети! Ишь, оголодали, будьте вы трижды прокляты!..

— Дядя Архип, ты помолчал бы,— сказал Андрюшка Жук,— ведь ты же сам научил нас, а теперь ругаешься, а?

Мухин взвизгнул, как собака, которую огрели камнем по боку, и, брызгая в лицо слюною, схватил его за волосы, приговаривая:

— Я т-тебе покажу! Ты у меня узнаешь! Научи-ил? Научил? Воровству я тебя буду учить, проклятая душа?

Откопали перья и пух из-под копны, головы и лапки. Один из пришедших, Ерема Косоглазый, закричал:

— Нестер, утки-то, братец ты мой, наши, глаза лопни, наши! Смотри-ка на мету — от поля палец подрезан!.. А я думал, борисовские!..

Опять нас били, таская по земле и вывертывая руки, совали в рот сырое утиное мясо, говоря злобно:

— Жрите! Жрите, ненасытные утробы! Жрите, чтобы вам подавиться, стервам!

Сначала мы плакали, прося прощения, а потом перестали: ни слез уж не было, ни силы.

Изо всей компании никто за нас не заступился. Один лишь Капкацкий начал было укорять:

— Что ж вы увечите ребят, разве они первые? Испокон веку озорство ведется, не годится, братцы, этак!.. Постегали бы кнутом или обротью, дома — отцу, матери пожаловались: пусть платят деньги за убыток, а то что же это...

Но на него закричали:

— Ты, видно, дьявол старый, сам с ними заодно!

Капкацкий плюнул, выругавшись, и отошел в сторону:

— По мне, хоть убейте... Меня ничем не удивишь...

Дома спросили, когда я приехал:

— Ты что какой невеселый? Дрался, что ли, с кем?

— Нет, я веселый,— ответил я, но сами собою брызнули слезы, я выскочил из-за стола и убежал в конопли.

«Эх, скоро узнают все!.. Опять начнут бить... На улице смеяться будут... Зачем мы это наделали?»

Медленно тянется время, голова — как в огне, сердце то ноет мучительно, то падает, готовое разорваться... Не знаешь, как лечь, куда положить голову, о чем думать. Нестерпимо хочется забыть пережитое.

«Умереть бы!.. С мертвого взять нечего... А если станут бить,— не стыдно и не слышно...»

Конопля шелестит. Горячими волнами пробегает по ее верхушкам ветер, она качается, как сонная. Пальцеобразные листья опустились и поблекли; лохматые головки сереют маленькими ядрами спеющих зерен.

Пришла Мотя. Молча села рядом.

— Зачем вы, глупые? — спросила тихо.

— Я не знаю...

— Сходку собирают. Ступай — спроси старосту: пожалеет, гляди... На колени перед ним стань...

— Не пойду — мне стыдно, боюсь...

— Ступай. Отец сердит: платить ведь надо, а денег нет... Ругает он тебя...

...В избе у Еремы Косоглазого, хозяина уток, стоим на коленях, целуем ноги и руки у всех, клянемся с горьким плачем, что не будем никогда озорничать, а они пьют чай из светлого самовара, смеются и говорят:

— Знаем мы вас!

Калебан просит:

— Я твоих лошадей буду целое лето без денег пасти, прости нас Христа ради!

Федька обещает еще что-то сделать, и я обещаю, а староста вытирает пиджачной полою румяное лицо с капельками пота на нем, хмурит белобрысые брови, важно спрашивая:

— Что, чертята, плачете? — Бьет меня ладонью по затылку.— Кто кожелуп-то — староста? А ты — утятник, сочинитель! Я тебе припомню песенку!

Другие говорят:

— Он — мастер на эти штуки. Поглядим, как теперь запоет! Сотский-то близко? Вели бы на сходку их,— пора!..

Эх, горе наше, горе!..

Кольцо суровых бородатых лиц. Посконные рубахи, сапоги в дегтю и лапти. Седой старик толкает меня палкою в плечо.

— Рассказывай, как дело было. Становись посредине сходки и рассказывай...— Жмурит пухлые глаза без ресниц.— Лишнего не привирай. Что ты плачешь?

Сбежалась вся деревня: женщины, дети, подростки. Теснятся около нас, заглядывают в лица, шепчутся:

— Вот они, утятники-то... Били их иль нет еще?

— Ондрюха-то, бесстыжая харя, Ондрюха-то? Жених, а тоже затесался!.. Ему надо больше всех влить!

Руки трясутся, в горле пересохло. Заикаясь и путаясь, передаем, как было дело, и робко молчим.

Вспоминаются наставления матери: «Поклонись на все четыре стороны и скажи: православные, простите меня, глупого!» И я опускаюсь на землю, бессвязно бормоча:

— Православные...

А старик с опухшими глазами трясет меня за плечо и скрипит противным голосом:

— Чем уток-то?

Изо рта у него скверно пахнет, в углах глаз — желтый гной, толстый нос покрыт угрями.

— Чем вы их?

— Колотушкой...

— А? Шибче сказывай! — и подставляет большое мясистое ухо, из которого торчат клочья грязных седых волос.

— Колотушкой. Ею колья забивают... старички!..

Падаю ему в ноги.

— По головам небось? Ты погоди, после поклонишь-

ся... Слушайте вы, не галдите: они колотушкой их! По головам, говорю, или как?

— По головам и по другому месту... Простите меня, глупого!..

Старик дробно смеется, будто чистит ножом сковородку, и кашляет, обдавая гнилым запахом, треплет сухой рукою с шишками на суставах по спине меня и шепелявит:

— Ишь ты — ловкий какой! Как хлопнешь, так и готова?

— Да-а...

— Ловкий, шельмец, ловкий!..

Нанизанные на тонкую бечевку куски мяса нам обматывают вокруг шеи, пухом и перьями посыпают головы и ведут рядком с одного конца деревни на другой и обратно. Улюлюкая, звонко бьют в старые ведра и заслонки, кричат, забегая к самому лицу: «Утятники! Воры!..» Заставляют низко кланяться миру, позорят нас...

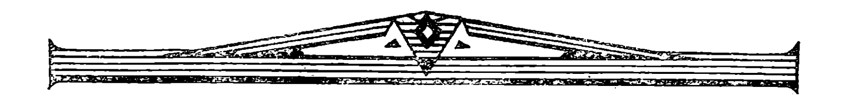
А меня клонит сон: усталые ноги еле передвигаются, голоса толпы, дикой и жадной до зрелищ, звон посуды и брань кажутся чужими, далекими.

...Ночью загорелся у старосты сарай. Опять крики, звон и топот. Огонь с сарая перебросился на скирды хлеба, оттуда — на избы и клети. К голосам людским и визгу присоединился набат, рев скотины, плач детей...

Прижавшись к забору, я смотрю на зарево и тихо плачу...

Постарел я за этот день.





КНИГА ВТОРАЯ

ОТРОЧЕСТВО

I

В марте месяце, перед жаворонками, приехал к нам Созонт Максимович Шавров, скотопромышленник и богатый человек из Мокрых Выселок.

— Хозяин дома? — постучал он в двери.

— Дома, дома,— отозвались наши.— Заходите — гостем будете.

В избу вошел коренастый мужик среднего роста, широкоплечий, с небольшою лысиною, краснобородый.

Отец, как ужаленный, соскочил с голобца, оправил рубаху и, моргнув сестре, поздоровался с ним за руку. Мать поспешно сдернула столешник со стола, немытые ложки и солоницу, вытерла тряпицей лавку, говоря умильно:

— Присядь покуда что, присядь, миленочек...

Мотя побежала за водой на самовар.

Вздыхая и покашливая, Созонт Максимович неторопливо снял тулуп, оставшись в новом романовском дубленом полушубке с вышивкою на груди и в коломенковой, с махрами, подпояске.

— Старик, чайку бы гостю-то,— несмело вымолвила мать.

Отец весело ответил:

— Девка побежала уж,— и опять незаметно моргнул матери, щелкнув себя под подбородок. Мать схватила из угла стеклянную посудину.

Гость сказал отцу:

— Я насчет должку, Лаврентьич... Чисто смерть — расходы одолели, подати, страховка, жеребца вот купил... ты уж как-нибудь похлопочи, пожалуйста, а в случае чего — опять ссужу...

Отец, глядя в окно на серую в яблоках лошадь, запряженную в легкие козыри, проговорил, вздыхая:

— Лошадка — важная... Что твой князь теперь ты ездишь, Созонт Максимович.

Глаза гостя заблестели удовольствием, но сейчас же спрятались под густыми бровями, и он сокрушенно ответил, оправляя бороду:

— Куда уж нам!.. Намедни князь-то — с колокольчиком и кучер в перьях... Не угнаться нам за ним, за князем-то...

Созонт Максимович — приблудный сын Максы Шаврова. У него — ветряная мельница, лавка, маслобойня, крупорушка и денег несметное множество. Половина Осташкова, окрестные деревни и своя — Мокрые Выселки — должники его. При старом князе Дуроломе сестра Максы — покойница Мариша Барыня — была господскою любовницей, потом стала любовницей жена его — Федосья Китовна, а муж — бурмистром. Обе получали много милостей от барина, оттого разбогатели так. Князь Осташков, прежний, умер; Мариша Барыня тоже умерла; Макса теперь без ног, с виду желт и лыс, как чахлый гриб; домом управляет старший сын его Созонт вместе с братом Федором, вдовцом, тоже приблудным. Они дают деньги в рост, торгуют шерстью, льном, маслом, имеют много земли и скотины, вообще, народ очень хозяйственный, первый в волости. На вид Шаврову сорок пять — сорок семь лет, и на самом деле — много больше. Он — сыт, румян и богомолен, говорит тихим, ласковым голосом, любит пошутить с девками, посмеяться, побалагурить или, как он говорит, «поточить балясины». Он шипит тогда, как селезень, и веселые, колечками, жидкие кудерцы его вьются и подпрыгивают на лоснящемся затылке, а пухлые пальцы в крупных перстнях мягко шевелятся и дрожат.

Созонт Максимович безграмотен, но должников знает, хозяйство и лавку ведет — дай бог всякому, никому никогда ни в чем не ошибается и сроки платежей не пропускает.

— Нынче к шестому тебе, а деньжат собрал пять красных, нуко-ся, подумай! — говорит он ласково отцу.— С тебя там что приходится?

— Четыре пятишницы,— кряхтит отец.

— И то никак четыре,— жмурится Шавров.— Четыре, да... Пенечку не измял еще?

Отец чешет живот и сплевывает в угол.

— Ишь ты, веник-то в пороге бросили, холерные! — нагибается он у дверей.— Места не найдут получше,— так и суют под ногами!..

— Бабье дело глупое! — смеется гость.— Баба — что овца... Овина два, чай, было или больше? Нынче, слава богу, пенька добрая: зеленая, волнистая, как шелк... Пудиков пятнадцать вышло?

Отец, вздыхая, лезет в горнушку за табаком и кричит Моте:

— Скоро, што ли, самовар-то?

Шавров зевает, крестя рот. Ему надо узнать, цела ль у нас пенька, которая обещана за долг, а отец продал ее, не мявши, еще осенью и отвиливает. Созонт чует это, но — играет. С кутника мне видно, как кривятся его губы под пушистыми усами, маленькие, сверлящие глаза иглами впиваются в спину отца, а когда тот оборачивается, тухнут, становясь невинно добродушными, почти ребяческими.

— По знакомству я тебе копеечку на пуд надбавлю против базара, а?

— Оно коне-ешно! — говорит отец и бежит в чулан.— У нас от праздничка селедочка осталась,— ухмыляется он,— мы съедим ее за чаем-то, а то еще протухнет, грешная,— и вопросительно глядит в лицо Шаврова.

— Мо-ожно,— тянет гость,— отчего-о нельзя? С нее чаю выпьешь больше...— Обернувшись к вошедшей матери, он говорит: — Мы тут с мужиком твоим насчет пенечки толковали... Благодать у вас, Ондреевна, мочить ее в реке!.. Вон у Ведмедевских в копани-то — желтая, кургузая, как жулик, а у вас на подбор — волокно к волокну...

Мать, поставив на скамейку ногу, подвязывает оборвавшуюся лапотную веревку.

— Кабы достатки,— говорит она, вытирая нос,— весной бы рубля по три шла, а то по два с четью ухайдакали.

Отец лезет под лавку за бруском — ножик поточить, а Шавров вздыхает:

— Ишь ты, уж прода-али?.. Знамо дело — весна цену надбавляет... Жалко, что поторопились, очень жалко...

— Разве с ними сговоришь? — кричит отец, сидя на корточках.— Прода-ай, старик! Прода-ай, старик!.. Вороны!.. Я им: погодите, бабы, вот Созонт Максимович

приедет — разговор у нас с ним был, а они, дубье: поодати, Христово рождество-о!.. Черти драные!..

Мать удивленно смотрит на отца, будто собираясь сказать: «Что ж ты брешешь, старый дьявол?» — но молчит; сестра моет чашки, я играю с дымчатым котенком Фролкой.

— Значит, та-ак,— гладит бороду Шавров,— поторопились малость; я бы много больше дал... Ну, что же делать? Сами виноваты... Ишь ты — котенок-то какой веселый! — оборачивается он ко мне.— Поцарапал, поди, руки-то?

— Нет, он легонько,— отвечаю я,— он — умный...

Созонт Максимович оправляет подпояску, пристально разглядывает меня со всех сторон и, потягиваясь, говорит:

— Слушай-ка, Лаврентьич, у тебя мальчонка-то никак пустопорожний, а? Отдай-ка, братец, в пастушонки, правое слово!.. Денег-то, чай, в доме мало — самому нужны, а я в цене не обижу...

Отец смотрит на меня и на сестру, которая пыхтит у самовара, стучит пальцами о стол и говорит раздумчиво:

— Денег, Созонушка, если по правде — совсем нету ни гроша.

Оглядев всех нас поочередно, он конфузливо смеется.

— То-то вот и дело,— разводит руками гость.

За столом, во время чая, Созонт Максимович еще раз осмотрел меня, велел подняться, потом вымолвил:

— Тринадцать цариков, хозяйские лапти, к троице — новый картуз, служить до покрова, до белых мух...

Отец вздохнул:

— Уж, видно, тому делу быть.

Распили магарыч, помолились богу, ударили по рукам. Созонт Максимович уехал восвояси.

А через неделю мать уложила мне в мешок две смены рубах, суконные онучи, гребешок и шарф, надела новый крест, дала теплые варежки и, благословив, заплакала.

— Слушайся, детенычек, хозяина, не озоруй,— причитала она.— С этаких-то пор в чужие лю-юди!..

Дом Шавровых самый видный. С середины деревушки, на широкой прямой улице, желтеют новые ворота, узкое крыльцо с лохматым ковылем, красные оконные наличники и просмоленная тесовая крыша. Через доро-

гу, около сарая,— кирпичная лавка под железом: «Торговлья мелкого и крупного тавару», у крыльца — колодец с журавлем, левее — маслобойня.

В просторных сенях с потолком и деревянным полом нас встретила краснощекая сноха Созонта Максимовича — солдатка Павла. В руках у нее глиняная чашка рыбьего студня, под мышкою — хрен. Скрипя полусапожками на медных подковах, она через плечо сказала, оглядев нас:

— Подождите на крыльце: мы обедаем.

— Кто там, Павленька? — спросил из теплушки Созонт Максимович.

— Не знаю,— дернула баба головою.— Какой-то чужедеревенский мужик с мальчишкой.

— Это мы, Максимыч, мы-ы,— отозвался отец, снимая в дверях шапку.— Пастуха тебе привез — Ванюшку! — и полез за бабой в избу.— Что ж ты стал, пойдем! — обернулся он ко мне.— Пригладь волосья-то...

Изба светлая, чистая, в два больших окна, с дерюжными половиками от дверей, по-белому. В задней стене — полустеклянная дверь в горницу, у печки шкафик для посуды, в углу — деревянная кровать под одеялом из разных лоскутков, на косяке в проволочной клетке — пара веселых перепелов, а на шестке, у блюдечка с водою, сизый ручной голубь.

За широким крашеным столом под образами — сам Созонт Максимович, рядом с ним — брат Федор, по прозванию Тырин, длинношеий щипаный журавль, за Федором — Гавриловна, жена Созонта; на конике — бабушка Федосья Китовна в повойнике, слюнявый полоумный Влас, меньшой хозяйский сын, жена его Варвара и солдатка Павла; на скамейке девка Любка, два работника и нищий.

— Пастуха-а привел? — поет хозяин, глядя на сноху.— Ла-адно, погляди-им... Садись обедать с нами... Павла, принеси им ложечки.

У всех веселые лица, хлеб — как пшеничный, соленая рыба с квасом — век бы ел. Большие начали разговаривать о конопляном масле, а я поспешно цеплял квас.

— Ешь ты, парень, за двоих, до поту,— пошутил Созонт Максимович, следя за мной.— Поглядим, какой будешь работничек.

Отец незаметно наступил мне на ногу и, конфузливо смеясь, ответил:

— С первачка-то всегда так... Еда у вас уж очень скусная!

— Поработавши как следует,— добавил Шавров.

Мужики расхохотались. Я потупился.

— Что ты оговариваешь? — сказала Китовна.— Заржали, демоны! Накорми вперед, тогда спроси и работу... Ешь, милый, не гляди на дураков,— обратилась бабушка ко мне и подложила новый ломоть хлеба.— Тебе годов двенадцать будет?

— Четырнадцатый.

— Мелкова-ат,— покачала головой старуха.— Ну, да ничего, поправишься, бог даст... Ты ешь получше, не гляди на дураков.

После обеда Созонт Максимович, подведя меня к дверям в горницу, ткнул пальцем:

— Видишь?

В горнице стояли кованые сундуки под ковриками, на окнах, как у попа, кисейные занавески, вдоль стены — в ряд гладко тесанные березовые стулья, на двух маленьких столах — голубые скатерти с разводами, в переднем углу, сплошь заставленном угрюмыми иконами, тяжелые старинные лампадки на медных цепях с неугасимой посредине. Пахло ладаном.

— Чисто в церкви,— сказал я.

— Ходить тебе сюда нельзя, понял? — проговорил Шавров.— В чулан тоже не смей,— ткнул он пальцем, где чулан.— И в лавку не смей... Не послушаешься, отстегаю хворостиной и пошлю домой, к отцу. Ступай теперь с Любашкою поить коров.

Пока не стаял снег, я помогал по дому. Утром бегал за водой на самовар, чистил сени и крыльцо, задавал скотине корм, вил поводья к пашне, резал хворост. С первых же дней меня — не знаю почему — невзлюбила Павла. Гладкая, задорная, самолюбивая, она с утра до вечера хохотала на всю улицу со свекром, Созонт Максимычем, или с работниками, а стоило мне ненароком подвернуться, как она сжимала плотно губы, хмурилась и норовила поймать за щеку или за ухо. Сначала я крепился и, хоть больно, но посмеивался. Раз в сарае, убирая с нею сено, в шутку я схватил даже за грудь ее, но солдатка побледнела и, вцепившись в волосы, с силой ударила меня об пол. Перепуганный до́ смерти, я

молчал. Баба тоже не промолвила ни слова, только ноздри ее вздрагивали.

Вечером Шавров спросил меня наедине:

— Иванушка-пастушок, тебе воспу прививали аль нет?

— Как же, прививали,— сказал я.— Еще маленькому...

— То-то, ты забыл, должно быть, если маленькому.— И, грозя батогом, прошипел: — Я т-тебе, стервец, привью другую, чтобы к бабам не лез!.. Ишь, пащенок!..

Павлы и хозяина я стал бояться.

Жили мы не в доме, где семейство, а в избушке, во дворе, рядом с баней, и ходили туда обедать да ужинать, а по праздникам пить чай.

На страстной неделе Созонт Максимович привез из Захаровки товарища мне — десятилетнего Петрушу — кривоглазого, сына бедной вдовы Тонкопряхи, с виду заморенного, тщедушного, с цыплячьим личиком и хохолком на голове.

— Вот тебе помощник,— сказал Шавров.— Ты будешь пастух овечий, а ему — телят со свиньями.

Мальчик улыбнулся всем, тряхнул кудряшками и, подойдя ко мне, спросил:

— Тебя как звать?

— Ваньтя.

— А меня — Петруша, давай жить приятелями, ладно? — Он обнял меня.— Ты тоже первый раз в работниках?

Вечерами, после ужина, в избушку приходил слюнявый Влас, хозяйский сын, садился на полати и, боязливо поглядывая в окна, старательно крутил «собачью ножку». В двадцать два года он боялся при отце курить. Говорят, лет семь назад Влас был веселый песенник и гармонист, любил рядиться, ночи напролет таскался по вечеркам, а потом будто ему «попритчилось». А другие говорили, что Созонт, захватив его у выручки, ударил чем-то в темя. Парень ошалел, оглох, отвесил нижнюю губу, стал заикаться. Таким и женили его на Варваре, своей деревенской девушке, из небогатых.

Старший работник Василий, кучерявый мужик лет под сорок, садился с лаптем у шестка, Пахом, его сподручный, лез на голобец, а мы с Петрушею — на печку, к прусакам.

— Ну и что же? — начинал всегда Пахом.

Это был бездомный парень, осенью отбывший при-

зыв, угловатый в движениях, большеротый, как лягушка, со впалыми висками и приплюснутым носом, отчего лицо его казалось плоским днищем, на котором торчали острые скулы, а хрящеватые, нечистоплотные уши, черные прямые волосы, пересыпанные перхотью, и глупая улыбка дополняли общую непривлекательность его облика.

— Вот тебе и что! — незнамо чему ухмылялся Влас в ответ, картавя, кашляя и заикаясь.

Жадные, трясущиеся, с красными от напряжения лицами, они до поздней ночи, сидя друг против друга, наперебой рассказывали срамные истории про баб, щеголяя грязными словами, отрывисто хихикали, ругались, смачно сплевывая на стену, и тянули без перерыву вонючий трехкопеечный табак.

Влас бахвалился, сколько работниц он испортил — то насильно, а то за конфеты или ситец, как они плакали и жаловались «бате». Пахом, слушая, рычал от радости, колотил ногами о помост, опрокидываясь на спину, и расспрашивал, как тот портил их, что говорил им и что они говорили.

— У Феклушки Глазовой мой мальчуган-то, с места не сойти! — говорил хозяйский сын.— Я как увижу теперь мужа, непременно расспрошу: жив ай нет, скажу, мой парень?.. У Анисьи — тоже мой, у Ховры — тоже мой...

— А свою не прозеваешь? — спрашивал Пахом.

— Моя крепкая,— крутил лохматой головою Влас.

Батрак подзадоривал:

— Я вот ее... прищемлю когда-нибудь...

Полоумный Влас таращил желтые глаза, а мы с Петрушей заливались звонким хохотом.

— Прищеми, прищеми, Пахомушка! — кричали мы.— Покрепче ее, ведьму!

— Цыц, вы, сволочи! — орал во всю глотку Влас, стуча кулаком по полатям. А потом широко улыбался: — Поди, робята, страшно, как я закричу? Небось думаете: сейчас смерть? — Помямлив, почесав затылок, говорил, обращаясь к Пахому: — А я твою прищемлю, что? Попался, сват? — и подпрыгивал, весело потирая руки.

Василий, всегда будто не слушавший болтовню, говорил, держа в зубах очиненное лыко:

— Облом мамин, у него же нету!.. Его жена еще во стаде бегает.

— А я обожду-у! — заливался Влас. — А я обожду-у!.. Попался, парень? А я обожду-у!.. Ты мою, а я твою!..

Иногда на этом все кончалось. Влас, чувствуя себя победителем, неистово кричал, махая лапами, а мы четверо катались со смеху над ним. Уверенный, что все поражены его находчивостью, он ржал еще громче, до тех пор, пока его не постращает кто:

— Старик, кажется, шатается под подворотней.

Парень бледнел, осекался и тихонько лез в угол.

Иногда же, взбешенный насмешками, Влас бросался на Пахома с кулаками, а тот, зная, что слюнтяй отцу не жалуется, бил его чем попало по лицу и голове. Влас, рыдая, выбегал на улицу.

Утром драчуны мирились. После ужина хозяйский сын опять приходил в избушку и опять шла речь о бабах, неизменно начинаясь:

— Ну и что же?..

— Вот тебе и что!..

Изредка к нам заглядывали соседи. К срамным разговорам присоединялись ведьмы, колдуны, утопленники, домовые и разная пакость. Мы с Петрушею, тесно прижавшись друг к другу, дрожали, Василий что-нибудь мурлыкал у шестка, а на улице скрипели ветлы, зловеще дул сырой весенний ветер, трещал лед и выли на разные голоса собачьи мартовские свадьбы.

Старший работник Василий, Вася Батюшка, в разговоры не вступал ни при своих, ни при чужих людях, а при драках отворачивался в сторону. Это был степенный, молчаливый человек, читавший по праздникам святцы. У него была своя избенка в Мокрых Выселках, шестеро золотушных детей, надел земли и трегубая жена на сносях. Каждый вечер, когда на хозяйской половине тушились огни, к нашему окну осторожно пробиралась дочь его Грунька Конопатка и тихо, как собака, скребла в раму. Василий, покряхтывая, накидывал на плечи полушубок. Иногда же, не вставая с места, просто разводил руками — шорох прекращался. Девка прибегала за крупой и солью, которые воровал Василий для домашних.

Раз я захватил его в амбаре у пшена. Увидав меня, работник поспешно отскочил от сусека и стал копаться на полке с инструментом.

— Петруш, наверстку не видал тут? — спросил Вася Батюшка, гремя долотами.

— Это — я, дядя Василий; Петька у колодца,— отозвался я.

— А-а, это ты?.. Я наверстку никак не найду...— Смущенный, он неумело прятал лицо, становясь ко мне спиною.

Подойдя к сусеку, я промолвил:

— Сровнял бы пшено-то, а то ямы... догадается... Ты это для Груньки?

Вася Батюшка спросил:

— Скажешь или нет?

— Если спросят, скажу.

Он звякнул клещами, которые держал в руках.

— Дур-рак! — сказал он.

Бросив в угол клещи, заровнял гусиным крылышком пшено, а сверху потрусил мукой, будто издавна запылилось.

— Богатому имущество хочешь копить? — спросил работник, опираясь на дверную раму.— Эх ты, червь! — и в досаде сплюнул.

— Я, дяденька, ничего,— испуганно прошептал я.— Если сам не тяпнется, я не съязычу, дай бог провалиться на этом месте! — и я на все углы начал креститься.

— Обокрасть богатого не грех,— гневно молвил Вася Батюшка.— Понял? — притопнул лаптем он.

— Понял, дяденька, понял,— ответил я поспешно.— Все как есть понял: обокрасть богатого не грех!..

— То-то же... Ты куришь? На вот на цигарку полотборки.

Работник вышел из амбара.

Вечером у нас опять была баталия Пахома с Власом, опять скребла Грунька за окном и опять выходил Василий в сени, причем из кармана у него торчало горлышко пивной бутылки с постным маслом. После драки, в этот вечер особенно жестокой, пришел старик Севастьянов, ночной сторож, и рассказал, как в полночь на Казанскую, после того как он, выпив «малость», проводил гостей, нечистый дух загнал его на Каменную Лощину, за шесть верст от деревни, и как он спал там до утра в ручье, а вокруг него плясали черти, мыши, три бурых кобеля, покойница Сычиха Ведьма и Кривой Рогач, дурновский мельник. Рассказывая, старик сплевывал от омерзения, крутил квадратной головою, то и дело взмахивал руками, выл и кашлял, а чтоб крепче верили, божился, как торгаш. Петя, мой подпасок, так

заслушался, что чуть не хлопнулся с печки на голобец, а я все время думал над словами батрака Василия: «Обокрасть богатого не грех».

«Почему не грех?» — ломал я голову.— Почему осташковцы, стащив что-нибудь у князя, молчат, а он бахвалится? Почему конокрады и другие воры ходят по ночам и берут скотину незаметно? Потому что они чувствуют, что делают гадкое, нехорошее дело, оттого и ночь им на руку. Года два назад, даже меньше двух, меня самого срамили на все корки середь мира, а поймав с поличным, трепали до исступления и все за то же: за уток, за чужое, за воровство... И вот вдруг в Мокрых Выселках, немудрой деревушке в шестьдесят дворов, оказался человек, кудрявый Вася Батюшка, трегубой жены муж, который походя таскает хозяйское имущество и сам себя за то похваливает, говоря: «Обокрасть богатого не грех». Отец мой и мать воровству меня не учили, и если бы услышали об этом, не признали бы за сына. Я терялся. «Есть что-то неладное в словах Василия»,— думал я. «Ведь князь — тоже богач, даже не чета Шаврову, поп — тоже богач и старшина — богач; у них мужики воруют сено, дрова, копны с поля и все, что попадается под руку, однако же я еще ни от кого не слышал, чтобы на людях они оправдывали воровство».

Когда Севастьянов ушел, я спросил у Пети:

— Ты, Петруха, любишь воровать?

— Кого? — спросил товарищ, даже испугавшись.

— Пшено, масло постное, крупу... Ты воровал когда-нибудь?

Мальчик удивленными глазами уставился на меня, не понимая.

— Зачем воровать? — наконец спросил он.— Это ж грех!.. Мне мама не велела, нам учитель заповедь читал и книжки... Я не согласен, не буду!..— бормотал он, словно подозревая меня в том, что я его сбиваю к воровству.

— Ты погоди,— придвинулся я ближе и так, чтобы никто не слышал, рассказал ему о Василии, о том, как ходит Грунька Конопатка под окно, о сегодняшнем амбарном происшествии и о поразивших меня словах работника.

— Не верь ему, Ваня! — горячо воскликнул мой товарищ, выслушав меня.— Неправда это! Он нарочно так сказал, потому испугался!.. Крест господний, он с испу-

гу!..— Петя схватил меня за руку.— Не верь ему, ни за что не верь! — шептал он.

— Вы там что шушукаетесь, эй, орлы? — спросил Василий.

— Так, дяденька... Насчет девок разговор у нас,— отозвался я.

Пахом на мои слова залился хохотом, потом выругал нас; Василий тоже засмеялся.

— Рановато,— сказал он,— поди-ко, еще не смыслите что к чему?

Пахом ему ответил:

— Этот, как его... Кривоглазый-то, пожалуй, впрямь не смыслит, а Ванек — пройдоха!.. Ванек облапошит Любку, вот посмотришь!..

Вася Батюшка хихикнул:

— У тебя, парень, у самого зуб на нее горит, я ведь примечаю!..

Я сказал Петруше:

— Слышишь, какой у Василья голос-то веселый!.. И не тужит... Может, вправду греха нет? Расспросить, что ли?

— Расспроси,— промолвил Петя, но сейчас же спохватился: — Нет, Ваня, не надо лучше, брось... Мама говорила: грех. Тебе мама говорила? Ты не слушай их,— они плохие. Чуешь, как Пахом ругается? Он злой-презлой, я знаю, а Василий — хитрый... смирен, а хитрый...

Однако, несмотря на слова Петруши, я наутро спросил работника, почему не грех обокрасть богатого.

— Ты все с тем же? — нехотя ответил Вася Батюшка, и по лицу его пробежала досадливая гримаса.

— Мать меня учила, дяденька, не воровать, а ты вот другое говоришь... Я все думаю над этим.

— И я тебя не учу,— сказал Василий.

Мы месили лошадям резку. Серый жеребенок наступил работнику на ногу. Вася Батюшка, схватив полено, торчмя под живот стал бить его: от такого битья нет ни звука, ни следов, а боль сильная.

— Сокрушил бы вас с хозяином! — шипел змеей Василий.— Опостылели вы мне!..

Я молчал, стоя поодаль.

— Об хозяине ты думать перестань,— сказал работник, беря из моих рук севалку с отрубями.— Он нас сам жмет так, что аж спина трещит, понял? — Василий покраснел от злости.— А мне что ж-жалеть его, родимца? — крикнул он.— Да пусть он сдохнет, аспид рыжий!

После я заметил, что добро воруют и Пахом, второй работник, и хозяйский сын, подумал и махнул рукой: делайте, как вам угодно...

II

Пасху провели со снегом, ветром и дождями. Устроили было релья у ворот, но никто за всю неделю не катался. Прояснилось небо, и земля очистилась на Фоминой: в пять-шесть дней согнало снег из ложбин, высушило дороги, а луга одело мягкою зеленью. От земли пошел крепкий здоровый запах, ракитки и верба унизались восковыми гусачками, зацвела душистая черемуха, как кутья, налились и разбухли березовые почки, а из надсеков в стволах потек светлый сладковатый сок.

Мокрые Выселки завозились и забегали, как муравьи. Спешно чинились сохи, бороны, телеги; с утра до вечера в кузнице гремел молот, вперемешку со смехом и возгласами.

Вдоль выгона, задрав трубой хвосты, как сумасшедшие носились жеребята, а за ними, пьяные от счастья, ребятишки и собаки. С безоблачного голубого неба смотрело весеннее солнце, беспокойно металась скотина во хлевах, а по пашне пеленою стлалось марево.

Всем семейством с раннего утра мы чистили двор и улицу, готовясь к молебну. Одни скребли вилами навоз, бросая его в тачку; другие убирали бревна и хворост от заборов; бабы подметали, а мы с Петею, садясь попеременно на Мухторчика, возили тачку в огород. На хороших харчах товарищ за две недели порозовел, повеселел и хохотал, как стригунок, прыгая на все лады возле больших, заигрывая с Любкой, со мною и с Варварой. Шавров, глядя на работника, добродушно улыбался:

— Ишь ты, демон, вьюном крутится!

На крыльцо из душной хаты выползла Федосья Китовна, сухонькая старушка небольшого роста, очень богомольная, с темными родинками на правой щеке, разговорчивая. По привычке, оставшейся еще от крепостного права, Китовна носила высокую кичку с подзатыльником, китайчатый шугай и нарукавники, а вылинявшие жидкие косицы заплетала над ушами в два крысиных хвостика. Щурясь и блаженно расправляя косточки, бабушка покрикивала:

— Петрик! Ваня! Подберите вот тут щепочки!

Мы наперебой летели к ней и с усердием мели и чистили.

— Бабонька! — кричал Петрушка.— Милая!..— и, не зная, что больше сказать, колесом катился по двору.

— Ах вы, козлики! — смеялась Китовна.— Всякая-то у вас жилочка ходуном ходит!..— И глядела поверх крыши в голубое небо.— Березовки бы нарвали мне, ребятки!..

— Нарвем, бабонька, нарвем!.. И березовки, и хмелю, и грибов, и всего, чего твоя душа захочет! — звенел Петя.— Дай ты нам управиться, пожалуйста, всего нарвем.

День смеялся. Земля пела.

С колокольным звоном принесли из Кочек образа. На краю деревни, у околицы, где открывалось широкое поле, поставили стол под белой скатертью, на нем — чашу с водой, положили большое кропило, свечи, крест и ризы. Сотский бегал наряжать мужиков на молебен, и на солнце ярко золотились его новые лапти.

Вскоре выгон запрудился скотиной, цветными платками и разноголосым шумом. Коровы, разгребая копытами мягкую, сочную, как творог, землю, вырывались из рук; овцы растеряли ягнятишек и шарахались, как полоумные; между ними с хворостинами сновала детвора. Серый, как камень-известняк, длиннобородый пастух стоял с кнутом через плечо поодаль, собирая подаяние. Староста привез попа с причтом. Толпа сняла шапки, волной расступаясь перед ним, и под ярким солнцем заблестели, как колена, желтые и розовые плеши стариков, копнами вздымались широкие с прозеленью бороды, сурово сдвинулись на переносье брови, а губы плотно сжались. По синему небу то замысловатыми корабликами, то гордыми лебедями, то тяжелыми ледяными глыбами плыли облака, бросая пятна теней; в перелеске щебетали птицы; выгон волновался и кипел.

— Миром господу помолимся-а! — первым воскликнул тучный дьякон, и хриповатый голос его, такой жуткий в деревянной церковке, здесь, на воздухе, среди тысячеголосого гама и рева скотины, показался надтреснутым и слабым.

Все вздохнули в одну грудь, накренились, будто замерли. От стола поднялся пахучий кадильный дым; замелькали красные увесистые руки, крестясь словно гирями; там и сям в цветнике голов пропадали пятна опускавшихся на колени баб.

Окруженный толпою зажиточных мужиков, среди которых пестро выделялся Созонт Максимович, радостный священник в золотом, слепившем глаза одеянии пел, поднимая руки к небу:

— Святителю Флоре и Лавре, молите бога о нас!

На скорую руку составленный из школьников хор торжественно ему поддакивал, а отец Гавриил, сладко довольный тем, что пение рассыпчато и по-весеннему приятно, голосисто обращался к новому святому:

— Великомучениче Власе, моли бога о нас!

Хор опять подхватывал и мягкой пеленою покрывал молящихся.

За молебном пелось много и других молитв. Слушая их, было празднично на сердце, потому что с людьми пело небо и прозрачный воздух.

Под конец, троекратно погружая в чашу сверкающий крест, священник, глядя по выгону, возгласил ликующе:

— Спаси, господи, люди твоя!

Примолкшие школьники метнули на дьячка глазами. Тот взмахнул рукою,— поле, птицы, дети, солнце и весна подхватили еще радостнее:

— И благослови-и достоя-ание тво-е!..

А священник, держа над головою руку, словно сменоцветным жемчугом кропил скотину, и в эту минуту он был похож на щедрого царя, полными пригоршнями разбрасывающего своим подданным несметные богатства и счастливого сознанием, что он всеми любим и всем полезен.

Громче всех и голосистее заливался в хоре Петя. Белые льняные волосы его шевелил легкий ветер, лицо раскраснелось, и он приподнял его немного вверх, правая рука повисла неподвижно, а тонкие пальцы левой перебирали сборки впереди стоящего чужого парня. Для уха его голос будто голос жаворонка, только громче, душевнее его, или когда слышишь вдали звонкий колокольчик, на заре особенно: луга тогда росисты, лошади по холодку бегут проворно, топот глух, а колокольчик заливается-хохочет, заливается-рыдает, то рассыплется, то вверх взметнется, то замрет, затихнет, словно притаится где-то...

Окропив скотину, батюшка пошел с Шавровым к нам. Созонт Максимович по случаю молебна нарядился в новую поддевку тонкого сукна, смазные сапоги с глу-

бокими калошами и красную рубаху, по жилетке распустил в два пальца толщины цепочку, кудри припомадил, а затылок выбрил.

В горнице Петруша снова пел с дьячком, и так усердно и так радостно, что поп, отец Гавриил, не раз оглядывался, одобрительно качая головою. Потом причт и гости сели отдыхать, дьякон вытащил кисет с табаком, Павла загремела у шестка посудой, а мы с Петей побежали снаряжаться в поле.

— Робятушки, обождите и меня,— засуетилась Китовна.— Постойте малость, вместе выгоним.

Разостлав в воротах шерстяной пояс, а нам в руки сунув по веточке освященной вербы, бабушка с молитвой отворила двери в хлев.

— Бяшки! Шурки! Милые!.. Идите со Христом, идите прогуляться!..

Ягнята запрыгали, как мячики, овцы пугливо насторожились, блестя в темноте зелеными глазами и, склубившись, плотною стеною вышли на улицу, за ними — свиньи и коровы. Большой круторогий баран-поводырь подошел к Федосье Китовне за хлебом.

— Нету, Вася, иди так,— махнула на него старуха хворостиной.— Иди в поле, там цветочки выросли!

Баран недовольно мотнул головою и нахмурился. Выждав, когда Китовна стала спиной к нему, толкнул ее сзади.

— Экий демон! — выругалась бабушка, падая на четвереньки.— Подожди, кобель, ужо я тебе всыплю, как придешь!..

Баран топнул на нее ногою, словно говоря: молчать, убогая,— задрал голову и важно, как Созонт Максимович, зашагал к воротам.

Становилось жарко. Петя с длинною клюкою и сумочкой за плечами шел впереди. Хватая на бегу травинки, за ним толклись овцы.

— Ваня, благодать-то! — обернулся мальчик, когда вышли за околицу.

Небо было голубое-голубое. Белей снега ползли маленькие облака, а под ними упоительно звенели жаворонки. Воздух, слушая, дрожал и колыхался, как живой. Широкая ровная степь, обласканная солнцем, золотилась и млела.

— Эх ты, матушка! — воскликнул Петя, высоко подбрасывая шапку.— Милая моя!..— и, глядя с восторгом на поля, залился, запел лучше жаворонка:

Вы зазвоньте, звоны,
Во всем чистом поле!..

Оборвав, упал на землю и, катаясь по лужку, хохотал, как колокольчик.

Полно, Ваня, тебе по лугу гулять,—

запел он, глядя на меня:

При долине соловьем тебе свистать...

Хитро подмигнув, вскочил, пускаясь в пляс, тормоша меня и приговаривая:

Мое сердце надорвалось плакучи,
На твои ли русы кудри глядючи!

В полупрозрачной синеве там и сям стоят телеги с яровым. По черной, как деготь, и блестящей пашне бегают жеребята, в бороздах копаются грачи, высоко в небе кружит одинокий копчик, пряно дышит теплая земля.

Петрушка целый день мне не давал покоя. Как разыгравшийся котенок, он метался по лугу, пел на разные голоса хорошие песни, которых знал множество, служил обедню, передразнивал собак, ворон и жеребят, а больше бегал, бегал без конца. То тут, то там между скотины мелькала его белая рубаха с красными ластовицами, румяное личико и кудрявая голова. К обеду, глядя на него, даже баран развеселился и стал прыгать и кружиться, задрав нос. Петя, глянув, закатился со смеху.

— Ах ты старый хрен! — воскликнул он и, разбежавшись, ловко перепрыгнул через Ваську.

Тот оторопел от неожиданности. Заинтересованные овцы с любопытством подняли головы. Круто повернувшись, баран погнался за Петрушей, чтоб поддать ему, как Китовне, но товарищ, выждав, когда Васька подскочил на два-три аршина, разбежался навстречу и с криком: «Вот тебе и чехарда!» — перемахнул через его голову. Баран даже закашлялся со злости, а Петруша растянулся тут же рядом, притворившись мертвым. С налитыми кровью глазами Васька покружился, словно ястреб, над приятелем, понюхал ноги, поглядел победоносно на овец и, торжествующий, потрогал Петю за рубаху копытом.

— Ты что делаешь, разбойник? — закричал товарищ, вскакивая на ноги.

Насмерть перепуганный, баран шарахнулся в сторону, сбил ягненка, сам споткнулся, упершись лбом в бок коровы. Та пырнула его, баран бросился в лощину за свиньей, и, стоя там, фыркал и сердито отдувался, с ненавистью глядя на Петрушу, а мы катались по траве как сумасшедшие.

— Теперь он мне житья не даст,— захлебывался Петя.

— Да, теперь держись, парняга,— вторил я.

Когда смех улегся, приятель посмотрел на солнце:

— Время есть. Измаялся я с ним вчистую...

У ручья мы разломали на кусочки затвердевший хлеб и, обмакивая его в ледяную воду, принялись обедать. Между делом Петя мастерил себе тростниковые дудки.

— Сейчас все овцы в пляс пойдут,— засмеялся он.

С косогора по глинистой пашне в синей нараспашку рубахе и синих портках, с соломенным рыжим лукошком через плечо, к нам спускался худощавый низкорослый мужичонка.

— Робята, спички у вас нету? — стоя против солнца и глядя на нас из-под руки, кричал он тоненьким бабьим голосом.

— Есть, как нету,— отозвался я.— Пастухи — и чтоб без спичек?

Мужик сполз к ручью, бросил на траву лукошко, вытер подолом рубахи потное лицо в красных угрях.

— Чьи вы? — спросил он, щурясь.

— Боговы,— сказал Петруша.

Мужик ухмыльнулся.

— Видно, богатеевы: скотина-то его...

Опустившись на колени и захватывая полные пригоршни прозрачной, как стекло, воды, он начал шумно, с наслаждением, плескать себе в лицо, приговаривая:

— Вот так здорово!.. Вот так разлюли-малина!..

Смастерив три дудки, Петя лег навзничь и, держа их наготове между пальцами, весело запел:

Соловей, мой соловей, соловей мой батюшка!

Приударил в дудки — те согласно запищали.

Мужик оглянулся.

— Ишь ты, брат,— забавник ты!..

Соловей, мой батюшка, залетная пташечка!..

— Ого!

Залетная пташечка — дальняя милашечка!

Поспешно вытирая руки, мужик суетливо семенил ногами, повертывался во все стороны, сопел и дергал себя за рубаху, наконец, усевшись к Пете на зипун, промолвил:

— Ну-кось, дай мне подержать маненечко.

— Разве можешь? — обернулся тот.

— Коли-сь баловался.— Мужик улыбнулся в сырую бороду. Осмотрев внимательно язычки, он продул их и, выдернув из головы пару волос, подложил туда.— Вот как надо — так... Рожка нету?

— Нет.

Мужик рассеянно поглядел на небо, надул щеки, мы притихли... Вдруг под нашим ухом заиграли жаворонки. Петя быстро приподнялся, остро впившись взглядом в пальцы замухрышки. Жаворонки смолкли... В дудках кто-то засмеялся.

— Ах, ты!..

Мужик сидел неподвижно, прикрыв глаза желтоватыми ресницами, а в дудках ворковали голуби, пищали молодые воробьи, плакал ребенок...

— Погоди... Ты... как же это? — Петя весь подался к замухрышке, лицо его дергалось, а руки теребили лапоть...— Ты постой... Ведь это... Слушай!.. Дяденька!..

Как у Дуни много думы,
У красавицы забавы!..—

взвизгнул мужичонка. Дудки подхватили,— понеслась забавно плясовая, но сейчас же оборвалась.

— Будет! — вытерев губы, мужик передал Петруше дудки..— Надо идти сеять — вечереет.

Крякнув, он заковылял к своей телеге; с косогора обернулся:

— Робята, что ж вы спички-то мне, а? — и вытащил из-за онучи глиняную трубку с выщербленным краем.

Петя сидел неподвижно.

В полверсте, по старому жнивью, пастух прогнал общественное стадо.

Небо розовело. Зажужжали комары.

— Хочешь, я к тебе в работники пойду? — поднялся Петя, но мужик уже шагал по пашне, широко расставив локти, маленький и серый, с круглою заплатой на спине.

III

Шавров сидел на бревне сзади сарая. Солнце золотило его бороду, играло ясным козырьком новой фуражки, а он весело посмеивался, глядя на поденщиц, мявших на гумне пеньку. Грудастая девка, с серыми навыкате глазами и с губами, похожими на красные ломти сырого мяса, взмахивая билом, через плечо кричала ему что-то хриповатым голосом, а хозяин тянул шею, глядя ей на икры. Тут же толклись Любка с Павлой, Тонкопряха, две соседки молодайки и Гавриловна.

— Пастыри, вы что же с этих пор? — увидел нас Созонт Максимович.— Солнышко-то еще где? В другой раз так не делайте, а то я вас кнутом!

Пахом со Власом насыпали семена в [illegible]легу. Вася Батюшка возился с хомутами, Федор Т[illegible]ин поил лошадей.

— Ну, что там, сухо на полях-то? — буркнул Федор, обращаясь к Пете.

— И-их! — воскликнул мальчик.— Троица господня!

Федор улыбнулся:

— Мать-то узнаешь, ай нет? Эвон тащит снопы!..

Петя бросил сумку и стремглав пустился к Тонкопряхе.

— Пришла? Пришла?.. Пеньку тут мнешь?.. А мне не скучно... Мне тут весело... Пришла?..

Вдове Тонкопряхе, матери Петруши, было лет под сорок. Из себя она была высокая, худая и костистая, как бердо, с плоской грудью, загорелым лицом и корявыми руками. До семнадцати лет, девушкою, Дарья Тонкопряха круглый год скиталась по работницам и, кроме слез, нужды, попреков и насмешек, не видала ничего. Живя одно лето у попа в кухарках, она полюбила бондаря соседа, и тот ее полюбил, но у Дарьи не было новой сибирки и «котов» для праздника, а отец справить, по бедности, не мог. Бондарь с матерью согласны были взять ее и без сибирки, но отец его уперся,— счастья Дарья не узнала. Выдали ее в своей деревне через год. Бондарь запил и уехал на Украйну. Дарья поревела дня четыре, поваляласьу отца в ногах, но пора была весенняя — горячая: надо было полоть просо, огурцы, опахивать картофель; Дарья торопливо принялась за дело, лето маялась, а к осени привыкла. Свекровь Дарью полюбила, муж был тихий и приветливый, жизнь наладилась и потекла в согласии. Иногда лишь, прорываясь,

Дарья кляла свою «долю», стискивала зубы и тряслась, как порченая.

Потом появились дети, новые заботы, думы, радость, плач и смех. Сердце Дарьи отогрелось. Словно за те муки и нужду, что преследовали бабу с малых лет, кто-то сжалился над нею и разгладил детским писком и вознею на лице ее суровые морщины; кто-то ласковый шепнул ей на ухо приветливое слово, от которого она повеселела.

Дарья замужем жила пятнадцать лет, вырастила шестерых детей-красавцев, но в проклятый черный год холера всех скосила: свекровь, мужа и ребят, кроме маленького трехлетнего Пети.

Всю любовь, всю ласку и всю нежность, что остались в больном сердце, перенесла Дарья на последнего ребенка, но сил прежней не было: они нуждались. С пяти лет уж Пете приходилось ходить по кусочки, когда в доме не хватало хлеба.

Дарья билась, как в тенетах, бегая поденщицей, а мальчишка рос веселый, бойкий, словно молодой заяц. На шестом году сосед раз взял его в ночное, но не доглядел: Петя близко подошел к стреноженной кобыле, та ударила его копытом по лицу и повредила правый глаз. Окровавленного и насмерть перепуганного, он привез Петю в деревню, обмыл голову, залил березовкою глаз, дал крендель и велел сказать, что Петя сам ушибся. Мать пришла с работы вечером, когда ребенок спал. Увидав на нем повязку, разбудила, и когда Петя, с заплывшим синебагровым пятном вместо глаза, приподнялся на постели и горько заплакал, Дарья ахнула и ночь каталась на полу безумною. Петя окривел.

К Шаврову попал он так же, как и я,— за долг. Созонт Максимович ссудил Дарье зимою муки и картошек, и так же, как у нас, приехав за деньгами, приглянулся к мальчику, поговорил, а после выпросил у матери стеречь телят. Дарья сперва отказала, Шавров рассердился.

— Им — как людям,— говорил он, выходя из хаты,— а они — как змеи.

Не простившись, хлопнул дверью и уехал.

Оставшись наедине, Петя упросил мать отпустить его в работники.

— Что мне сидеть сложа руки? — говорил он.— Я большой, десятый год: кормить надо тебя...

Мать заплакала, но Петя был в отца — настойчивый,

и Дарье пришлось согласиться. Снарядившись, она сбегала к Созонту; Шавров поломался, но принял...

Вечер был приветливый, душистый, радостный. Сине-голубое небо прослоилось тонкими летучими полосками облаков, развернувшаяся верба чуть-чуть шелестела, коньки крыш и крылья мельницы порозовели.

У амбара Пахом с хозяйским сыном зашпиливали семенной овес. Пахом, держа в руках гвозди, вполголоса, скороговоркою что-то говорил Власу, ударяя кулаком то по вязку, то себя в грудь, крестился на восход, а Влас как бешеный бегал вокруг него и хрипло через силу выдавливал:

— Т-ты это врешь!.. Я... я понимаю!.. Св-волочь!.. Вот увидишь!

При нашем приближении Пахом смолк и, встав на колесо, уперся коленом в грядку, натягивая на себя кромку веретья.

— Подтолкни оттуда,— бросил он Власу.— С передка толкни, куда ты?.. У-у, бестолочь поганая!..

Влас свирепо метнул на него мутными глазами.

Обнимая сына, Тонкопряха удивленно посмотрела на мужиков.

— Что, забавно? — засмеялся Петя.— Это он его ярит. У нас ведь каждый божий день такая склока: поругаются, а после драка, потом — мирно, завтра — сызнова...

Пахом и Влас, зашпилив воз и увязав его поводьями, торопливо пошли в крупорушку.

Этим вечером у нас было событие.

Управившись с хлопотами, сели ужинать на крыльце. Созонт Максимович, примостившись рядом с толстой сероглазой девкой-поденщицей, шутил над Павлой, которая злилась и швыряла как попадя ложки; Китовна клевала носом, Федор Тырин чавкал, опустив глаза, Варвара, сидя между мужем и работником, скупо улыбалась, а Василий резал хлеб.

Подали травяные щи с убоиной.

— Как, Дарьюшка, овсы у вас еще не сеют? — начал хозяин, зачерпывая из деревянной солоницы пол-ложки крупной серой соли.

Пахом завозился и хихикнул. Варвара подвинулась.

— Поехали,— сказала Тонкопряха.— Вся почти Захаровка поднялась.

Вдруг побледневший Влас с размаху, в то время как Варвара подносила ложку ко рту, ударил ее по лицу.

Ложка щелкнула о зубы и кусками разлетелась в стороны.

— С-сучка!—завопил он.—Потаскуха!.. Д-дьявол!..— и, сорвав платок с головы, поволок ее за косы в сени, пиная в грудь ногами.— Попалась, кляча!..

Все это произошло так быстро и неожиданно, что в первую минуту все только растерянно смотрели друг на друга бессмысленными, осоловелыми глазами. Тонкопряха вытянулась вверх и стала на полголовы выше мужиков, Гавриловна раскрыла рот, Федосья Китовна сморщила лицо и виновато заморгала, толстая девка втянула голову в плечи и сгорбилась, Созонт Максимович покраснел и тоже съежился, а остальные, за исключением Павлы, криво улыбавшейся и с любопытством посматривавшей на возню, затихли, онемели.

— Мам-ма! — первым взвизгнул Петя, бросаясь к Тонкопряхе.

И голос товарища был сигналом. Опрокидывая чашки, кувшины и кринки с молоком, топча ложки и хлеб, падая, сопя, галдя и воя, все бросились в сени, к Власу, наваливаясь грудью один другому на спину.

Но Созонт Максимович вытолкал всех на крыльцо и, взяв в руки тяжелый водонос, ударил склонившегося Власа по затылку. Сын, как гриб, свалился на пол, выпустив из рук Варвару, которая по-собачьи поползла в темный угол, оставляя за собой кровавый след.

— Ты за что ее, проклятый? — визжал Шавров, подпрыгивая.— Тебе кто ж такую волю дал охаверничать, а?

Ослабевший Влас закрыл лицо руками.

— Спуталась она вот с этим,— указал он на Пахома.— Я учу ее. Блуди со мной, с ним не надо... Он себе пускай найдет такую, с моей нельзя...— И, снова тыкая рукою в сторону работника, добавил: — Говорил он нынче мне об ней, а сам — смеется. Я ее опять когда-нибудь по ложке...

Влас раскис, вспотел, стал заикаться. Тонкопряха вытирала слезы. Федор, злобно глядя на работника, тер живот ладонью. Пахом нагло скалил черные гнилые зубы.

— И придумает же, пес! — всплеснул он длинными руками.— Спуталась, грит, с этим! Девок, значит, других нету для меня? Уважил, Власушко, уважил, нечего сказать!.. Отвалился бы мой язык по самое горло, если

я сбрехнул ему хоть слово!.. Ты ему не верь, Максимыч, не такая она баба, чтобы ёрничать, а ежели смеяться... что ж, над ним ведь все смеются, над слюнявым...

IV

Нанимались мы пасти скотину: я — овец, товарищ мой — телят со свиньями, но только из этого ничего не вышло: разговор шел, а дело повернулось наизнанку.

— Барин удалой,— сказал мне после ужина Созонт Максимович,— завтра снаряжайся с мужиками боронить.

— Я, дядя, на Мухторчике! — воскликнул Петя.

— Ты пасти скотину будешь,— сухо бросил Шавров.

Рано утром земля еще с изморосью, воздух свеж, густ и сочен, запахами трав спросонок пьянит голову на лугах цветистая роса, деревья — как живые, солнце красно, бодро и лучисто.

Бороны шуршат, подскакивая на шершавой, в колеях, дороге, лошади идут понуро. Пахом гнусит песню. В поле гам от разных пташек, надсадившиеся за ночь дергачи хрипят, цветы шевелятся.

— Сподручного видишь? — кивает кнутовищем Вася Батюшка.

Я смотрю налево, за овраг: по глинистому скату прошлогоднего жнивья бегает Петрушка за теленком. Овцы, как вытряхнутый из мешка горох, рассыпались по парине, коровы сошли вниз, к ручью, телята лезут к зелени. Петя машет на них палкой и свистит.

— Эй, Петру-ух-ха! — крикнул Влас.— О-го-го!..

Но мальчик скрылся за бугром, должно быть, не расслышав.

— Угоняют его за день-то,— бурчит Василий.

— А не брался бы пасти,— смеется Влас.— У нас, брат, не шути, а то подавишься.

— Мы это знаем — шутки плохи... На себе видали...— Вася Батюшка полез за табаком.— Мы это знаем.

О сошник позвякивает палица. Задние колеса на новой оси скрипят и плачут. Рябкó с Волчком гоняются за сусликом.

— Б-бери его, бери разбойника! — кричит Пахом.— Грызи до смерти!..

От утренней зари и до вечерней, в течение двух недель, мы без отдыха сеяли яровое. Под конец все истощились, зачерствели, стали медно-красными от солнца,

а от ветра лупленными. Вечером ломило ноги, в ушах стоял глухой шум, глаза обметались разной болью, покраснели, заслезились, по утрам слипались; потрескавшиеся губы и руки саднило. Работники стали злыми, били чем попадя лошадей, ругались скверно.

Весеннее солнце изменило и Петрушку: беленькие кудри его стали рыжими, скатавшись в войлок, лицо — шелудивым, руки — в цыпках, походка — вихлястая, как на ходулях. Стадо — голов в девяносто — было ему не под силу, мальчик возвращался домой изнуренным до последней степени, со следами слез на худеньком лице.

Загнав по хлевам скотину, мы бежали с ним в избушку, разувались, смазывали руки и губы свежим гусиным салом и, обнявшись, засыпали без ужина, а утром чуть свет приходил Созонт Максимович, крича:

— Енаралы, не-ежиться оставьте: время на работу!

Чертыхаясь, Вася Батюшка вздувал моргасик. Павла приносила чугун кашицы, Пахом щипал ее, а мы, как куры, тыкались под лавками, отыскивая обувь.

Обессилевший Петя часто засыпал, сидя с онучею в руках.

Его били, а он плакал.

Наконец, Федор сказал:

— Нынче за последками поедем.

— Уж давно пора — душа вся запеклась,— вздохнул Василий.

Обивая палицу в последний раз, Пахом выругался, Василий с Федором перекрестились, я подбросил шапку с радости, а Влас промолвил: «Отдых!», поглядел на солнышко и тоже выругался, говоря: «Ишь как припекает, пахать бы тебя, черта, на денек, так не разгулялось бы».

После обеда Пахом, укладываясь отдохнуть у колеса, процедил мечтательно, держа в зубах окурок:

— На лето беспременно наймусь к Микольскому барину... Эх, и жисть там, братцы,— чистое раздолье!

Никто ему не ответил. Свертывая трубкой дерн под изголовье, он стал на коленки и примолк. Я уткнулся рядом. От работы ли, иль так раздумье взяло, но мне вдруг взгрустнулось. Вспомнились домашние, которых я не видал недель восемь — десять, своя деревня, жизнь наша бессвязная, убогая, и мысли, словно потревоженные осы, стали жалить сердце.

«Как они теперь там? Бросили и не заглянут, рады, что с рук сбыли? Трудно здесь: чужие все, и все какие-

то жадные, воры... Петю мучают, в семье согласья нету... Ни за что пропасть придется...»

Потом все заволоклось туманом: не то я уснул, не то какая муть залезла в голову и опамятовался только часа три спустя от внутреннего холода и разговора.

— Да-а, ты, брат, избалован.— Прислонившись спиною ко втулке, Вася Батюшка вертит цигарку.— Ишь ты, с каких пор!

Пахом, лежа на спине, смеется. Солнышко слепит мои глаза. Я прислушиваюсь.

— ...Мне тринадцатый шел, вот не хуже этого,— Пахом кивает на меня,— а он — старше года на три... Лопоухий такой, длинный, как слега, из училища прогнавши...

— Ну? — сипит Василий.

Пахом приподнимается и, захлебываясь от восхищения, рассказывает о том, как он с барским сыном издевался над полешками.

— Осенью штуки четыре пошли домой с прибылью,— смеется он, закидывая за голову руки.— Беспременно закачусь к Микольскому, холера его слопай!..

Посмотрев на Федора, понизил голос:

— Тут, что ли, достанешь? Тут, брат, свой жеребец стоялый... Свят, свят, свят, а глазом под подол к снохе, фуфлыга!

Дни шли, и чем больше я присматривался к младшему работнику, чем больше слушал его скверные слова о бабах, тем казался он мне гаже, противнее. Два случая, происшедшие вскоре после пашни, окончательно заставили меня возненавидеть его.

Пахом любил шутить над Петей. Когда мальчик, еле держась на ногах от усталости, пригонял стадо домой и бежал скорей прилечь, Пахом совал ему в нос табак, тертый чемеричный корень или, размотав оборку на ноге и привязав ее концом к столу, орал над ухом:

— Петька, загорелись!

Мальчик испуганно вскакивал, бросаясь в двери, оборка дергала, он спотыкался и падал, безумно таращa единственный глаз. Пахом весело ржал, а Петя с разбитым лицом или коленями беспомощно и горько плакал.

Другая шутка у него была такая: осторожно разув товарища, Пахом снимал с него штаны, руки связывал назад, а лицо мазал сажей, потом звал в избушку Павлу с Любкой и соседских девушек.

— Где твои коровы? — неистово кричал он, подходя вплотную к сонному Петрушке и хлопая его по спине.

Тому, может быть, и в самом деле снилось в эту пору, что он в поле со скотиной и что стадо его лезет в хлеб. Перепуганный, он схватывался с места и кричал:

— Арря! Гей вы! Ф-ф-фе-ить!..

Но взрыв хохота и визг девиц приводили его в себя; с минуту он простаивал как истукан, ничего не понимая, а заметив свои голые ноги, краснел до корней волос, дергал связанными руками, умоляя:

— Развяжите! Развяжите!..

Прибегал сияющий Влас. Петю тормошили во все стороны, припевая:

— Беспорточный галяган, свою мать залягал! Беспорточный галяган, свою мать залягал!..

Подымали рубашонку, обнажая тело. Петя корчился, как будто его кусали миллионы ос, стонал, съедаемый стыдом, и жалобно молил, плакал...

Раз Пахом подслушал разговор: Петя с увлечением рассказывал мне о своей маме, о том, как она учила его, пятилетнего, Христа славить.

— Твоя мать-то, знаешь? — перебил его работник, широко осклабившись: — Мать-то твоя с солдатом хромым живет.

— Неправда! — горячо воскликнул Петя.

— Вот тебе — неправда, я сам видел, — и Пахом стал говорить о Тонкопряхе срамные слова.

Мальчик залился слезами.

— Врешь ты, врешь! — твердил он. — Разве можно маму обижать: она хорошая!..

А Пахом грозил, что как только она придет к Шавровым, он утащит ее за сарай.

От обиды и слез Петя всю ночь не уснул.

— Я тебе говорил, какой он нехороший, — прижимаясь ко мне, шептал мальчик, — он даже себя не любит...

...Установился обычай: день я пас скотину вместе с Петей, вечером с Пахомом уезжал в ночное.

Работник, спутав лошадей, выбирал между кочек удобное место, укрывался с головою свитой, засыпал, а я должен был всю ночь приглядывать за лошадьми.

Однажды он спросил меня:

— Эй ты, Загроцкий, Дуньку Кулакову знаешь?

— Нет, — ответил я, — где она живет?

— Это не человек,— сказал Пахом.— Хочешь, научу?

Я закрыл глаза.

— Попробуй, дурак, потом спасибо скажешь,— красный и свирепый, прохрипел он сквозь стиснутые зубы.

Я замахал руками. Пахом выругал меня овцой.

И с тех пор мне стало противно смотреть на лицо его и на одежду. Я не переносил его хриплого голоса, тонких кривых ног, костистой шеи и спины; мне до ужаса стали омерзительными его серые глаза, большие, желтогрязные, как у старой лошади, зубы, скуластое лицо и жесткие, прямые, словно проволока, черные с отливом волосы.

Не было еще человека, которого бы я в эту пору ненавидел так сильно, с тошнотой, с брезгливостью и которому бы хотел так много зла и самых жестоких несчастий, как Пахому.

Моя злоба на работника дошла до того, что я через силу ел с ним из одной чашки, брезговал его вещами, портил их и подбивал к тому Петрушу. Но и это мне казалось недостаточным.

— Дяденька,— сказал я раз Шаврову за обедом,— меня этот,— указал я на Пахома,— гадостям учит.

Бабы не поняли и вопросительно смотрели на меня, Влас хохотал, подпрыгивая на скамейке, Вася Батюшка потупился и стал ковырять ногтем корочку хлеба, а Пахом покраснел, как кумач, и заморгал глазами.

— Бреши, сволочь! — крикнул он.

— Нет, я не брешу: помнишь, у овса в Телячьих Выпасках, забыл? Ты еще ругал меня в ту пору...

Меня затрясло от злости.

— Ты и вор к тому же, и Варвару научил избить, ты — самый нехороший человек, ты — гадина!..

Шавров прищурился.

— Дело!.. Лошадей не портит? Не заметил?

— Что вы, бог с вами, Созонт Максимович! — прерывающимся голосом проговорил Пахом.— Врет он, супостат!

Хозяин отрезал ломоть хлеба, собрал крошки со столешника, вытер красным платком потную лысину и принялся за щи.

— Его дело,— молвил он, прожевывая кусок мяса.— Ты живи по-своему: пройдох не слушайся.

Больше никто за весь обед не сказал ни слова.

— Я т-тебе припомню,— пригрозил Пахом, когда

мы вышли в сени.— Я тебе припомню, по гроб жизни не забудешь вора!..

Началось преследование. Отношение к Пете резко изменилось к лучшему. Работник стал ласков, заигрывал с мальчиком, наделал ему разных дудок, подарил рожок и песенник, а «шутки» с табаком, чемеричным корнем и оборками перенес на меня. К ним Пахом прибавил мелко стриженный конский волос. После одной из таких понюшек я чуть не сошел с ума. Прямо из поля, где мы ночевали с ним и где он угостил меня сонного своим снадобьем, я в слезах и крови ушел в Осташково к отцу, заявив, что жить у Шавровых я больше не могу.

V

Наши спали. Я обошел кругом двора, постоял под окнами, тихонько постучался.

— Кто там? — выскочила мать.

Я залился слезами и прошел в чулан, уткнувшись лицом в прядево. Боль в носу и приступы надрывистого чихания все еще не прекращались, туманя голову до ломоты.

Мать затряслась, думая, что случилось бог знает какое горе, торопливо зажгла лампу и завыла, как волчица, разбудив отца и Мотю, и все теребили меня за плечи, испуганно шепча:

— Ты что?.. О чем?.. Ай что неладно?..

Когда я поднял лицо и мать увидала на нем кровь, она шарахнулась и выронила лампу: стекло раскололось, загорелась посконь, смоченная керосином. Отец бросился тушить, Мотя закричала: «Ох, никак горим!» Я ударился на улицу.

— Погоди, Ванюшка, обожди, сыночек! — закричала мать, спотыкаясь в темных сенях.

Прибежали перепуганные мужики соседи, но отец уже залил и затоптал огонь. Тогда стали все ругаться: одни — Мотю, другие — отца, а некоторые подходили ко мне, брали за подбородок и спрашивали:

— Кто это тебе нос расквасил — отец или сам?

И, усевшись на порог, под звездами, достали кисеты и стали вертеть цигарки, позевывая и скребя ногтями поясницы, а я лег на залавке в избе, укрывшись Мотиным платком. Покурив, вошел, кряхтя, отец. Сестра полезла на лежанку. Мать поставила на стол черепок с

топленым салом, сделала фитиль из ниток и вздохнула. Прокричали петухи...

Каганец коптит; по грязным стенам прыгают уродливые тени. Жужжат и бьются в стекла потревоженные мухи...

Отец долго возился на печке, поправляя подушку, стучал ухватами и лапотными колодками, потом тяжело засопел, заурчал, зачмокал... Надо мною взводами шныряют черные, блестящие, с наперсток величиною, тараканы.

Мать осторожно подошла к изголовью, наклонившись, шепчет:

— Ты спишь?

Я закрыл глаза. Она бережно провела шершавою рукою по моему лицу, поправила платок, поцеловала в щеку и, присев, стала ласково перебирать мои волосы. Какая-то нежная теплота разлилась по телу, я еще плотнее прикрыл веки и тихо и плавно стал куда-то опускаться, но мать закашлялась, сон торопливо спрятался. Она стояла у шестка, опершись рукою на горнушку, другую прижимала к сердцу. Кашель был со свистом, ее всю трясло...

Каганец по-прежнему мерцал, и тени прыгали, и бились мухи. Два сверчка, один из-под заслонки, а другой еще откуда-то, как пьяные, орали на всю избу песни то согласно, то вразброд...

Мать поглядела на закисавшие на шестке хлебы, напилась квасу и, шепча что-то под нос, опустилась на коленки у стола.

Пропели вторые петухи. На конце деревни, между Драловкой и Заверннхой, ночной сторож бил в железную доску. Выли собаки.

— Батюшка!.. Желанный!.. Отча наш, жи если на небеси, воля твоя, царство твое, ласковый мой, пожалей нас, ради бога! — громко зашептала мать, глядя на иконы и неуклюже складывая потрескавшиеся пальцы для креста. Голос ее тороплив, сух и срывается...— Пожалей детишек малых, голубеночек!..— Мать смотрит на меня; глаза ее блестят.— Дожить бы, когда подрастут они, освоятся с нуждой, привыкнут к бедности, чтоб не заглохли безо времени... Поставь их на ноги, мой милый... Хлеб наш насущный подай нам... Помяни родителей во царствии твоем...

Мать смотрит на руки.

— Ондрея... Катерину — отца с матерью... старико-

вых — Онисью с Лаврентием... ребятишек наших...— Она задумывается и считает по пальцам: — Акимушку, Назара, Устю, Митеньку...— И хрипит сквозь слезы: — Двоих... забыла... Помяни их так, ты знаешь... Дай им радость на том свете — в рай пошли их, в пресветлое местечко, в ра-ай!..

Она прижимает ко груди руки, вытягивает шею, подается вперед и бормочет глухо, с болью:

— Прогневали мы тебя, спаситель, не взыщи, пожалей нас — больше не к кому приткнуться... Одолела бедность, за что ни возьмись — нужда, раззор... Корова вот решилась... На все нужны деньги, а у нас их нету, свечек тоже нету и ладану нету... Прости!.. Обожди до новины, страдалец наш... Тебя ведь тоже злые люди мучили... В ладонь-то гвозди, ну-ко!.. Казанская божья матушка! Святитель Миколай!..

По лицу ее ползут скупые, еле видные слезы. Оно дергается, словно слезы эти жгут лицо, как пламя, выедают старые, опухшие глаза... А губы все шепчут, все шепчут... Голова трясется и падает на грудь, руки непроизвольно хватаются за ворот рубашки, который как будто начинает душить... И не крестится уж... Стоит, вся вытянувшись, на коленях, а по щекам — слезы, слезы... В рот лезут, капают на землю... И мутные такие — как смола, накипевшая на сердце...

Когда я проснулся, мать топила печку. В окна золотилось утро. Сестра умывалась над лоханью. Около нее крутилась радостная Муха, наша собачонка. Было еще рано. По избе клубился едкий дым от конского навоза, которым топили печку, на столе дрались цыплята.

— Мама, я пойду к обедне,— обернулась Мотя.

— Ну дык что ж, ступай,— сказала мать.

К Мухе из-под голобца подкрался желтенький котенок, посмотрел на всех, утерся лапой, раздул хвост и прыгнул к ней на спину. Муха взвизгнула и бросилась под стол. Перепуганный котенок тоже подскочил, как будто наступил на раскаленное железо, потом вцепился в печной столб и, как по лестнице, забрался на макушку, к потолку. Дым застлал его, котенок начал фыркать.

— Где вы нового котенка взяли? — спросил я, смеясь.

— Ты проснулся? — улыбнулась мать, бросая ухват

и подходя ко мне.— Вставай, уж давно телят прогнали... Отец никак за рыбой побежал — уху будем хлебать для праздника.

— Котенка-то?..— спросила Мотя.— Ему ногу отдавила кованая лошадь.

— Она скоро полну избу натаскает всякой дряни,— перебила мать.— Ребятишки его мучили, она возьми — ударь какого-то за эту пакость, а ее срамили на всю улицу... Он, правда, весе-еленький, игру-ун,— переменила мать голос.— Ишь фырчит, кобель борзой!.. Давала ему есть-то?

— Хлебушка дала,— сказала Мотя, утираясь.

— Третье́водни выскочил на двор, паршивец,— распевала мать, гремя посудой,— да и в стаюшку, к мерину, а он ему ногу отдавил... Уж так-то жалко, так-то жалко!.. А того, Фролку дымчатого,— яйца стал он таскать, так старик пришиб... Длинный вырос без тебя-то, уши вострые, глаза большие, такой окаянный — чисто смерть!..

Ловя одним ухом материну болтовню, я слежу из-под платка за Мотей, и мне кажется, что с марта месяца, с тех пор, когда отец отвез меня в работники к Шаврову, прошло не два с малым месяца, а много-много лет, и за это время сестра выросла и возмужала. Передо мною стояла не та Мотя, которую я привык с раннего детства, несмотря на разницу в наших годах, считать своею ровней-другом, бил, смеялся и передразнивал, вместе плакал над писанием и пел молитвы, а сильная, высокая, золотоголовая девушка, широкоплечая, с высокой грудью, загорелым лицом и мускулистыми руками. Мне только теперь пришло в голову, что вот уж сколько лет сестра косила и пахала, как мужчина, ни на шаг не отставая от отца, возила навоз, молотила так, что только цеп бухал и перегибалась надвое солома... Вспомнились слова и вздохи матери, смотревшей на ее работу:

— Эх, Матрена, кабы парень ты была — вечная бы нам помога!.. Вечная!..

И я дивился, глядя на нее. Почему-то прежде всего бросился в глаза мне взгляд сестры: не то еще больше суровый, не то — вдумчивый, таящий в себе нечто, ей одной понятное и близкое, взгляд — уже не детский, а много, больно переживший.

— Мотя,— прошептал я,— как ты выросла за это время!.. Мама, погляди-ка: ведь она уже невеста!..

Сестра тихо улыбнулась.

— Невеста без места,— проворчала мать.— Девятнадцать годов... Придет пора — поневоле заневестишься...

Разговор смутил Мотю.

— Я пойду... На свечки нету?

— Нету, дитятко.

Вот сестра застучала «котами» в сенях, потом на крыльце мимо окна промелькнула бордовая кофта и серый платок ее.

— Подымайся, Ваня, нежиться нам привыкать нельзя,— сказала мать.— Телу свое время отдавай, а остальное береги, а то намаешься на свете.

Я умылся, достал с полки книжку.

— Вот не хуже тебя,— продолжала мать, кивая на раскрытые двери, в которые вышла сестра,— как праздник, так и торчит, как прыщ, так и торчит. Люди отдыхают, а она свое: за книжку эту самую, за ижицу...— Мать даже подалась от печки шага на два ко мне, говоря: — Ну, чего она глядит в пустое место, бабье ль это дело?.. Эх, Матренушка-Матрена!..

Из дальнейшей воркотни старухи я узнал, что сестра читала без меня не только в праздник, но и в будни, вечером, после работы. Чтобы не баталиться с отцом, она на собственные сбережения купила маленькую лампу и не жгла «чужого» керосина. Стала чаще и дольше молиться. Еще больше стала молчалива и тиха. Подруги и парни не любили ее: звали книжницей, монашкой, попадьей, смеялись над нею, а сестра отмалчивалась. Теперь вот пристрастилась к церковному пению и не пропускала ни одной обедни, если позволяло время.

— Мука, детка, с нею,— жаловалась мать.— Ну-кося — людей пугается, подумать надо! Хоть клещами за язык тяни!.. Над нею ж и куражится последняя онуча, на смех подымает... Как на улице — крепится, виду не дает, а придет домой — пятна на щеках-то, губы все искусаны, трясется, как кликуша... А чего бы? Подошла, поговорила, не слиняет, спела песенку, на игрище сходила: дело молодое, девичье, веселое, а ей книжки да воянгили дались... Эх, девка, девка!.. Мне же... Не могу же я смотреть, когда она такая! — закричала мать.— Во мне нутро горит от слез!..

Отворились двери.

— Вот-та!..— Отец вытряхнул на стол десятков восемь живых пескарей.— Ну и благодать нынче денек!.. Проснулся?.. Чисти рыбу...

На столе пыхтел и брызгал самовар. Пахучие сине-золотистые кольца махорки, которую курит отец, сидя у стола, качаются и тают. За окном содомят ребятишки. В кутнике, завесившись платком, сестра надевает будничное платье. Пришла она из церкви радостная, светлая, прозрачная, с мягкою улыбкою и теплыми, бездонными глазами.

— Какая проповедь-то ныне говорилась? — кричит мать.

— Чтоб в мире жить и слушаться священство,— отвечает Мотя.

— Хорошо?

— Не дюже: сзади плохо слышно...

Мать вздыхает. В сенях кудахтают куры. Куцый воробей сел на завалинку и чистит нос. К нему крадется котенок.

— Тссс!..— торопливо стучу я в раму.

Воробей вспорхнул, котенок недовольно покосился на меня, мяукнул и, схватив куриное перо, помчался с ним по улице.

— Ну, так как же? — говорит отец.

Он хмурит брови и сопит. То, что я без спроса ушел от хозяина, ему не нравится.

— Надо бы терпеть,— сказал он утром,— не у матушки за пазухой, какой же ты работник после этого?..

Но дурацкие шутки Пахома ему тоже не понравились: он барабанит по столу и крутит головою.

— Не пойду, пускай они погибнут...

Мать опять вздыхает, искоса поглядывая на отца. За утро она успела выспросить у меня о жизни у Шавровых, раза три поплакала и держит теперь мою сторону.

— Парнишечка один как перст, и то на муку всунули,— ворчит она, и речь ее приятна мне.— Им, жирным, хаханьки да хихиньки, а этак можно повредить чего-нибудь...

Я сажусь ближе к столу.

— Скорее там, а то простынет,— говорю я Моте и гляжусь в помятый самоварный бок.

— Надо, брат, идти обратно,— смотрит на меня отец.— Раз договор был, менять не полагается, нехорошо...

Я заливаюсь громким хохотом.

Отец удивленно поднимает голову.

— Морду-то мою как искарежило! — подпрыгиваю я.— Мать, иди-ка поглядись: твою тоже искарежит на коровью.

Отец с минуту пристально смотрит на меня; брови его шевелятся, но он крепится, а когда я насильно подтаскиваю к самовару мать, а она кричит и машет руками, отец улыбается.

— Сам, поди, озорничаешь там, оттого и обижают,— говорит он.

— Я только с Петрушей... С большими я не занимаюсь: они учат срамоте...

Мы уселись пить чай. Мать поставила на стол сковороду горячих пескарей, нарезала ломти хлеба; отец вынул из мешка всем по куску пиленого сахару, затворив остальное на ключ. В избу вошел Калебан, старинный мой приятель.

— Ай в побывку?.. Мы уж отхватались...— Калебан кивнул на самовар.

Нынешнюю весну он пахал и важен, как пятнадцать становых. От загара лицо его красно, большой нос, свинчаткой, весь облуплен, руки грязны, веки приопухли, выцвели. Как взрослый, он неторопливо достает табак, садится у порога на карачки и дымит, покашливая басом.

— Что ж ты, детка, с каких пор привык дурманиться? — спрашивает мать.

Калебан снисходительно смеется.

— А ваш, думаешь, не курит?

Мать вопросительно смотрит на меня, а я дую в блюдечко и говорю:

— Чай-то какой горячий...

Вдруг под окнами задребезжали дрожки, двери в избу с шумом отворились, все подняли головы: на пороге сам Созонт Максимович.

— Сук-кин сын! — кричит он и с размаху через стол бьет меня по темени кнутовищем так, что у меня выскакивает сахар изо рта.— Я т-тебя жизни лишу, такой, сякой! — визжит он и снова бьет, но я увертываюсь, кнутовище хлопает по сковородке, и пескари летят под лавку. Все сидят, разинув рты от изумления.

В первую минуту на меня нашел столбняк. Я смотрел, ничего не понимая, в жирное, свирепое лицо Шаврова; Мотя выронила из рук чайную чашку, и она со звоном покатилась по полу; отец склонил набок голову и даже зажмурился, а мать, как сидела на скамейке,

сзади самовара, так и осталась неподвижною, с непрожеванным куском хлеба во рту. Только Калебан тянулся из-за плеч Созонта Максимовича, блестя серыми, навыкате, глазами, щелкал и хрипел:

— Украл, что ли, что-нибудь?

Шавров, стиснув зубы, взмахнул молча кнутовищем в третий раз.

— Я т-тебя...

— Постой, Созон! — вскричал отец, хватая его за руку.— Не самоуправничай, не то плохо будет!..

Хозяин опамятовался. Опустив руки, он грузно сел на коник, рядом с отцом, вытер лоб полою, тряхнул оборочкой волос и, укоризненно смотря на меня, жалобно сказал:

— Что ж ты, пащенок, со мною сделал, а? Что ж ты сделал, жулик ты московский?

— Как ты смеешь бить чужого сына? — пришла мать в себя, поднимаясь со скамейки и смотря на Шаврова злыми глазами.— Какое ты право, рыжий сатана, имеешь? А? Да я тебе, разбойнику, всю голову сшибу ухватом!..

Мать бросилась к печке. Сестра ухватила ее за рукав.

— Дома мучили мальчонку, прибежал в крови, как резанный, и тут, при матери с отцом, увечишь, красномордый, а? Ты думаешь — богач? Ты думаешь, что на богатых нет управы? На-ко-сь, выкуси!

— Отвяжись! — махнул рукой Шавров.— Сбесилась, черт немытый!..— Он брезгливо сплюнул в угол.

После курной печки мать на самом деле была грязная, как чучело, в старом клетчатом, прожженном в трех местах повойнике, изорванной рубахе и замызганном, полинявшем, в жирных пятнах, шугае, с оторванною проймой.

Калебан дергался и ржал до слез; а я лез дальше в угол под божницу.

Отец молча и внимательно рассматривал Шаврова.

— Что случилось? — наконец спросил он, обращаясь не к хозяину, а ко мне.

— Ведь он, змеенок, жеребца испортил! — закричал Созонт Максимович, колотясь от злости и сжимая кнутовище.— Выстегнул вчистую глаз и убежал из поля, а? Подумай-ка, как его нужно казнить за такие дела, а? — Шавров захлебывался словами и чуть не плакал, глядя поочередно на всех.— Пахомка нынче утром приезжает

из ночного... «Где же, мол, Ванюшка? Почему с таких пор, если я приказал стеречь до завтрака?» — «А ты погляди, грит, на Красавчика».— Подошел я: жеребец — как жеребец. «А ты, грит, погляди на левый глаз».— Я поглядел, да так и обмер: глаз-то — как подушка! «Господи, головушка моя несчастная, да кто же это, кричу, а? Да это кто ж так постарался, руки б того поотсохли?..» — «А кто постарался, грит, того уж нету: того черти с квасом слопали...» — «Чем же?» — «А кнутом, с верха: подъехал, хляснул да домой: пускай, бат, сдохнет вся его скотина, кровопивца, я к такой работе непривычен, меня дома заставляли чтó полегче робить... Накосяк через Телячьи Выпаски, овсами, укатил в Осташково, к своим...» — Гляжу вот — правда...

Шавров потен.

— Что ж ты мне наделал? — обращается Шавров снова ко мне.— Жеребцу-то цены не было!.. Ведь ты мне должен теперь двадцать лет за него служить, и то не выслужишь, чертенок ты несчастный, а? Стерва ты поганая!.. Хлопаешь глазищами, как б..., а конь испорчен, а? Куда мне теперь деть его? На водовозку?

Бессовестная ложь Пахома и его подлый подвох так меня ошеломили, что я сидел как пришибленный, не в силах слова вымолвить.

— Отвечай, чего молчишь? — заорал отец, багровый, и, схватив меня за волосы, швырнул об пол.

— Тятя! — крикнул я.

Шавров впился в плечи, мать завыла, а я ошалел со страху. Созонт Максимович придавил мне к полу шею так, чтоб я не мог кричать, отец перебрасывал в кутнике одежду, отыскивая веревку или кнут.

— Обожди, я принесу,— сказал Калебан,— постой чуточку, Лаврентьич!..

Он приволок пучок свежих лозин, и меня, обнажив, секли попеременно отец и хозяин. Били с хрипом, чмоканьем, сопя и задыхаясь, избороздив все тело мое — от лопаток до колен — кровавыми рубцами.

VI

Глаз у жеребца не вытек, а поджил, потому что Пахом так его ударил, что ядро осталось невредимым и разбухли только веки.

— Стал проглядывать чуть-чуть, слеза только шибка,— сказал Василий, отворяя нам с хозяином ворота, когда мы в полдень возвратились из Осташкова.

Шавров прошел в стайку, осмотрел Красавчика, перекрестился с радости, потом позвал Пахома, поправлявшего за домом изгородь, и наискось, через все лицо, посадил ему кнутом рубец. От неожиданности и боли Пахом взвизгнул. Шавров стегнул его вторично.

— Я тебя, Пахомушка, перекрестил,— сказал хозяин тихо, улыбаясь побледневшими губами...— На суде-то с тебя черта ли возьмешь... одна канитель... Да и время теперь не судебное...— Шавров поперхнулся.— По закону тебе тоже следовало бы глаз залить, ну да что ж... маненечко прощается: глаз в работе нужен.

Ошалелый Пахом молчал, вытирая рукавом окровавленный рот.

— Ты его золой присыпь,— посоветовал Василий, наклоняясь к работнику,— от золы твердеет.

Слова его облили кипятком Пахома.

— Ты за что же? — неуклюже поднявшись, шагнул он вперед.

— За Красавчика,— сказал Шавров.

— Нет, ты это за что ж? — повторил работник.

— За увечье, вот за что, чего ты лупишься? Пугаешь?

— Ты за что же, кровопивца? — гаркнул Пахом в третий раз, бросаясь со сжатыми кулаками на хозяина.

— Погоди, братуха!..— Шавров отступил на шаг, прикрыл глаза, будто от солнца, и неожиданно ударил Пахома под скулы.

Работник грохнулся навзничь, растопырив руки.

— Еще хочешь, али будя? — спросил Созонт Максимович.

Пахом бессмысленно таращил бельмами и царапал грязными ногами землю.

— Собирайтесь с лошадьми в ночное,— кинул нам с Василием хозяин.— А этот пусть прочухается.

Шавров брезгливо ткнул носком в плечо лежавшего работника и отвернулся, но Пахом неожиданно вскочил на ноги и впился ему в кудрявые волосы.

— Все еще копаешься? — совсем уже тихо прошептал Шавров, ловко вывертываясь и оставляя в Пахомовых пальцах золотистый клок волос. Наотмашь он ударил его по переносью. Оскалив зубы, Пахом опрокинулся и заревел на всю деревню:

— Кар-раул!.. Убил!.. За что, злодей?.. Родные, Ванек ведь это, я присягу приму!..

— Врешь, стервец: мальчишка землю ел... Я его заставлял. Присяга твоя выйдет ложная...

На крыльце стояли бабы. В ворота просовывались любопытные.

— Что налезли? Кой ляд не видали? — закричал на них хозяин, беря в руки крепкий тяж, и, скривив губы, нехотя побрел в завозню.

— Завтра тебя рассчитаю,— обернулся он к Пахому.— Неси тебя черти, куда хочешь; нам таких не надобно...

На некоторое время жизнь потекла мирно, по-хорошему, и Петя даже хвалился матери, пришедшей навестить его:

— Теперь мы, маменька, бояре без Пахомки-то...

Но в воскресенье, когда девки развивают венки, нашему блаженству пришел неожиданный конец.

Вдребезги пьяный Пахом, снова появившийся после двухнедельного бродяжничанья в Мокрых Выселках, ходил по деревне из двора во двор, отыскивая меня.

— На что он тебе понадобился? — спрашивали мужики.

— На что? Хочу зарезать! — кричал работник, грозясь ножом-складнем.— Душа моя не терпит гадов, понимаете, на что?

Перепуганная бабушка затворила нас с Петрушей в погреб.

Утром Пахом ползал в ногах у Шаврова, целовал иконы в знак того, что пакостить не будет, и по-разному юлил, как бес перед заутреней, но ушел хозяин в лавку, и работник, обнаглев, щипал Любку, подмигивал Васе Батюшке и ржал, как жеребец. Меня величал похабными словами. Петю — тоже.

— Давай, Ваня, с ним не разговаривать,— шепнул мне мальчик, отводя в сторону,— нам легче будет...

В самый разгар игрища работник пошел в лавку за деньгами.

— Ты, парень, шустер,— сказал ему Шавров,— денег я не делаю, ты это должен знать.

— Господи, Созонт Максимович, помилуйте, у вас — и денег нет?

После трепки за Красавчика Пахом называл хозяина на «вы».

— Чужим, которые сдуй в поле ветер,— усмехнулся Шавров.

— Я же отработаю.

— И дай бог. Лошадей поил?

— Поил,— понурив голову, буркнул опечаленный Пахом.— Хоть бы груздиков полфунта дали, али там — бутылочку фиалки... Кому праздник, а мне — будни, черт бы их побрал! Даже на людей глядеть не хоцца!..

— Из товара можно. Из товара я тебе могу на рупь отвесить всякой всячины. Товар — дело десятое.

Тогда Пахом продал сапоги Василию за четверть водки, Влас украл из клети кусок сала, и они большой компанией в хибарке у Василия бражничали, пели песни и дрались.

Накачавшись, Пахом вспомнил про меня.

— Пойду его увечить,— заявил он вслух.

— Отвязался бы,— сказал Василий.

— Не могу, друг,— вымолвил батрак, а Влас заржал:

— Лупи кого попало, я — тоже пойду!

Мы с Петрушею стояли в хороводе рядом с Васиной избушкой. Пахом с гиком выскочил на улицу, расшвырял девиц, схватил нас за волосы и, стукая голова с головою, потащил в реку топить.

— Ябедники, так вас и раз-этак!.. Христопродавцы шелудивые!.. Безвинного человека в грязь втоптали!.. Я в-вам сейчас тариф жизни покажу, щенятам!..— бормотал он.

— А-ай! — как поросенок, завизжал мой товарищ.— Брось, пожалуйста, я тебя дядей буду звать!..

Собрав силу, я схватил Пахома за лапоть, дернул, и работник, нетвердо стоявший на ногах, упал, а мы сломя голову ударились куда глаза глядят.

Федосья Китовна, выбежавшая к нам на подмогу, затворила нас сначала в горнице. Петя залез под кровать, а я — под стол. Оба — как шальные: глядим друг на друга, оттопырив губы, а из глаз ручьями текут слезы.

Пахом сквернословил на всю улицу, отчаянно стучал щеколдой, грозил сжечь всех, бабушка пугливо жалась, с печки Макса тянул шею, спрашивая:

— Это там чего? Приехал, что ли, кто?

— Пойдемте в погреб, а то кабы вы чего тут не украли,— спохватилась Китовна.— Вылезайте поскорее.

На ворохе картофеля мы плотно прижались друг к другу, думая каждый о своем. Чуть слышно доносились песни. У лавки верещала ливенка.

Сидим час, другой и третий, чуть не до петухов. Холодно тут. Петя зябко жмется.

— Мне недаром нынче снилось, что я с крыши падаю... Теперь нам как же быть, до завтра?

— Я не знаю... Подождем, когда уснет. Эх, силы у нас с тобой нету...

Петя вдруг затрясся.

— Стой... Там, кажется, стучат... Не *этот* ли? Беда!..

По моей спине поползли мурашки и заныло сердце. Бессознательно я стал твердить, ломая пальцы:

— Господи Исусе!.. Господи Исусе!

Сверху звякнуло кольцо, скрипуче распахнулась погребица, мы с ужасом полезли в выбоину, где лежала зимою редька, и уткнулись головами в землю. На ступеньках кто-то шаркал лаптями, и щебень, попадавшийся под ноги, скрипел и цокал, сброшенный с порожек. Через минуту блеснул желтоватый полусвет, по серым стенам запрыгала мохнатая расплывчатая темнота, мутно выглянула плесень из углов, прелая доска с обломанным концом и золотая лужа под кадушкой. Держа в одной руке кувшин из-под кваса, а в другой сальный огарок, у творожной кадки стояла Варвара. Она поставила свечку на бочонок, почесала в голове, задумалась. Жиденькое пламя двумя блестящими звездочками отражалось в ее больших серых глазах, полуприкрытых длинными ресницами, пятнами скользило по лицу с еле заметным румянцем, словно корольком покрасило ровные губы, розовые ноздри, круглый, с ямочкою, подбородок.

Петя лежал неподвижно, пряча голову в моих коленях.

Поставив под кран кувшин с отбитой ручкой, молодайка оглянулась, потрогала втулку и, выпрямившись, торопливо подошла к срезку с солониной. Сняла камень с круга, нагнувшись со свечою, долго рассматривала что-то и, схватив кусок сырого мяса, жадно впилась в него мелкими зубами.

— Варва-ара!..

Баба по-собачьи рвала солонину, не расслышав возгласа.

— Вар... ва-ара!..— прошептал я снова, с трудом переводя дыхание.

— Это разве не Пахом? — неожиданно вскочил просиявший Петя.

Молодайка ахнула и села тут же на полу, щелкая зубами и бессмысленно смотря на нас. По-рыбьи раскрывая рот, она шевелила непослушным языком, стараясь выплюнуть изо рта мясо, давилась, бормоча: «В-ва... в-а... ва... я...» — драла на себе рубашку и, наконец, продышавшись, расплакалась навзрыд.

— Испугалась, знать? — нагнулся подбежавший Петя.— Пахомка не уснул?

— Н-не знаю я! Не знаю! — затряслась Варвара.— Я пришла за квасом!.. Вы подсматривать? Я удавлюсь! Я в реку брошусь! Свои мучают, каждым куском попрекают, по рукам бьют за обедом, и работники — туда же!.. Я жизни лишусь, я сама не знаю, что наделаю!..

Варвара уткнулась лицом в угол и завыла нудно, протяжно, с надсадливостью.

VII

В Мокрых Выселках, через девять от нас дворов жил мужик — Егор Пазухин, человек необыкновенно бедный. Он имел двух дочерей на выданье и сына. В ранней молодости Егор похоронил отца и, оставшись тринадцатилетним мальчуганом, повел хозяйство с помощью матери, старухи бойкой, голосистой, чуть-чуть с придурью. Митрий, Овечья Лопатка, Егоров отец, умирая, оставил сыну в наследство курную избу, овцу с ягненком, полтора надела распашной земли и старую с бельмом кобылу — Феклу, над которой все смеялись.

Егор сам сеял, боронил, налаживал инструменты и сбрую, а осенью, управившись с полевыми работами, шел к Осташкову батрачить, оставляя дом на попечении матери. Когда ему исполнилось семнадцать с половиной лет, его женили. Егор был парень расторопный, крепкий, сметливый и весельчак, жена — под пару, но как молодые ни бились, как ни хрипели с утра до ночи над своею и над барской работой, к наследству, оставленному Митрием, ни пылинки не прибавилось, если не считать того, что рыжая кобыла околела, а на ее место завели гнедого мерина со сбитой холкой, корноухого Рупь-Пять, да овца за это время принесла штук пять ягнят, с трудов поседела, но ягнят поели волки, а сама овца пропала.

Подати, малоземелье, старые долги Шаврову, расход по хозяйству вечно держали семейство в тенётах; частые неурожаи, жизнь впроголодь, мордобития от грозного начальства шаг за шагом обессиливали мужика, незаметно стирая жадность и задор к работе; Егор постепенно опускался, махнув в конце концов рукой на возможность выбиться из крепких лап нужды.

К сорока годам жизни Егор не осилил даже того, чтобы переменить полусгнившую избенку. Курные выходили из моды, соседи один за другим ставили себе «по-белому»; у богатых появились горницы, в переднем углу — картины, святость, полотнища шпалер и разный причиндал; на столах, на радость и ликование хозяев, запыхтели самовары, а Егор все еще коптился в старой отцовской мазанке, чая не пил, гостей с достатком не привечал и год от году становился угрюмее.

— Сына мне роди! — кричал он, пьяный, на жену.— Пошто ты мне таскаешь пакостниц? — Егор презрительно указывал на трех белоголовых девочек, печально жавшихся друг к другу.— Мне кормилец нужен!

Жена плакала, забившись головой в тряпье.

— Ты бога умоляй,— покорно шептала она.— Что ты ко мне пристаешь?

Егор больно бил ее за это и трясущимися от жалости губами позорил и клял ее.

Наконец, лет в сорок пять, мужик-таки дождался сына, а младшая дочь умерла, наевшись гнилых яблок.

Было лето. Возвратившийся из ночного Егор осторожно развернул пеленки, глянул из-под седеющих густых бровей на красненькое тельце, усмехнулся.

— Молодец старуха! — неуклюже-ласково, стыдясь своего хорошего расположения, мужик потрепал жену по высохшей спине.— Корми его теперь в порядке, ради бога!

Женщина счастливо улыбнулась посиневшими от мук губами и, поймав руку мужа, поцеловала ее.

Егор сконфузился, отдернул руку; присев у изголовья, тряхнул головою:

— Дряни этой я больше хватать не буду.— Изрубцованным пальцем он ткнул на подоконник, где стояла порожняя бутылка из-под вина.— Баста, налакался.

И вот вырос сын Василий. Егор по-прежнему терпел нужду, получал тумаки и оплеухи за недоимку, сидел в чижовке, голодал, ходил оборванным, самовара так и не

завел, но жизнь ему уже не представлялась мрачной; он терпеливо боролся с невзгодой, и в глазах его светилась упрямая надежда, а губы невольно раздвигались в светлую улыбку, когда он смотрел на мальчика.

— Ну, Васюха, помогать мне скоро будешь? Скоро нужда наша — к волкам в гости!..

— Я в работники пойду,— лепетал ребенок,— купим светлый самаляй...

Егор с наслаждением хохотал.

— Лошадей хороших, чай два раза, казинету на поддевки, так ай нет?

— Так...

— Красивую корову с лысинкой, чтобы вымя фунтов в тридцать, новую избу с теплушкой, а?

— А еще я куплю целый пéщер бабок...

— Легко сказать! — подпрыгивал Егор,— целый пéщер, этакую, можно сказать, махину!.. Берегись, Макса-бурмистр, скоро перебьем твое богатство с Васюхой!..

После того как мальчик на восьмом году стал бегать в школу, для Егора открылся новый источник гордости и необычайной радости. Вася был понятлив и умен: грамота, над которою большинство детишек проливают столько слез, далась ему легко, и сын чуть ли не самого бедного в деревне мужика шел по ученью первым.

Зимними вечерами, сидя возле мальчика, Егор волновался и горел, следя за тем, как тот свободно и толково одолевал склады. Старик до того увлекался, что даже в манере сидеть,— приподняв одно плечо вверх и склонив голову на левую руку,— подражал ребенку.

Мальчик научил отца молиться, и Егор потом дивился этому: прожил он больше полста лет, ходил в церковь, но не знал ни одной молитвы, кроме «богородицы», которую путал, не понимал церковной службы, всегда к концу утомлявшей его; молясь дома, бессознательно твердил какие-то заклинания с упоминанием божьего имени и относился к этому как к тягостному и скучному обязательству перед тремя закоптелыми иконами в углу.

И вот слабая рука ребенка вдруг легко повернула какой-то заржавевший винтик в голове его и, словно солнцем, осветила и согрела душу. Заклинания оказались осмысленными, полными того живого, что было скрыто в них от стосковавшейся души Егора формою запутан-

ных слов, ближе и доступнее стал седенький мужицкий бог и сын его — Христос распятый.

Оставаясь один, Егор нередко снимал с крючка сумку с книжечками, брал одну из них, неумело раскрывал и гладил, стыдливо озираясь по сторонам и прислушиваясь к шорохам.

На тяжелом склоне серых дней жизнь принесла Егору неиспытанную радость в сыне.

Вася рос, учился, летом помогал в работе.

— Беспременно надо до делóв парнишку довести,— говорил Егор жене.— Пускай добром помянет, когда вырастет. По-нашему жить — смерть.

Баба молчаливо соглашалась.

Обессилевшие, дряхлые, согнутые нуждой и каторжной работой, путно не кормившей, они долго-долго просиживали в полутемной избе, разговаривая шепотом, чтоб не потревожить мальчика, и выцветшие глаза их ласково светились, а сухие губы задушевно улыбались друг другу и тем светлым мыслям, что теснились в старых головах.

Весною, на одиннадцатом году, Вася окончил школу первым.

Прибежав домой, он закричал с порога:

— Меня все хвалили!.. Нáбольший из города гостинец дал!

— Эк-ка, отличили? — встрепенулся обрадованный отец.

— Да, молодчина, говорят, разумник!.. А батюшка за тропарь и литургию верных по волосьям гладил.

— Важно, ишь ты — литургию ему откатал? На-ка вот и от меня,— Егор развязал тряпицу и подал сыну двугривенный — деньги для мальчика невиданные.— Это тебе за труды и литургию,— улыбнулся он и, не говоря больше с домашними ни слова, побежал в училище.

Экзамены кончились. Инспектор, батюшка, учитель и еще какой-то человек в очках закусывали.

— Степан Васильевич, к вашей милости,— робко отворил старик двери.

Все подняли от тарелок головы.

— Это ты, Егор? — спросил учитель, вытирая платком рот и поднимаясь из-за стола.

— Я... с докукой к вам... с нуждой...— бормотал мужик, немного оробевший от ясных инспекторских пуговиц, но подвыпивший начальник добродушно улыбался, глядя на лохматого, растерявшегося Егора, и это его при-

ободрило. Широко шагнув к столу, он вымолвил: — Хочу еще сына учить... Есть, чтоб дальше?

Все насторожились.

— Чтоб выше,— пояснил он, взмахивая грубыми руками.— Вы учили — хорошо, покорно благодарим, но только я хочу, чтоб Васю еще кто-нибудь учил... На земского!..— неожиданно для самого себя выпалил Егор.— Господские ребята учатся до двадцати годов, и я хочу до двадцати... Чем я хуже? Что мужик? Хочу до двадцати!.. На земского!.. А то — на дьякона... Куда годится...

Присутствующие переглянулись, и по их улыбкам Егор догадался, что сказал что-то неладное. Его сразу бросило в озноб, а по морщинистому лбу мелкими мутными капельками потекла испарина.

— Работником до гроба буду, помогите! — прохрипел он, опускаясь на колени.— Черви мы... Нужда заела... Пускай выбьется мальчишка.— Старик с тоской глядел в глаза инспектору и батюшке.— Все отдам, что есть, до дела б только довести... Причалу у нас нету в жизни никакого, собаками, которых все пинают в морду, маемся на свете... Так нельзя!..

Вскочивши на ноги, учитель подхватил его под мышки.

— Встань же, экий, право!.. Ну зачем это?.. Ты говори, а на колени... Ну, к чему это!.. Отец он Пазухина,— обернулся учитель, красный от смущения, к инспектору.

— Кланяйся земно господу богу, а не нам грешным,— разглаживая окладистую бороду, сказал священник, протягивая белую руку за рюмкой.

Сбитый с толку, Егор долго и скучно жаловался на свою жизнь, божился, что жив только сыном, для которого готов на все; ему тоже что-то говорили и хлопали по плечу, но вынес он одно: нужны деньги, без денег ничего не выйдет.

Задами, минуя свой двор, Егор отправился к Шаврову, упал и перед ним на колени, прося до осени полста.

— Пока начальник не уехал,— говорил он, склонив голову.— Пока он тут — сподручней всунуть... Без того не хочет, надо, говорит, прошенье подавать... А на кого мне подавать, на всех? На муку свою, на нужду, на маету?.. Созонт Максимыч, ангел, выручи!..

— Ты старый-то заплатил бы... Тридцать рублей старого,— сказал Шавров.— Шесть лет уж жду, али забыл?

Клим Ноздрин, сосед Шаврова, первый подхалим в деревне, бывший в лавке, полюбопытствовал:

— Тебе, к примеру, для чего же этакие суммы — хату, что ли, переправить вздумал?

— Нет, Платоныч, для Васютки... В школу его надо. В городах есть школы разные, он — дошлый, в город его надо отправлять.

— Я думал, на дело,— усмехнулся Клим, смотря на старика как на сумасшедшего.— Чертову ты музыку городишь, брыдло!..— Злобно сплюнув, Ноздрин закричал, краснея: — «В школу его надо», рвань паршивая! «В городе есть школы разные»? Глянул бы хоть на себя-то, да немного постыдился: сед, как пень, в лохмотьях, изба завалилась, издыхаешь с голоду, а в башке — дурь непочатая!.. Эх, вы — жители-одры! Гони его метлой, Созонт Максимович!..

Целую неделю Егор, забросивший хозяйство, ездил по уезду, надоедая своими разговорами попам, помещикам, лавочникам и их детям, всем, кто носил городскую одежду и, по его разуму, мог оказать ему помощь. Бледный, худой, истосковавшийся, он трясся по размытым весенним дорогам от деревни к деревне, робко жался на кухнях и порогах барских хором, торопливо сдергивал облупленную шапку, умолял и чуть не плакал, а получив отказ или недоумевающую улыбку, крепко поджимал бескровные губы, садился в телегу и ехал дальше.

И вот однажды, верст за шестьдесят от Мокрых Выселок, у околицы большого однодворского села, по прозванию Городище, ему попалась на дороге нищенка старуха.

Егор посадил ее в телегу и подробно рассказал про свою беду.

— Да что ж ты, старый, мечешься? — сказала нищенка, прищурив правый глаз.— Эвона, гляди! — старуха ткнула рукой влево, за овраг.— Видишь белый дом с зелеными окошками? Ну? Видишь? Это наша школа... Поезжай с Христом; там много всяких учится, там их — как жита в закроме... Кати!..

— А как там, могут довести как следует? — недоверчиво покосился мужик.

— Еще бы те! — мотнула пыльной головой попутчица.— Распервеющее место по губернии... Талька моя допреждя училась... Знаешь Тальку? Она у нас почти барыня.

В Городище, в образцовой школе, жили два учителя:

Николай Захарыч и Сергей Иваныч, оба холостые. Первый — пожилой, с заметной проседью в острой бородке, круглолицый, второй — лет за двадцать, тоже круглолицый, но повыше ростом и потоньше первого. Молодой — из мужиков, а Николай Захарыч — сын священника, не захотевший идти по отцовской линии. Лет пять-шесть назад, приехав откуда-то издалека, Николай Захарыч, после долгих хлопот, поступил в городищенское училище за старшего учителя и завел новый порядок: учеников, окончивших школу, не бросал на божью волю, как повсеместно делали его товарищи учителя, а понуждал учиться дальше, на свои деньги покупал книжки и учил их по вечерам, при лампе, после обычных занятий, а летом — круглый день.

В первые три года на эти занятия никто не ходил, кроме нищенкиной внучки Тальки, которой все равно делать было нечего, да сына лавочника Фаддея Беспалого, отданного в школу из-за чванства перед мельником, у которого сын полгода жил в Рязани хлебопеком и при спорах говорил всем: «Низвините, это факт, а не действительность».

Николай Захарович умолял мужиков на сходке не отнимать у него безо времени детей, бегал по деревне из двора во двор и по-разному старался, но мужики ему отвечали:

— Миколай Захарыч! Друг! Да разве мы не понимаем, что с грамотою лучше, но только нам не в писаря. «Верую» узнали — с нас и будет... Ты вот говоришь: учеба, подлежачее, рихметики, а мне за сына сулят на барском дворе три синих в лето и хозяйский харч, смекника, в какую учебу его лучше ткнуть — в твою, ай в барскую, вот то-то и оно!.. Рихметики!..

Но когда через три года прошел по Городищу слух, что Талька нищенкина ездила с Николаем Захарычем в город на «эззаменты» и что там ее, обрядив, как барыню, во все новое, оставили учиться еще дальше, а из сына Беспалова выйдет машинист, недоверие к учебе рухнуло, и отцы сами стали навязывать «маненько подшустрить» своих детишек.

Егор привязал отощавшую лошадь к палисаднику, пригладил ладонями на голове лохмы, обил с портов пыль, вздохнул, откашлялся.

— Тут, что ли, пройтить? — спросил он у зобастой бабы в желтом расстегае, несшей на коромысле ведра воды, кивая на решетчатые дверцы.

— Тут, а где же? — Баба остановилась и, выпятив живот, с любопытством поглядела на приезжего.— Ты, дядь, чей?

— Дальний, девка, аж из-под Осташкова.— Старик скупо улыбнулся.— С полным тебя встретил: может, бог пошлет удачу.

Двухэтажная школа помещалась в саду. Цвели яблони. Прямые, ровные дорожки, без одной соринки, усыпаны желтым песком. На тонких палочках, воткнутых в рыхлую землю, привязаны дощечки с надписями, в углу — грядки молодяжника, куртины с высадками, вдоль ограды — ряды распускающегося крыжовника, смородины, малины и акации. Егор, глядя, улыбался.

— Ишь ты, что натыкал: как у князя... Ах ты, господи, помилуй!..

Постучав в темно-зеленые, выкрашенные масляною краскою двери, он снял по привычке шапку, незаметно перекрестился и вытер ноги.

— Ты не туда ломишься! — закричала та же баба, проходя с пустыми ведрами.— Ступай отсель! — Она, как птица переломанным крылом, неопределенно махнула свободной рукой и скрылась за вишневником.

Егор, все так же держа шапку в руках, повернул за угол. Навстречу выскочил беловолосый мальчик лет тринадцати, с лопатою в руках.

— Погоди-ко, эй, шустряк, чего ты так несешься? — закричал Егор.

— А что? — остановился тот.

— Вот то-то, что «а что», где тут у вас на́больший?

— Николай Захарыч?

— Какой тебе Миколай Захарыч, самый на́больший?

Мальчик прыснул.

— Это же и есть Николай Захарыч, эвона,— он указал лопатой за кусты сирени,— в парниках. Ты что, аль сына хочешь к нам приладить?

— Да, Васютку,— обрадовался Егор.— Ты тоже учишься?

— А как же... Я — талызинский, на фершала хочу.

— Это-то мне и нужно! — просиял мужик.— Слава тебе, господи, добрался!..

Осенью, после воздвиженья, Егор привез сына в Городище, пристроил его у своей новой приятельницы — нищенки, и Вася четыре года учился у Николая Захарыча разным наукам. Через каждые шесть недель Егор за-

прягал гнедка Рупь-Пять, клал в телегу муку, картофель, полбутылки масла или кусок сала, мать завертывала в тряпицу пару сдобных лепешек и десяток яиц, укладывала чистые рубахи, и старик, перекрестясь, трогался в путь. В селе Верхосёченье, на полпути от Городища, Егор забегал в бакалейную за нюхательным табаком для приятельницы; если были лишние деньги, прикупал на пятачок коробку «народного» чая, а приехав, здоровался с побирушкой и спрашивал:

— Ну, как твоя?

— Талька-то? — старуха морщилась, поднимала кверху голову и, приставив кривой палец к бородавке на губе, важно отвечала:

— Талька, шельма, теперь свое дело знает, парень... Талька — ее, брат, теперь не схватишь, вот что я тебе скажу.

Егор кивал головою.

— Еще много?

— Скоро... одну зиму... А тогда и учительша. Егорушка, подумай-ка, эх, ми-и-лай!.. «Я, грит, тебя, бабонька, возьму к себе на воспитание... Будет, грит, таскаться-то с мешком: пора отдых знать...» — Старуха хныкала от радости и вытирала красно-бурый нос, похожий на лесную грушу, полой кацавейки.— «Будет, грит, помаялась...»

Прибежал Васютка.

— Вот он — сокол,— улыбалась нищенка.— На коленках не стоял?

— У нас не ставят,— скороговоркою отвечал он, целуя отца.— Поесть нечего?

— Ну, так розгами, если не на коленях,— поддерживал Егор.

Мальчик искоса глядел на него и нехотя, как с человеком, ничего не понимающим, отвечал:

— Что у нас, церковная, что ли? Это дьякон своих чистит как облупленных, а наша министерская.— Он задорился, и в голосе его проскальзывала гордость.— У церковников за каждую провинность бьют, а мы в игры не пускаем, кто проштрафится.

— Ты бы насчет игров-то обождал,— говорил старик, разглядывая сына.— Нам с тобой учиться во все жилы надо, до делов скорее добиваться, а потом уж...

— Игры нужны для физического тела,— возражал Васютка,— так нам Николай Захарыч говорит, он первый затирало.

Сбитый с толку непонятными словами, Егор умолкал, а побирушка блаженно посмеивалась:

— Ох, уж этот Миколай Захарыч, супостат, ну, прямо — андел божий, язык отсохни!..

Вася доставал из печки вареные картошки, побирушка грела воду в чугуне, и друзья усаживались вокруг большой деревянной чашки чаевать. Утром Егор уезжал, опять наказывая сыну не лениться.

Когда на шестнадцатом году Василий с двумя товарищами поехал сдавать экзамен в город и слуху не подавал полторы недели, Егор исчах, пожелтел. С утра до ночи он толокся в волостном правлении, поджидая земскую почту, вздыхал, потел, надоедал начальству. Наконец, на двенадцатый день пришла открытка, в которой сын писал, что принят на казенный счет, просил родительского благословенья, чистых рубах и немного денег. Егор бросил пашню, заложил Шаврову женины холсты и шубу, благо было бабье лето, и в ту же ночь, не поужинавши, укатил на станцию, оттуда — к Васе. В городе прожил четыре дня и воротился молод-молодешенек.

Первые слова его, какие он сказал старухе, перешагнув порог своей избы, были следующие:

— Ну и штука, Анна, сам не чаял!..

После того целую неделю, праздничный и гордый, рассказывал всему околотку, чтó он видел в большом городе, какое у Васи высокое начальство, дорогая обувьодежа, на радости плакал и шутил, а старуха, слушая, крестилась на иконы и шептала:

— Ты, мужик, не сглазь, пожалуйста, к добру бы твои речи... Матушка царица, есть-то им дают чего-нибудь?

Егор прищелкивал:

— С таре-е-лочек, лупи их кожу-мясо!

Успех Васи окрылил Егора. Сразу и навсегда замерли в душе тяжелые сомнения, растравляемые в течение четырех лет насмешками соседей: родилась уверенность, что все заботы не пропали даром.

Этот же успех заткнул глотку пустословам: куда-то спрятались ехидные улыбочки, презрительное фырканье и лицемерные сожаления о том, что старик губит сына, отрывая его от крестьянского дела, замолкли и пророчества о том, что Вася избалуется, привыкнет к легкой жизни, сладкой пище и прогулкам, а старого отца с матерью забудет; наоборот, все стали завидовать Егору и

всячески выхвалять сына, вспоминая, как он еще в детстве был смышлен и ласков, никогда ни с кем не дрался, отцу помогал исправно, матерщины не любил, а праздники сидел за книгой.

На Ивана Богослова Егор зашел как-то в лавку за керосином. Шавров поздоровался с ним за руку, чего сроду не было, расправил огненную бороду и, кивая на самовар, сказал:

— Чайку чашечку не хочешь?

В лавке толкалось много мужиков. Все вздохнули и почтительно посторонились, услыхав, как потчуют Егора, а Созонт Максимович крикнул:

— Власик, принеси кубареточку Егору Митричу! — и, наливая стакан рыжего, спитого чая, умильно спросил:

— От Васютки слушку нет?

Егор расплылся в радостную улыбку, тряхнул лохмотами, на которые теперь не обращал внимания, и с готовностью ответил:

— Как не быть, намедни получил письмишко.

Вытащив искомканный, просаленный конверт, он бережно подал его Шаврову, а тот зачем-то нацепил на нос очки, сделал лицо строгим и торжественным, поглядел по сторонам, прокашлялся и вымолвил:

— Ну, слушайте. Читай, Демид.

Голубоглазый мужик в поярковой шляпе, оттопырив чапельником губы, взял в руки письмо, остальные грудью налегли на стойку, послышались вздохи и шепот одобрения:

— Ай да малый!

В письме Василий перечислял все науки, которым обучался в семинарии, и книги, какие читает. Мужики улыбались от непонятных слов и галдели:

— Магарыч бы с тебя, Митрич; этакое, можно сказать, счастье!

— Ну-ко, сообрази: по девяти книжкам, собака, жарит, ведь это с ума надо сойти, глаза полопайся.

— Вот тебе мужицкий сын!.. Ты куда же его теперь, Егорушка, денешь-то, а? Ить наша пропастная деревня ему теперь покажется овином, а?

— Ах ты, брат ты мой!

— Он, поди, теперь как барин ходит... Слышь, Егор, как барин, мол, разгуливат?

— Да, теперь он на мужика не похож,— отвечал Егор, обращаясь то в ту, то в другую сторону.— Теперь он как поповский сын, Вильямин Гаврилович.

— А у тебя, ну-ко-ся, хата по-черному, чума ее возьми, а? Вот наказанье-то!..

Шавров, играя перстнями, задумался.

— В случае чего можно ко мне в горницу,— сказал он ласково,— пускай прохлаждается сколько душе угодно, у нас — тихо...

Мужики раскрывали рот от изумления. Кто-то, затаив дыхание, прошептал:

— А ведь пра-авда!..

— Господи, ну как не правда! — в один голос подхватили все.— Больше некуда, как только к вам, Созонт Максимович, ей-богу, право!.. Уж вы потеснитесь как-нибудь, пожалуйста!..

Шавров ответил:

— Да ведь она у меня слободная, горница-то: мне даже и тесниться незачем.

Клим Ноздрин, сосед Шаврова, тот, что больше всех ругал Васю за ученье, буркнул, ковыряя ногтем стойку:

— Из курной да — в горницу... это я понимаю.

— Что же, он не стóит, по-твоему, ай что? — загалдели мужики.— Знамо дело, ему теперь нужóн чистый воздух!

Ошеломленный Егор сидел с выпученными от непривычки глазами, а кругом кричали, как на сходке, спорили и переругивались, чуть не хватая друг друга за воротки. Привлеченные шумом, с улицы заходили новые посетители и, узнав, в чем дело, и прочитав письмо, так же горячо и с тою же заботливостью принимались рассуждать о том, как и где Васю устроить.

— Захочет ли еще он у нас теперь жить-то,— сказал печально косорукий, отставной пастух Игнашка Смерд,— поглядит на нашу бедность, скажет: «Ну вас!» — да укатит к себе в большой город.

Всех сразу передернуло, на Игнашку злобно зашипели и замахали руками, а Егора будто исподтишка толкнули с кручи в ледяную воду, так и заныло и замерло его сердце. Ни с кем не попрощавшись и не поблагодарив за чай-сахар, он торопливо выскочил из лавки, направляясь к своему приятелю солдату, который писал ему письма к Васе, и слезно, своими заботами о нем, своею нуждой и горем умолял сына не забывать деревни, не отказываться от родительского крова и не брезговать черным углом, в котором он вырос. Отослав письмо, старик с нетерпением и болью ждал ответа, а получив, сра-

зу успокоился и повеселел: Вася писал, что по деревне и родителям скучает и никак не дождется весны, когда их распустят по домам.

— И чудак этот пастух, трясло б его осиной,— говорил Егор жене.— Скажет тоже, чего не следует: уедет, бат, в город. Вот, ей-богу, какой бестолковый народ пошел на свете — словно овцы!..

Василия ждали на девятую пятницу. Станция от Мокрых Выселок рукой подать, машина ходит в поздний завтрак, а Егор всю ночь сидел на конике, боясь проспать, и уехал, когда еще только чуть-чуть забрезжило в окнах. Эту неделю скотину стерег один Петя, а я с бабами окучивал картофель.

— Нынче Васька-дворянин приедет,— отряхивая с подола землю, вымолвила Любка.— То-то расфуфырится, мамочки мои!

— С медалью будто ходит, как поповы дети, а избенка курная, умора! — подхватила Павла и, весело засмеявшись, неожиданно спросила у меня:

— А ты в дворянины почему не учишься?

Я сказал:

— Не всем такое счастье, я в работниках служу.

— Оно и лучше! — воскликнула баба.— Эка невидаль — медаль на шапке! У нас урядник-то с медалью каждый праздник чай пьет.

Когда мы приехали домой, старуха Пазухина, мать Васютки, разметала перед хатой улицу. На крыльце, добродушно посмеиваясь, стоял принарядившийся Созонт Максимович, около сновали бабы и детишки. У нас тоже мыли горницу к приезду. Дочери Егора, Пелагея с Домной, то и дело бегали на задворки взглянуть — не едут ли.

— Кабы у нас лапша-то не перепрела! — кричала старуха Анна.— Полечка, милая, ткнись в печку — лапша-то, мол, кабы не перепрела! — Она то смеялась, то, бросив метлу, садилась на дороге и с радости вопила в полный голос, а соседки ее уговаривали. Один за другим к Созонту Максимовичу подходили мужики, побросавшие работу, спрашивая:

— Ну, что, скоро, али нет еще?

— Одиннадцатый час, пора,— говорил Шавров, вертя в руках серебряные, с бублик величиною, часы.

За деревней запылило.

— Едут! — завизжали ребятишки, бросаясь навстречу. Большие вытянули шеи, суетливо оправляя рубахи;

разговор примолк, и чем ближе подъезжала телега, тем сильнее росло нетерпение. Анна помчалась в амбар за новым сарафаном. Ей кричали:

— Не ходи уж, после принарядишься, гляди-ко: близко!

Она остановилась, развела руками, поглядела на грязный подол и снова побежала:

— Как же это, господи, Васютка едет, а я пугалом одета; я успею...

Несколько человек, потеряв терпение, замахали руками. Лошаденка затрусила. Клубы желтоватой пыли, как пургой, обволокли телегу, скрыв ее от глаз, а когда она остановилась, оттуда высунулась бритая улыбающаяся рожа мещанина, щетинника Ульяныча.

— Здравствуйте вам,— проговорил он, чихая от пыли.— Аль кто умер? Продать нечего?

— Черт бы тебя побрал! — закричал Созонт Максимович, топая ногами.

Ульяныч вытаращил глаза от изумления.

— Носит тебя, домового, не́впору!.. Тут, можно сказать, заждались до́ смерти, а он, как нарочно... Отвернул бы хоть с дороги-то, анчутка безбородый!

Вася с отцом выехали с другого переулка, откуда их не ждали, и Созонт Максимович даже немного обиделся за это.

— Словно на смех,— проворчал он.— Их ждешь с большака, откуда много ближе, а они прутся с полей; тоже норовят смудрить, навыворот как-нибудь уладить...

Егор сиял, как новый самовар. На телеге, доверху для мягкости набитой сеном, рядом с ним сидел оторопевший от такой встречи и от такого множества народа белокурый паренек с большими синими глазами, худенький, немного бледный, коротко подстриженный. На нем — суконная господская шинель с серебряными пуговицами, темно-синий картуз при звезде и новая курточка, из-под которой выглядывает тонкий краешек белого воротничка.

— Сыночек, Васенька! — закричала мать, бросаясь к телеге.— Деточка моя ненаглядная, соколик ясный!..

Парень соскочил с веретья, крепко обнимая залитую слезами старуху. Сбоку прижались плачущие сестры, становясь на цыпочки и целуя его в щеки, голову и суконную одежду. Егор бережно, словно икону, держал в руках свалившийся картуз Васютки, потихоньку гладя козырек и сдувая пыль с околыша.

В толпе гудели:

— Вот это я понима-аю!.. Вот это, братцы мои, ловко!..

— Пуговицы-то, пуговицы-то, господи!

«Книжка» — высокий, тощий мужик, сипел двоюродному брату, крутя головой:

— Микит, ты слышь, гляди-ка: ну, прям, не отличишь от Винамей Гаврилыча, грозой меня убей, не отличишь!..

— Экось, сучьего сына, до каких делóв дотяпался: в перчатках, серые портки на улицу, аж страшно!.. Вот так Васенька-Васёнок, вот так молодчинище — за всю деревню постарался!..

Потом, как в церкви, мужики стали в порядок и один за другим подходили к приезжему здороваться. Некоторые бестолковые бабы, по забывчивости, крестились, целуя его, а опомнившись, сплевывали и говорили:

— Ах ты, чума тебя возьми, миленка,— словно к Миколай-угоднику присунулась!..

Глядя на ноги, смеялись:

— Ты по-бабьи, в полусапожках, деточка! Не холодно зимой-то? Пальчики не мерзнут?

Сзади, от дверей, раздался испуганный шепот:

— Робят, что ж вы Созонт Максимыча-то, а? Вы о чем же думали? Его надо передóм; вот бестолочь какая!.. Робят, пропустите, ай оглохли?.. Потеснитесь малость... К сторонке, к сторонке... Ну и наказание, ей-богу... Староста, чего же ты пялишь бельма — доставай медаль — и в шею!

— Эй вы, а то ж-живо! — взмахнул палкой Морозенок, брат старосты.— Чиш-ше!..

Размякший от всеобщего почета, Шавров крякнул, оправил жилетку, подойдя, троекратно поцеловался с Васей, а с Егором поздоровался за руку и, ласково улыбаясь, проговорил при гробовой тишине:

— Пойдем ко мне, Егорыч, на чашечку чая: я уж бабам приказал наладить самоваришко.

Лица у всех после слов Созонта Максимовича стали такими, будто каждому положили в рот по куску сахара.

— Чаевать зовет... Самовар, бат, с самого утра фырчит: пожалуйте, грит, милости вас просим,— зашептали бабы.

Но стоявшая рядом с Василием мать замахала руками:

— Нет, Созонтий, уж он нынче пусть у нас побудет: чаю у нас тоже прорва наготовлена.

Бабы дергали сзади ее, щипали за крестцы, шипели:

— Замолчи, дуреха, замолчи!..

А она не унималась:

— Чаю у нас даже не повыхлебать!

— Ваш-то в чугуне, навозом, поди, пахнет, от него стошнит...— мягко заметил Шавров.

— Ничего, родимый, уж мы как-нибудь, по бедности своей, в чугуне... А к тебе он завтра примчится... Как только проснется, так и привалит...

— Ну, как хотите,— сказал хозяин, разобиженный.— Как вам угодно, я всем сердцем... Если в случае понадобится сахар или монпасеи, приходите в лавку... Опахал картошки? — обернулся он ко мне.— Дрова бы сложил в кучу; бегаешь по всем местам как полоумный!.. — Вытулив хребет и как-то по-особому, не по-шавровски, расставляя ноги в светлых сапогах, Созонт Максимович побрел к себе...

Вася перецеловался со всеми, сколько у избы было народу, всем пожимал крепко руки и приговаривал:

— Ну, здравствуйте!.. Живы-здоровы? Вот и слава богу, вот и хорошо!

Подходя ко мне, спросил у «Книжки»:

— А это чей же такой тощенький? Я его что-то не знаю...

— А это, Василий Егорович, работник Максимыча,— закричало несколько голосов.— Это Ванюшка осташковский, грамотей хороший, читарь, но только, конечно, против вас в подметки не годится!..

Вечером подвыпивший Егор плясал на старости годов «камаринского мужика» и называл себя удаленьким молодчиком, старуху — душой девицей и лез к ней жировать, а у нас Шавров, смертельно пьяный, таскал по полу окровавленную Гавриловну за волосы, а из покрасневших глаз его потоком лились слезы.

— Тварь последняя ликует, а я ни к чему живу!.. У-у-у, сволочи паршивые, без ножа порежу всех!..

И там и тут — у Пазухиных и у нас — под окнами стояли ротозеи...

VIII

Утром по деревне прошел слух, что Васька-дворянин обулся в лапти, надел синюю посконную рубаху, такие же портки и, стоя по колена в луже, помогает отцу чистить хлев. Первыми на такое чудо, как и всегда, сбежались ребятишки, черномазыми чертями облепившие забор, потом у соседок оказалась недохватка по хозяйству, и все побежали к Пазухиным.

— Что, Василий Егорович, не хотите нашей крестьянской работушки забыть? — участливо спрашивали они, перемаргиваясь между собою и любопытно заглядывая парню в лицо.— Тянет к земле-матушке? Уж это беспременно так!..

А бабы ныли:

— Ну-кось: руки-то — как сахарные, а он вилами-тройчатками копает!.. Егор, ты постыдился бы маленько, а?.. Ведь этак ты его испортить можешь. Ты над этим думал, пес?

Сконфуженный старик ворчал:

— Господи, помилуй, разве я его неволю; он сам охотится... Я говорил уж: бросьте, мол, Василий Егорыч, а он — свое... Какой же я ему теперь указчик, у его мозги пошире...

Вскоре из двора во двор стали ползать сплетни и ехидные усмешки: Васька-то, де, одну зиму подворянился, а к лету не годился — вытурили, но только он куражится и никому о том не сказывает. Другие же не верили, что парень выгнан из училища, но тем не менее ругали его еще пуще, говоря, что раз дошел до господской линии, лезть в черную крестьянскую работу — срам и чванство, и смотреть на это даже со стороны обидно, а Егор — дурак плешивый, если позволяет сыну куролесить.

— Читал бы под окошком книги или на гармонии зажаривал, а то — наво-оз!.. Мы знаем эту моду, нас, брат, не обманешь, даром что не учены!.. Гляньте, мол, робята: грамота мне словно — тьфу, а окромя того — работать понимаю, одно слово — золотых дел мастер!

— Га, пугать задумал, мы и так пужливы!.. Сел за книжки, значит, и сиди, как черт, а то — гуляй по холодочку, это — твое дело, это мы можем понимать, а навоз мой пращур чистил!.. Бает: нечего орясничать, работать надо, ну и гнись, козел глумной, потей, смеши деревню!..

Багровый от злости Ноздрин, стоя без шапки, как собака тявкал на всю улицу:

— Ты — муж-жик?.. Ты до причалу доволокся? Топерича ты — господин в серых штанах и при медали? Так покажи мне форс господский, чтоб поглядел я и сказал: как будто наш, простой, а куролесит лучше барина!.. А посконная рубаха? А лохматые портки? Рубаха ребра мне истерла, а тройчатки вымотали силу!..

Вездесущий дух — пастух Игнашка Смерд — вздохнул, качая головою, вытер мутные глаза и прошептал:

— Ох, брось, родимый Вася, бро-ось: пропахнешь нехорошим духом, не возьмут тебя больше господа к себе в училищу, оставь, ягнёночек, пускай отец копается, а ты блюди себя... Оставь, зачем ты этак, глупый!.. Брось их к бесу, вилки-то; бросай куда попало!..

Когда об этом происшествии узнал Созонт Максимович, то весь перекосился. Ночью его Любка захватила в крупорушке с Павлой; он был встрепанный и красноглазый, говорил осипшим голосом, пил квас со льдом, через все лицо имел багровую царапину и с постели на полу не поднимался.

— Ну-ко, слышишь, пан Твардовский, сбегай за Егоршей! — крикнул он мне через двери, грузно приподнимаясь на локте.— Сей секунд чтоб! — и припал сухими ярко-красными с налетом шелухи губами к медной объемистой кружке, доверху наполненной молодым, пенистым квасом.

Егор пришел без шапки, босиком, прямо оторванный от работы. Ноги его выше щиколок были вымазаны коричневым навозом, между пальцами торчала прелая солома, а на лбу еще не высохли крупные капли пота.

Одернув вздувшуюся на боках пузырями рубаху, он перекрестился на иконы, поздоровался с Китовной, вопросительно уставившись в лицо ей.

— В горницу пройди, Егорушка, он там,— не поднимая головы, промолвила старуха. История прошлой ночи пришибла ее, и бабушка с утра ни с кем не разговаривала, сидя на залавке и вытирая рукавами слёзинки.

Весело ухмыльнувшись, Егор отворил стеклянные двери в горницу и, увидя на полу, на пестром самодельном ковре Созонта Максимовича Шаврова, подмигнул:

— Али голова болит? Вставай, вставай, невесты у ворот заждались; ах ты, соня!.. Вот дрыхнуть-то здоровый, батюшки мои! — замотал он головою.

— Ты мне сколько должен? — скаля зубы, злобно перебил его Созонт Максимович, и лицо его сразу налилось кровью, а губы побелели.

Егор оторопел.

— Да как тебе сказать, чтобы не сбрехнуть,— уже насильно улыбаясь, хотя втайне и думая, что Шавров шутит, пролепетал старик,— ковша три опохмелки, что? Это можно в один минт сварганить, баб-то нету, хе-хе-хе!..— Заглядывая хозяину в глаза, Егор тряс длинной бородой и хлипал.— Мы не хуже твоего вчерась тоже порядочно клюкнули, а нынче с самого утра вот тут шурум-бурум,— Егор дотронулся до лба и до висков.— Квас-то у тебя никак свежий? Глотну маленько, может, отойдет от сердца...

Но Шавров порывисто дернул кружку из-под носа Егора, и квас расплескался по ковру и полу.

— В дворяне записался, чертова паскуда? — схватив себя за грудь, прохрипел Созонт Максимович, трясясь и пуча красные глаза.— Заплати долги сначала, а потом дворянься, а покамест я в деревне дворянин, а ты и твой щенок — холопы мне!.. Перчатки, бляху на картуз, ошейники — в дворяне? Деньги дай!.. Зарежу, твари безживотные!..

Шавров вскочил с постели, покружился, как разъяренный бык, по горнице и, отыскав за большим стенным зеркалом, с краев облепленным конфетными бумажками и водочными ярлыками, связку акациевых бирок, вытащил одну из них и, насмешливо и с ненавистью глядя на перепуганного старика, прошипел:

— Шесть красных и семь гривен, чуешь? Через неделю я у тебя последние портки продам... Пошел, лярва, вон!..

Пришибленный Егор, виновато улыбаясь, потный, с трясущимися от стыда и гнева руками, как-то боком, пряча в сторону слезящиеся глаза, прошел через теплушку, долго шарил руками у притолоки, хотя дверь была настежь отворена, беззвучно, как по мягкой овчине, спустился с крыльца. Почему-то было жалко и смешно смотреть на его круглую загорелую лысину, похожую на новый, хорошо выжженный горшок, еще мало побывавший в печке и не обкоптившийся, на седые спутанные волосы, узенькой полоской идущие по затылку от уха и до уха, в которых торчал старый ржаной колос, на длинную, тонкую, морщинистую, как неудойное коровье вымя, шею и на грязные, в заплатах, пестрядинные штаны,

мешком свисавшую мотню, на синюю рубаху, от лопаток до крестцов пропитанную потом.

Вошла Павла.

— Батюшка, у лавки мужики стоят, Иван Белых да Алексан Головочесов, просят в долг до новины.

Шавров метнулся.

— Пускай подохнут с новиной, ни маковой росинки никому!..

Солдатка удивленно подняла брови.

— Есть, которые на деньги. Там их много.

— Всем только на деньги. Будет, поблаженствовали за мое здоровье... Я им да-ам до новины! — заревел Шавров, крепко ругаясь и стуча кулаком по сундуку.— Они у меня узнают, какая есть дармовщина, сук-кины сыны, бр-родяги, нищета сверленая!..

Павла как-то по-особенному дернула подбородком и бросила резко:

— Нам это не выгодно — на деньги; брать никто не будет!..

— А я снаряжу тебя с поклонами, чтоб брали,— еще резче отозвался хозяин и, вытащив из-под себя ключи, сказал: — Принеси мне льду из погреба...

И когда солдатка возвратилась с полною чашкою хрустящего льда, он, глотая его крупными кусками, говорил: — Гнилье заставлю втридорога брать: я им страшней бога!.. Можешь ты это понимать или нет?

Переменив голос, ласково спросил:

— Ты что пасмурная, грызлась, что ли?

— Там их три,— надула губы Павла,— проходу не дают, срамотно даже слушать... Я им не слуга в лаптях, чтоб этак величаться!.. Я лучше со двора уйду... Без мужа меня всякая глиста в полон может забрать...

Концом кисейного передника молодайка вытерла глаза.

Глядя на нее, я думал:

«Если бы я мог с тобою справиться, если б на то была моя воля, эх, и бил бы я тебя, стерву!»

А солдатка, словно догадавшись, о чем я думаю, зашипела:

— Ты чего, чертенок, голову просовываешь? Я т-тебя, короста!..— и как-то из-под низу, наотмашь хлестнула по щеке.

— Ва-анька! — заорал Шавров.— Бесенок! Отломаю голову, если будешь подслушивать!..

Мимо Китовны, которая в таком же положении и на

том же месте, на залавке, продолжала сидеть, пригорюнившись, я стрелой вылетел в сени, а оттуда под навес, схватил первые попавшиеся грабли и начал сгребать в кучу мусор, раздумывая: «Вот бы его теперь снохачом-то обозвать, черта рыжего, а эту — шваброй...»

IX

Был на исходе летний вечер. Червонным золотом подернулась парча далеких облаков; легкой сероватой дымкой окуталось небо. Заблестели коньки крыш, пожаром зажглись окна, поперек дороги легли длинные строгие тени. Мягкая, лиловая, полупрозрачная на заходящем солнце пыль, поднятая телегами и пришедшим с поля стадом, неподвижным туманом заволокла улицу. Серебряные нити последних лучей, стрелами протянувшиеся от еле видных щелей на дощатом заборе, боролись с надвигающимися сумерками, печально бледнея и тая.

В избушку, где я обувался, стремительно вскочил, весь в поту и пыли, возбужденный Петя, крича не своим голосом:

— Сейчас Васю видел!.. Ваня, сейчас видел Васю за околицей!..

Из горницы, через двор, неслись визги и дикие пьяные песни Шаврова, второй день кутившего с дьячком и работниками; под навесом, склонив голову на грудь, сидела Любка; Гавриловна с Варварой доили коров, а бабушка ушла от стыда к соседям.

Я подвил оборку, отряхнулся и, доставая с голобца одежду, сказал товарищу, поглядывая в окно:

— Ты разве не слышал, что там делается? Лезь-ка на амбар, пока не поздно: я в ночное собираюсь...

— Да ведь и он тоже в ночное! — захлебнулся от восторга мальчик.— Лапти обул, синяя рубаха с ластовицами, кругом его ребятишки, а он сидит на гнедке Егорием Победоносцем и этак руками — то туда, то сюда, а те слушают, вытянув шеи, и молчат...

Петя поднимал и опускал худые, в цыпках, руки, поворачивался во все стороны, и глаз его блестел, как свечка, а лицо от торопливости подергивалось.

— Иди спать! — прикрикнул я.— Пахома ждешь?

Раньше такие слова и такое событие, как пьянство в доме, к которому он с детства не привык и всегда до

слез боялся, особенно если пьянство было с дракою, оглушили бы товарища, но теперь он словно ошалел.

— Поравнялся со мной, кричит: «Здравствуй, пастушок!» А я — в рожь, а стадо — кто куда, а они хохочут... «Ах ты, говорит, разбойник, разве можно хлеба́ мять?..» А я вот как испугался, прямо — смертушка...

Петя трещал как сорока, склонив набок голову, и порыжевший хохолок его на грязном темени вертелся и подпрыгивал.

— Ты ужинал?.. Скорей собирайся... Что, Мухторчик не лягается? Мне бы снять шапчонку, да и гаркнуть: здравствуйте, Василий Егорович, с приездом вас! А я, ну-ко — в рожь; вот демон кривоглазый!..

— Ты в ночное, что ли, собираешься? На что тебе Мухторчик? — прервал я болтовню его.

Товарищ, отыскивая под дерюгой оброти, закрутил в знак согласия головой, но я сказал:

— На амбар лезь, пока цел, а в ночное тебе ехать незачем!..

— Поучи кобеля на месяц лаять! — вдруг выпалил Петруша и ни с того ни с сего начал крыть меня бранью.

— Ты какой указчик мне — отец аль брат? — топорщась, как ободранный цыпленок, налетал он.— К черту амбар, лезь сам, лошади хозяйские!..

— Петя, милый, что с тобою? — прошептал я, не веря собственным ушам.— За что ты меня этак?

Мальчик как будто опомнился. Вытерев ладонью мокрый лоб, пытливо посмотрел на меня, и вдруг брови его, будто от изумления, высоко приподнялись, подбородок запрыгал, и щеки опустились вниз, и из серых глаз товарища горохом посыпались слезы.

— Н-не могу я... Силы нету...— простонал он и, прикрывшись рукавом разорванной рубахи, упал на помост.— Измучился весь... С часу на час ждешь беды... Аж голова болит от нехорошей жизни, а тут еще ты привязываешься!.. Мне поглядеть на Васю хочется, а ты: на амбар лезь!.. Я скоро совсем уйду от вас!..

Дорогою приятель повеселел. Неумело сидя на Мухторчике и придерживаясь руками за гриву, Петя тараторил:

— Вот этой стежкою пальнули, видишь? Вася впереди, а робятишки сзади... Приедем в Заполоски, первым делом наберу сухих котяшьев, вторым — разведу огонь, потом подсяду и скажу: «Что, Васильюшка, учиться мне не пособите?» — «Отчего, скажет, нельзя, сейчас аль

после?» — И почнет опять этак руками — то туда, то сюда, а я буду слушать...

На сине-пепельном придвинувшемся небе против нас золотилась первая вечерняя звезда. По обеим сторонам узкой дороги, поросшей меж колей пыреем и белоголовником, неподвижною стеною стояла выколосившаяся зелено-бурая, в сумерках почерневшая рожь, с круглыми, похожими на блюда, вымочинами, кое-где обметанными куколем, краснушкою и васильками; там и сям широко разметались рубежи-полынники и одинокие ракитки; на косогоре, в темном ковре проса, испещренного межами, будто две сестры, обнялись стройные осины. Серые копыта лошадей, трава и хлеб — росисты; от росы отволгли гривы. Кругом изумительная тишина, от которой слышен звон в ушах. Изредка лишь где-то далеко вавакнет самка-перепел, дернет коростель, прохрустит былинка на зубах нагнувшейся лошади, сухо звякнет подкова о подкову, тяжело, словно после неотвязной думы, вздохнет поле и замолкнет, и пугливо притаится вечер, и тревожней замерцают звезды. Земля дышит ровно, бесконечно глубоко, как натрудившаяся в родах женщина, и мягкие сумерки — ее слабая, еще мученическая улыбка, которая под утро расцветет в ликующую песню, в трели, в радужные краски, в лучисто-искрящийся, крепкий и здоровый смех.

Товарищ затянул было песню, но, посмотрев на тихие, молитвенно спокойные поля и на темную полосу безоблачного неба, мягкою завесою подернувшую даль, замолк, прижавшись к теплой холке мерина, и до самого табуна, версты две-три, мы ехали, не проронив ни слова, и лишь когда метнулся яркий огонек костра в овраге и темные снующие фигуры детей вокруг него, Петя неудержимо весело, всем своим существом, засмеялся.

— Господи, как хорошо-то!..

Он соскочил с Мухторчика и, как заяц, начал бегать по росистой траве.

Проголодавшиеся лошади, пользуясь остановкой, набросились на рожь. Саврасый жеребеночек-сосун, любимец Федора, гремя бубенчиком, смешно расставил тонкие, неокрепшие ноги, оттопырил белый хвостик, тыкаясь губами в полное материнское вымя: как ребенок, он звучно глотал молоко и причмокивал, а воронуха-мать, обернувшись, любовно обнюхивала его спину с темным желобочком.

Облокотившись на руку, Васютка Пазухин полулежал у костра. Остроглазый мальчуган в отцовской шапке доставал голою рукой из золы печеные картошки; другой, беленький, похожий на Петрушу, тащил мешок с хлебом и бутылку молока. Два длинноволосых карапуза, лет по семи, растянувшись на животе, смотрели, не мигая, в лицо Васе. В нескольких шагах от костра, сжавшись в тесный круг, человек одиннадцать играли «в лису».

— Жарят, черти! — засмеялся Петя, спрыгивая с мерина.— Бог помочь вам!

Сидевшие у огня пузыри кувырком подкатились к нам.

— Пошто поздно? — спросили они в один голос и, не дождавшись ответа, побежали обратно.

— Шавровские пастухи на четырех... Красавчика с Буланкою оставили дома,— доложили они товарищам и опять улеглись на животы, подперев ладонями пухлые подбородки.

— Сейчас спросишь или потом? — тихонько обратился я к Петруше, выбирая поудобней место для спанья, но присмиревший на людях товарищ, прячась за меня, глядел во все глаза на Васю, не отвечая ни слова.

— Посытней бы жить нам, вот что плохо,— очевидно, продолжая прерванную нашим приездом беседу, заговорил он. Голубовато-золотистое пламя костра чуть-чуть освещало его лицо и большие потемневшие глаза его.— Школ больше, книг, людей ученых... А то что же это,— дети мрут, скотина дохнет, кругом пьянство, урожаи скоком, голод; поневоле озвереешь... А ученье...— Вася взял себя обеими руками за голову и как-то восторженно, светло и любовно прошептал: — Как это хорошо — учиться!..

Лощиною, из-за кустов, ночь незаметно подкралась к табуну, окутала всех мягким покрывалом, стерла линии, темным колпаком накрыла тлеющий костер; испуганные язычки жидкого пламени тревожно замерцали, торопливо прячась под узорный пепел.

Приподнявшись так, чтобы нас всех видеть, Вася долго говорил нам о России, о той стране, в которой мы живем, о ее могучей необъятности, о том, что на полдень и на полночь, по всем четырем сторонам, живет столько мужиков, таких же, как и мы, что ходи десять, двадцать, сто лет, всех не пересмотришь, полей не измеряешь, людей не перечтешь, и что за русскими людьми есть разные

другие люди — немцы, а всего их без числа, без края... Потом говорил о том, что земля наша — малая песчинка в мире и что звезды, которые нам кажутся блестящим бисером на небе, сродницы ее, подруги.

Я не могу и десятой части передать того, что говорил Васютка в этот необыкновенный и на всю жизнь памятный вечер. Помню только, сначала я не поверил ему, как и большинство улыбающихся товарищей, но потом я прижался к дремавшему карапузу, голова моя закружилась; я забыл, где нахожусь и кого слушаю и кто я в жизни, и каким-то чародейством были для меня слова его. Шальным я убежал в овраг, к ручью, бросился на росистую траву и, не знаю, с горя ли, иль с радости, заплакал так, что во мне перевернулось все нутро, и я потерял сознание...

X

Настоящая глава — одно из грустнейших воспоминаний моего отрочества, и события, в ней описываемые, а также и последующие, много способствовали тому, что я, может быть, преждевременно вылупился из отроческой скорлупы.

Петруша, Вася Пазухин и большинство ребят уехали из ночного еще до солнца. На день в поле остались только дети да те из подростков, у которых не было дома неотложного дела.

Раннее утро на лугу — бесконечно красивое время: тогда роса горит и переливается ярчайшими самоцветами, воздух чист и прян, как мед, а хлеба́ — в розовом, колеблющемся, необъятном покрывале.

Бодрые, обласканные солнышком, мы веселою гурьбою выкупались в бочаге, напекли картошек и, усевшись в круг, завтракали.

— Намнемся досыта — и в чехарду,— лукаво щурясь, говорит Алеша Маслов, востроглазый, продувной мальчишка, подталкивая в бок мешковатого Селезня, которому вчера досталось больше всех в «лису».— Ты как, Семен?

— Дыть я, чего ж, я не сробею... Только чтобы озорства не было,— медленно, будто вытягивая слова из желудка, сопит тот.— По-божьи согласен, по-чертову согласья нету...

Слова его внутри бухнут и прилипают к языку; он их отдирает, тужится, мотает головой и, не осилив, су-

ет в рот нечищеную картошку, пачкая подбородок и губы золой.

— Поглядыва-ай!.. Поглядыва-ай!..

Надев на палку картуз, из-за холма, в котором будто бы в старое время хоронили утопленников, нам машет караульщик Пронька, указывая вдаль, на синеющий бугор.

— Объездчик едет!.. Привьет во-спу!..

По пыльной дороге, пока еле видный, мчался верхом человек в красной рубахе.

Алеша приложил руку к козырьку и, посмотрев, сказал:

— Никак в самом деле он... Лошадей надо пересчитать... Ну да, свернул на нашу стежку!..

Неизвестный человек, объездчик, по предположению Алеши и Проньки, несся во всю прыть, оставляя за собою клубы пыли. Изредка он взмахивал руками, и тогда рубаха его надувалась пузырем.

Мы встали на ноги.

Вот ближе, ближе... Лошадь — гнедой масти, во лбу звездочка.

— Пахом ваш! — закричал Алеша.— На Красавчике!

— Да, Пахом.

Круто осаживая около нас вспенившегося жеребца, работник гаркнул:

— Марш домой!..

Он бледен, пьян, без шапки, босиком.

Ни слова не говоря я торопливо схватил оброти.

— И ты! — Пахом ткнул кнутовищем Селезню.— Марш все домой!..

— А что ты нам, хозяин, что ли? — попробовал защищаться Пронька.— «Марш все домой!» Нам приказано до вечера стеречь.

— Молчать, кутенок дохлый! — заревел Пахом и хлестнул его кнутом по голове.— Сказал и — слушайся!.. Марш без разговоров!..

— Я отцу пожалуюсь,— заплакал Пронька, но тем не менее покорно взял одежду, направляясь к своим лошадям.

Пахом гарцевал и лаялся, как пес; с удил Красавчика сочилась кровь.

Дождавшись, когда все сели на лошадей, он гикнул и помчался тою же дорогой, что приехал, бросив:

— Езжай рысью, кто отстанет — лупка!.. Нынче — пиршество!..

Перепуганные, а некоторые и в слезах, мы молча подъезжали к Мокрым Выселкам, теряясь в догадках. В поле, несмотря на будни, не было ни одного человека. Кое-где на пашне серели распряженные телеги; в бороздах, свалившись набок или задрав обжи вверх, валялись сохи, опрокинутые бороны; у канавы, между Кукушечьим перелеском и Святым Колодцем, лежал веревочный кошель, набитый сеном, пыльный шарф, возилки, синий — из рубахи — мешок с хлебом; в озими телята, а кругом на всем пространстве ни души.

— Неладно что-нибудь, — промолвил Селезень, — к чему бы этак? На дворе покос, а люди празднуют... Пронька, больно тебя устегнул работник-то?

— Нет, погладил! — еще всхлипывая, отозвался тот. — Тебя бы этак!..

— Что ж, я бит: меня с шести лет в работу впятили... Погодьте, никак колокольчик? Ишь ты, даже много! Свадьба, что ли?

Действительно, из-за осинника кто-то азартно звенел колокольцами. С еще большим недоумением мы переглянулись, подстегивая лошадей, а когда въехали на улицу, перед изумленными глазами открылась такая картина.

Пьяный Шавров, одетый в желтую полушелковую рубаху и плисовые шаровары, сидел в тарантасе. Жирно политые лампадным маслом волосы его блестели, расстегнутый ворот рубахи обнажал широкую грудь в рыжей шерсти; померкнувшие оловянные глаза бессмысленно таращились. Рядом с ним, по правую руку, вертелся дьячок-приятель, где-то с ног до головы выделавшийся в навозе; по левую — работник, Вася Батюшка, чинный и благообразный, в вышитой темно-красной, бордовой рубахе и полосатой, с хозяйского плеча, жилетке, а на козлах, в сарафане, в розовом платке, успевший уже перерядиться, Пахом. В тарантас, пестро украшенный лентами, было запряжено штук двенадцать пьяных баб. У каждой наискось, через плечо под мышку, лямка. Бабы — молодые, лучшие из Мокрых Выселок. Впереди их, парами, под предводительством того замухрышки, который нам играл с Петрушею на дудках, стояли музыканты, держа наготове балалайки, косы, бубны, старые ведра и заслонки из печей; за ними девки, переряженные парнями, а парни, переряженные девками, лица парней были вымазаны сажей, а на головах высокие соломенные колпаки. Сзади тарантаса, меж полу-

кольца нарядных мужиков и баб, на привязанной к оси корове, сидел счастливо улыбающийся Влас, закутанный в голубое байковое одеяло.

И над всем этим, как кошмар, стоял неистовый хохот, матерщина, свист и песни. А по задворкам, где на картофельных полосах ходила беспризорная скотина, прятались между пучков соломы перепуганные дети и старухи. С голубого неба радостно светило ласковое солнышко, плыли шапочками облака, на крышах мирно ворковали голуби и щебетали ласточки.

Сзади меня, забыв о недавнем огорчении, взвизгивая и закрывая ладонями лица, хохотали Пронька и Алеша. Недалеко от них, став на четвереньки, Клим Ноздрин, одетый в вывороченную шубу, лаял на жеребенка-сосунка, а жена его, хватая Клима за ноги, кричала:

— Встань, дворной, а то штаны порвешь,— они три гривны за аршин!.. Не лай, а то ударю чем-нибудь!..

Жеребенок пятился от Клима и предостерегающе стучал точеной ножкой.

А Шавров, склонив на грудь голову, сидел в тарантасе неподвижно, временами лишь устало поднимая руку и прикладывая ее, словно силясь что-то вспомнить, к бледному потному лбу. Это что-то, очевидно, было очень важное, нужное, спешное, потому что лицо его мучительно кривилось, глаза еще глубже уходили под щетинистые брови, широкая спина сутулилась, а плечи низко, безнадежно опускались...

И не в состоянии вспомнить, он, как спросонок, поднимал тупые, бессмысленные глаза на баб, и тогда руки его плетью падали в колени.

— Что ты рот распялил, матери твоей калач с изюмом? — раздался пьяный окрик.— Покатай меня по улице!

Я вздрогнул. В белой до пят женской рубахе, в холщовом саване на голове, махая отмороженными култышками, ко мне нетвердою походкой шел пастух Игнашка Смерд.

— Покатай, пожалуйста, я тебе дам на подсолнухи!..

Стиснув зубы, я изо всей силы ударил его толстым кнутовищем по лицу и, рванув поводья, с глазами, полными слез, ускакал к себе.

Весь двор был застлан веретьями, на которых еще валялись неубранные четвертные бутыли из-под вина, стрелки зеленого лука, серые пятна рассыпанной соли, обглоданные селедочные головы — остаток пиршества.

По ним бегали собаки, вырывая друг у друга кости, важно разгуливал индюк и космоногая наседка с цыплятами, а на крыльце, склонив на руки голову, плакала Гавриловна, жена Шаврова.

Бросив лошадям травы, я побежал в избушку, чтобы разузнать у Пети, что́ это такое, но, вспомнив, что товарищ в поле, растерянно остановился у порога.

Вдруг с улицы, очевидно по данному сигналу, раздался оглушительный треск и звон заслонок, а за ними сотни пьяных глоток застонали и завыли что-то.

Я вышел за ворота.

Вытянувшись пестрым холстом, с тарантасом посредине, толпа неслась, как сумасшедшая, вдоль улицы. Недавней задумчивости Шаврова будто не было: привстав, держась рукою за дьячка, он гикал, матерщинничал, подбрасывал картуз; ему подобострастно подражали; Пахом хлестал вожжами по вспотевшим бабам; Вася Батюшка скромно хихикал, а впереди, сплетаясь в круг, отступая и сходясь, танцевали ряженые, дребезжали косы, ведра, прозвонки и колокольчики...

Приседая на карачки, тощий замухрышка с наслаждением бил ладонью в бубен, тоненько, надсадливо крича:

Устюшкина мать
Собиралась умирать:
Ползает, икает,
Ногами брыкает...

Рядом с ним беременная баба, высоко закинув голову и обнажая синие цинготные десны, ревела во всю мочь, прикладывая руку к щеке:

Я б-ба рада... тебе воспитала,
Только в грудях нету... моих молока...

Оглядываясь по сторонам, она дергала подбородком, и большой рот ее, как пушечное жерло, выбрасывал осколки слов:

Пон-несу... эт-ту малю-утку
Ко сест-ри-це своей ко родной...

Взметая мусор, орава вихрем пронеслась по улице на другой конец деревни, оставляя за собою груды пьяных, ползавших в пыли на четвереньках.

На обратном пути, против наглухо закрытого дома Пазухиных, Шавров велел остановиться.

— Почему Егорши нет? — спросил он, глядя на толпу.— Приказ мой был ай нет?

Музыка ударила «Камаринского».

— Помолчите! — ощетинился хозяин.— Где Егорша с дворянином?

— Не знаем,— сказал за всех Игнашка Смерд,— спрятался, должно быть...

— Стучи в двери!

Шавров потен, зол, глаза полуприкрыты.

Клим Ноздрин стал колотить щеколдой.

— Не слышишь, старый дьявол, тебя требоват Созонт Максимыч!.. Отворяй живее!..

Дом словно вымер. Ноздрин ударил в дверь ногою. К нему подскочили на подмогу, и шаткие стены задрожали, как живые.

— Молчит, рвань, приспичило! — ухмыльнулся Влас.— Ужо-ко слезу я.

Скромный Вася Батюшка, достав из кармана вчетверо сложенный кубовый платочек, аккуратно вытерся и поглядел на Шаврова.

— Пойтить, что ли, мне? — вздохнул он и, соскочив с тарантаса, обошел вокруг избенки.

— Все закрыто, со двора и с улицы,— развел он руками.— Что за народ, мать их курицу!..

Он неторопливо выдернул из стоявшей поблизости мяльницы дубовое било, попробовал в руке его и, подойдя к окну, с размаху ударил в раму. Стекла взвизгнули, рассыпавшись слезами, внутри кто-то ахнул, толпа заржала и засвистела.

Так же спокойно, степенно, улыбаясь, работник подошел ко второму окну, подняв било, приловчаясь, но дверь из сеней раскрылась настежь, и на пороге появился бледный, трясущийся Егор, с водоносом в руках.

— Разбойники! Побойтесь бога!.. Братцы! Где же ваша совесть? Уб-бью, сволочи!..

Егор рванулся за порог, подняв над головою водонос, толпа шарахнулась и отступила.

— Тю-лю! Эй-эй! Га-га!..

— Бери его, лохматого!..

— Цель в морду билом! Швыряй билом!..

Опять откуда-то вынырнула жена Клима Ноздрина, схватила мужа за рубаху, награждая подзатыльниками.

— У тебя сколько кутят-то, мразь ты этакая, а? Четыре? — вращая желтыми белками, выла она.— Оглушит тебя водоносом сдуру, а я с ими тогда майся! Брось! Уйди, а то ударю чем-нибудь!..— И, повернувшись к

Егору, сжала кулаки: — Ты что же это, анафема, разбойничаешь, а? Захотел в острог? Ударь только, ударь! Я т-те-бе все бельма выдеру, кудлатому мошеннику!..

Тяжело дыша, растрепанный Егор, как зверь среди борзых, метался у дверей, отбиваясь от градом сыпавшихся на него палок и кирпичей, но вскочивший с козел Пахом бросился к старику под ноги и повалил его на спину. Выпуская из рук водонос, Егор заплакал, а соседи, с которыми еще только вчера он беседовал, шутил, рассказывал про сына, схватив его за ноги и за руки, с песнями и хохотом поволокли по улице...

Другая же часть мужиков, под предводительством Пахома и Власа, ворвавшись в сени, отшвырнула бросившуюся к ним навстречу старуху Анну, хватая Васютку.

Еще как только Егор отворил уличные двери, выбегая на улицу с водоносом, Вася взял из-под лавки топор, становясь за спиною отца, но когда Егора повалили и поволокли по улице, в сени вскочили Пахом и Влас, — руки его не поднялись на убийство: не то страхом, не то жалостью забилось его сердце, топор сам собою выпал.

Две руки схватили его за плечи, другие две рванули назад, он впился пальцами в скамейку и замер, бледный, будто не живой.

— Тащи купать! — скомандовал Шавров.

И когда Васю, вместе со скамейкою, волокли по выгону к реке, от сарая, хватаясь за живот, хохотал до слез урядник, только что приехавший к Шаврову.

— Дьяволы!.. Что вы делаете, дьяволы?.. Ох, и умру сейчас! Максимыч, шутоломный! Что ты выдумал?..

Он повалился в бричку и задергался, а белая фуражка его со звездою откатилась в подворотню.

Раскачав, Васю бросили в реку. Он выпустил скамейку и, барахтаясь, подплыл к мосткам. Его вытащили за рубаху.

— Бросай еще! — сказал Шавров.

Его снова бросили и снова — до шести-семи раз, до тех пор, пока он не посинел и не стал падать от слабости. За все время Вася ни разу не крикнул, не сказал ни слова, крепко-крепко сцепив зубы; одни глаза огнем горели, но и те к концу стали тухнуть, лицо млеть, а губы вянуть и дрожать...

Когда, брошенный в последний раз, он не мог уже выплыть, Пахому пришлось доставать его.

— Будет, что ли? — вопросительно посмотрел Пахом на хозяина, держа Васю на руках.

— Будет,— ответил за Шаврова Влас.

Его положили на траву.

— Очухайся маленько... Это, брат, тебе не серые портки на улицу!..

Вспотевшие, достаточно усталые мужики неторопливо поплелись в деревню, к нашему крыльцу.

А там толпились дети, все еще хохочущий урядник, Павла и обходчик Севастьянов.

— Погляди-ка на подпаска! — крикнул мне Алеша Маслов, когда я, шатаясь, шел к себе в избушку.

Скуля, в грязи и рвоте, у фундамента барахтался Петруша. Скотины он не пас сегодня: на «пиршестве» его споили, и он где-то спал.

— Эй ты, Жилиный! — увидел он меня.— Подыми меня, а то я нынче пьян,— и скверно выругался, высунув язык и передразнивая меня.

— Севастьянов, дай ему за меня в рыло! Дай!..— сквозь икоту пролепетал он.

Урядник присел на карачки, раскрыв рот; Павла скромно опустила длинные ресницы; ребятишки, как галки, закружились от восторга и захлопали в ладоши.

Схватившись за голову, я закричал:

— Ты знаешь, что сделали с Васей?! — и помчался куда-то вдоль деревни, а товарищ, приподнявшись на колени, под неистовый хохот и визг опять стал ругать меня последними словами и грозить кулаком...

XI

Тогда я думал, что за всю мою жизнь я не прощу Шаврову издевательства над Васей, не прощу его работникам и всем Мокрым Выселкам — жалким и бессовестным людям, раболепно унижающимся перед разжиревшей мразью.

Я знал, что вся деревня по уши должна хозяину; знал, что всякого, осмелившегося идти наперекор ему, Шавров способен пустить пó миру; знал, что грозная для бедняков полиция — правая рука его; знал и то, что слова его: «Я им страшнее бога» — не бахвальство! И тем не менее жгучая ненависть терзала мое сердце, и на

глазах навертывались слезы при одном воспоминании о только что пережитом позоре.

В первый раз сознательно я понял, какая громадная сила — богатство, как из-за денег, из-за страха быть разоренными мирные, неглупые и безусловно не злые люди становятся собаками, которых толстая мошна науськивает на других хороших, добрых людей, семейство Пазухиных, в частности на Васю, которого в душе они любили и гордились им,— науськивает только потому, что неумышленно было задето самолюбие. Я ни на минуту не сомневался в том, что, если бы Шаврову пришла в голову шальная мысль приказать мужикам выпороть среди улицы собственных жен или стариков отцов, многие из них спьяна, из угодства, подчинились бы ему и — высекли... Хозяин вырос в моих глазах в громадную, всемогущую, злую силу денег, перед которою все преклоняются, с готовностью исполняя капризы и самодурства ее.

В этот вечер мне стала понятною прославленность Шаврова, его ум, сноровка, необыкновенные качества характера, о чем так много и так громко говорили по волости его прихвостни и подлокотники. И мне думалось: умри Шавров, завтра же прославят умным, добросовестным, рубахой-мужиком слюнтяя Власа.

И первое сознание такой несправедливости было мучительно, как тяжкая болезнь: вместе с ним въедалась в мои кости злоба к непорядку, отвращение к двоедушным людям, и я чуть не рвал на себе волосы, съедаемый стыдом, бессильем и обидой...

Давно уже спустился вечер, вызвездилось небо, на деревне примолк шум и песни, а я еще сидел за околицей в хлебах, погруженный в поток новых горьких мыслей. Бесконечно было жалко Васю. Представлялось, как теперь терзается он злобой и желанием отомстить своим обидчикам и как сознание бессилья надрывает его сердце.

— Может быть, вдвоем придумаем? Спалить их разве, сволочей? За одну беду — семь бед на их проклятые головы!..

Эта мысль окрылила меня.

— Пускай потом острог, Сибирь, пускай рвут тело на куски, зато злодейство втуне не останется.

И, когда решение созрело, я поспешно пошел к Пазухиным.

Ночь была тихая, душная, безросная. Серые избы по-

чернели и разбухли. В грудах щебня курлыкали жабы, дрались кошки, под поветями пищали и возились воробьи.

Обычно Вася спал в сенях, на двух прилаженных к стенке скамейках, и я направился туда. Осторожно стукнул. Двери сами собой отворились.

— Вася!

На соломе кто-то завозился.

— Что ж ты, где лежишь? На постель бы шел... Это — я...

Я наклонился — и сейчас же отскочил: в лицо меня лизнула Дамка, их собака, а постель была пуста. Я обшарил сени и чулан, постоял на крыльце и хотел было уже идти домой, как услышал странный шорох и хрип со двора.

Закутанный в тулуп, под навесом, на кострике лежал Вася, а в ногах, обняв его колени и прижавшись головою к ним,— Шавров, шепча:

— Детка моя... Вася!.. Детка моя... Детонька умильная!.. Детонька умильная!..

Высвободив из-под тулупа тонкую, худую руку, Вася молча гладил его волосы, а Шавров ползал, бился и хрипел, обливаясь слезами.

Хватаясь за забор, чтоб не упасть, я опустился рядом с ними.

...В третий раз захлопал крыльями и закричал петух над нами. Из соседнего двора ему отозвался один, потом другой, третий, и через минуту весь околоток огласился разноголосым пением.

— Ступай, Ваня, отдохни: скоро рассвет,— дотронулся Васютка до моей руки.— Ты, кажется, в обиде на меня?

Он плотнее закутался в тулуп и лег навзничь.

— Не сердись: он больной, несчастный... Таких жаль до слез... Большая сила, ум, в хороших руках из него вышел бы полезный человек, а он гибнет, как муха, как дерево, иссеченное в молодости топором...

Вася закашлялся.

— Нам не мстить им надо,— проговорил он, оправившись,— а помочь, всю душу положить на то, чтобы они свет увидели; а мстить слепым, несчастным людям глупо, подло...

Он устало закрыл лицо руками.

— Ступай, голубчик, ляг... Знобит меня...

Заря уже горела ярким полымем. Половина неба окуталась в бледно-розовые ткани, а другая — в темно-синие, и на ней еще мерцали трепетные звезды.

Над рекой и по выгону стлался легкий, светло-серый поползень-туман, предвестник сухменя.

В воротах, открыв рот, раскинув руки и подогнув одну ногу под себя, храпел Влас, а на одеяле, с которым он не расставался, Рябко́ с Волчком.

Чтобы не будить домашних, я через окно влез в теплушку, оттуда, мимо спящих баб, прошел в сени и, сняв с крючка войлок, лег на полу и только тогда почувствовал, как я разбит. Помню, уж слиплись глаза и в голове стало мутиться, а тело пронизала сладкая истома, еще один миг, и я уснул бы, но вдруг рядом, в чулане, где спала Варвара, кто-то зашаркал ногами и запыхтел.

«Должно быть, Влас пришел,— подумал я.— Ломает тебя, черта страшного!..» — и, чтобы не слышать шороха, укрылся с головой свитой.

Но возня не унималась. Сначала раздался испуганный шепот, потом визг, от одно́й стены к другой кто-то быстро пробежал босыми ногами, споткнулся, всхлипнул, кто-то торопливо раскрывал окно, к нему подбежали, началась борьба... Я уже сидел, трясясь... Кто-то зажимал кому-то рот, скрипел кроватью, на пол шлепались подушки, кто-то хрипло, громко дышал, а кто-то другой отчаянно отбивался, силясь закричать, но ему мешали, и этот другой лишь тоненько, по-заячьи пищал и бился... Потом на пол сразу что-то грузно ухнуло, так что застонали половицы, и в уши мои, как горячей смолой, плеснуло:

— Батюшка, не надо!.. Золотой, не трогай!.. Миленький, грешно!.. Ой, пожалей! Ой, родненький! Ой, ба-ат...

Баба завизжала, словно под ножом.

— Убили! Кар-раул! Зарезали! — что есть силы закричал я, выбегая на крыльцо.— Православные, скорее! Православные!..

Двери из чулана с треском распахнулись, и Варвара, полуобнаженная, в рубахе — ленточками, с перекошенным от ужаса лицом, рыдая, пробежала мимо.

Я завопил еще отчаянней:

— Смертоубийство, правосла-авные!

Схватив за ворот рубахи, Шавров ударил меня сзади

в голову, зажимая рот, но из теплушки уже выскочили Павла, Любка, Федор Тырин и Гавриловна.

— К Варваре приставал... Хотел ее зарезать!..— лепетал я.— Всю рубаху на ней изорвал, меня ударил в голову...

— Срам-ник! — вся как-то сжавшись, бледная, прошептала Любка и, подойдя к отцу, плюнула ему в лицо.

После этого все разом завыли и закрутились по крыльцу.

Гавриловна вцепилась мужу в бороду, а он наотмашь хлестал ее кулаком по лицу; растерявшийся Федор бестолково метался, хватая то одного, то другого за руки, но, получив несколько увесистых оплеух от Шаврова, озверел и вцепился ему в волосы...

Сбитого с ног хозяина мы молотили поленьями, скамейкой, кирпичами — всем, что попадалось под руки, до тех пор, пока не сбежались соседи и не разлили нас водою.

А в обед Варвару нашли удавившейся...

XII

В разгар страды, в августе, мне пришлось вторично пережить такое же состояние, как и в детстве, когда в нашей волости открылась земская библиотека,— состояние великой радости и необычайного душевного подъема.

Прошло недели три-четыре после отвратительного пьянства Шаврова и смерти Варвары. Работники попрежнему с утра до поздней ночи проводили в поле, Петя пас скотину, а я приучался косить рожь. Ни бесчеловечное глумление над Пазухиными, ни смерть младшей снохи Шаврова, этой доброй, тихой и застенчивой женщины, никого за всю жизнь не обидевшей, ни горе ее матери, ополоумевшей от неожиданной беды, ни моя ненависть к хозяину не могли заглушить в душе моей первой беседы Васи в ночном, его чарующих слов о жизни земли, о небе, о далеких людях и больших городах. Нестерпимо хотелось самому обо всем знать так же много и подробно, как Вася, хотелось видеть города, измерить вдоль и поперек землю, поглядеть на мир. Что бы я ни делал, о чем бы ни заходила речь — с Петрушей ли, с работниками, или с Китовной, которая теперь осела, как ощипанная галка, я мысленно переносил

ся в город. Невиданный, он представлялся мне хрустальным, часто — золотым, сияющим, где по прямым, чистым дорожкам хо́дят старцы с книгами в руках, читая их без перерыва, а вокруг маршируют солдаты, свистят паровозы, гуляют в форменной одежде товарищи Васи, гремит музыка, воюют с неприятелем... И часто Пахома или Федора, еще чаще Петю, я представлял этим благообразным старцем с книгами, который *все знает,* всему может научить, и говорил ему что-то долго, быстро, глотая слова и захлебываясь от торопливости и страха,— говорил о том, как мне много хочется знать о земле и звездах, столько, сколько и он знает, как я буду послушен и терпелив, как старанием превзойду даже Васютку Пазухина... Грубая брань работника, затрещина или хохот товарища приводили меня в себя, я поспешно хватался за работу, а если это было во время обеда, уходил от телеги под копны и там сызнова старался вызвать в своем разгоряченном воображении страшный, непонятный, обольстительный хрустальный город.

Иногда он представлялся мне большою книгой, тою большой Голубиной Книгой, о которой пели странники:

В долину книга — сорок локоть,
Поперек книга — тридцати локоть,
В толщину книга — десяти локоть...

Тогда стирались паровозы, старцы и товарищи Васютки: лежала в чистом поле, на равнине, меж звенящих хлебов, большая книга-город сорока локоть; по ней с трепетом и благоговением ходят люди и черпают и пьют, как сладкий мед, все то́, что в ней написано: о звездах, о земле, о жизни и счастливых людях.

Петруша, несмотря на то, что речь Васютки в ночном произвела на него не меньшее впечатление, был гораздо хладнокровнее меня: он знал доподлинно, что, кончив срок службы, он поедет в городищенскую школу, и если беспокоился, то только лишь о том, где и как ему за это время подучиться, чтобы его принял к себе Николай Захарович. Как и я, он понимал, что больше, как к Васютке, обратиться некуда, но мы оба, несмотря на обещание его, стыдились приставать с докукой, и товарищ втихомолку плакал.

Наконец не хватало терпения, и мы вечером, убравшись со скотиной, тайком от домашних, побежали к Васе. Пазухины ужинали.

— От хозяина зачем-нибудь? — хмуря брови и по-

дозрительно осматривая нас, спросил Егор.— Скажите: дома нет.

— Нет, дяденька, мы к Василию Егорычу,— потупившись, промолвил Петя,— по своей нужде.

— К Василию? Ну, это ваше дело.

Тот проворно выскочил из-за стола.

— Пойдемте на крыльцо, там лучше разговаривать,— сказал он.

— Каши-то поел бы! — закричала мать.— Она нынче с коровьим маслом... Ах ты, господи, ну что с ним станешь делать?

— Ладно, ладно, когда-нибудь в другой раз поем,— смеялся Вася.

От купанья он уже оправился и по-прежнему был весел.

Усадив нас на снопы старновки, он до поздних петухов, когда уже порозовело небо, беседовал с нами.

Анна, мать, то и дело выбегала из чулана, упрашивая сына отдохнуть, так как завтра опять косовица; парень любовно гладил ее, как маленькую, по волосам, говоря:

— Сейчас, мама. Ты пока ступай, приляжь, а я скоро приду... Ступай, ступай, старушка! — и снова толковал нам о том, как лучше, сподручнее устроиться с ученьем, а мать, счастливая от ласки, плотно прижималась к нему, шепча:

— Матерей, детки, не забывайте, родную кровь-то: господь счастья даст за это.

Пьяными поднялись мы с крыльца, крепко держа в руках данные Васюткой книги. Уже скрипели ворота, из труб вился дым, у колодцев и амбаров мелькали серые женские фигуры, и скрип ворот, и лай проснувшихся собак, и шелест босых ног по мягкой пыли звонко раздавались в чистом, предутреннем, еще не стряхнувшем ночной дремоты, сыроватом августовском воздухе.

Мокрые, продрогшие от росы, но счастливые вниманием и ласкою Васи, его разговором, открывшим нам дорогу в жизни, мы бесшумно прошли в избушку, переменили рубахи и, обнявшись, легли на полатях.

С той поры настало удивительное время, которое я и теперь с любовью вспоминаю,— время необычайной напряженности в труде и глубокой веры в будущее, веры, окрылявшей нас и подававшей силы и терпение. Как и прежде, я вставал вместе с работниками задолго

до восхода солнца, отправляясь на работу. Было жнитво. Часов до восьми, не разгибая спины, мы косили рожь. Непокрытую голову палило солнце, тело ели комары и мошки, на лице от пота выступала соль, слепившая глаза, руки покрывались подушками сплошных мозолей, которые под косьем прорывались, и из них сочилась липкая белая жидкость вперемешку с кровью; на раны садилась пыль, разъедавшая их, но я не обращал на это внимания, с нетерпением поджидая завтрака, когда можно было сесть за книгу.

Чтобы я исправнее работал, батраки становили меня между Пахомом — впереди и Власом — сзади. Приноровившийся к косьбе и более сильный, чем я, Пахом гнал без передышки из конца в конец, а мне, косившему впервые, надо было поспевать за ним, так как сзади, по пятам моим, шел Влас.

— Веселей, с... с..., жилы подрежу! — гоготал он, и я выбивался из последних сил, пока однажды надо мной не сжалился Вася Батюшка и не показал, как надо держать косу для того, чтобы она шла плавней и легче.

Но вот из-за бугра показывалась Любка с завтраком. Еще далеко, версты за две с половиною, желтел ее платок.

— Летит, гагара! — восхищенно кричал Влас, блестя голодными глазами.— Папушечки несешь, дери тебя медведь!..

Эти две версты Любка шла чрезвычайно медленно. Всех охватывало раздражение, искрились глаза, еще сильнее ныли надерганные руки. Влас махал ей шапкой, матерщинничая; над ним, сквозь плохо скрываемую злобу, хохотали и задорили избить ее, но работы еще никто не бросал. Проходили ряда по три, девка скрывалась в овраг и, перейдя его, неожиданно показывалась около телеги. Став на колесо, она прикладывала к губам ладони, тоненько крича:

— Мужики-и, идите скорей за-автракать, а то просты-ы-нет!

— Бросай! — махал рукой Пахом.— Ты, что же, курва, кобелей ловила али что? Гляди, где солнышко-то!

В его голосе была не злоба, а скорее добродушие.

Любка неизменно ему отвечала:

— Не пяль глотку, леший, сам знаешь: не ближняя дорога!

Молча все брали по пряди душистой соломы, перегибали и не спеша вытирали косы, потом отцепляли тор-

бочки с брусками, клали их каждый на свой ряд и вперевалку плелись к телеге. Василий расстилал веретье, Влас с чересседельником или дугой гонялся за сестрой, которая визжала и отругивалась, Федор мерил скошенное, а я хватал книжку, забывая об усталости и голоде. Надо мной смеялись и бранили, жаловались Шаврову. Пахом несколько раз пытался порвать мои книги, но я был упрям, добросовестно работал, а на брань и насмешки не обращал внимания.

В этом отношении опять Петруше было лучше, и я ему завидовал: с утра он угонял скотину в поле и там, как барин, что хотел, то и делал, никто его не ругал, никто не приставал с насмешками, никто не вырывал и не бросал куда попало книг.

Самое трудное время было с завтрака до обеда, от жары тогда болела голова, и занятия мои не так были успешны. Тотчас же после еды мужики ложились спать, а я ехал с лошадьми на водопой. Истомившись от зноя и жажды, искусанные оводами и мухами, лошади еще издали, только чутьем услышав воду, неслись вскачь, а когда с откоса от Каменных Баб, как лезвие, блестела речка, они вихрем проносились по крутому взлобью, бултыхаясь в воду и разбрызгивая миллионы бриллиантовых искр. Я едва успевал бросить в сторону книги и вместе с лошадьми погружался в чистую, как слезы, прохладную воду. Лошади фыркали и ржали от удовольствия, а я нырял вокруг них, плескался и кричал сам не зная что. Потом, теплые, отяжелевшие, с алмазными капельками в гривах, они медленно плелись в гору, я же, сев на Мухторчика, у которого была хорошая привычка — идти сзади всех, учил уроки. Когда мерин останавливался — значило, что кто-нибудь отстал. Я подгонял, и так тихонько, шаг за шагом, не отрываясь от книги, добредал до телеги.

Но лучшею порою в занятиях была все-таки ночь. Дождавшись, когда работники уходили из избушки под навес, где меньше было насекомых, мы с Петей зажигали небольшую лампочку, подаренную Китовной, и чуть не до самого рассвета корпели над задачами, писали сочинения, диктант, выспрашивали друг у друга басни и стихотворения.

На первых порах хозяин нас преследовал, боясь, что мы нечаянно можем спалить его избушку, так что нам приходилось завешивать окна, чтоб не видно было света. Но потом, приглядевшись к нашему учению и заин-

тересовавшись им, Шавров предложил нам вечерами сидеть в горнице. Мы отказались, находя это стеснительным и для него и для себя. Тогда он сам стал приходить в избушку, заставляя нас читать про старину. Ему очень нравились рассказы о Петре Великом, он весь кипел от удивления и радости, слушая, как царь простым работником учился строить корабли в чужой земле.

— Вот хозяин! Вот башка! — твердил он.— Вот дому рачитель, батюшка! Еще бы нам такого сокола! — Созонт так разошелся, что однажды дал нам полную бутылку керосина без денег.

— Читайте,— говорил он,— может быть, из вас ни черта из обоих не выйдет, но учитесь, я от бутылки не обеднею.

Так прошли спожинки, август, кончилось жнитво, убрали хлеб с полей, засеяли озимое. Вася Пазухин уехал в город. Поглощенные работой и учением, мы не замечали времени. И вдруг тяжелое, ужасное несчастье огнем спалило наши думы и Петрушу вместе с ними.

XIII

Была молотьба. В час или два ночи нас разбудил хозяин, отправив сзывать народ на помочь. На гумне, с фонарями в руках, уже копались машинист с работниками, прилаживая привод; у хрептуга с поло́вой темным колыхающимся пятном стояли приготовленные лошади. Павла с Любкой разметали ток, Федор Тырин, тоже с фонарем, свежевал на дворе овцу; вокруг него крутился молодой, еще глупый щенок, которого он то и дело тыкал ногой в морду, приговаривая:

— Двадцать раз сказал тебе: не лезь, куда не просят!

Щенок взвизгивал, садился на задние лапы, облизываясь, и опять лез к нему под ноги.

Федор опять бил его ногою в морду:

— Двадцать раз сказал: не лезь, не лезь!..

Влас, как домово́й, шуршал соломой, раскрывая ржаной скирд.

— Стучите всем подряд! — прилаживая к барабану шаткий стан, крикнул нам хозяин.— Вина, мол, будет много. А кто не пойдет или ругаться станет, мне скажите.

Скотину в этот день стерег хромой старик Фаддей с

внуком, человек к труду не ладный, а Петруша гонял лошадей.

— Под ноги гляди, как будешь на кругу стоять, не разевай рот,— говорил ему машинист, подавая большой кнут, сделанный из чересседельника.— Вишь, тут: ролики, веретено, разный причиндал натыкан... Чтоб греха какого не было...

Петя, большой любитель лошадей, нетерпеливо слушал его наставления, твердя:

— Я знаю, знаю... Что ты меня учишь? Я же знаю...

— Знаешь, да не знаешь,— продолжал мужик.— Ты слушай, что тебе толкуют, ишь ты — знахарь! Ну, с богом!

Машинист взялся за ремень, барабан зашелестел оставшимся в нем колосом, захлопал подшипниками, лошади дернули и попятились, скрипя водилами; Петя свистнул и взмахнул кнутом, они понатужились, выгибая горбом спины; с клади, как блины, зашлепали тяжелые снопы, разбрызгивая зерна; барабан завыл и заметался, щелкая голодными зубами; мелко задрожал подснопник; бабы, держа грабли наготове, стали в две шеренги. Вдруг с треском захрустел и вылетел измятыми клоками пересеченной соломы первый сноп. Вверх поднялся столб мякины, бабы, склонив головы, торопливо закрывали платками щеки от колючих зерен, среди мужиков раздавался смех и ропот одобрения.

— Ровней гони! — крикнул машинист Петруше и, надев на волосы узкий ремешок, стал бросать в барабанную пасть сноп за снопом. Треск и гул, и скрип водил, и визги ролика стали сплошными, превращаясь с окриками и шипением в трудовую бодрящую музыку.

За столом, в обед, над Петею еще шутила Зиновея, соседка Пазухиных, прозванная за смуглый цвет лица Голенищем. Когда Созонт обносил всех вином и очередь дошла до товарища, Зиновея крикнула:

— Максимыч, не давай Петьке вина: он пьяный нехорош.

— Как так нехорош? — пряча в бороде улыбку, спросил Шавров.

— Как нехорош-то? — молодайка хитро посмотрела на зардевшегося Петю.— Жировать к девкам лезет, ей-же-ей!.. Сама видала.

— Правда, девки?

— Правда, правда!.. Как напьется, так спокою нет,— подхватили те.

Мужики захохотали.

— Ты что же это, а? Ах ты, бесстыдник! Разве ж можно этак, а? Ну-ка мать, часом, узнает!..

— Вот так Петька, не будь дурен!

— Хорош, хорош, мошенник! Захаровским ребятам надо рассказать, как он наблошнился тут!..

Петя уже протянул было руку за вином, но, когда раздался смех, он еще больше сконфузился, шепча:

— Неправда, я не люблю с ними жировать, я еще маленький.

— То-то вот и дело — маленький, а уж проходу не даешь им! Это, брат, не ладно дело! — кричал со слезами на глазах дядя Евстигнеич, самый смешливый мужик в Мокрых Выселках.— Маленький, а уж проходу не даешь им!..

Доселе молчавший Пахом приставил к губам палец.

— Потихоньку, братцы, говорите, а то кабы становой не услыхал, тогда Петьке бяда!

— Да, в самделе, тише... Девки, тише! — зашушукались кругом.

Товарищ не вытерпел.

— А сам-то,— закричал он на Пахома,— как праздник, так на игрище, молчал бы! На тебя уж жаловались дяденьке!..

Мужики даже закашлялись от смеха.

— Ага, и ты попался, мальчик? И ты с ним за компанию? Во-во!..— дергая Пахома за рубаху, залился Евстигнеич.— Сами себя выдают! Повыдали, канальи!..

Наконец машинист сказал:

— Уж, видно, дай ему, Созонт Максимович, чибарушечку, пускай промочит глотку! Слышь, жирует-то Пахомка, а на него только свалили зря... Ты, Зиновеюшка,— обернулся он к молодухе,— ночью-то, может, не разглядела, который из них был с тобой, Пахом аль этот?..

На минуту у всех захватило дух, и изо ртов торчали только куски хлеба, да глаза повылазили на лоб, а потом все так фыркнули и заревели, что хоть вон беги.

А машинист похлопал Петю по плечу:

— Не робей, Петух, не поддавайся курице!.. Налей, Созонушка, налей ему: он лошадей хорошо погоняет.

Петя благодарно посмотрел на машиниста, выхлопнул стаканчик и, щипнув меня, сказал тихонько:

— Вот как мы их с дядей, вдребезги! Другой раз не полезут, да?

Так же споро, пересыпаемая шутками, возней и песнями, шла работа и после обеда. Гумно уставилось лохматыми ометами свежей соломы, в которой с наслаждением копошились дети; у сарая наметали с крышей наравне зерно. Золотистым мякинным налетом покрылись близлежащие деревья, спины лошадей и выгон. Над кипевшим током столбом стояла светло-розовая пыль.

— Эй, бабы, живее! Эй, девки, проворней! — покрикивал машинист, и, когда смеялся, круглое, почерневшее от пыли лицо его расплывалось еще шире, а ровные зубы блестели, как сахар.— Эй, немного, милые, немно-ого!..

— Эй, немного, косорылые, го-го-го! — передразнивал его с клади Влас.

И вдруг ужаснейший, животный крик прорезал воздух:

— Ма-ама!..

Все сразу выпрямились и замерли. Лошади испуганно шарахнулись и понесли.

А с круга снова:

— Ма-ма-а!..

Мужики, как дикие, метнулись к приводу. Машинист вырвал из моих рук неразвязанный сноп, со всей силой ткнув его гузовкой в визжащий барабан. Я видел, как Петруша, с искаженным от страха лицом, дергал ногою, стараясь вытащить размотавшуюся онучу из шестерни, как лошади, храпя, рванули во второй раз, а он закружился и замахал руками; видел, как машинист со снопом старновки подбежал к жужжащему маховику, прижимая его к ободу, и как сорвавшийся ремень ударил машиниста кромкой по лицу, и он, как цыпленок, отлетел к телегам; слышал отвратительный вой барабана, как соринку проглотившего сноп, и последний, отчаянный вопль падавшего на веретено товарища,— вопль, который на всю жизнь остался в моей памяти. Обезумев, я бросился к лошадям, на скаку поймал Мухторчика за гриву и повис на ней. Меня швыряло, как тряпицу, раза два я чуть не срывался под ноги, но откуда-то явилась неимоверная сила и цепкость: кольцом обвившись вокруг шеи, я дотянулся рукою до морды мерина и впился ногтями в его ноздри так, что он заржал от боли и закружил головою, останавливаясь; но его ударило водилом в зад; Мухторчик как бешеный прыгнул в сторону, на ток; постромками его рвануло снова к приводу; падая, мерин по-собачьи взвизгнул и поволокся за водилом, а я отлетел в сторону и долго лежал, ничего не соображая, ударившись

боком о тачку. А когда вскочил, окровавленный хозяин торопливо обрезал постромки у последней, дрожащей, как лист, лошади; кругом выли бабы, бестолково бегая по току; у веретена же, раскинув руки, в луже свежей густой крови, белый как мел лежал мой товарищ Петя с оторванной по колено ногою...

Тонкопряху известили о несчастье вечером. Под окнами толпилась вся деревня. Дарья молча прошла мимо мужиков, на минуту остановилась на ступеньках крыльца, прижимая руку к сердцу, и, увидев Любку, спросила:

— Жив еще?

Она была на вид спокойна, и только землистая бледность щек, сухие, блестящие глаза да странная одышка, будто она все время несла непосильную тяжесть, выдавали ее.

— Жив, мол?

Лицо Любки дернулось и сразу покраснело; отвернувшись от Дарьи, она сквозь рыданья выкрикнула:

— Скорее, дышит!..

— Дышит?

Женщина перекрестилась на восток и, низко склонив голову, пошла в сени.

В кутнике, на пучке соломы, покрытой рядном, окруженный толпою заплаканных баб, лежал Петя в забытьи. Желтая старуха с провалившимся ртом и растрепанными космами позеленевших от дряхлости волос, обхватив обеими ладонями его изуродованную ногу, впилась острыми глазами в сочащееся черной кровью мясо, страстно шепча:

— «На море-окияне, на острове Буяне, лежит бел-горюч камень. На сем камне стоит изба-таволожная, стоит стол престольный. На сем столе сидит девица-душа красная, пресвятая богородица, в три золотые пяла шьет...»

Кровь тяжелыми каплями стекала по сухим рукам ее в подставленную шайку.

— «Шьет она, вышивает золотой иглой, ниткой шелковою. Зашей, мать богородица, у раба божьего Петры кровавую рану...»

Вошедшую мать первою увидела Федосья Китовна. Бессознательно метнувшись с места, она загородила своим телом мальчика.

— Дарьюшка!.. Дарьюшка!..

Старуха протянула к Тонкопряхе руки и, упав к ней на грудь, забилась.

— Дарьюшка!.. Дарьюшка!..

— «Чтобы крови не хаживати, не шипети и не баливати — в новый месяц и в полный месяц, и в самые межные дни, и во веки веков...»

А Китовна ползала в ногах закрывшей глаза матери.

— «Аминь! Аминь! Аминь!» — трясясь, шептала ворожея.

— Пустите меня,— прошептала Дарья, отстраняя баб.

Подойдя, нагнулась к изголовью.

— Мальчик мой...

Посмотрела к нему на ноги и опустилась на пол.

В полночь Петя пришел в себя. На загнетке стояла полуприкрученная лампа, слабо освещая бледное лицо его. В углу, под обрáзами, склонив набок голову, дремала Китовна. Шавров, сняв сапоги, ходил по горнице, скрипя рассохшимися половицами, останавливался перед зеркалом, внимательно рассматривая водочные ярлыки на нем, поправлял косо накрытые скатерти или, открыв фортку, жадно глотал свежий воздух. Облокотившись на подушку, возле мальчика сидела Тонкопряха, осторожно сгоняя с него мух, у ног ее — на примосте — пять-шесть старух и Любка.

Жужжат мухи. Изредка кто-нибудь громко вздохнет или почешет в голове, шаркнет по соломе босой ногой; кто-нибудь забудется и кашлянет, зашуршат в сенях собаки.

У порога стоит на коленях нищая-дурочка, Наталья Ивановна. Сложив щепотью все пять пальцев, она смотрит на иконы, громко, сквозь зевоту, бормоча:

— Спаси меня, господи, грешную рабу твою Наталью Ивановну Рассохину... Слышь, Любашка, завтра мне огурцов соленых дай, а то меня ругают дома: ты, бат, огурцов не носишь... А где их взять?..— Лениво крестится, кладя щепоть на лоб и плечи, слева направо.— Спаси меня, господи, грешную рабу твою, Наталью Ивановну Рассохину...

Обернувшись к Китовне, смеется:

— Уснула, плеха? Теперь бы тебя щелчком в носто! — и пялится через стол к старухе, хитро сморщив прыщеватое лицо, но на нее грозятся; нищая неохотно садится на пол, обидчиво брюзжа: — Помолиться путно не дают, а богачи считаются... Чтó я, насмерть бы ее убила?

Глядя на Петрушу, начинает плакать, громко сморкаясь в конец головного платка.

Неожиданно товарищ застонал. Все насторожились и притихли, Петя медленно открыл глаза.

— Во-дицы,— чуть слышно прошептал он, облизывая синие потрескавшиеся губы. Напившись, пролежал несколько минут, не шевелясь, потом опять открыл глаза и слабо, робко, виновато улыбнулся. Увидев мать, тоскливо застонал, забился, протянул к ней руки: — Мамочка!.. Мамуля!..

Тонкопряха молча поцеловала его руку, пригладила волосы, смахнула выступивший на лице пот.

— Больно мне, родная...

— Лежи смирно, детка,— подошла Федосья Китовна.— Не разговаривай.

Петя опять тихо улыбнулся.

— Ваня... Васе Пазухину... поклон от меня... передай... Скажи: горе вышло... сплоховался я... Обойми меня в последний раз...

Петя дотронулся ледяными пальцами до моей щеки, погладил ее, хотел улыбнуться, но губы его задрожали, из-под ресниц выступили слезы.

— При... ди... ко мне... Не плачь... не плачь... не плачь!..

Всю ночь и следующий день Петруша то терял сознание, то плакал, то кричал, метаясь по постели. Остановившаяся было кровь опять прорвала пелену и засочилась — водянистая, липкая, похожая на сыворотку. Перед заходом солнца он примолк, будто уснул, но не успели отойти от него, как товарищ широко открыл глаза, полуприподнялся и, вцепившись восковыми пальцами в рядно, протяжно застонал:

— Ох, тошно!.. Тошно!.. Ваня! Мама!

Схватив себя за шею, опрокинулся навзничь и медленно стал дергаться в предсмертной муке...

Спускалась ночь. Выл ветер. Ветка ивы надоедливо царапала стекло...

В гробу товарищ лежал длинный, тонкий и прозрачный. Над головой его мерцала принесенная из горницы тяжелая лампада, бросая пятна теней на лицо.

В избе пахло ладаном и потом. Все спали, кроме Тонкопряхи; сидя на помосте, Дарья молча навивала на палец свои распущенные волосы, прядь за прядью

вырывая их из головы. Время от времени на нее с любопытством смотрела Наталья Ивановна.

— Ты еще не спишь? — спрашивала она, приподнимая с мешка голову.— А я уж собралась вздремнуть маленько... Ну, сиди, сиди!..

Потом ее заинтересовало занятие Тонкопряхи: она встала и, прижавшись рядом, также распустила свои волосы, заглядывая Дарье в лицо и хихикая.

Я с ужасом смотрел на них, боясь встать с места.

А утром Тонкопряха села на скамейку против сына; откинув покрывало, залилась веселым хохотом, ударила в ладоши и запела:

Вдоль по морю, морю синему,
По синему, по Хвалынскому...

— ...плыла лебедь!..— подхватила проснувшаяся Наталья Ивановна, вскакивая с кутника и прищелкивая пальцами, но Дарья дико взвизгнула, метнув безумными глазами на нее, и опрометью выскочила из избы...

И в этот день все небо было в тучах, так же хлестал дождь и выл и рвал повети ветер...

XIV

В конопляное братьё Шавров поймал старшего работника с мешком зерна.

— Пшеницу тащишь, жулик? — сурово сдвинув брови, рванул хозяин за плечо его.

Вася Батюшка спустил с плеча мешок, оправил съехавшую набок шапку и, не глядя на Созонта, ответил:

— Ячменя немного...

— Напрасно. Отнеси назад.

Шавров помог работнику поднять мешок снова на плечи и, высыпая ячмень в закром, говорил ему:

— Ты меня не обокрал, а только до смерти обидел, и этого я тебе не прощу... Выверни мешок-то, там, кажись, еще осталось... Эх вы, голодраные!..

Затворив амбар, обмяк:

— У нас будешь завтракать или пойдешь сейчас к себе?

— Погляжу,— сказал Василий.

— Оставайся, нынче Федор валуха зарезал.

За столом все толковали о том, что если бы Василий

не попался, то честно-благородно кончил бы срок, до которого оставалось восемь недель, а там, глядишь бы, нанялся на новый — с хорошею прибавкой.

— Он ведь все лето таскал: это вы только не знали! — неожиданно выпалил Влас.— Канифасовое платье-то Конопатке на какие, по-вашему, суммы справлено? Он молодец, черт крутолобый!..

Вася Батюшка ему на это ответил:

— Воровал, да не бит, а тебе-то с измальства ум отшибли: скажешь — нет?

— Теперь бы вот этому еще надо всыпать,— продолжал Влас, указывая на Пахома: — он тоже лаудит муку с мельницы.

Пахом окрысился и бросил под стол ложку.

— Ты меня сперва поймай, тогда и всыпь! — закричал он.— А то вот как всыплю, в стену влипнешь!

Павла, ненавидевшая Власа, вымолвила:

— Уж чьи бы мычали, а наши молчали.

И Вася Батюшка сказал:

— Конечно, не поймавши, нельзя хаять.

Позавтракав, все сели на крыльце курить; хозяин говорил:

— Тебе, Василий, рублишка четыре с меня приходится, так ты их уж не спрашивай... Главная статья, если б не свидетели, а раз вышло при свидетелях, я могу тебя месяцев на несколько закатить к Исусу...

— Свидетели-то ведь все свои, поверят ли им? — спрашивал работник.

Шавров ответил:

— Зачем свои? Есть, которые окромя своих... Ванюшке с Пахомом беспременно поверят: они мне не зятья, не братья.

— Вряд ли,— сомнительно покачал головою работник.— Денег у тебя несметная сила, скажут: подкупил — и больше ничего.

— Не скажут, что пустое толковать!..

— А, может, Ванюшка с Пахомом и не согласятся на меня показывать, почем ты знаешь? — попробовал еще раз защититься Василий.— Обету они тебе не давали кляузничать.

Шавров досадливо махнул рукой:

— Из-за четырех рублей ты, прости господи, жилишься, как сатана кургузая!.. Сказал, что мой верх, значит, верно!.. Ну, к чему зря слова тратить?..

Тогда Вася Батюшка собрал пожитки, попрощался и побрел с узелочком под мышкой в свою хибарку.

А через неделю в избе у нас сидел новый работник — Демка-солдат, год назад отбывший военную службу.

Это был живой, опрятный, краснощекий мужик среднего роста, остриженный «под польку», с пухлыми женскими руками и чисто выбритым круглым подбородком.

Покручивая и без того лихо заправленные черные усы, он говорил Шаврову:

— Виноват, а чай у вас один раз или два раза в день?

Созонт, прикрыв ресницы, медленно цедил:

— Чаем, служба, редко балуем... Разве когда от безделья или гости. В будни не чаюем...

Демка веселыми глазами обвел всех домашних и, манерно отвернув полу кафтана, достал пачку папирос.

— Будьте насколько-нибудь великодушны, разрешите выкурить цигареточку,— обратился он к бабам.

— Кури, чего ты спрашиваешь,— кивнула бабушка.

— Нельзя,— ответил Демка,— закон порядок требует, женское сословие надо уважать.

Пахом, все время наблюдавший за солдатом, отозвался с голбца:

— Глядя, какое сословье, а то есть, которых дрючком уважают.

— Дуракам закон не писан,— пустив синее колечко в потолок, сказал Демка.

Все добродушно переглянулись.

— Виноват, а отпуск по семейным обстоятельствам возможен? — обратился он снова к хозяину.

Тот отрицательно покачал головою.

— Пропало дело! — горестно всплеснул руками Демка.— Дозвольте осмотреть казарму.

— Ступай, гляди казарму. Ванька, проводи его,— сказал Шавров.

Отворив в избушку дверь, солдат попятился.

— Виноват, это что же — хлев или отхожее? Кто дневальный? Молодой человек, не вы? — отшвыривая ногою помойное ведро, стоявшее на пороге, зыкнул он.

За страду пол в избе не подметался, на окнах и в углу висела паутина, лавку и шесток засорили куры, грязь везде действительно невозможная.

Часа три, даже больше, он скоблил ножом лавки,

стол, подоконники, ровнял лопатой земляной пол, тер тряпкой с мылом окна, притолоки и даже иконы.

Потом побежал к Созонту в лавку и, принеся оттуда кусок мела, приказал мне истолочь его в ступе, а сам, усевшись на пороге и посвистывая, вязал из пакли кисть.

— Виноват, вы почему стоите развесив уши? — обратился он к Пахому.— Соберите свою одежду и выколотите пыль; кстати, сами умойтесь с мылом, смотреть противно!..

Пахом усмехнулся.

— Молодой человек, истолкли мел или нет еще? — продолжал солдат.— Шевелите руками по-человечьи!..

К полудню наша избушка смеялась, как живая. Выбеленные стены, потолок и печка блестели, как молодой снег, а стол и лавка казались час назад выстроганными.

— Даже дух-то и то лучше стал,— говорил Пахом, расхаживая по хате, заложив назад руки.

Демка же притащил откуда-то детский молочный горшочек.

— Молодой человек, вымойте эту плошку и налейте доверху водой,— сказал он мне, а сам нарвал в огороде свежей зелени и, обернув горшок курительной бумагой, воткнул ее туда, поставив на окно. Покрутившись, опять убежал во двор.

— Ну, уж это-то совсем ни к чему,— проговорил Пахом, выдергивая из горшка зелень и бросая ее за окно.— То изба, как церковь, а он натаскал травы на кой-то ляд; что́ мы, овцы, что ли?

Солдат возвратился с сундучком в руках.

— Послушайте, как вас? — обернулся он к Пахому.— Не можете ли вы принести мне пару досок из сарая? Хозяин разрешил.

— Нет, не могу,— сказал Пахом, садясь на коник,— я тебе не работник; ступай сам.

— Вы очень сурьезно отвечаете,— заметил Демка.

Из двух нестроганых шелевок он сбил себе кровать, положив на нее полосатый, туго набитый овсяной соломою тюфяк, а сверху серое каемчатое шерстяное одеяло и подушку в белой наволочке, посредине которой разноцветными нитками было вышито: «*ПоМнИ, пОмНи, ДрУг лЮбЕзНыЙ, сВоЮ пРеЖнЮю ЛюБоВь*».

Забыв обоюдную неприязнь, мы сидели с Пахомом рядом на конике, вылупив глаза от удивления.

А солдат между тем раскрыл сундук, доставая оттуда красное складное зеркальце. Посмотревшись в него

и поправив усы, он повесил его над кроватью. За зеркальцем появились щетки — черная и белая, кривые ножницы, расческа, вакса, кусок розового мыла, бритва, ремень с медной пряжкой, вышитое полотенце и много разных других вещей, которых мы сроду не видели. Обнюхивая, обдувая, разглядывая на свет и улыбаясь каждой вещи, Демка бережно раскладывал их на подоконнике, частью — на лавке, около своей постели. В заключение вытащил ладони в полторы картину в черной рамке, за стеклом, приладив ее рядом с зеркалом.

Когда он вышел, Пахом орлом слетел с коника, бухаясь в постель.

— Вот где, Ванек, благодать-то — три недели можно без просыпа спать! — блаженно закрывая глаза, проговорил он.— Чего только он, дурак, в работники пошел с таким имуществом! Должно быть, очень жадный, а?

Упершись ногами в стену и перекосив лицо, Пахом сладко, с завыванием, потянулся и чихнул, вытираясь Демкиным новым полотенцем.

— Чай, от полюбовницы рушник-то,— кивнул он, дергая его за кружева,— или слямзил у кого... Пройдоха этот солдатишка!..

Став на колени, батрак погляделся в зеркало.

— Гляди-кось, миленький, гляди-ко! — неожиданно зашипел он и, сорвав с гвоздя картину, бесконечно удивленный, ткнул ее мне в руки.— Ты только гляди-ко!

На картине три бравых солдата, заломив набекрень картузы, грозили друг другу обнаженными шашками, а четвертый, помоложе всех, присев на стул, нежно гладил маленькую рябую собачку на колесиках, и этот четвертый, в мундире, белых господских перчатках и высоких мелко набранных сапогах, был не кто иной, как Демка, наш новый работник.

— Братуха, это кто же тебя этак сделал? — все еще не закрывая рта от изумления, спросил Пахом вошедшего солдата.— Живой ведь, глаза лопни!..

Тот взглянул на Пахома и тоже раскрыл рот и вытянул лицо.

— В-виноват, вам кто же позволил, как свинье, с ногами лезть на кровать? — благим матом закричал он.

— А что я ее съел, что ли? — проговорил Пахом, нехотя слезая.— Я за всю жизнь на таких хороших кроватях не лежал...

Смущенный окриком, он отошел к дверям.

— Гляди: она такая же, не полиняла...

Солдат порывисто оправил одеяло, взбил подушку и, став посередь избы, сказал, стараясь быть хладнокровным:

— Господа, вы — молодой человек,— указал он на меня,— и вы, не знаю, как вас звать,— указал он на Пахома.— Очень покорнейше прошу вас в этот угол не ходить, поняли?

— Понимаем,— сказал я.

— Понимаем, да не все,— сказал Пахом.

— Кто ляжет на постель или притронется к карточке, или к бритве, или к мылу,— Демка обвел взглядом и рукой свое хозяйство,— с тем я расправлюсь по-военному, поняли?

— Это — как еще придется,— недоверчиво косясь на солдата, вымолвил Пахом.— Мы тоже можем двинуть по-мужицкому. Правда, Иван? Что в сам-деле? Задается, тварь!..— Пахом назло сплюнул на стену и добавил: — Не успел наняться, уж скандалит, шустрый!.. Мы вот с товарищем все лето прожили душа в душу... Правда, Иван?

Сердце у солдата, очевидно, отошло.

— Говоришь вот: душа в душу... Эх, дружок. Ну, как же не скандалить, посуди сам,— более мягко вымолвил он, став вполоборота к Пахому,— я, можно сказать, все жилы надуваю, чтобы все шло по-благородному, а вы, извините, в грязных лаптях замололись на самое чистое место... Нельзя же этак! Ты возьми, к примеру, эту штуку...— Демка подошел к окну и... с минуту стоял неподвижно, будто что-то рассматривая или вспоминая, потом круто обернулся и с угрозой низким голосом спросил:

— Виноват, а где же цветы, которые стояли?

— Цветы? — переспросил Пахом.— Трава?

— Цветы! — повысил голос Демка.— Молодой человек, вы не видели, куда он их девал?

— За окошком, где им место,— ухмыльнулся Пахом.— Цветы! Вот глупый! Натащил травы и верещит, как поросенок!..

Ни слова не говоря, Демка, схватив с окна горшок, в мелкие куски разбил его о Пахомов затылок и побежал вытирать облитые водою руки. Пахом, крикнув: «Ванька, помогай, пожалуйста!» — наскочил на него сзади и опрокинул.

Это была первая по счету драка их.

Вечером, садясь ужинать, исцарапанный солдат, брезгливо глядя на Пахома, говорил:

— Я теперь с вами на всю жизнь обрываю разговоры.

— Да обрывай, а мне какое дело,— небрежно отвечал Пахом.— Ты мне — разговоры, а я тебе — морду!

Домашние заливались хохотом.

— Ну-ну! Валяй, служивый! Глаз-то ты ему — побожьи!..

— С фрунта,— скромно улыбался Демка.

— Вот видишь,— упрекнул меня Пахом,— я говорил тебе: «Ванюшка, пособи!» Не послухал, а теперь он нам житья не даст,— вот видишь? Эх, ты, розя!..

За три недели, вплоть до самого страшного события, какое у нас вышло, солдат с Пахомом дрались четырнадцать раз и все из-за постели, карточки.

Сначала Пахом донимал Демку тем, что тот фальшивый человек, прохвост: вывесил картину, а собака на ней на колесиках. Потом, разозлившись на неизменный ответ солдата: «Я с дураками пива не варю» — вымазал картину дегтем.

Драка длилась долго, с передышками. Пахом изранил Демке ухо, плечи, спину, сам разбух и почернел от «фонарей», но чем больше он дрался, тем большую имел охоту досадить противнику. Уже и зеркальце, и карточка, и мыло, и прочий форс лежали в сундуке; уже про чистый пол, уборку и вышитое полотенце, которое в конце концов стало общим, не было помина, и неприкосновенною оставалась лишь одна кровать — гордость Демки, но вскоре и ее Пахом изрезал, а с подушкой сделал еще хуже.

XV

С первой же недели новый наш работник — Демка-солдат — стал бесом крутиться около баб. В доме ли, на улице, или во дворе, только, бывало, и слышно:

— Павла Прокофьевна, виноват! Любава Созонтьевна, позвольте! Господа женщины, смею ли вас обеспокоить?

Не особенно склонный путаться с бабами, я не придавал солдатовым подсасываньям значения, хотя и видел, что господская любезность его, замысловатые речи, залихватские усы, первая в Мокрых Выселках постель, на которую сбегалось любоваться полдеревни, и умиль-

ные взгляды дело делают: Любка с Павлой млели. Но Пахом день ото дня становился угрюмее и злее.

Пахом с половины лета жил с Павлой. Удивительно, это сожительство во многом изменило его к лучшему. В те минуты, когда, бывало, Павла принесет ему починенные рубахи или скажет: «Ложись, Пахом, я у тебя в голове покопаю» — некрасивое лицо его становилось таким светлым, ласковым и благодарным, таким хорошим, что как-то понималось, почему эта здоровая король-баба польстилась на худосочного матерщинника и пьяницу.

Раз, лежа на печи, я случайно был свидетелем такой сцены: Пахом только что приехал с пашни и, сидя на скамейке против заднего окна, разувался. Вошла Павла.

— Дома сидишь?

— На базар уехал с требухой,— не особенно ласково ответил он, выдергивая из ушника оборку.

— Чего тебя трясет? — удивилась она.— Видно, отлупили?

Подойдя к скамейке, Павла дернула его за оборку.

— Били?

— Не мешай! — еще сердитее сказал Пахом.

— А вот буду мешать! — засмеялась Павла.— Ты что мне сделаешь?

Схватив за ногу, она стащила его на пол. И вдруг сумрачное лицо работника стало необыкновенно приветливым, добрым, ребяческим. Обняв солдатку, он припал к ее плечу и долго-долго целовал его, урывками шепча:

— Ах ты, баловница!..

Пахом целовал плечо у бабы!..

А та теребила его волосы, спрашивая:

— Что ты такой сумрачный? Ай вправду что случилось, а?

— Ничего, устал я,— кротко вымолвил работник, прижимаясь к ней, словно к родной матери.

Но проворовался Вася Батюшка, пришел на его место краснощекий солдат Демка с вычурными разговорами и вышитой подушкой, и краешек светлого в жизни померк для Пахома.

Только в последние дни я догадался о причине той глубокой ненависти, какую питал он к Демке, будучи в полной уверенности, что озорство и зависть к мягкой постели толкают Пахома на скандалы, а не ревность,

не отчаянная борьба за крупицу счастья, случайно выпавшую на его несчастную, нищенскую долю.

Страшное случилось на покров. Гавриловна с Любкой уехали гостить в Осташково, Китовна говела. Влас играл с ребятами в карты на другом конце деревни, Шавров торговал, а в доме оставалась одна Павла да старик Макса.

Серый, злой, взлохмаченный Пахом, понуря голову, ходил по двору от одной стены к другой.

День был пасмурный, под стать ему, небо — дымчатое; по ветру кружились желтые ракитовые листья.

— Резки бы надо приготовить на ночь,— подошел я к нему.

Пахом равнодушно поглядел на меня, на полуприкрытые уличные двери в новый дом, на собак, копавшихся в корыте, и, дернув острым плечом, ответил:

— На какой она черт?

— Как хочешь,— сказал я,— ты всегда что-нибудь выдумываешь, а хозяин потом лается.

Батрак сделал два шага ко мне и глухо вымолвил:

— Не тревожь меня, могу ударить... Не тревожь!..

Взявшись руками за голову, он поплелся за сарай, но в это время из теплушки отворилась дверь, и Демка, как сытый кот, наевшийся сметаны, вышел, жмурясь, на порог, а из-за плеч его выглядывала раскрасневшаяся Павла. Мельком взглянув на нас, солдат прищелкнул пальцами и улыбнулся, направляясь к воротам.

— Ага! Ну что?.. Вот видишь? — забормотал Пахом, цепляясь за забор.— Ну, разве ж меня можно обмануть? Ну, господи!..

Из желтых «воровских» глаз его, одна за другою, покатились слезы. Вероятно, от стыда, он цыкнул на меня и затопал ногами, а потом, втянув голову в плечи, быстро, боком, как подшибленный грач, побежал в избушку и грыз там с жестоким остервенением солдатову подушку, кромсал ножом одеяло и тюфяк, визжал, захлебываясь словами:

— Пропала моя голова!.. Пропала моя голова!..

Эти слезы и эта беспомощность, это отчаяние и эта напряженная борьба за маковое зернышко любви и ласки, которую из прихоти, а может быть, и искренно, давала ему развратная солдатка, тронули меня.

— Держи, Пахом, крепче! — закричал я, подбегая к работнику и хватая одеяло за угол.— Вдребезги все раз-

несем!.. В трущоб, рас-так их в спину!.. Блудня несчастная!..

Если б я сдержался и не крикнул так, может быть, у нас все вышло б по-хорошему: мы, может быть, отучили бы Демку от красных слов и мягких взглядов, может быть, даже заказали бы ему дорожку и к Павле; но нелепый крик мой почему-то взбесил Пахома.

Вылупив глаза, он дал мне локтем в душу так, что я отлетел к порогу и ползком, боясь быть изувеченным, выкарабкался в сени, а оттуда — на потолок, спрятавшись там за печным бо́ровом.

А из избушки еще долго раздавались треск и брань.

В раскрытые двери вылетали поломанные скамейки, кувшины, горшки, Демкина кровать, сундук и все, что было там. Под конец грохнулись сорванные с петель двери, и все затихло.

— Пахомушка, можно мне теперь слезть? — спросил я, выбираясь из засады, и, не дождавшись ответа, свесил вниз голову.

Сени были пусты. В навозной жиже, натекшей со двора, валялся мой мешок с чистыми рубахами и солдатова суконная штанина, а другая, перерванная надвое, моталась на крючке. Кучу хлама и обломков покрывал слой пуха и перетертой овсяной соломы из тюфяка, вперемешку с клочками одеяла...

Наши жены — ружья заряжены,
Вот кто наши жены,—

донесся сладкий голос со двора. В дверной раме мелькнула тень, потом фигура Демки. То, что он увидел, вероятно, так было неожиданно, что некоторое время солдат стоял без движения, с открытым ртом, а когда, опомнившись, Демка вымолвил свое любимое «виноват»,— голос его был придушенный, с цыплячьим сипом.

Прыгнув через мусор в избу, солдат вылетел оттуда бешеным, вцепился руками в притолоку и начал биться головою об нее и выть, и рвать на себе волосы.

— Демьян, это не я! — закричал я в ужасе, чувствуя, как по моему телу побежали мурашки.— Это Пахом, накажи меня господь, не я!..

Демка схватил пест.

— Убью, собака! — завизжал он и полез на потолок.

Я бил его по голове и по рукам бабьим донцем, не пуская и вопя:

— Демьян, это не я! Демьян, это не я!

Солдат срывался и больше свирепел; еще один момент — и он бы меня, пожалуй, укокошил; я уже бросил к чертям донце и раздергивал поветь, чтобы выскочить через крышу, но в это время со двора, еще сильнее и отчаяннее моего, кто-то завыл:

— Спасите!.. Караул!..

В окнах зазвенели разбитые стекла, Демка опрометью соскочил с прилаженной к стене кадушки, а я вихрем вылетел на задворки.

Кричала Павла. Простоволосая, истерзанная, с кровавыми царапинами на полном теле, она металась по двору, а за нею, по-звериному рыча, с колом в руках, гонялся Пахом.

Когда Демка выбежал из сеней, Пахом настигал солдатку. Он уже взмахнул колом, чтобы ударить ее, у меня уж замер дух, но подоспевший солдат с силой ткнул его пестом между лопаток, и Пахом, как сноп, свалился наземь.

Сев верхом, Демка вцепился обеими руками в его волосы, молотя Пахомовым лицом о ступеньки крыльца.

С улицы на крик бежал Шавров. Павла бросилась к нему навстречу, упав на грудь, заголосила:

— Миленький!.. Срамотно говорить!.. Папашечка!.. Родимый мой!..

— Постой, баба! — оттолкнул ее хозяин.— Сук-кин сын!..

Он хлестнул работника вожжами по голове, а тот, собрав силу, сбросил с себя Демку, хватаясь руками за перила и хрипя:

— Убить хотите? Бейте!.. Бейте, сволочи!..— и, облапив солдатову ногу, впился в нее зубами.

— Уб-б...айт-т...

— Павла Прокофьевна, помогите,— закричал солдат.— Живее!..

Кулаками Демка отбивался от Пахома, но тот, припав к ноге, замер, и только когда солдат ударил его несколько раз поданным Павлою колом по спине, захлипал и засопел, и изо рта его, и из ушей, и из носа хлынула кровь, и руки сами собой расцепились.

— Наддай! — сказал Шавров.

Демка размахнулся и ударил батрака колом по пояснице.

Пахом пополз.

— Еще наддай! — ударом ноги в лицо сбрасывая его со ступенек, повторил Созонт.

Солдат зажмурился и, гокнув, как во время рубки дров, с еще большей силой опустил кол на Пахомово темя...

XVI

В ту же ночь, окольными путями, мы ехали втроем; солдат, Шавров и я по направлению к городу. Дорога была хлябкая, тяжело нагруженные мукой телеги то и дело застревали в колдобинах; моросил осенник; лошади выбились из сил.

Укрывшись дерюжкою, Созонт изредка оборачивался, крича с брички:

— Робята, гони легче, вот тут болотце... Вправо!.. Вправо!..

Иногда он слезал и, взяв переднюю под уздцы, сам провожал по рытвинам. Солдат был нежен, угощал меня папиросами, спрашивал, не промок ли я. На ровной дороге, идя рядом с бричкою, он шушукался с хозяином.

— Ванюшка, подстегни-ка заднюю! — кричал тогда Шавров.— Кстати, глянь: хомут в порядке ли.

Привязанный к гужу Красавчик бился и храпел.

На полдороге, за Вислозаводскими прудами, нам встретился пьяный осташковский кузнец Мартышка и Очки.

— Земляки, а что у вас огонь есть ай нету? — спросил он, с трудом вываливаясь из телеги.— Растерялся я, как плут, а, между прочим, покурить до смерти хочется...

Шавров стегнул Мухторчика, ускакав вперед, а Демка, меняя голос, закричал:

— Какой тебе огонь? Не подходи, а то лошадей перепугаешь!

Расставив ко́злами ноги, кузнец проводил обоз.

— Хоть бы сказали: чьи? Едут в город темной ночью, а не знаешь — кто? — бормотал он, садясь в повозку.

Около города дождь затих. С холодной стороны небо вызвездилось, а с восхода побелело. Темно-красная кладбищенская церковь и ряд городских кирпичных заводов, с ометами сырца вокруг, встретили нас неприветливо, угрюмо. Пробило час.

— Сюда вот,— вымолвил Шавров, завертывая в переулок.

Спрыгнув с брички, он неуверенно звякнул щеколдою, откашлялся в рукав, велел мне отойти к задним возам, опять ударил в двери и на грубый полусонный окрик: «Кто там?» — тихо вымолвил:

— Свои, Викентьич. Отворяй скорее.

В открытую калитку просунулась плешивая голова.

— Это ты, Созонт? Не мог, по-человечьи, утром? Эко, ей-богу, право.

— А ты не ворчи,— сказал хозяин,— раз статья такая вышла, значит неспроста... Отворяй скорее! Барин почивают?

Семь больших возов и бричка с трудом поместились в тесном дворике.

Хозяин убежал с плешивым стариком на кухню, а мы с Демкой распрягали лошадей.

— В первый раз, Петрович, в городе? — спрашивал солдат.— Великолепнейшее жительство!..

«Душегуб»,— хотелось мне ответить.

Поставив лошадей к забору, Демка сам нырнул на кухню, а мне велел идти в дворницкую, полуразрушенную хибарку, прилепившуюся у ворот.

Мимо окон шастали по грязи сапоги, чей-то недовольный голос выругался, отыскивая скобу в калитке. Расправляя уставшие ноги, я уселся на деревянном обрубке возле печки, глядя на тускло мерцавший огарок в засиженном мухами грязно-зеленом фонаре, и незаметно уснул.

— Ты что же — насмехаешься ай что? — толкал меня в плечо сторож.— Айда за мной!

Огарок в фонаре оплыл и синенькое пламя еле брезжило.

Дернув за сибирку, сторож открыл настежь двери, пропуская меня вперед.

В доме яркий свет большой лампы на минуту ослепил меня. Протирая глаза, я прижался к притолоке, рядом со сторожем, державшим меня за рукав, ничего не понимая.

— Привел, ваше благородие! — проговорил старик, пихнув меня на середину комнаты.

В боковушке скрипнул стул или скамейка, раздались тяжелые шаги, и на пороге показался начальник.

Сдвинув брови, он сердито поглядел на меня, шагая вперед. Я задрожал всем телом.

— Убийца!..— крикнул начальник и ударил меня по губам.

Я растаращил руки, защищаясь от новых ударов, а начальник, молотя меня, брызгал слюною:

— Ты за что убил работника, собака, а? Кто тебе дал право? В каторгу!.. В острог!.. К расстрелу!..

Схватив за волосы, он раз десять проволок меня по горнице, как гроздья лука из гряды, вырывая волосы из головы, потом швырнул к дверям, крича:

— Городовой!

В комнату вошел вооруженный человек.

— Свяжи его, мерзавца!

— Слушаю-с! — бесстрастно вымолвил тот.

Откуда-то появилась веревка, городовой стянул мне назад руки, а пристав сел к столу писать бумагу. Лицо его от натуги было красно, глаза блестели; обмакивая в чернила ручку, он другой рукой снимал с обшлага мундира мои волосы, брезгливо сбрасывая их на пол.

В бумаге написал, что я, Иван Володимеров, четырнадцатилетний крестьянин села Осташкова, той же волости, вместе с ефрейтором запаса, крестьянином деревни Павловой, Демьяном Кузьмичом Мохнатовым, убили сына дворовой крестьянки Пахома Плаксина, за что должны сидеть в тюрьме и мучиться, а потом идти на всю жизнь в Сибирь, в каторжные работы.

Прочитав бумагу, начальник закричал:

— Сознаешь себя виновным?

В ту пору он так меня напугал, что я действительно был в уверенности, что я вместе с неизвестным мне ефрейтором запаса Демьяном Кузьмичом Мохнатовым убил Пахома. Не запираясь, я ответил:

— Сознаю.

Городовой взял меня за ухо и вывел в сени.

А там загремел замок, в лицо пахнуло сыростью, зашарканной одеждой, слеповато блеснул тот же грязнозеленый, засиженный мухами фонарь с огарком.

Упав на пол, я залился слезами, только теперь со всею отчетливостью понимая, какое несчастье свалилось на мою бедную голову.

Меня кто-то тормошил, кто-то уговаривал, ворочал с боку на бок, а я плакал, плакал без конца, покуда не охрип и не обессилел.

— Первый пункт — твердо надейтесь на милость божью,— шептал кто-то, склонившись надо мною.—

С Казанской божьей матерью не пропадешь, Петрович!.. Вытрите лицо — кровица кой-где запеклась.

Возле меня сидел Демка, тоже связанный. Приблизив круглое лицо ко мне, он шевелил усами.

— Несчастье, можно сказать, на нас вышло... Из меня, брат, тоже вытрясли всю амуницию. Нам, главная задача, ни в чем не нужно сознаваться... Молчок — самый лучший приятель на свете... Режьте меня, жгите, по кишке вытягивайте,— знать не знаю, не причинен!.. Пьяный, мол, прибег... Голова разбита... На деревне дрался с парнями... Бежит, хватается за темя, зявит: «Ой, батюшки! ой, батюшки!» Понимаете? Будет допрос, приедет следователь — тоже в одно слово: ребята угостили... Тогда мы выкрутимся, поняли? — А то — погибнем: до смерти замучают в остроге... Гвозди будут вбивать в спину,— в день по пальцу резать — хуже смерти!..

Демка вплотную приник ко мне.

— Хозяин, говорите, был в лавке; Павла Прокофьевна, говорите, спала после обеда в теплушке; вы бегали, ради праздника, с ребятами по улице, а я копался, говорите, у сарая со старым ружьем... С ружьем, поняли?.. И вот будто завыли собаки, и вы будто побежали поглядеть, чего там делается, а из ворот будто летит Пахом без шапки и кричит: «Ой, батюшки! ой, батюшки!», а с волосьев, по рукам — ключом бьет кровь... Бежал, бежал, хвать обземь и давай брыкать ногами, а кровь — хлы-хлы-хлы! хлы-хлы-хлы!.. Вы испугались, помчались будто сказать нам, а как мы пришли, Пахомка — мертвый, понимаете?.. Все одно будем твердить... Не сбивайтесь, а то — пропадем, поняли?

— А хозяин тоже сидит в тюрьме? — спросил я.

— Сидит! — горестно воскликнул Демка.— Но только, Петрович, это еще не тюрьма, а кордегардия, а в тюрьме, если, не дай бог, спутаемся в показаниях, нас будут мучить день и ночь, на цепь прикуют, каждую субботу розги...

Демка закрутил в отчаянии головою и, отодвинувшись к стене, захлипал:

— Не спутаться бы нам, Иван Петрович!.. Сердце мое чует, что мы спутаемся!..

Еще несколько раз он внятно повторил мне все то, что я должен показать начальству, заставлял меня снимать с него допрос: я был начальником, а Демка — мною, потом он становился начальником, я отвечал ему. В тех местах, где я путал, солдат поправлял меня.

Вся эта история — и побои, и сидение в кордегардии — продолжалась не больше часа, но мне это время показалось вечностью.

Когда я в последний раз толково повторил Демке свои показания, не менее его довольный зародившеюся надеждой избавиться от неминуемой смерти, он повеселел. Глядя на мое опухшее лицо, с участием говорил:

— Видишь, как тут чистят? Мýка, браток, смерть нам!.. А в остроге еще хуже... Кабы не связанные руки, посмотрели бы вы, что они мне со спиною сделали!.. Кусками драли!.. Ремни вырезали из спины-то!..

— Мохнатов, на допрос! — отворил городовой двери.— Проворнее!

— Это разве ты Мохнатов-то? — спросил я у солдата, вспомнив начальническую бумагу.— Гляди же, Демьянушка, не сбейся! Показывай, как сейчас говорили!..

Через несколько минут солдат возвратился в каталажку, и к допросу вызвали меня.

— Рассказывай, как дело было? — гаркнул на меня начальник.

Все мои слова, наспех заготовленные в то время, как я шел к нему в горницу, тотчас же вылетели из головы. Повалившись в ноги, я твердил, обливаясь слезами:

— Не я! Желанненький, не я! Не мучайте меня — я не причастен...

Я ползал за начальником, стараясь поймать его за ногу, чтобы поцеловать. Не замечая меня, он широко шагал, заложив назад руки. Когда я выкрикнул: «Пахома убил Демка с хозяином»,— пристав сразу остановился.

— Кто, кто? Ну-ка, повтори!

— Пропал! — мелькнуло в голове.— Запутался!

— Не знаю! — завопил я.— Режьте меня, мучайте, не знаю! Я не знаю!.. Не знаю!..

Обезумев, я начал грызть половик, биться и пронзительно, не человечьим голосом визжать, катаясь по полу. Мне до безумия было страшно того, что я делаю, но чем больше я силился удержаться, тем сильнее тело мое, ставшее мне непослушным, извивалось и корчилось, а голос тем сильнее и пронзительнее выл. Ни начальник, ни городовой, двое здоровеннейших людей, не могли сдержать меня, и в конце концов меня выбросили в коридор.

Демка в каталажке поливал водою мою голову, сердито говоря:

— Это — подлость! Условились не сбиваться, а вы черт знает чего наделали, болван! Теперь я через вас должен пропасть!.. Видите: я хорошо ответил, и меня уж развязали, а вы, по-свински, нахрюкали пакости, и я теперь обязан погибать... Я вам не прощу, Петрович: я собственными руками задушу вас, поняли?..

Стыдясь взглянуть на Демку, я шептал с мольбою:

— Прости меня... Я испугался... Он кричит и топает ногами... Он отца бил...

— Мало ль что, ты не баба!.. Он кричит, а ты молчи... Думай, что он на стену кричит... А накричится, твой черед: вот так, мол, и так, ваше высокоблагородие... Его, мол, еще с весны ребята грозились пришить под горячую руку, понимаете?

Приведенный к становому в третий раз, я за своею подписью дал ему показание, что видел Пахома бегущим во двор с пробитой головой; видел, как он падал около порога, а хозяин в это время торговал; солдат копался у сарая со старым ружьем. Павла же спала в теплушке. Первым о несчастии сообщил всем я.

Крыльцо было вымыто. Пятна крови соскоблены с порожек. Пахом, прикрытый лоскутом веретья, лежал под навесом. Его сторожили двое десятских. Урядник, еще не зная, что скажет по случаю несчастия городское начальство, то лебезил перед Шавровым, то сурово морщился, повышая голос.

— Лексей Лексеич, вы бы настоечки-то пригубили,— говорила ему Павла.— Это ведь у нас только для благородных, а своим мы и не даем; пригубьте, право...

— Покорнейше благодарствую, Павла Прокофьевна,— говорил урядник, прикладывая похожую на полено руку к сердцу,— больше некуда.— И, беспокойно глядя по сторонам, добавлял: — Мне много пить сейчас нельзя через событие. Мне на предмет допроса нужно быть очень аккуратным: я два раза присягу принимал.

— Да вы выпейте пичужечку, а предметы после,— ласково хихикая, хлопал его по плечу Шавров.— Вы выпейте во здравие!..

Подозрительно глядя на Созонта, полицейский брал чайный стакан, залпом опрокидывал его в ярко-красную пасть и, будто устыдившись, вылетал во двор, подступая с кулаками к десятским:

— Вы как караулите мертвое тело, а? Инструкции не знаете? Смотри-и!..

Те пугливо жались, сдергивая шапки, а когда урядник исчезал, ругали его матерно, потом крестились, говоря:

— Сукин сын, до какой срамоты доводит при покойнике!

Один из них, волосом чалый, на вид болезненный, в дырявой разлетайке, время от времени сбрасывал с убитого лохмотья, качая головою:

— Эх, Пахом, Пахом! Достукался на младости годов!.. Что бы тебе, дурню, посмирнее жить на белом свете!.. Эх... Пахом, Пахом!..

Покойник, прищурив заплывший зеленовато-багровый глаз, словно подмаргивая им, насмешливо улыбался.

Поздним вечером хозяин с Демкою опять нагружали воза пшеницей, ячменем, свиными тушами, живыми овцами, гусями и укатили к полночи в город, а мне приказали ни на шаг не отлучаться от солдатки. Павла уложила меня спать в горнице, на хозяйской кровати, а сама легла в дверях, на полу, и всю ночь во сне стонала, а я, лежа с открытыми глазами, думал, думал, не сводя концы с концами мыслей...

С раннего утра на следующий день ошалелый с перепуга сотский наряжал всю деревню на сход — и мужиков, и баб, и парней, и детишек,— а начальник, сидя у нас под святыми, снимал допрос с Павлы и Федосьи Китовны. Созонт крутился по сеням, и зубы его щелкали, как у передрогшего пса. За домашними, по выбору Шаврова, в горницу прошли: Клим Ноздрин — продажная душа, Ванява Жареный, Сергун Вдовин и Тимотá Ублюдок — самые захудалые и самые бессовестные люди в Мокрых Выселках, больше всех задолжавшие Созонту.

После чая с выпивкою становой читал хозяину их показания, и лицо Шаврова стало светлым, а с ним посветлели Павла и солдат. На сходке пристав кричал до надсады, требуя ему найти виновников убийства.

— Я этого дела не оставлю! — сучил он кулаки.— Из земли выкопайте душегубов, а то всех сгною в остроге!

Троих парней, наиболее перепугавшихся от его крика и хотевших спрятаться в овин, начальник велел тут же арестовать.

— Ага! На воре шапка загорелась?

Поднялся плач, по деревне забегали растрепанные бабы, хватая за полы начальника и падая перед ним в грязь на колени, а он ярился еще пуще и размахивал над головами куцкою.

Урядник затворил парней на ключ в старостин амбар, приставив стражу, а сам, вместе с приставом, уехал в волость. К вечеру они воротились, привезя с собой еще двух человек: доктора со следователем. Опять начались допросы, кто убил Пахома, опять Шавров насильно улыбался, а солдат даже удрал в избушку. Канитель тянулась за полночь, но резали Пахома на другое утро.

— Все в порядке,— сказал нам Созонт, выйдя в сени.— Сала на ём, черте, пальца на два! Сейчас нас будут допрашивать. Тебя, Ванюша, кажись, первым.

— Иван Володимеров! — крикнул урядник, отворяя двери.

Я вошел в горницу и поклонился всем четверым, каждому по очереди, в ноги.

Поправляя круглые очки, следователь сказал мне:

— Ну-с, расскажи нам, мальчик, как били Пахома Плаксина.

— Не знаю,— сказал я,— режьте на куски, жгите, я ничего не знаю.

И я снова опустился на колени.

— Ты не трясись,— ласково перебил меня начальник.— Ты побойчее как-нибудь...

— Я ничего не знаю,— повторил я.— Если хочете, расспрашивайте у хозяина с Демкой — они затиралы... Еще Павла — затирала... Их зовите к ответу, а я ничего не знаю...

Со мною бились долго, но толку не вышло ни на грош — я твердил:

— Не знаю! Не знаю! Не знаю!..

Несколько раз следователь с удивлением глядел на пристава; тот морщился.

Пожав плечами, он досадливо махнул рукою:

— Пошел вон! Постой! Отчего у тебя лицо опухло?

Указав на станового, я ответил:

— Это вот он мне, как допрашивал позапрошлою ночью в городе... Солдату ремни вырезал из спины...

— Пошел вон!

В сенях, очевидно, где-то подслушивавший мои показания Шавров схватил меня за ворот, скрипя зубами.

— «Не з-знаю», сволочь, а?

Он швырнул меня с крыльца на дорогу. Вслед за мною полетели мои лапти, рубахи, шарф — все мои пожитки.

— Скройся с глаз моих, Июда!

Не сказав ни слова и ни с кем не попрощавшись, я пошел домой в Осташково.

XVII

В ту же осень, недели через три после моего прихода, сестру на двадцать первом году выдали замуж.

У нас обычай: как только минуло девушке шестнадцать — семнадцать лет, родители норовят поскорее сбыть ее с рук.

С волею их не считаются, пропивают часто под хмельную руку где-нибудь у кабака, и не редки случаи, когда невеста видит в первый раз жениха своего под венцом.

Оставаться в девках считается позором для всего семейства, и мало-мальски засидевшуюся ходят «напяливать». Это — уж забота матерей. С поклонами и просьбами они подымают на ноги многочисленных кумушек, тетушек, троюродных сестриц — походить по женихам, приглядеться к «заведению», потолковать. В случае удачи кумушки и тетки получают рушники, «штуки» на платье, шали, нарукавники, а за неудачу — выговор.

Те, что с достатком, идут напяливать засидевшихся невест к гольтепе из хороших, а бедные ищут вдовцов, охаверников, порченых, лоскутников и пьяниц — таких же несчастных, как сами.

Соблазненные овцой или полутелком, что идет на придачу, хорошей обужей-одежей, многоречивыми обещаниями «в случае чего — помочь», а чаще под суровым давлением родителей, парни скрепя сердце женятся на нелюбимых, надевая на весь век ярмо бестолковой жизни, которая потом переходит в тяжелую повседневную муку неровень.

— Я у батюшки-то то́-то ела и пила, вот та́к-то обряжалась, а у тебя что́ — сумка сальная да гашник вшивый! — зудит день и ночь постылая жена.— К чему ты меня брал? Да я бы вышла за купца, кабы не ты, растрепа!..

Начинаются ссоры, побои, увечья. Муж ищет отраду

и семью у «винопольки», а из жены часто выходит кликуша.

И ее доля не легка: иной раз из привольной жизни многочисленного, здорового, трудоспособного и согласного между собой семейства она попадает в какой-то вертеп. Там она росла незаметной, под опекой и ласкою матери, имея под руками готовый хлеб, а замужество толкнуло ее к голодным и несчастным людям, выбившимся из сил в борьбе с нуждою. На ее неопытные, слабые плечи неожиданно падает вся тяжесть каторжной работы — и в доме и в поле; вечно сердце ее терзается заботою о завтрашнем дне, изморенное тело недоедает, недосыпает...

А если к этому прибавить разутых и раздетых детей, свекровь-змею и мужа-пьяницу, то станет понятным тот ад, та непрерывная дикая брань с упреками, злобой и насмешками, с истерическими воплями, отчаянием, порою с преступлениями, которые составляют неизбежную канву мучительной крестьянской жизни.

Что же сказать о бедноте, о том, как она живет, женится и умирает? Измотав всю свою силу и мощь до замужества, надорвав себя часто в тринадцать — четырнадцать лет, пережив не одну страшную минуту в доме пьяного отца, покорная и разбитая, вступает бедная крестьянская девушка в жизнь. Не ждет она от этой жизни перемены, на брак смотрит не как на светлую зарю счастья, сулящую нечто неизведанное и прекрасное, а как на необходимость, как на новое, еще горшее тягло.

И редкая из них действительно находит хоть крупицу счастья, редкая с любовью и восторгом помянет свою молодость — нечем ее помянуть, слезами разве, горем, маятой?..

Много нужно силы душевной, много терпения и крепости, еще больше горячей веры в лучшее, которое где-то там, дальше, за нами, впереди, чтобы не умереть, не сойти с ума, не отчаяться и не погибнуть. Нужна своя внутренняя жизнь, тайная и непрерывная работа души, напряженной и тоскующей, чтобы суметь вырваться из цепких лап невежества, рабства, вопиющей нужды и холопского деспотизма замордованных людей.

Этой внутреннею силою была крепка душа моей сестры.

Еще на девятнадцатом году Мотю стали звать вековушкою. Все были уверены, что замуж ее не возьмет

никто: и потому, что она некрасива, и потому, что мы бедны, и потому, что отец наш слыл в Осташкове за дерзкого на язык пьяницу и нерачителя в хозяйстве.

Сестра замуж и сама не собиралась: все так же нигде не показывалась, избегая людей и лишних разговоров, просиживая все свободное время за евангелием.

Скоро все подруги ее вышли замуж и обзавелись детьми. Приезжая гостить к матерям, забегали навестить Мотю.

— Ну-ка, девка, погляди сопатенького,— говорили они, показывая детей.— Смеется уж, всех узнает,— в отца смышленый... Мой-то, слышишь, сметливый, первеющий по всей деревне!..

Или:

— Зубки прорезаться стали: теперь ему гвозди впору есть, лохматому казютке!

Участливо глядя на сестру, наперебой хвастались новой жизнью, где «всего вдосталь, говядину едят каждый праздник, чай — два раза на неделе, а по воскресеньям — со сдобными лепешками; батюшка-матушка — ласковы, муж — никак не налюбуется».

— У тебя вот скоро загуляем,— утешали они Мотю,— пьяные напьемся, песни будем драть на всю деревню!..

Сестра отмалчивалась. Редко когда улыбнется, бросит:

— Мы уж вино запасаем.

Она тяготилась их участием.

В последних числах октября я ушел с артелью плотников на железную дорогу — учиться ремеслу и деньги зарабатывать. Мысль о городищенском училище, о городе, о новой жизни пришлось бросить: дома не было ни хлеба, ни денег, ни одежи.

— Ты теперь не маленький,— сказали мне,— пора кормить семью... Пускай, кто жирен, учится, нам впору дыхать...

Недели через две, смотрю, ко мне приезжает отец.

— Ты зачем?

— Зачем, зачем, без дела не приехал бы,— бормотал он, привязывая лошаденку к коновязи.— Раз дело приспичило, значит, и приехал.

Отец подтянул веревку, заменявшую ему кушак, развел руками, поглядел на небо и, мигнув мне, выпалил:

— Намедни Матрешку пропили, вот зачем!.. Просись у хозяина дня на четыре в отпуск.

Он ухмыльнулся, дернув бородою:

— Мы, брат, живо: чик-чик и — готова дочь попова!..

— Как пропили? — остановился я, пропуская мимо ушей подозрительно веселую болтовню его.

Отец осел и, ковыряя кнутовищем стружки у станка, опять забормотал, воротя лицо по ветру:

— Разве не знаешь, как девок пропивают? Пропили — и все.

У меня упало сердце.

— За кого же? Свой деревенский или как? Расскажи хоть толком!

— А за Мишку Сорочинского! — почему-то слишком весело воскликнул он.— Тут даже нечего рассказывать!..

— За Ми-ишку? — закричал я.

Отец поднял брови.

— За кого же? Стало быть, за Мишку!.. Он мужик не глупый.— Он засуетился, как побитый.— Ну, как тебе сказать? Немного того... Как будто, видишь ли... дыть ей-то тоже двадцать другой год!..

Отец потупился.

— Опять вино... Вина он даст на свадьбу... Ты думаешь, что та-ак? Ого! Я сам — не промах!.. Два ведра вина и семь целковых денег начисто. Пойми-ка эту загибулю!.. Два ведра!.. Их тоже не укупишь — нынче дорого все стало... А она хозяйкою будет... Это, браток, много значит по крестьянству... Какая в том беда, что немолодой?.. Молокосос по нынешнему времени хуже: живо убежит в Украйну... А там его ищи-свищи!..

— Плачет сестра-то? Глядел бы за нею!..

— Ори, дурак! Язык длинен! — побагровел отец и, вытерев шапкою потное лицо, потупился.— Ей плакать не о чем.

Он наклонился к земле, поднял заржавевший штукатурный гвоздь и положил его к себе в карман.

— Плачет!.. Мелешь ты черт знает что!..

Полоса за полосой тянется однообразное жнивье, над ним — отяжелевшие грачи и голуби. По мелко расчесанной пашне пробивается нежная фиолетовая озимь. Бодро бежит, потряхивая головою, лошадь; четко стучат копыта о сухую, гладко прикатанную дорогу. Невесело на сердце. Представляется испитое лицо «жениха» Моти — Мишки Сорочинского, мужика лет тридцати, вдовца, лохмотника, горького пьяницы. Всегда неумытый и оттого позеленевший; волосы на голове похожи

на мочало и пропитаны копотью; шея — тонкая, трясучая, из левого уха течет гной. На плечах — замызганный, грязный полушубок, дырявый, вытертый, с махрами и «колоколушками» по подолу, с холщовыми заплатами на спине и на плечах. В полушубке много насекомых, так как Мишка не снимает его ни зимой, ни летом. Войлочная, масленая шапка — как на чучеле.

Еще на значительном расстоянии от него смердит тухлым запахом курной избы, никогда не мытого тела и собственной нечистоплотностью.

— Дух этот у меня завсегда,— сам же бахвалится он, скаля желтые гнилые зубы.— Захочу — и сей секунд будет по первое число.

По слухам, он страдает нехорошею болезнью, и соседи его избегают: не пьют из одной кружки, не просят докурить цигарки, ничего не берут взаймы.

Избенка его — без крыши и двора. Окруженная бесчисленными подпорками, стоит она, точно калека у церковной паперти, с краю деревни, уткнувшись подслеповатыми окнами в овраг. Вместо стекол в окнах — тряпки и синяя сахарная бумага, пол — земляной; входная дверь сбита с крючьев, а над ней голодной пастью зияет черная дымовая дыра, обметанная сажей и пыльной паутиной. Зимой хижину заносит снегом, весной, до троицы, у порога зеленые лужи, в которых барахтаются чужие свиньи.

Ни скотины, ни птицы нет, землю сам не убирает, отдавая ее исполу одному из бедняков, вроде Егора Пазухина, и его же презирает за это.

— Вить это вам, дьявола́м, много надо — все никак не нахватаетесь, все вам больше бы, ну и копайтесь, как жуки в навозе, а мое дело маленькое — покурил Савкова — да на печку, ближе к небушку... Работу, сказать тебе, дураки одни любят, вот что!.. На черта, друг с заплатой, воды не навозишься, хоть лопни... Я так рассуждаю: несчастные вы люди, вот что, да... Сволочь двужильная!..

И в этой смрадной яме, с постылым человеком, должна жить сестра моя — Матрена Сорочинская, Мишкипьяницы, последнего из последних человека, богом данная жена!..

Дома до самого вечера я упорно молчал, не говоря ни с кем ни слова. Мать несколько раз пыталась приласкать меня, но я отвертывался.

— Видно, бьет тебя хозяин-то, что ты какой пасмурный? — обняла она меня.

— Бьет. Уйди, не лезь!..

— А ты слушайся: в чужих людях строго.— Мать вздохнула, почесала за ухом и, переступив с ноги на ногу, обидчиво промолвила: — Зыкаешь ты, как шипучка, нельзя слово сказать; я, чай, тебе мать, не черт... Эх, детка, детка, много ты горя хватишь со своим поганым норовом!..

В сумерках мы остались вдвоем с сестрой. На взгляд она не изменилась — та же молчаливая, чужая.

— Замуж захотела? — подошел я хмурый.— За кого идешь? За Мишку-рвань?

Мотя не ответила.

— Слышишь? — повторил я.

Сестра с усилием разжала губы, прошептав чуть внятно:

— Слышу.

— Что же ты молчишь? Разговаривай!

Она опустила голову.

— Мне не о чем.

— Эх ты, стерва! — сжал я кулаки, но удержался и, припав к Моте, зашептал умоляюще: — Откажись, бога ради, не хочу, мол... Разве ж он жених тебе? Матреша, милая, родная моя, откажись!.. Хочешь, мы пойдем с тобою на чугунку? Матреша!..

Сестра крепко сжала мои плечи и зарыдала — долго, надрывисто, беспомощно... Всю боль, всю душу, кажется, хотела выплакать.

— Отец... он просит... как останемся одни, грозится... Голод у нас, а тот дает денег семь рублей... вино на свадьбу... Ему нету терпежу от смеха, что я — вековушка, а он смех не любит, а виновата — я: я непригожая, рябая, перестарок... Если б заставлял, я не пошла бы, а то просит, понимаешь, про-осит! — и забилась на руках у меня...

...Мотя, сестра ты моя милая, светлая!.. Сестра моя несчастная!..

На столе, на разостланной чистой скатерти, рядом с хлебом и солью, коптил ржавый светец. Когда двери в избу отворялись, пламя низко падало и меркло, лица покрывались темно-красным налетом, в углах и у порога бесформенными пятнами дрожала темнота. К потным окнам прилипла безглазая ночь, на дворе стонала

гукалка, шлепали по грязи лапти, в переулках лаяли продрогшие собаки, а с реки, словно в ответ им, гоготали потревоженные гуси.

— Пора бы уж, чего зря время проводить? — ворчит тетка.— Малаш, сколько рушников-то припасли?

— Четырнадцать да шесть для обихода,— отвечает мать.— Утирки окромя того...

Тетка косится на самодовольно улыбающегося Сорочинского, сердито сплевывает, поджимая тонкие губы, и, наклонившись к матери, тихонько шепчет:

— Черт лесной!.. Как будто для хорошего... Ишь, ножки-то расправил, крученый!.. Еще смеется, пакостник!..

— Начинайте, девки,— наклонилась мать к сидящим на кутнике подругам Моти.

Те тихо, неуверенно запели:

У ворот сосеночка, у ворот зеленая,
У ворот суряжена, у ворот украшена,
Колыбель привешена...

Белей муки́ в избу вошла сестра, пугливо оглядела всех и, крепко сцепив руки, замерла.

Глянув на нее, мать схватила себя за ворот рубахи и опрометью выскочила на улицу.

— Ишь ты — бзыкнула, шлея под хвост попала! — ухмыльнулся Сорочинский.

— Сиди, дворно́й, не тявкай! — подскочила к нему тетка с покатком.— Принесла тебя нечистая сила!

Мишка подмигнул девкам, поскреб в грязной голове и лениво полез за табаком, закрывая полою шубы драные колени.

Отец взял новую паневу, которую носят только замужние женщины, перекрестился на образа и, ни на кого не глядя, стал у лавки.

— Иди, Матреша! Иди, детка,— взяла тетка сестру за руку.— Становись на лавку! Ничего, ничего...

Мотя влезла. Низкий потолок мешал ей выпрямиться; она наклонила голову, ссутулилась, опустила вдоль туловища руки, медленно передвигаясь от залавка к конику и обратно.

Сложив паневу торбой, отец ходил за нею, приговаривая:

— «Прынь, прынь, мое дитятко, во вечный хомут!»

Остановившись и проведя рукою по лицу, сестра задумалась.

— «Хочу — прыну, хочу — нет»,— сквозь зубы прошептала она отвертываясь.

Мишка скалил зубы.

— «Прынь, прынь, мое дитятко, во вечный хомут»,— умоляюще проговорил отец вторично, снова расставляя перед Мотей, как кормушку с овсом, паневу. Руки его дрожали, голос странно прерывался и хрипел, длинные волосы на голове беспорядочно растрепались, а на лбу крупными каплями выступил пот.

— «Хочу — прыну, хочу — нет»! — все так же безучастно, все так же отвернувшись к стене, медленно, с усилием, прошептала сестра.

— Бросьте, ну вас к черту! — сплюнул Мишка.— Затеяли комедь, ядрена Фекла!.. На радости бы дернуть, а они слюни распустили!.. Девки, чего вы приуныли? Тяни веселее — по копейке на рыло дам.

Придержав большим пальцем ноздрю, он громко высморкался и зевнул.

Как во этой колыбели бояре качалися:
Боярин Михайлушка, боярыня Матренушка...—

подхватили запевальщицы.

С голобца захохотали набившиеся в избу парни.

— «Прынь, прынь, мое дитятко, во вечный хомут!» — в третий и последний раз вымолвил отец, стоя супротив сестры.

— «Прыну, прыну, батюшка!» — неожиданно громко, надтреснуто воскликнула сестра и, присев на лавку, опустила в паневу ноги.

Отец схватил ее за голову и судорожно прижал к себе.

— Сердце мое!.. Мотя!.. Детка моя!.. Девочка моя обиженная! — залаял и задергался он.

XVIII

С утра ходили «звальщики». Отворив в избу дверь к холостому парню, величали:

— «Александр Семеныч, приходи к нашему князю винображному, Михайле Игнатьичу, хлеба-соли покушати, добрых речей послушати, пожалуйста, не оставь».

Они — в праздничных поддевках, смазных сапогах и новых вышитых рубахах, важные, как старики.

С ранних петухов мать с теткою варили красное вино.

Подростки и бабы не пьют на свадьбах водки, и их обыкновенно угощают кагором или лиссабонским, но у нас не было денег на кагор, и тетка научила делать вино по-домашнему.

— Оно, Маланьюшка, еще слаще будет,— говорила тетка, засучивая рукава,— и в голове зашумит скорее, а то базарного-то бабы выжрут, спьяна, три ведра, рáзи его накупишься!..

Она варила в горшке тертую свеклу с перцем, а мать пережигала сахар. Красный свекольный сок, подслащенный топленым сахаром, наполовину разбавляли спиртом, кладя калган и еще какие-то коренья, получалась темно-красная, густая, похожая на кровь, приторно сладкая жижа, очень хмельная, при огне на вид — красивая. Десять бутылок этого вина нам хватило на всю свадьбу. Бабы пили его с удовольствием, после двух-трех рюмок пьянели, переходя на водку, а водкой потчевать дешевле.

Девки пекли куличи. Вечером, в лучших нарядах, с венками искусственных цветов на голове и с распущенными волосами, они сидели у нас на девичнике. В переднем углу — Мотя под кисеей, как под саваном, рядом — золовка, а кругом — подруги.

На середине стола — разряженный завитушками кулич, подальше — коврига хлеба с солью, на обоих концах — ветки сосны в пивных бутылках с лоскутами цветной материи, свинцовой бумаги и лесными орехами.

Приходили степенные мужики и нарядные бабы, истово крестились в угол, встряхивая волосами в кружок, не спеша доставали из-под полы краюху хлеба и, кладя на нее медяк, говорили:

— Матрена Петровна, мало примай, на бóльшем не осужай.

Сестра, беря хлеб, благодарила:

— Спасибо тебе, дядюшка, Василий Онисимыч! Спасибо тебе, тетушка, Настасья Ивановна! Приходите к столу яств-питьев откушати.

Когда время пришло, стала вопить:

Ох, д'уж, кормилец ты мой, родимый батюшка,
Петр Лаврентьевич!
Ох, д'уж, кормилица моя, родимая матушка,
Маланья Андреевна,
Да спасибо ж вам за хлеб за соль, за ласку-заботушку,
Да за прохладное-то житье, ох, да за девичье...

А девушки пели:

Как Михайла коня поил.
Лели-люли, коня поил,
А Матрена воду брала,
Лели-люли, воду брала,
Алли-лё-е!..
Приглянулась девка красна
Удалому молодчику,
Удалому молодчику —
Михайлушке Игнатьичу,
Лели-люли, Игнатьичу.
Алли-лё-е!..

Насмешкой была эта песня, издевательством. Может быть, другому кому-нибудь и под стать, но не Моте, не «удалому мóлодцу» — Мишке-пьянице, лоскутнику, лентяю, сифилитику... Но — таков обычай, таковы народные свадебные песни, что же делать?..

Взяв за рученьку за белу,
Ласково в глаза глядел,
Называл своею кралей,
В алы губки целовал,—

торжественно-печально пел девичий хор, как серебром, переливая слова песни игривыми: лели-люли, алли-лё!..

А Мотя в это время жаловалась кому-то, и жалобы ее, несясь в терцию выше и выделяясь из общей массы голосов, составляли печальную, на редкость простую и однообразную, но и на редкость красивую гармонию. Печальную, как вся ее жизнь, как жизнь народа, создавшего песню и жалобы, красивую, как молодость, как тихая, затаенная мечта о лучшей доле.

При горе и радости, при буйном разгуле и в черные дни, рождении, браке и смерти, при плодородии и голоде,— деревня знает свои песни — веселые или скорбные крики души.

Ох, д'уж покрасуйся ты, моя руса коса,
Ох, да уж на последнем своем на весельице,—
Не понравилась моему кормильцу-батюшке,
Не понравилась моей кормилице-матушке
Служба моя верная, безответная:
Ох, да отдают они меня во чужие люди...—

тоскливо жаловалась Мотя. Голова ее все ниже и ниже склонялась на грудь, в голосе звенели слезы.

А девушки-подруги пели:

Свет Михайла — словно сокол,
Чернобров, румян и статен,
Ходит, важно подбоченясь,
Вкруг Матренина двора:
Ходит лебедь, ищет, белый,
Лебедушку-девушку...

Мотя под конец не выдержала: долго сдерживаемые слезы прорвались, она упала головой на край стола и громко, на всю избу, разрыдалась как маленький ребенок, по-ребячьи всхлипывая и вытирая ладонями глаза.

Песня оборвалась. Срам — невеста плачет! Радовалась бы, вековушка!

Подруги бросились утешать сестру, прося перестать, успокоиться.

Чтобы не разрыдаться самому, я выскочил в сени, оттуда — в чулан. Прислонившись к мешку с зерном, там сидела мать и горько, горько плакала.

...Мотя!..

А из избы уже опять неслась свадебная песня, бойкая и жизнерадостная:

Из-за лесу, лесу зеленого,
Прилетали пчелы, пчелы золотые...

...Мотя!..

На другой день молодых перевенчали. Вечером, во время свадебного ужина, все мертвецки напились, не исключая и «князя винображного». На всю улицу горланили нелепые песни и прибаутки, бесперечь кричали «горько!», блевали тут же под столом.

В конце ужина отец подрался с зятем, споря о том, кто кого богаче и лучше. Им кричали: «Оба хороши!» Они не слушались, били кулаками по столу, швырялись посудой, сквернословили. Мишка выдернул отцу полбороды, а отец чуть не убил бруском его за это.

— Вши с голоду развозились! — смеялись потóм на деревне.

Ходили слухи, что после гулянья Мишка из мести к отцу побил Мотю, что первую и вторую ночь сестра не ночевала у него.

Правда ли это, я не знаю. Я вообще ничего почти не знаю. Не знаю, какова была сестра в церкви, что она чувствовала там — под венцом, как плакала ее душа. Я не хотел и не мог пойти туда, ибо до бешенства мне

стали ненавистны и до слез жалки эти несчастные люди, способные так мучить собственных детей своих, плоть от плоти своей. День и половину ночи я провел в лозняке, на берегу реки. Я думал... Впрочем, нет,— я ничего тогда не думал. Бродили какие-то обрывки мыслей в голове, какие-то слова; какая-то боль тупою теркой рвала сердце; минутами душила злоба, и хотелось выть, кричать, царапать тело...

В этот вечер я дал себе клятву не бить детей, не мучить женщин и не пить вина,— не жить вообще тою дикою, мучительною жизнью, какою живут *они*, а искать всеми своими силами лучшее, которое — я твердо верил — есть на свете.

Когда на деревне затихли последние пьяные крики, я, не заходя домой, пошел к тетке. Мать, конечно, была там.

— Буянят еще? — спросила она, приподнимая с лавки голову.

— Не знаю, я не был там.

Мать устало посмотрела на меня, качнула головой и, закрыв лицо руками, простонала с мольбою и страхом:

— Ваня, мальчик мой милый, неужто и ты когда-нибудь станешь таким же? Ванечка!..— и судорожно зарыдала.

— Не стану, мать! — воскликнул я.— Клянусь тебе богом, не стану! — и я опустился на колени перед нею, поцеловав землю в знак того, что мои слова правдивы и крепки.

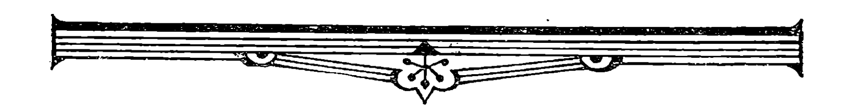
На заре я ушел из Осташкова.





РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ





НА РУБЕЖЕ

I

С шумом отворилась потная ржавая дверь пересылки, старик надзиратель просипел:

— Эй, вы, которые на Лужи, подымайсь!

В двухстекольные окна подвала, забрызганные со двора грязью и засиженные мухами, с узорчатой паутиной по углам, пробивается похожий на снятое молоко рассвет. В отдушнике над печкою, из-за проволочной сетки, коптит измятая жестяная лампа, бросая пятна светотеней на расплывшееся грязное пятно у параши, темно-бурые с похабными надписями стены и беспорядочно разбросанную храпящую и чмокающую груду серых арестантских тел.

— На Л-лужи! — сипит снова надзиратель.— Ай оглохли?

Согнувшись, он долго кашляет, придерживаясь за притолоку руками, и в такт ему звенят за поясом ключи.

В полутемном коридоре стучат кованые сапоги и приклады. Между стариком и притолокою просовывается молодое безусое лицо конвойного солдата.

— Черти, ж-живо! — Солдат подходит к бородачу-аграрнику, вчетверо согнувшемуся под нарами, и кричит, тряся его за полушубок: — Дядя! Дядя, в рот тебе сто двадцать восемь!

Хватая шапку и мешок с рубахами, Матвей Бирюков натягивает на себя казинетовую поддевку и, ежась от утренника и протирая сонные глаза, становится в порядок. В углу под лампочкой, окруженный взводом надзирателей, лопоухий, с проседью, помощник стучит карандашом, нетерпеливо спрашивая:

— Выдрин, все, что ли, там? Никогда у них порядка нет, у дьяволов!..

Он до боли стискивает руки и скверно, по-тюремному ругается, и на бесцветных, вдавленных глазах его навертываются слезы.

— Выдрин, с... с...!

Выпучив глаза, надзиратель дергается вперед и, прикладывая руку к поломанному козырьку, рапортует:

— Так точно, ваше благородие, виноват!.. Тридцать девять штук, а те, которые четыре в лазарете с тифом,— на другой этап...

Арестанты, сбившись в плотный круг так, чтобы не было видно задних, прячут в обувь табак, перочинные ножи и деньги; у выходной двери конвойные обыскивают принятых, заковывая их попарно в наручни; старший унтер-офицер с телячьими глазами раздает патроны.

Плотно прижав к волчку губы, из пересылки кто-то вполголоса зовет:

— Хведька!.. Слышишь?.. Хведька!..

— Я т-тебе дам Федьку! — стучит в дверь надзиратель.— Не наговорился, леший, за ночь-то!

— Он, паскуда, коты мои слямзил,— обиженно шепчет тот же голос.— Это не по-товарищески...

— Казенные? — Старик оглядывается по сторонам.— Эй, вы, кто тут у вас Федька? Чтоб сейчас коты налицо!

— Уж он их проиграл,— басит высокий молодой кандальник.

Держа в руках замызганный открытый лист, помощник, щурясь, глядит на арестантов.

— Глазунова...

— Глазунова! — подхватил фельдфебель.— Женчина Глазунова!

Тучный цейхгаузный, толкая в спину рыжего монаха в гимназической фуражке, отзывается:

— Сейчас придет, за ей уж побежали!

На лице помощника проступают багровые пятна; угрюмо глядя себе на ладонь, он сдержанно молчит.

Между конвойными замелькала белая барашковая шапочка, башлык с кистью и тонкое озябшее девичье личико с узлом под мышкою. Подойдя к столу, барышня вздохнула, оправила волосы, потупилась.

Ефрейтор осторожно взял из ее рук вещи, а помощник проверял ответы по открытому листу.

Сквозь лязг железа, топот ног и кашель слышится:

— Семнадцать... Елинск... год... Васильевна...

Вдруг из кучки конвойных, склонившихся над узлом, раздался взрыв хохота: черномазый солдат с косым раз-

резом узких глаз накинул на голову товарища женские панталоны. Девушка густо покраснела, на глазах блеснули слезы, пальцы судорожно затеребили конец башлыка: отвернувшись в сторону, она заплакала.

— Стыдно, господа конвойные! — крикнул Бирюков, шагая к старшему.— Зачем вы ее обижаете?

Тот удивленно посмотрел на арестанта, ловко цыкнул, растоптал плевок, подумал и сказал, обращаясь к своему сподручному:

— Носков, закуй его, черта лупленого.— Еще подумал, покрутил головою и добавил: — А, между прочим, обожди: сначала дай в морду, а потом закуй.

Бирюков ругался и кричал, отбиваясь, а солдатам это доставляло удовольствие: толкая его в спину и в затылок, они ржали, крутя Матвею назад руки, били по лицу и сквернословили.

— Она тебе, чай, не полюбовница, что ты сунулся не в свое место? — журил его дорогою к вокзалу белобрысый солдат, шагая рядом.— Эх, ты, дурак не нашего бога! Хорошо, что нынче за старшего Мурзилов, Василь Иваныч, а не Гривнин, было бы тебе по первое число, язык отсохни!.. Ты откуда?

Подергивая отекшими руками, Бирюков молчит, смотря в сторону, на кучу ребятишек, за которыми гоняется седой городовой в медалях. Дети, как пичужки, рассыпаются от полицейского во все стороны, но, как только он заглядится, снова догоняют этап и, сверкая плутовскими глазенками, кричат, подпрыгивая на одной ноге:

— Воры!.. Вшивая команда!.. Страхолюды!.. Жулики!..

Матвей улыбается.

— Иди ровнее, не зевай! — толкает его под локоть белобрысый солдат.— В затылок переднему гляди... Давно сидишь-то?

— Что? — оборачивается арестант, удивленно смотря на провожатого.

Конвойный до слез хохочет.

— Вить ты, парень глумнóй какой-то, глаза лопни! Дальний, говорю, ай как?

— Костюринский,— роняет Бирюков.

— Чернявского уезда? — Солдат вытягивает шею, смешно топчась на месте, и губы его расплываются в широчайшую улыбку.— Брат ты мой,— костюринский!.. Двенадцать верст от нас... скажи, пожалуйста!.. А я из

Треухова — Тит Калганов, не слыхал такого?.. Ах ты, штука с запятой... Ты чей же, а?

— Бирюков, учитель.

Конвойный свистнул.

— Та-та-та... Учитель!.. Я, брат, тебя знаю, как же!.. Книжки, все такое... Ты у нас на сходке был, как в Думу... Э, да господи, ну как же!.. Можно сказать: одной волости-уезду!.. Здóр-рово! Давно мотаетесь?

— Два года, третий.

— Здóр-рово! Два года, третий! Экая оказия, скажи на милость!

Солдат придвинулся вплотную к земляку и, опасливо глядя на фельдфебеля, важно шагавшего впереди этапа, прошептал:

— За «эту»?

— За «нее»,— также шепотом ответил Бирюков.

Солдат поправил шапку, наклонился.

— Перед призывом я тоже чуть не влопался... Разные слова, которые не нужны, а мы — выпимши... Сеня-дурачок бежит по улице, а мы кричи: «долой урядника!» — а он, шельма, за углом, урядник этот самый, у Кузьмы телушку торговал... Чик-брик на бумажку: «Тит Калганов, как тебя по батюшке?» — Солдат ухмыльнулся.— «Тит Калганов, как тебя по батюшке?» Эту штуку я произошел по всем статьям... По-моему, братуха, смерть пришла для черного народа, вот что... Вы где же это время были?

— Свет велик,— равнодушно глядя в боязливое лицо собеседника, проворчал учитель.— С фальшивкою поймали.

Конвойный то свистел, то передергивал плечами, то частил:

— Так-так... Одначе чудеса на белом свете, чудеса, лупи тебя медведь!..

Увидав оторванные фалды на поддевке Бирюкова, хозяйственно пожурил:

— Ишь, одежину-то располосовали, на гвоздь, должно быть, что?

На перекрестке двух улиц, рядом с земскою управой, группа оборванных мужиков, увидя арестантов, вытянула шеи, держа друг друга за плечи. Несколько человек торопливо разматывали холщовые кисеты, протягивая деньги длиннобородому старику в потертой капелюхе. Тот набожно перекрестился и, держа шапку в руках, направился к этапу.

— Несчастным... Христа ради...— проговорил он, подавая Калганову медяки.

— Т-ты... Прочь с дороги! — Солдат круто повернулся и со всего размаху, плашмя, хлястнул старика обнаженной шашкой по спине.

Перепуганный мужик шарахнулся в сторону и, споткнувшись о тумбу, упал вниз лицом.

— Еще ему! Еще, Калганов! — кричал обернувшийся фельдфебель.— Ишь ты, брыдло, суется!

Матвей крепко сцепил зубы и до самого вокзала не проронил ни слова.

В ожидании поезда партия остановилась у подъезда. На платформу высыпала куча жандармов и каких-то подозрительных господ с одутловато-сальными мордами. По-заячьи прокрался мужик; поджав хвост, пробежала рыжая, в дегтю, собака. От часовенки, закутавшись в пуховый платок, на этап внимательно глядела полусонная монашенка с крупитчатым лицом.

II

Осень. В вагоне душно и грязно. Разделенный квадратными решетками на три части, он похож на зверинец. Рядом с женщинами и каторжниками ползают по заплеванному полу дети, хватаясь ручонками за кандалы; несколько аграрников пьют чай из большого помятого чайника. Широкоскулый русый матрос, со шрамом во всю левую щеку, чинит куртку у окна, а напротив него дремлет монах в гимназической фуражке.

Матвей Николаевич забрался на среднюю полку. Подложив под голову мешок, он устало смотрит на серые привычные лица арестантов и зевает.

— Ново-Тугинская,— протяжно говорит матрос, глядя в окно.— Эко народищу-то на станции!..— Широко улыбаясь, грозит кому-то пальцем: — Смеются, черти!.. На воле-то вам хорошо, жуликам!..

Монах вздыхает.

— Что, отец, али живот болит? — обращается к нему матрос, вдевая нитку.

— Скушно что-то...

Матрос щурится.

— По обету или добровольно?

Монах молчит. Учитель улыбается. Матрос собрал

лицо в морщины и хохочет молодо и звонко. Каторжники вторят.

Темно-серые поля пустынны. На выбитых зеленях кое-где торчат лохматые телята и стреноженные лошади. Вдоль полотна, за молодым кудрявым ельником, рабочие становят на зиму щиты. В вагоне темно, душно.

Бирюкову ехать семь пролетов.

Поезд мерно покачивается, сухо щелкая на скрепах, подчасок — тупой, прыщеватый парень — гнусавит «Разлуку», невидимый рассказчик из второго отделения скучно тянет простуженным голосом:

— Пошли, конечно... Все честь честью, а потому — казаки... Я, признаться, малость дербалызнул на покосе... Что, самделе, думаю: миром, стал быть, миром!.. Навязал на держальник женин красный платок, сел верхом на кобылу да по деревням: сообча, мол, братцы, помогайте, раз слобода, надобно в тружеб, в лепешку!.. Ан, к чему дело — ты, бат, аратур, язви их в сердце!..

— Много? — спрашивает собеседник.

— Нет, мало! — горячится рассказчик.— Рестанских рот три года да под следствием семь месяцев... Зачинщик, бат, тебе, бат, век надо в остроге вековать!.. У-у, аспиды!..

— Поря-адочно!..

— Еще бы те!

Бирюков прислушивается.

— Земляк, обидно, что ли? — кричит он.

Между лавок просовывается лохматая желто-серая голова, нос в прыщах и коричневая с кустиком длинных черных волос бородавка под левым глазом.

— А то разве не обидно! — восклицает словоохотливый арестант.— За женин грязный платок да что раз на колокольне позвонил, как отбивались от полиции,— пошти четыре года, а за что, скажи на милость?.. Слов нет, стражники наелись шишек, но ведь я-то был на колокольне!..

Старик в досаде сплевывает и вдруг, схватившись за упорки, изумленно раскрыв рот, высоко, не по-старчески подпрыгивает, во все глаза глядя на Матвея.

— Микалаич, это ты? Ребята, Микалаич наш!.

Матвей, вглядевшись, тоже ахнул.

— Фокин! Дядя Павел!.. Откуда бог несет?..

— Несет,— осклабился старик.— Из Кельцев бог несет... из Ке-ельцев...

Снизу вынырнула еще голова и еще. Вцепившись ху-

дыми, отвыкшими от работы пальцами в решетку, на Бирюкова смотрят три пары заблестевших глаз и три рта широко и ласково улыбаются.

— Микала-аич!.. Дру-ух!.. Все ли живы-здоровы, милачек?..

Обрадованный учитель прильнул вплотную к толстой проволоке, отделявшей их друг от друга, и, возбужденно счастливый, словно встретил близких родственников, с которыми уже не было надежды увидеться, приветствовал земляков.

— Домой идете?

— Домо-ой, Микалаич, домой, в Костюрино... Отдежурили, что надо, и — домо-ой... Худой-то ты какой, а? Бердо бердом, а? Домой, родной,— пора!..

— На Тычинки!.. На Чернявск! — выкрикнул старший конвойный.— Приготовься!..

Вечерело.

III

Лежа вверх лицом на грязных нарах низенького этапного двора, расположенного на станционном поселке, Матвей Николаевич слушает жалобы крестьян. Их шестеро: высокий, с огромным носом и глубоко засевшими острыми глазами, сухой, но еще гибкий старик Никита Карасев, костюринский коновод; рябой круглолицый Демьян Прямых, тихий и скромный мужик лет под сорок; братья Губановы — Николай и Федор,— один, старший, смуглый, крепкий, как коряга, жилистый; другой, Федор, голубоглазый, весельчак, здоровьем хилый; Павел Фокин — бывший земский гласный, и шестой — узкогрудый, на скорую руку из кривых жердей сколоченный, молодой, безусый парень — Игнашка Затореный, Фокина работник.

В осеннюю разруху пятого года костюринцы, записавшись всем обществом в крестьянский союз, устроили свой суд и свою правду на селе, но в июне следующего года, когда брожение в уезде притихло, их за эту правду отлупили нагайками, а «Выборный совет» запрятали в тюрьму. Озлобленные «братчики» под предводительством Никиты Карасева, человека до тех пор не принимавшего участия в новых распорядках, сожгли имение N-ского губернатора, расположенное рядом с деревней, а приехавших на выручку стражников избили и обезоружили.

Эта звездная летняя ночь глубоко засела в памяти костюринцев.

Был покос. С раннего утра деревня выехала в поле. В полдень из Костюрина верхом на стригуне примчался весь в слезах, исполосованный, Павлуша Шеин, восьмилетний мальчик.

— Справник!.. Казачишки!.. Становой!.. По головам!.. По чем попало... Бабушка Наталия этак на борону... Всех избили... Батюшки!.. Совет допытывались, где совет?.. Совет нам, бают, надобен... В острог их...

Мужики побросали работу и, столпившись вокруг обезумевшего Павлуши, наперебой расспрашивали о случившемся. И не успел он толком рассказать, как бабы завизжали:

— Едут! Едут!..

На косогоре, против солнца, по узкой тропинке меж хлебов мчалась пролетка в паре, а за ней гуськом отряд вооруженных казаков.

— Бери косы! — закричал, выскакивая вперед, старший брат Губанов — Николай.— Ребятишки, в сторону! к реке!

Саженях в пятидесяти перед ощетинившеюся толпой отряд остановился. Исправник, тучный, краснорожий, в белом кителе, приподнялся на пролетке и, махая руками, крикнул:

— Сложи косы!.. Староста!

Никто не шелохнулся.

— Косы, мать вашу!..— побледнел исправник.— Стрелять буду!..

Мужики плотнее сдвинулись, дыша одною грудью, чувствуя биение единого большого сердца.

— Ко-ос-сы!..

Молчавшие бабы вдруг с гиком, как галки, метнулись к казакам навстречу и, размахивая граблями, завыли:

— Режь!.. Стреляй!.. Губи, разбойник!..

Казаки подняли ружья, бабы шарахнулись в сторону, сбивая с ног друг друга. Вслед им понесся хохот, свист и матерная брань. Мужики еще плотнее сбились в кучу, заскорузлые руки еще крепче впились в косья.

Развернувшись цепью, отряд подошел к толпе почти вплотную, молча и злобно направив поблескивавшие на солнце дула винтовок в потемневшие мужицкие лица и распахнутые груди. Рыжий высокого роста становой словно нехотя вытащил из кобуры револьвер и, держа

его со взведенным курком впереди себя, медленно пошел к толпе.

Все замерли.

Упорно глядя в лица, становой подошел к переднему — Мосею Криволапову, длинношеему чахоточному мужику, и два разъяренных человека, окаменев, долго-долго смотрели друг другу в глаза.

— К-косу... дай...— чуть слышно прохрипел пристав, шагнув вперед, и гладко выбритый подбородок дрогнул, щеки опустились вниз, а левое веко замигало и задергалось.

Мосей рванулся, не в силах оторвать своих глаз от режущего взгляда полицейского, раскрыл черный рот и тихо, словно сонный, выпустил косу из рук.

— Отойди... сюда...

Становой неопределенно махнул отяжелевшею непослушною рукою в сторону.

Мосей, шатаясь, отошел шага на четыре от толпы и сел на корточки, бессмысленно качая выцветшею головою.

— Косу... дай...— все так же хрипло проговорил становой, беря за руку следующего мужика, Власа Чепуху. Влас, щелкая зубами, так же молча отдал косу и, так же бессмысленно моргая ресницами, поплелся к Криволапову.

И, зараженные безволием, мужики, как лунатики, один за другим совали в руки полицейского свое оружие, переходя на другую сторону. К сверкающему на солнце вороху лезвий, похожих на огромный, свившийся узел змей, подошли четыре спешившихся казака.

Потный, уставший становой тупо осмотрелся, вытер платком бледное лицо и не то брезгливо, не то жалостливо губами, странно передергивавшимися, скомандовал:

— Донцы, вперед!.. В нагайки!..

Казаки, как ветер, налетели на мужиков, подмяли их, в воздухе замелькали срываемые с баб платки, грязные поднятые вверх руки, розовые плеши и расплющенные концы перевитых проволокою нагаек. Словно частый дождь по мягкой пыли, зашлепали удары, толпа завыла, заметалась в тесном кольце разгоряченных лошадей. Обезумевшие бабы впивались зубами в колени казаков, царапали лошадиные морды, катались в истерике. Немногими имевшимися в кармане ножами-складенями мужики подрезали лошадям щетки, распарывали животы. Удары неслись все звучнее и звучнее, превращаясь

в непрерывный свист. Казаки уже соскакивали с лошадей и били направо и налево прикладами; то там, то тут сцепившиеся пары, на минуту замерев в попытке смять придушенное горло, грузно падали на землю и катались, как разъяренные звери, пьяные от крови и ран, по скошенной траве, грызя друг другу пальцы, уши, разрывая и царапая ногтями щеки...

Прижатые к обрыву люди побросались в реку; сверху по ним уже неслась ружейная стрельба. Мужики зарывались головами в хворост, в ил, в песок, окунались в воду или, подняв руки вверх и безумно таращa налитые кровью глаза, с тоскою и ужасом кричали что-то.

Исправник прекратил побоище.

Вытирая рукавами пот и злобно глядя под обрыв, казаки нехотя построились в порядок.

— На берег, мер-завцы! — подавшись к реке, закричал исправник.— Стрелять буду!

Примолкшая толпа опять завыла.

— Полусотня, п-пли!..

Поверх голов раздался залп. Сверля воду, зацокали пули, с тростника и вереска на противоположном берегу посыпались дождем листья.

— На берег!

Как стадо замордованных животных, сжавшихся, дрожащих, жалких до брезгливости, костюринцев окружили.

По списку полицейский отделил двенадцать стариков, членов «Выборного совета».

— В город их,— небрежно бросил он урядннку, садясь в пролетку.

...Вечером, как яркая свеча, пылало барское имение. С деревянной колоколенки, освещенной красноватым заревом, гудел, и звал, и плакал колокол, по улице сновали люди, и среди них, до слез возбужденный, длинный, тонкий, неуклюжий Игнашка Замореный, сирота, не видавший в жизни радости, звонко, истошно кричал:

— Братцы, берет наша!.. Милые, родные, берет наша!..

А на мосту напоровшихся на опрокинутые вверх зубьями железные бороны стражников мужики во главе с Никитой Карасевым били поленьями, шкворнями, тяжелыми водоносами и молотками...

IV

...Все шестеро худы, как скелеты, лица землисты, головы и уши в струпьях, а руки в коросте. По ветхой казенной одежде, собранной из лоскутков и перебывавшей на сотне плеч, по грязным шеям и лицу ползают крупные тюремные вши. Коптит лампа. По грязным стенам деловито разгуливают блестящие тараканы; за перегородкою, разделяющей избушку на две половины, шепчутся, позвякивая чайником, конвойные.

— Господи, да что же это за народ? — приподнявшись на локте, спрашивает Карасев.— Расея-то, а? Миколаич, а? — И протягивает жилистые руки к Бирюкову.— Есть на земле правда, Миколаич, а? Скажи мне, для Христа!..

Сбросив рваные коты и высоко завернув рыжую штанину, согнувшийся у лампочки Игнашка отколупывает струпья на колене.

— Что же это за земля наша такая, что никто приюта в ней не знает, что все позорят и клянут ее, как злую мачеху, Миколаич, а?

— Гниет, чума ее возьми,— бурчит Игнашка.— Куда ни глянь — везде короста...— Щурясь, отчего лицо его становится острым, он присыпает язвы табачным пеплом.— В брянской пересылке, эх, и драка была онамедни...

Мечтательно глядя на кривые, глубоко вросшие в тело ногти, он улыбается:

— Как у собак отросли... Приду домой, первым делом вымоюсь горячей водою, вторым — надену чистые штаны с рубахой, опосля коровьим маслом ногу вымажу.

— Керосином лучше... или чистым дегтем с редькой,— советует Фокин.— На ночь... Печь пожарче, на печь — поскони, зарыться в нее, и лежи...

Подложив под голову руки и глядя в распазившийся, со множеством гладких сучков потолок, Демьян Прямых вздыхает:

— Эх, и велика же она, матушка!.. Эх, и велика же!.. Наше царство-то!..

Наклонившись к Бирюкову, он торжественно шепчет ему в ухо:

— Три с половиною недели шли этапом... И все мужики везде, все мужики, все мужики!..

— И все оборванные, как мы, и все — нищие! — отвернувшись к стене, сплевывает Николай Губанов.—

И всех вошь заела, и все хамы, шапкодеры, все — полоумные!..

— Эх, и велика же она, родная! — нараспев твердит Прямых.

— Если бы порядок был,— снова наклоняется к Матвею Карасев,— друг ко другу со вниманьем бы, Миколаич, с толком бы, с любовью, а?.. Грамоту бы в деревню, книжечки, людей бы умных, знающих... Господи, да неужто нельзя устроиться, да неправда, что мы — звери и скоты, да нам дохнуть же нечем, посуди-ка... Миколаич!..

Он, взволнованный, смолкает. Дребезжит телега. Николай развешивает над отдушником портянки.

— А леса-то какие я ви-дал, батюшки мои! — прерывает тишину Прямых.— Сосны, ели, сосны... целый день по соснам ехали... И аграмадина, толстущие, которые выше церкви, убей меня бог!.. А ре-еки!.. В Ярославле... Посадили нас на баржу, летом было дело, перед троицей, я испугался насмерть. «Головушка моя горькая,— кричу,— пропал — на остров Соколин везут, за море!..» А уголовщина смеется: «Грач беспутный, да это — Волга-матушка», да и запели: «Вниз по Волге по реке да с Нижня Нова-города...» Ехали-ехали поперек-то, ажно с версту откатали, а на той стороне — тоже люди, и тоже русские, и все — мужики, мужики, мужики... Господи, царица небесная, где их только нету, миленьких!..

— А мы в Кельцы все по каким-то кручам да болотам ехали,— ухмыляется Игнашка.— Сначала — ничего себе, жить можно, а потом пошли поляки... Та-ла-ла, пши-ши-ши,— ни черта у них не разберешь, шипят, как змеи!..

Доселе молчавший Фокин отозвался из угла:

— А, между прочим, Миколаич, матерно ругаются по-нашему.

— Немного пришепетывают,— поправил его Игнашка.

— Тоже — Расея? Там-то? — обернулся к нему восхищенный Демьян.

Замореный подумал и ответил:

— Черт ее знает! Я, признаться тебе, не спрашивал... Та-ла-ла, пши-ши-ши — только у них разговору, да еще: москаль, пся крев.

— Расея, беспременно! — умильно крутит головою Прямых.— Не может этого быть, чтобы ты в чужой земле сидел!..

— А тебе, одру, не все равно, где тебя лупят — в Расее али на Капказе! — порывисто поднимаясь с нар, закричал Николай Губанов.— Разве не везде нам тошно?

Демьян конфузливо смеется и, придвинувшись к учителю, тихо шепчет:

— Вот всегда так: не дает слова вымолвить.

Игнашка снял рубашку и копается под мышками.

Острые лопатки и ребра, обтянутые желтой кожей, в прыщах и расчесах. Грязная спина изъязвлена.

— Слушай, Миколаич, говори от сердца: будут правда и порядок на земле? — смотрит испытующе в лицо Матвея Карасев.

— Будут,— уверенно и радостно отвечает учитель.

— Жить, стало быть, надо, и дело делать надо, а? Измучили ведь нас!..— Старик молитвенно сложил худые руки и привстал.

— Надо, непременно надо!..

V

На заре прошел дождь. Забрезжило туманное, серое утро. С севера поднялся резкий ветер, и в трубе заохало и загудело. Тревожный сон измял лица, разломил больные кости, налил свинцом головы.

Торопливо выпив чай и съев по большому ломтю круто посоленного хлеба, арестанты ощупью спустились по ступенькам грязного осклизлого крыльца, выстроившись в ряд. В серой мгле сновали люди, мокрый скот и грязные собаки. Туго перетянутые по серым шинелям кожаными поясами, укутанные в башлыки, солдаты расставили мужиков попарно, ефрейтор стал впереди, четыре по бокам, а унтер-офицер, гибкий щеголеватый парень, с парою еще новеньких лычек на погонах,— в хвосте. По команде старшего конвойные, среди которых были односельцы арестованных, на глазах их зарядили ружья. Мужики дрожали от озноба.

— Правое плечо вперед, шагом арш! — бросил унтер.

— Кирюш, домашние-то живы? — обернулся к нему Фокин.

— Живы, живы, что им сделается, живы.

Молодцевато повернувшись на каблуках, унтер крикнул уголовному:

— Ты чего хромаешь, а? На подводу садишься, паршивец? Иди в ногу!..

— А хлебушко-то уродился нынче? — не унимался Фокин, вытягивая шею.

— Иди, дома расспросишь,— толкнул его под бок другой конвойный.— Дома все узнаешь.

Унтер молчал. Поравнявшись с церковью, он сдернул бескозырку, истово крестясь, но, заметив в руках уголовного цигарку, стал хлестать его кулаком по голове, матерно ругаясь и вырывая окурок.

За водокачкою, миновав железнодорожное училище, открылся, обсаженный по обеим сторонам сутулыми ракитками, большак, ведущий на Чернявск.

— Теперь можно вольно! — крикнул унтер-офицер, подбегая к Карасеву.— Отбыл, Павлыч, срок?

— Отбыл, отбыл,— с готовностью ответил старик,— отбыл...

Солдат вздохнул.

— Трудно, поди, было?

— Трудно, милый, как не трудно... Голод, холод, надругательства— кому они сладки? И все от свово брата, не хуже вот тебя, все — от мужика... Когда свой-то бьет — больнее телу... Трудно, паренек.

— Служба,— проронил солдат, потупясь,— разные присяги, чиркуляры... С нас ведь тоже строго спрашивают.

— И еще спросят, деточка, еще спросят! — горячо воскликнул старик.— Придешь в деревню, а там спросят.

Отвернувшись от солдата, он поджал синие губы и, нехотя цедя слова, добавил:

— Строго ли — не знаю, но спросят, жди...

Бирюков идет с Игнашкой.

— Почему вас разогнали так далеко? — спрашивает он.— Одних в Кельцы, других в Вологду?

— Не знаем,— разводит длинными руками парень.— В наших местах будто каторгу затеяли.

Дернув головой, Замореный ухмыляется:

— Мы ведь, Миколаич, с Фокиным во Святом Кресте сидели, дай бог провалиться! На горе крутущей, кругом — лес дремучий, в лесу — роты, Святой Крест... Фокин, правда?

Фокин оборачивается:

— Верно, Миколаич,— Святой Крест... Верст тридцать пять за Кельцами... Монастырь был, видишь ли, разноверные монахи жили, а пошла в жизни перетряска — арестантов насажали.

Выбирая где посуше, он кряхтит:

— Поди, ждут теперь домашние-то: как отбыли срок, письмо им написали...— И, махнув рукою, добавляет: — У меня, Миколаич, девчоночка есть, внучка; вот теперь беда мне: батя, скажет, где ты был, в остроге? Ты, скажет, теперь арестанец без прав состояния?

— Сейчас вот спросит! — сердится Губанов.— Ложку еще мимо рта проносит, а уж «без прав состояния»? Не тявкал бы на старости годов!.

— Почему же? — слабо защищается старик.— Наслушается, что большие говорят, да и станет попрекать, разве она чего понимает?..

В пелене редеющего тумана над пустынными полями выплыло осеннее солнце, похожее на несвежий яичный желток. Проходили шаткий мост через реку Рыбницу. Вода под сваями — темно-зеленая, а выше — пепельная, с перламутровыми блестками.

— Поля наши скоро! — обернулся шедший впереди всех Федор Губанов.— Поля скоро!..— Он счастливо засмеялся.— Поля скоро!..

Мужики подняли головы и бодрее зашагали. Разговор сразу умолк. Под ногами чавкала жидкая грязь, туман сползал в лощины, легкий ветер рябил лужи в колеях.

...На рубеже между барским картофельным полем и костюринскими полосами стоял дуб, разбитый молнией, рядом с дубом — большой деревянный крест, посеревший от погоды, в кресте — икона: покров божьей матери. Первым подбежал Игнашка к рубежу. Он долго смотрел на дуб, с детства ему близкий, на перекладину креста и на икону, мял в руках худую шапку, суетился во все стороны, счастливый...

— Вот и дома! — весело сказал он, обернувшись к мужикам, но лицо его вдруг сморщилось, щеки задергало, из воспаленных глаз брызнули крупные слезы. Он обнял ветхое дерево, крепко прижался головою к перекладине и горько заплакал, вздрагивая больным телом.

Тяжело дыша и спотыкаясь, на рубеж взошел Никита Карасев. Став к востоку лицом и глядя потемневшими глазами в красновато-золотистое пятно мерцающего солнца, молча снял картуз, размашисто перекрестился и, опустившись на колени, протянул бледные руки к пробивающейся нежной озими. Наклонившись, прижался вздрагивающими губами к мокрому кому земли и за-

мер... Возле него опустились Павел Фокин, Прямых, сзади — Бирюков.

Конвой молчал, стоя поодаль. Шелестели ветви дуба. Ветер, налетевший из лощины, пригибал полынь к земле.

— Мать наша сиротская! — громко, со слезами воскликнул Карасев, обнимая и целуя родную землю.— Кормилица наша милая!.. Возьми к себе наше горе... впитай в себя наши слезы... Мать наша, заступница!

Прямых молился, неподвижно устремившись восторженными глазами на восток. Ветер шевелил его русую бороду, забирался под распахнутый халат на грудь.

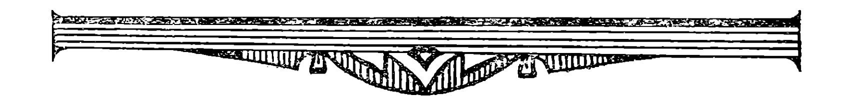
А Игнашка, все так же прижимаясь к кресту, стонал и бился, как птица.

— За что?.. За что они меня?.. За что они?.. Крестичек ты мой, за что они?

Фокин окаменел, лежа пластом. Бирюков и Николай Губанов стояли потупившись.

По небу непрерывной чередою плыли облака. Бесшумно опускались золотые листья с дуба.





ОСЕНЬЮ

Это было тяжелое время. За лето тюремный корпус два раза обстреливался войсками. Всех, в ком еще не заглохло сознание человеческого достоинства, гноили в подвалах, темных сырых карцерах, башнях. Вместо прогулок — десятиминутные маршировки со вздваиванием рядов, оборотами направо и налево, по-военному.

Били смертным боем.

Люди вешались, жгли себя, вскрывали стеклом артерии, обезумев, набрасывались на стражу только для того, чтобы их пристрелили.

И вот в такую-то несчастную пору привели к нам девушку. Даже не девушку, а девчоночку,— такая она была молоденькая, маленькая, хрупкая.

Был октябрь. С полудня за окном выл ветер, хлестал дождь, темь на дворе была непроглядная. В нашей камере было холодно и сыро, как в могиле.

Прижавшись друг к другу, мы сидели на нарах, слушая рассказы старого бродяги о Сибири. Мишка повесил над лампою чайник, я курил, Беляев, нищий, старый сифилитик, чинил брюки, Воробьев играл с ручной мышью Маремьяной, а Зарубкин рассказывал:

— Попросишься, бывало, у чалдона ночевать, нахватаешься мяса, пельменей... Вот ты, братец ты мой, лезь на печку и говори им сказки, желторотым... Как робятье!.. Раз на Ангаре, в селе Бакчетском... Не-е... кажись, не на Ангаре...

Зарубкин — высокий, жилистый, полуседой старик с продолговатым лицом, бывший слесарь, фальшивомонетчик. На правой щеке его — глубокий шрам от сабельного удара, лицо от шрама кажется лукавым, серый глаз

подмигивающим. Он честен, прост, не величается перед шпаной и нами, аграрниками, но к политическим за их физическую слабость относится презрительно.

— Дело, не хуже этого, по осени. Наш брат, обратник, вольная птица, к тому времи вылетает из тайги...

Зарубкин закладывает назад руки и, шагая по камере, тихо улыбается:

— Приютец промышляет, милый...

Вдруг заскрипела наружная дверь, шаркающая походка старшего надзирателя Воротникова, раздался окрик:

— Болтаев!

Задремавший дежурный выронил ключи; по гулкому коридору звонко звякнуло железо об асфальт.

Мишка и Воробьев, самые любопытные наши сокамерники, тихо подкрались к волчку.

В одиночке против нас зажгли лампу и отвинтили парусиновую койку. Загремела параша.

Опять послышались шаги снаружи.

— Кого-то ведут, должно быть, новенького,— передавали наши соглядатаи.

Потом Воробьев сладко зажмурился, поднимаясь на цыпочки:

— Па-арышня!..— Лицо его расплылось в довольную улыбку. Мы вскочили.

— Барышня?

— Па-арышня! — шептал он.

В коридоре спиною к нам стоял помощник, рядом — темная фигура в котиковой шапочке с накинутым поверх ее серым шерстяным платком. Рядом с дородным, широкоплечим помощником она казалась тоненькой как хворостинка.

— Знать, поличическая,— отсовывая от волчка Воробьева, говорил Мишка.

— Кто же больше, знамо поличическая: в шапочке,— юлил Воробьев, подлезая Мишке под локоть.— Ты, нуко, Мишк, чуточку подайся, а то мне не видно, посторонись малость...

Девушка повернулась. Обрисовался тонкий профиль с заостренным носиком, розовые губы. Над левой бровью свесилась прядка светлых волос, на них серебрились капельки дождя.

— Какая худенькая, деточка! — сказал, качая головой, старик Богомолов.— На мою Катюшу похожа.

— Молоденькая!

— Небось из господских каких...

Хлопнула дверь, завизжал ключ, барышню «завинтили».

Опять зашуршали шаги тюремщиков. Смолкли. И наступила та зловещая острожная тишина, от которой бессонными ночами болит сердце и хочется плакать.

Свернувшись калачиками под вытертыми одеялами, мы долго разговаривали о новой жиличке: кто она, надолго ли, как перенесет нашу страшную жизнь.

Серое утро встретило нас возбужденными. Мы поминутно подбегали к волчку. Истомились в ожидании поверки. Наконец дверь ее открылась. Девушка с полотенцем в руках вышла умываться.

— Белобры-сенькая! — тянул все тот же Воробьев, примащиваясь впереди всех у волчка.— С мылом духовитым моется... ковыряет в роте палочкой... руки — соломинки...

— Мне она вчера муругой померещилась,— промямлил нищий, копаясь за бушлатом.

— Как ты вот, ноздря рваная! — окрысились товарищи.— «Муругая», дурак гнилой! Разве это лошадь, что ты на ее — «муругая»?.. Сказал бы: темненькая, ежели так показалось... А в самом деле, где же она темненькая, она белесая... белая, как...

Не знали, с чем сравнить.

— Как сахар, али как снег,— нашелся Мишка.

— Ловко! — прогундел нищий.— Как деготь!..

Услыхав шум, надзиратель застучал в наши двери.

— Здесь сидят политические? — спросила новенькая.

— Нет, разные... которые за воровство,— нехотя ответил дежурный.— Конокрад, монетчик, нищий — в церкви захватили, четыре деревенских забастовщика...

Она подскочила к волчку.

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравствуйте, здравствуйте! — хором ответили мы. А Воробьев, как мяч, подкатился к дверям:

— Хорошо ли ночевали на новой фатерке?.. У нас, низвините, клопики!..

— Нельзя этак, воспрещается,— подошел надзиратель.— Бож-же сохрани-помилуй, начальник заметит!..

— Да ну, полноте, почему? — удивилась девушка.

— Нельзя. Вы наших порядков не знаете. Обживетесь — увидите. За это в карцер сажают.

— Ого,— сказала девушка,— у вас строго.

— Очень даже строгая дисциплина. Начальник — он у нас шутить не любит...

В семь часов она пила чай, в одиннадцать гуляла. Лицо у нее было будто прозрачное, глаза — серые, светлые, радостные. И казалось, свет к нам заглянул через высокие стены. С большим интересом она разглядывала тюремный двор, часовых, выстроившихся вдоль стен, останавливалась перед башнями, в которых сидели смертники. Увидя в окне нас, кивнула головою:

— Поглядываете?

Воробьев отчаянно замахал руками — молчи, дескать, — а она не поняла и засмеялась, стоя напротив.

Постовой закричал, подбегая к окну, но мы уже спрыгнули. Он доложил Воротникову, тот ругался и бил Мишку, говоря:

— Это ты, стерва, лазил; я по глазам вижу.

В обед другой надзиратель учил барышню, как при встрече с ним она должна говорить: «Здравствуйте, господин надзиратель», а помощникам — «Здравия желаю, ваше благородие».

Девушка смеялась.

— А еще что?

— Еще: стоять смирно на поверке, петь молитвы...

— На коленях?

— Нет, стоя.

— То-то. И перед начальником не нужно становиться на колени?

Мы с восторгом слушали этот озорной разговор ее, перешептываясь:

— Вострая заноза! Так и режет.

— Обучена хорошо, — вздохнул Зарубкин, — всякую загадку отгадать может. Наш брат в таком разе матерно улупит, а она по-благородному... Может, она генеральская дочь?..

Первая вечерняя поверка обошлась благополучно. Дежурным помощником был тихий, застенчивый Варварин, любимец арестантов.

Когда распахнулась дверь в камеру девушки и надзиратель крикнул: «Смирно! Встать!» — она вздрогнула от неожиданности, но не поднялась. Помощник что-то говорил ей, девушка волновалась, и мы волновались, потому что не могли представить, как можно бить или ругать погаными словами эту хрупкую девочку, ребенка. А ждали этого. И это должно было случиться.

— Да нет, пожалеют, что там... Разве можно этакую трогать!..

Арестована она была во вторник, в среду дежурил Варварин, а в четверг — Глазков-Костоправ. Мы измучились, ожидая вечера. Еще утром, едва продрав глаза, нищий Беляев прогнусил, лежа на нарах:

— А нынче — Кустоправ, подтянись, народ!..

Мы стали чистить и мыть свою камеру, натирая керосином пол, скобля стол и нары, выковыривая каждую соринку из щелей. И все думали полный день: «Что-то будет? Что-то нынче будет?..»

Глазков, рябой фельдфебель с рысьими глазами, прежде служил писцом в тюремной конторе. Грубым отношением к арестантам он обратил на себя внимание тюремного инспектора и для пробы был назначен «практикантом». В первые же три дежурства Глазков исколотил всех. Инспектор, довольный выбором, утвердил его.

Боялись Костоправа все неимоверно. Достаточно было возгласа: «Глазков идет!» — арестанты шалели, становясь белей стены. Все, как овцы, начинали метаться по камере, и в глазах каждого светился ужас. В широко распахнутые двери помощник входил торжественно, по-королевски, выпячивая грудь, ставя ногу твердо, внушительно, на всю подошву.

— Ди-журнай!

Говорил сквозь зубы. Подражая инспектору, картавил. Дежурный по камере арестант выступал из шеренги.

— Это ч-то?

Шашкою Глазков указывал на сорный ящик.

— Ящик, ваше благородие... ящичек... для мусора...

Молча Глазков хлопал арестанта по щеке.

— Св-волочь, вижу: ящик! Как? А мусор где?

— В-вынесли... в-вынес... на дворе мусор...

— Я тебя об этом и спрашиваю, олух! Стань на место!..— Торчмя Глазков совал шашкой в его спину.

Потом с правого фланга бил подряд, через одного, через двух, смотря по настроению: пришита пуговица не на месте, смотрит невесело, рожа толстая, рожа тонкая, обувь не в порядке...

Трясущиеся арестанты теряли речь.

Помощник пил. Однажды пьяный он зашел в Большую камеру, в которой было свыше шестидесяти аграрников и уголовных. Поздоровавшись, Глазков стал впереди шеренги, брезгливо оглядел всех и неожиданно заорал, топая ногами:

— Вы чего растрепали губы? Живется плохо? Хлеба не дают? А на ворота сушиться? Ч-что?.. Гляди веселее!..

Стиснув зубы, он метнулся на шеренгу.

— Смейся, мать вашу перемать, а то зарублю!..

Аграрники с воем бросились было под нары, но одним прыжком помощник пересек им дорогу, раздавая направо и налево оплеухи.

— Гляди веселей! Смейся!.. Живьем закопаю в землю!..

Бешеный, нелепый, он размахивал шашкой над головами заключенных, матерщинничал, как собака.

Выручили уголовные: один, другой, колотясь от страха, жиденько, насильно засмеялись. Кто-то завизжал. Кто-то заохал, захлипал. Загудели сбившиеся в кучу мужики-аграрники. По камере метался дикий гул, с каждою минутой разрастаясь шире и громче.

— Веселее, черт вас подери! — орал помощник.

Арестанты подхватили еще громче и надрывнее.

— Веселее!..

Из коридора, вторя, несся дружный хохот столпившихся надзирателей, а шестьдесят глоток ребели, кашляли, люди извивались как сумасшедшие.

...В семь часов под воротами пробил звонок. У нас даже дыхание притихло.

Костоправ ворвался с обнаженной шашкой, махал шашкой перед лицами. Бил нищего.

— На молитву!..

Запели, что полагается, торопясь и проглатывая слова: хотелось услышать, что будет в одиночке.

Когда тянули «достояние твое», Воробьев не утерпел и шмыгнул к волчку; за ним, кряхтя, потащился Беляев.

— Эх, влетит вам, ребята! — крикнул Зарубкин и тоненьким голоском стал замысловато выводить:

— На супроти-э-вные-да-ва-аруяй...

Окончив молитву, мы разом бросились к дверям, но Беляев обернулся и вымолвил, щуря глаза на свет:

— Не бегите, не к чему: в глазок ей только поглядел...— И разочарованно добавил: — Занапрасно ждали день-деньской!..

Потянулись монотонные дни, скучные до одуренья. Забывали числа, названия дней. Что случилось месяц назад — казалось вчерашним, вчерашнее — давним. Мы меряли время так: это было, когда повесили Субботина, это — когда избили Большую или Петербургскую камеры, это — когда кто-нибудь из нас сидел в карцере.

Соня — девушку звали Соней — по-прежнему на поверках не вставала перед грозным начальством, в разговорах с ним держала себя смело. Сами забитые, измученные, искалеченные, мы радовались смелости ее, будто сами мы еще не потеряли в себе человеческое. Мы узнали, что она — учительница. При обыске у нее нашли нелегальную литературу, паспортные бланки. Узнали про волю: народ засечен, запуган. Выгораживая себя, люди топят всех, кого можно, вчерашние лучшие люди на селе, к которым ходили за советами, теперь стали будто злейшими врагами: их, как затравленных, выслеживают, чтобы отдать в руки полиции. В каждой волости грибами-поганками рассыпались черносотенные организации, от которых никому нет житья.

Перекинули и мы ей записку: кто мы, каковы в тюрьме порядки, за что нас бьют, как скот.

— Стыдно! Что же вы молчите? — улучив минутку, бросила она нам.— Стыдно, товарищи!

На жандармском допросе, как потом передавали, Соня жаловалась товарищу прокурора.

— Это — месть,— говорила она,— поступать так с пленниками гадко, унизительно...

— У вас имеются свидетели, которые подтвердят ваши слова? — спросил ее жандармский ротмистр.

— Вся тюрьма свидетель,— ответила Соня.

— Ложь! — воскликнул находившийся здесь же начальник тюрьмы.— Тюрьма в образцовом порядке.

— Да, в смысле истязаний тюрьма образцова,— сказала девушка.

Товарищ прокурора заявил, что, если у нее будет более существенный материал, он жалобу ее примет, а теперь, к сожалению... Товарищ прокурора развел руками, как бы говоря: и рад бы, но, сами видите... не могу...

С этого и началось.

На вечернюю поверку пришел сам Алтынов, начальник тюрьмы.

Войдя к Соне, он приказал ей встать. Учительница — маленькая, бледная — продолжала сидеть.

— Я не встану,— прошептала она,— это единственный мой протест, я больше ничего не могу здесь сделать. Если вы меня обидите, быть может, за меня заступятся товарищи с воли.

Они долго смотрели друг на друга.

— Хорошо,— усмехнувшись, ответил начальник.

Он приказал лишить ее прогулок. Отобрал книги, подушку, постельное белье, запретил переписку с матерью.

Девушка будто постарела за эти дни, осунулась: лицо стало восковым.

Глазков любил «играть на фортепьяно»: выстроившихся в шеренгу арестантов он бил ножнами шашки по лицу сразу человек трех-четырех. Ударом ноги в живот «нажимал педаль».

Приемы эти употреблялись в особо важных случаях, после них чувствовалась отвратительная головная боль и резь в животе.

Однажды мы всей камерой пожаловались на Глазкова инспектору. Фон-Наар сказал, что он не верит нам... Вечером у нас «играло фортепьяно». Девушка, слышавшая стоны из нашей камеры, стала бить чем-то в двери. Глазков стремительно направился к ней.

— Что же вы делаете, палач? — гневно спросила его она.— Животных так не увечат!.. Ну, если б вас так унижали,— задумайтесь!

— К-ак? — удивленно спросил растерявшийся помощник.— Я палач? Ах ты, стерва!.. Ах ты, арестантская морда, проститутка!..

На следующий день Соню переодели в арестантское платье, завинтили на круглые сутки койку, отобрали одеяло, стол, скамеечку.

Все время она переписывалась с заключенными. Захарка, коридорный, то и дело подбегал к ее волчку, делая какие-то таинственные знаки.

За ужином он сунул нам записку.

«Товарищи,— писала Соня,— тюремщики свирепствуют над нами потому, что прокурорский надзор и общество не знают, что здесь делается. Припомните все случаи избиений и пишите прокурору окружного суда. Будут запугивать,— крепитесь».

Сделали, как она советовала, но прокурор не приехал. Тогда объявили голодовку. Никто в нее не верил, прошло время «миндальничаний», но это было последнее напряжение нашей воли: или медленная смерть в чаду непрерывных издевательств, или — слабый призрак борьбы.

В нашей камере принять участие в голодовке согласилось шестеро. Зарубкин и Беляев отказались. Один потому, что считал нас, политических и аграрников, виновниками сурового тюремного режима, который от «новой

волынки» еще больше ухудшится, а нищий был жаден,— не мог голодать.

Еще когда налаживался только протест под руководством Сони, нищий возненавидел ее. Из боязни перед нами он молчал, но по торжествующему взгляду, по гнусной улыбке, с какой глядел он, когда глумились над девушкой, мы чувствовали, что ему приятно это. Он стал нам вдвойне противен.

— За что ты ее так? — спросил старичонка Богомолов.— Грех таких обижать, она безвинная, а ты, пес, радуешься.

— Мне радоваться нечего,— ощетинился Беляев.— Она мне все равно, что тьфу! — Нервно переступая с ноги на ногу, он тряс козлиной бородкой, брызгал слюной.— Мне в пору об себе думать, всех чертей не оплачешь. Понял или нет?

— Вижу, кляча ободранная, что она у тебя поперек горла,— продолжал Богомолов.

— Видишь? — подпрыгнул нищий.— Тебе она хороша?.. Кто ты есть на свете?

— Глотка-то, господи! — обратившись к нам, удивленно воскликнул старик.— Как у стоялого жеребца!.. А все жалуется: нездоров!..

Беляев подскочил вплотную к Богомолову и, тряся сухими грязными руками, бешено зашипел, с каждою минутой повышая голос:

— Она тебе хороша? Хороша, оборвышу несчастному? На старости годов приглянулась?.. Обряжена, как кукла, рушники с вышивкой, духовитое мыло, коробки, банки... Что захочет, то и делает, а ей подчиняйся!.. Куда она шла? Чего искала? Что ей нужно, избалованной?.. Ага, ага! Замялся?..

Нищий схватил себя за грудь, рванул рубаху, обнажая желтое в расчесах тело. Вращая гнойными белками, страдальчески захрипел:

— Я с голода церковь обокрал, вы на меня плюете: вор!.. Для вас я — гадина, вредитель миру?.. А та — чистая, со святостью, боярыня — дворянская жила!.. Меня на четыре года присудили в каторгу, что есть захотел, а она винтит хвостом четыре дня, а там на волю, к сахарной жратве, а тут — смуты, а нам — фуртуфьяны?.. Она с жиру бесится, а мы — в ответе! Что ей надо? Плохо? Так не лезла бы сюда, паскуда!

— Ты! Харя! — рявкнул, вскакивая, Мишка.— Я тебя изничтожу, паскуда!

Беляев не слышал. Красный, возбужденный, с помутившимся взором, выл:

— Втехалась, так майся, не у матери за пазухой!.. Я тебе не слуга в лаптях!.. Я не пойду на смерть!..

— Брось, не свирепствуй, бестолковый! — урезонивал его Богомолов.— Чем только она больно задела тебя? Экий ты дурак, Поликарп!..

— Дурак? Пускай буду дурак, а вы — умные, черти поганые, а я — дурак, пусть будет по-вашему, мне все едино!.. А ее, эту вашу барыню писаную, я бы ее в клочки разорвал, шкуреху, я бы показал ей баночки!..

— Кто шкуреха, б... заразная? — опять заревел Мишка, перепрыгивая через Богомолова и хватая нищего за бороду.— Голову оторву напрочь!..

Мы схватили Мишку и с трудом оттащили от Беляева.

Утром, не успел надзиратель открыть двери, чтобы выдать хлеб, нищий с ехидной усмешечкой выкрикнул:

— Лексей Ваныч, шесть пайков обратно: голодают.

— Чего ты, гад, лезешь? — спросили его.

Нищий удивленно обернулся:

— Что ж вы сердитесь? Сказали, что не будете обедать, а теперь кричите?

Началась голодовка — ужасный способ борьбы. Первый день ее прошел сносно, но второй и третий, кажется, были самыми мучительными. Мысль сосредоточивалась исключительно на пище: сидишь — думаешь об этом, уснешь — снится. Раздражало чавканье нищего. Тошнило.

К вечеру пятого дня припухли и отяжелели ноги, заломило затылок. Кружилась голова. В глазах — красные, желтые, голубые полосы, в ушах — звон и переливы, будто угорели.

На шестой день Воробьев слег, за ним — Богомолов и Ванюшка Карпов.

— Теперь бы мне кусочек поросятинки да молодого квасу,— слабо засмеялся старик, лежа на нарах вниз животом.

— А мне бы,— проговорил Карпов,— пирогов горячих, прямо из печи, да баранины часть.

— Будет вам набирать-то,— сказал Воробьев,— баранины, поросятины,— именитые купцы! Каши бы теперь грешневой с молоком али саламаты с конопляным семенем, а то им ба-ранины, бы-ча-тины!.. Меду не желаете ли?..

— Это, бывало, как в Полесье ездили,— приподнялся Богомолов,— чугунки еще не было. Прикатишь на постоялый: стюдень с хреном, шши, убоина... после — чашку меду!.. Липовой-то скусный!..

Мишка приподнял с бушлата голову.

— Теперь, к примеру, мы в остроге и, может, живыми не уйдем отсюда,— нехотя промолвил он.— Оставьте, пожалуйста, вашу брехню, пока не рассердился.

Зарубкин участия в голодовке не принимал, но от горячего, которое раздражало нас своим запахом, отказался и ел сухой хлеб так тихо и так осторожно, что мы не замечали даже, что он ест. Но Беляев по-прежнему чавкал под самым носом. Мы с Мишкой избили его.

Поднялся крик, словно кого резали. Пришел начальник. Мы валялись на нарах.

— Вы почему лежите? — закричал он.

Богомолов ответил:

— Силов нет стоять.

Воробьев и Ванюшка Карпов поднялись, а Богомолов пополза на четвереньках, покряхтел и снова ткнулся лицом в нары.

— В голове,— говорит,— у меня очень чижело, ваше высокоблагородья,— и виновато улыбнулся.

Надзиратель пожаловался начальнику, будто мы обидели нищего за то, что он не согласился вместе с нами голодать.

— Да как перед богом, только за самое это, больше не за что,— гнусил тот.— Если, говорят, не будешь голодать, мы тебя зарежем.

Алтынов бил нас с Мишкой по щекам.

— Мерзавцы! Веревку бы на вас покрепче.

С голоду ли, или от обиды Мишка не сдержался, выругал начальника матерно. Смешной был: как скелет худой, в расстегнутой вшивой рубахе, сидит на нарах, матерщинничает, крестится на иконы и плачет:

— Вот убей меня бог, сукина сына, если брешу: мы тебя, гадюку, раньше повесим, вот провалиться мне в тартарары,— всех нас не поубиваете, мы вам припомним все наши слезы!

Его, семнадцатилетнего, били четверо надзирателей, а потом обоих нас бросили раздетыми в карцер.

У Мишки после побоев совсем силы не осталось, и он сейчас же лег, а я стоял на одном месте, стараясь свыкнуться с темнотой.

Слышу: он чихает.

— Пыль,— говорит,— тут какая-то, дохнуть нечем,— и опять выругался матерно.

Я присел к нему и тоже зачихал. Сидим — два суслика — и чихаем, как кошки.

Каждую поверку с фонарем в руках к нам заглядывали старшой с Глазковым.

— Лежите, свиньи? — спрашивал Костоправ.— Распублики захотели, сукины дети? Вот вам и распублика!..

Через три дня Мишка стал бредить, и мне — то мать покойница приснится, то — отец, и я все будто разговариваю с ними и не могу наговориться.

— Михайла, слышишь? — толкаю я товарища.— Что-то мне мать стала представляться...

— Издохнем скоро,— тихо говорит он; от самого, как от печки, пышет жаром.— Если я тебя, Василий, обидел, прости, пожалуйста.

— И ты меня прости.

— Ладно, я прощу, только холодно тут, нутро все ломит... На обед не звонили?

— Не слышно.

— Жаль. Куда ты собираешься? Прижмись ко мне крепче...

Через четверо суток в полдень, во время надзирательской смены, нас выпустили из карцера.

Окружив кольцом, надзиратели хохотали до упаду, потому что мы были черны, как негры, от сажи, которую с целью насыпали в карцер. А шли как пьяные.

— Ул-лю, ораторы, ораторы!..

Человек двадцать умиравших от скуки людей с наслаждением гонялись за нами по двору, дико крича:

— Лови, ораторы!..

Около порога Мишка упал. Я хотел поднять его и сам свалился. С хохотом и присвистом надзиратели поволокли нас по коридору.

Вечер. Тусклая лампочка. Запах раздавленных клопов. Темные, ненавистные стены. Воробьев мочит нам головы холодной водой. Возле него, на нарах, миска с «кандером». Цепляя «кандер» ложкой, он льет его мне в рот, потом поит теплым чаем. Со мною рвота.

— Еще не жрут? — спросил на поверке Костоправ.

— Ели кашицу,— ответил кто-то.

— Врешь, не ели и не будем! — закричал я.

— Не визжи,— сказал помощник,— а то опять стащим в карцер.

Ночь спали спокойно. Утром свежее стала голова, прибавилось силы, можно было сесть.

Воробьев, Ванюшка Карпов и старик Богомолов как ни в чем не бывало расхаживали по камере.

— Чаю хочешь? — спросил Карпов.

— А вы разве не вытерпели?

— Все не вытерпели. Пей.

— Не буду... Сволочи вы!

— Ты ведь все равно вчера ел кандер,— тихо сказал Ванюшка.— Пей, пожалуйста, нам не будет стыдно.

Он отвернулся и затих.

В тот вечер, когда нас увели в карцер, Ванюшка, тайком от всех, сосал сахар. Беляев его уличил и насмехался:

— А, вы так-то голодуете, голубчики? Жуете сахар втихомолку, а?

Ванюшка испугался.

— Сахар — хлеб, что ли? — оправдывался он.— От него еще хуже жжет в нутре.

— Жрете сахар втихомолку, так-то? — продолжал твердить Беляев.— Хорошо, хорошо! Молодцы, ребята, нечего сказать, хоть на выставку!

— А хоть бы и жрал! — рассердился Карпов.— Ну, хоть бы и жрал, какое тебе дело?

— Да мне дела нет, я только так говорю: сахар, мол, жрете, молодцы?

— Назло тебе стану еще есть! — закричал Ванюшка, хватаясь за кулек.— Весь сахар поем, после — воды напьюсь; что ты мне за это сделаешь?

— Да ничего, хоть подавись, что ты — мой, что ли, сахар-то лопаешь?

Карпов так и сделал: съел весь свой сахар; наевшись, пил воду.

Беляев, глядя, похихикивал, а Карпов злился.

— У меня немного хлебца осталось,— предложил нищий,— отломить кусочек?

— Ступай с ним к черту!

Тот улыбался.

— Что ж, теперь все равно, согрешил против товарищев...

Ванюшка сказал ему на это:

— Что я — святой, что ли, подумай-ка! У меня ажно в середке все переболело...

Когда утром восьмого дня в камеру пришел Варварин, хороший помощник, и стал уговаривать товарищей прекратить голодовку, нищий радостно воскликнул:

— Не утруждай себя, ваше благородье: один уж ест!.. Вчера вечером сахар лупцевал, а нынче пил чай с хлебом... Дорог, ваше благородье, почин,— все будут жрать...

Карпов заплакал от стыда.

— Вот у этого, у Зарубкина,— тыкая пальцем в бродягу, еще веселее продолжал Беляев,— у Зарубкина еще сахару занял: свой-то весь вчера полопал!..

После Варварина в камеру зашел старшой.

— Эй ты, хрен! — толкнул он Богомолова,— что ж ты протянул ноги?

Старик виновато улыбался, смотря мутными глазами в потолок, и медленно жевал сухими, побелевшими губами, силясь что-то сказать.

— Еще называетесь аграрники, а хуже уголовных,— обратился он к остальным,— девчонки слушаются! Ну, что вам? Дураки безмозглые!.. Начальник сказал: кабы не эта мне голодовка, я бы с воскресенья завел новые порядки: книги, по часу свиданья, а мало — по полтора, повар другой, насчет битья — ни-ни. А этой голодовкой, говорит, они мне весь плант портят. Для таких, говорит, дураков мне и стараться не хочется... Эх вы, черти, сколько ден себя морили! В других камерах давно уж едят... Болтаев, скажи на кухню, чтобы притащили хлеба...

Богомолов и Воробьев колебались.

— *Эта* тоже ест,— будто мимоходом бросил старшой.— Она еще раньше всех начала... Мутить — умна, а как дело — кишка треснула!..

Колебания умерли.

...За нами ухаживали. Товарищи достали молока, белого хлеба, из мешков и тряпья сделали нам подушки, спрашивали, не хотим ли мы легкого табаку. Все время как-то не верилось, что голодовка сорвана. В том, что она продолжается, укрепляла мысль, что людям нечего терять.

В полдень у меня опять началась рвота и — забытье.

...Косые пурпуровые лучи заката разбросали пятна

крови по стене. Оконная решетка разделила пятна на ряд правильных прямоугольников. Ветер приносил из-за стены опадавшие кленовые листья; они, как хлопья золотого снега, плавно, бесшумно опускались на землю. В кафедральном и у Покрова звонили к вечерне. Голова тяжела, как чугунная, колокольные звоны еще больше распирали ее. У потолка билась муха, лениво цепляясь за карниз. Рядом со мною шелестел осторожный шепот. Я приподнялся. Подогнув к животу длинные ноги в стоптанных чунях, лежал Мишка, около него — Зарубкин.

— Опосля пришел Глазков, цыгаузный Кобыла,— торопливо рассказывал бродяга,— лицо у ей мертвое, глаза — свечки... обрядили в рваную одежу, вытащили в коридор... Согнутая идет, силов нет, под мышкой прорвано, титенку видно... Вот они какие! Сиверко, дождь, ветер... Где-то держали с час... Оттуда — синяя, шатается... руками себя этак за голову, будто волосья дергает. В ту пору я малость пожалел ее, а я, парень, разные дела видел, сердце у меня вытравлено... И вас вот жалко...— Голос бродяги стал глуше, суровее.— Никудышный вы народ, жидкий, верченый... На горсть жита три мешка мякины... И в свою зацепу крепко не верите!.. Бабы эти, ну к чему они в сурьезном деле?

— Ты этого не можешь понимать — насчет баб,— тихо говорит Мишка.— Подай, пожалуйста, табак.

Зарубкин, порывшись под изголовьем, продолжает:

— Не знаю, как тебе правильно ответить... Может, я даже хорошо понимаю... По нашему, уголовному, делу товарищества больше. У нас разный народ, а, поди, задень которого,— ого!.. Али видал, чтобы свой у своего крошку хлеба али, к примеру, пылинку чая украл?.. А у вас — муть, тошнота. А, между прочим, вы должны — как братья, а живете — как враги: к примеру, как наш брат вор с городовыми,— разве это порядок? Самых что есть хороших людей в петлю подсаживаете... Бабы... Разве бабу можно в сурьезное дело допускать?..

— Бросили бы, ну вас к черту,— перебил я.

— Проснулся? — привстал Мишка.— Ну, что, как?

— Ничего.

Мишка лег навзничь и глухо вымолвил:

— А знаешь, барышня-то голодает... почти одна...

— Голодает? — закричал я.

— Девица комплектнее вас,— злобно сказал Зарубкин.

На одиннадцатый день, после чая, к Соне пришел начальник. Криво ухмыльнулся, глядя на нее. Девушка сидела на полу, прислонившись спиной к стене. Она не пошевелилась, не подняла глаз, будто спала. Воротников дернул ее за плечо.

Соня с трудом открыла глаза.

— Что вам нужно? Довольны?

— Подними ее!

Воротников взял девушку под мышки и поставил к окну.

— Оставьте. Что вам нужно?

Губы у нее — синие, глаза и щеки ввалились, на лице желтовато-серый, мертвецкий налет.

— Оставьте,— как в бреду шептала она.— Палачи!.. Оставьте!..

Подошел Глазков, переглянулся с начальником. Глазков достал портсигар и услужливо протянул начальнику. Курили, поглядывая на девушку.

— Издохнет — черт с ней... стащим в помойную яму,— говорил помощник.

Минутами казалось, что она внимательно слушает брань и улыбается. Мешала спина надзирателя, который то и дело заслонял волчок. Вдруг она зашаталась и упала на пол.

Воробьев застонал, схватившись за волосы. Зарубкин боком, подняв плечи, побежал в угол.

— Тут мои портянки где-то,— бормотал он над ведром с водою.— Какой дьявол утащил мои портянки? — на всю камеру взвизгнул он и ударился головою об нары.— Батюшки!.. Господне!..

Богомолов, колотясь, присел на корточки. Карпов рвал на себе ворот рубахи, выпучив глаза, закинув назад голову. Схватив скамейку, бродяга со всего размаха ударил ею по окну. Воробьев стал ломать стол, Мишка — нары.

За грохотом и треском нельзя было разобрать, что делается в коридоре. Скоро наша камера представляла кучу обломков, мусора, щепы, штукатурки, вместо окон зияли дыры с изогнутыми переплетами решеток.

Соседние камеры, заслышав шум, притихли, но откуда-то выскочил взлохмаченный Захарка, коридорный, крича не своим голосом:

— Барышню убили!..

Тюрьма оглушительно охнула и затряслась под ударами сотен рук.

На дворе заверещали сигнальные свистки, загромыхали выстрелы. Из караулки с винтовками в руках бежали надзиратели.

А грохот внутри все усиливался и рос, переходя в бешеный рев. То и дело раздавался треск ломаемого дерева, звонко падало стекло о камень, летели оконные рамы, как тараны, о дверь ухали нары, истерично кричали, цепляясь за прутья окон, больные в лазарете...





ПОСЛЕ СМЕНЫ

Грязной куделью ползут по небу осенние низкие облака, брызжут на степь мелким надоедливым сиверком; в распазившемся бараке свистит ветер; с гнилых балок, подпирающих промокший потолок, с клочьев серой паутины, что качается в них, на пересыпанную угольною пылью лохматую голову Тимохи Меньшакова, на лист курительной бумаги перед ним сыплется древесная червоточина, высохшие мертвые мухи.

Вечер. Скрестив под столом костлявые ноги в набойчатых портках, дугою выгнув спину, так что сквозь линючий ситец проступают острые позвонки, Тимоха пишет домой письмо.

«Еще батюшке Глебе Иванычу, еще матушке Анне Ивановне, еще сястре Варьке, еще ребятишкам, еще родным-знакомым, всему меньшаковскому сословью...»

Наморщив низкий лоб, до бровей заросший бесцветными волосами, сердито глядит на сбитые суставы неуклюжих пальцев, на грязный неструганый стол, на котором рядом с чернильницей-лаптем валяются куски черного хлеба, пятна рассыпанной соли, трактирный с жестяным носком чайник «для двоих». Чешется.

Прочитав написанное, после слово «матушке» проводит широкую, кривую кляксу, надписав вверху: «Апрасиньи Хве».

В углу на полуразвалившейся дымящей плите скворчит лук в прогорклом масле; у отдушника, уткнувшись сальными локтями в кучу каменного угля и обхватив ладонями виски, скулит простоволосая кухарка, разбившая чугун с артельной похлебкой.

Чадно.

— Сволочь,— сквозь зубы шепчет Тимоха, глядя в спину кухарке, и опять склоняется к столу.

«Тыщу назад лет предки наши, а по-вашему — прадеды, звались славянами, дулебами, вечичами, жили в лесе, заместо бога — чучело, усы — золотые, борода — серебряная, званье — Перун. Одно отличье, что дорогой, из золота, а без толку...»

По босым ногам Тимохи ползают насекомые. В сырой с тухлым запахом шахтерской одежде, разбросанной по нарам, в грязном тряпье, что служит изголовьем им, в никогда не выметаемом мусоре их миллионы.

Прижавшись подбородком к столу, Тимоха чешет нога об ногу, а водянистые глаза его со злобой ползают по дымным стенам барака, сваленным в кучу кайлам, лампочкам.

«Ракитки, которые абапало избе, без причины не рубить. Живете вы в деревне с малых лет до старости — черту воду возите... Ракитки, и дуб, и осина, и всякая живность, и всякая ползучая тварь, и всякая последняя муха, какая есть кругом, чувствование имеют: станешь рушить — больно, а у вас какое чувствование — нажраться вина...»

Кучею бесформенно серого перепревшего навоза встает перед глазами Тимохи его нищая, пьяная, заезженная деревня в Рязанской губернии.

«Оврах-то хоть починили бы, дьяволы, великое ли дело? — пишет он, вспоминая огромную день за днем осыпающуюся прорву, которая тянется на полдеревни посредине улицы, подбираясь все ближе и ближе к порогам курных изб.— Ни пройти, ни проехать. Прова́литесь в тартарары»...

Вот его отец, полуседой, с визгливым голосом и неспокойно бегающими маленькими глазами, старик. К концу года, когда обыкновенно в доме доедали последние корки, он запивал.

— Жилься изо всех силов, Тимоша, а то сгинем,— провожал он сына на заработки.— Оправдайся перед отцом-матерью — зарез нам!

С печки, с лавок, с голобца, с шестка, из смрадно пропитавшейся мочою люльки на Тимоху жадно смотрят бесцветными, старенькими глазами коростовые, золотушные, с отвисло синими животами, кривоногие, большеголовые, большеротые братья и сестры его. У стола трясущимися руками, глотая слезы, завязывает мешок с рубахами мать. Тимохе девятнадцать лет, он самый боль-

шой в семье, кормилец, и то, что все смотрят на него, как на спасителя, и с глубокой надеждой ждут и верят, что он вынесет их на своих плечах, наполняет его сердце острою, мучительною жалостью, словно кто схватил его за сердце когтями и рвет.

Сжав кулаки, с раздувающимися ноздрями, через силу сдерживая едкие слезы, он бешено кричит по направлению к плите:

— Ты замолчишь, шкура, ай нет? — и, склонившись к столу, на туманно белеющем листе стыдливо-неразборчиво выходит:

«А лучше бы мне свету белого не видать, и папаша, и мамаша, и родные-знакомые, а я не забуду вас...»

Но тотчас же написанное кажется неуместным; Тимоха тщательно зачеркивает его так, чтобы нельзя было разобрать.

«На других — жилься,— пишет он вместо этого,— а сам алкоголишь, это как понять? Делать, так по правилу. Отцом мне приходишься, а я тебе сыном, делать, так сообща... Я тебя породил, а ты меня корми»,— вставляет он где-то слышанную фразу, чувствует всю ее неуместность, знает, что не об этом ему хочется поговорить с домашними, на время тупеет, кусая губы.

Молочно-мутневшие окна, наполовину забитые тряпками, потускнели. Слабо вспыхивающее пламя жестяной лампочки переливчато играет в струйках дождевой воды, стекающей с подоконника. Широко раскрывая двери, шумно в пороге отряхиваясь, один по одному в барак входят злые, голодные, усталые после двенадцатичасовой смены шахтеры, молча бросают кайла, мокрую одежду, жадно, цигарка за цигаркой, курят крепкую махорку,— в шахтах курить воспрещается.

«У нас на рудниках, кто желает, все науки проходим с Миколай Петровичем,— выйдя из столбняка, слабо, любовно улыбаясь найденному концу запутанных мыслей, продолжает Тимоха.— Чалый мерин наш — тварь однокопытая, свинья — многокопытая, а если бы у нас была корова, она тоже тварь двукопытая. У лягушек кровь холодная, человек и обезьяна — одного сословья, а про бога разно думают, ну, в этом деле много туману...»

Невольно в голове Тимохи мелькнула мысль: что бы сказали, как отнеслись бы к нему в деревне, если бы вдруг он, приехав домой, стал говорить мужикам о том, что земля не на трех китах, а похожа на шар, который

вечно кружится, что гром — не колесница Ильи-пророка; колдовство, вера в домового, антихрист, разрыв-трава, иванов-цвет, все те сотни примет, причуд, обычаев, условностей, из рода в род переходящих заклинаний, с которыми, как с матерной бранью, водкой, неряшеством, жестокостью, нищетой, идолопоклонством, лживым подскуливанием богачам, срослась деревня, что все это — нелепые суеверия, что даже самое понятие о боге есть, как говорит Николай Петрович, «дело нажитое»?

Мать, вероятно, слезно заплакала бы от горя, стала бы умолять его не грешить, не топить в адском огне души своей, пожалеть ее старость, грозила бы проклятьем, а ночью сонного кадила бы «ерусалимским» ладаном, данным за кусок холста каким-нибудь прохвостом, вспрыскивала бы «святой» водой от порчи.

— Тимоху-то, ну-ко, испортили! Пропал!..

— По ветру пущено!..

Отец, пока еще у Тимохи в кармане деньги, привезенные с шахт, поддакивал бы, всплескивал руками:

— Ишь ты!.. Ну, что тут делать!.. Как оно ловко — крутится!.. Скажи на милость — меллионы лет!.. Ай-ай-ай!.. Языщество!..

Потом, пьяный, зло, с надсадой издевался бы над сыном, гнал бы вон из избы.

— До писарев дошел? Умнеющий в деревне? Цалуй мои лапти, облязьян бескопытный...

Грозил бы лишить «благословенья», наследства.

Мужики не давали бы пройти по улице, смеялись, свистели, улюлюкали,— это на лучший конец; скорее, изувечили бы где-нибудь под пьяную руку.

«На вас на кажном крест, и говорите вы себя человеками, а вы — хуже скотины. Жрете, пакостите, убиваете один другого, хоть бы подумали, как щастье на земле искать...»

Нечаянно сорвавшаяся фраза о счастье отвлекла его мысли от деревни, родных, промозглой осени, барака, старых, разбитых «чунь», которые давно уже надо починить, необходимости послать к Михайлову дню десятку денег на престольный праздник... Склонив на руки голову, Тимоха закрывает глаза и тихо, радостно думает о Николае Петровиче, маленьком, невзрачном человечке в ошарпанном пальто, вечно веселом, ласковом, братски внимательном к нему; о том светлом, что внес Николай Петрович в его душу своими беседами и книгами.

«С завтрашнего дня будем с Миколай Петровичем читать, какие люди есть на земле...»

Солнечное настроение плохо укладывается в кривых, насквозь пропитывающих серую бумагу строках. Толстые, натужно сжимающие ручку пальцы отстают от веселого хоровода мыслей, теснящихся в голове. Широко расставив по столу локти, высунув кончик языка, Тимоха волнуется, сопит, гоняясь за ними пером, неудовлетворенно зачеркивает написанное, спешит, спешит, спешит...

— Подымись, ай оглох, евангелист Лука! — дергает его за плечо Сизов, забойщик, поднимает двенадцать пудов.— В собачьи дилехторы метишь?..

От толчка на бумагу падает жирная клякса.

Тимоха недоуменно глядит на Сизова, сзади его стоят еще несколько шахтеров. Тимоха раскрывает рот, чтобы сказать что-то, но полупьяный Сизов, тасуя колоду замусленных карт, неожиданно выбивает из-под него скамейку, и Тимоха при громком ржанье падает.

«Убил бы вас всех, подлецов, покою от вас нет, от пьяниц поганых...» — злобно-размашисто, с выступившими слезами, заканчивает письмо Тимоха и, заклеив его в конверт, надписав адрес, угрюмо отходит в угол барака, к своему мешку.





БАТЯ

Мафусаил наш — кривоногий, маленький и необыкновенно живой старичок. До восьмидесяти с лишком лет сохранил черные волосы и румянец. Иконописное лицо, окладистая борода, лукавые щелки-глаза с чуть заметным буравящим зрачком, злая улыбка. Он изумительно верно определял характер человека по его наружности и клеймил обидным прозвищем; это прозвище оставалось потом за человеком на всю жизнь, часто переходя и на детей его. Страшно ругался нехорошими словами, ненавидел женщин. Не мог терпеть, если женщина вмешивалась в разговор мужчин. Тогда он кривлялся, как обезьяна, высовывал язык и дразнил:

— Бя-бя-бя, черт трепаный, расшлепала губами-то, раскагокалась? Гляди к себе в хрептуг!..

По субботам, когда низовские полехи ехали с бабами на базар, он выскакивал на дорогу и кричал:

— Расселась, кокора? Ишь ты, полюбуйтесь на нее, свинью косорылую! Пестом бы тебя, толстомясую!..

Полехи с удивлением глядели на него, а батя визжал и бранился до тех пор, пока подвода не скрывалась из вида.

Общим правилом его по отношению к женщине было: бей бабу пестом, тяжем, водоносом, безменом, кувалдой, чтобы спина гнила.

И он бил свою жену, мою бабушку; у нее гнила спина, и она приближалась к сумасшествию.

Жили семьей. Собирается, бывало, батя на базар, запрягает лошадь. Кому-нибудь из баб тоже надо ехать.

— Батя, мы с тобой хотим присесть...

— Чо-во? Дойдешь, стерва, пешком.

— Да тебе же надо купить рубаху.

— Забрехала! Сказано — пешком.

И баба шла пешком, а он рядом ехал в пустой телеге.

И если, бывало, баба устанет и положит руку на вязок телеги, чтобы способнее и легче идти, он хлестал ее кнутом по глазам.

— Заморилась, дьявол? Норовишь на шею залезть?

Батя редко пил вино, не таскался по кабакам, а в ту пору все таскались — под боком был винокуренный завод — и пили жестоко. Когда напивался, был добр, плаксив, застенчив, торопился заснуть где-нибудь в уголке. Тогда била его бабушка.

Он был набожен, горячо и долго молился, аккуратно посещал церковные службы, но от бога и священников требовал порядка. Придет, бывало, из церкви, его спрашивают:

— Как, батя, нынче обедня хорошая была?

Он кривлялся, швырял шапку под стол.

— Кобедня! Это — собачья свадьба, а не кобедня!.. Прихожу, а там никого нету. Один дьячок на крылосе, как кобель, гавкает, да попишко ему из антаря: мя-а! мя-а!..— и вся ваша кобедня!..

По его: раз церковь, людей чтобы пушкой не прошибить; колокола висят — дуй во все, чтобы в ушах резало: без толку им нечего висеть; попы, дьяки, причетники — пой, служи молебны до хрипоты. Сам он бил поклоны до полуобморока.

Бывало, летом надо молотить привезенную с поля рожь. День погожий, солнце. Рожь уже расставлена на гумне. Иной раз посад, два пройдены. Семья большая, дружная, работа идет весело и споро. Батя только покряхтывает от удовольствия. И вдруг, откуда ни возьмись,— туча, дождь, а то и целый ливень... Бабы ахают, торопятся спасти хоть несколько снопов. Зерно, солома, колос вздымаются шубой и плывут на дорогу. Мы, ребятишки,— под солому... Нельзя представить, что в это время делалось с батей; как обезумевший, он ругал бога, дождь, тучу, ветер, святых самыми отборными ругательствами за непорядок, преднамеренное издевательство

над ним, со злобой выбрасывал из сарая и то, что успевали затащить бабы.

— Лопай, подавись, жадничай, штоб тя гвоздем пронесло!..

Вышвыривал все до соринки под потоки, бежал за надворок, затесывал осиновый кол, юдино дерево, и, воткнув кол посреди тока вверх острием, кричал дождю:

— Штоб ти напороться!.. Штоб ти в спину засадило!..

Но дождь шел по-старому: от кола ему не было хуже. Батя садился в уголок на корточки, на своем любимом месте — около вереи, между дегтярными баклажками и хомутами,— упирался ладонями в колени и, сморщив румяное кукольное личико, плакал, уныло сморкаясь в горстку.

— Хосподи-батюшка, какое мошенство!.. Только расставил ржицу, а тут, на-ко, прорвала ти нечистая сила!..

В первый же праздник бежал в церковь и, крадучись от сторожа, злорадно отколупывал ногтем у святого Фаддея, дождяного бога, кусок краски или рамной позолоты. И шепотом крыл Фаддея матом.

Сидит, бывало, батя за обедом. Подходит кошка, просит есть. Изо всей силы он бьет ее ложкой по голове.

— Мышатинки-то не даешь нам, а сама просишь жрать, нехалява паскудная!..

Не переносил батя зимы,— это была мука его. С февраля, когда еще сугробы под конек, ежедневно, лишь только брезжило утро, летел сломя голову к реке: не тронулся ли лед? Всю зиму был угрюм и сонен, как сурок. Но как только появлялась капель, прилетали грачи и грузно осаживался снег, он терял сон, не сидел минуты на месте: бегал, суетился, на всех кричал,— была близка рыбная ловля. В избе все перевертывалось вверх дном: баб с прядевом батя грозно гнал за печку, а их было много, и они, как овцы в тесной закуте, толклись там одна на другой, чихали от удушья и пыли и злыми глазами кололи спину старика.

На столе, по лавкам, в кутнике, на полу, под образами — везде, где можно ткнуть, грудами наваливался свежий хворост, норота, наметки, бредни, свинцовые грузила, пакля, лошадиные хвосты для лес, кора на поплавки... Избавь господи подойти к бате в эти минуты,

спросить о чем-нибудь пустом, не рыбном,— испакостит бранью, бацнет в голову вальком, грузилом, иссечет в кровь хворостом...

И вот — ночь. Воет ветер. Дождь. То оторвется доска с крыльца и ударит в стену, то звякнет опрокинутая ветром железная цибарка, то захлещет в стену солома. На дворе визжат кошки. Жутко. Лежишь и каждую минуту ждешь беды, трясешься. И вдруг — тр-р-ах!.. тах-та-а!..

— Старуха, что это? — как полоумный, вскакивал батя.

— Кажись, лед трещит,— спокойно говорила бабушка.

— Брешешь, рано! — кричал он.

Но треск повторялся. Ясно — тронулся лед. Всю ночь батя, как домовой, шарахался по печи, ухал, ржал, колотил пятками в стены, не давая ни на волос уснуть семье. Шепотом его кляли, вслух — уговаривали уняться, дать покой,— он ничего не слышал, метался, орал.

Мутилось утро, батя поднимал на ноги семью, завтракал и пропадал целый день за рыбой. Эта рыба и сгубила его.

Забавно и горько прошлое бати.

Четырех лет он остался сиротою. Мать приняла другого мужа. Вотчим привел пасынка, Василья, батина однолетка. Жили бедно. Мучила барщина. Вотчим был хворый. С пятнадцати лет батя приучил себя, а потом и сводного брата, мало есть, спать на голых досках, с кирпичом или камнем под головою, купаться в ледяной воде, легко одеваться и много-премного работать.

Сводный брат был рыхлее, упрямился, но батя заставил его идти с собой в ногу.

— Нам, Васьтя, надо оправдаться. Видишь, отец-то у нас коза драная.

Он и тогда уже кривлялся.

Шестнадцати лет мать его женила. Взяла здоровенную девку, мяло, старше его годов на пять. Хозяйственно оглядев ее, батя выбором остался доволен, хотя ни матери, ни жене не показал вида: хороший мужик должен презирать бабу.

На второй день женитьбы он связал в аккуратный узелочек женину постель — войлочек, подушечку, дерюгу,— вынес и запер в пуньке на замок. Жена посмотрела и поняла: день и ночь втроем они работали до хри-

па, до кровавых желваков на руках и ногах, жена до выкидышей, поставили просторную избу, сараи, амбары, амбарушки, клети. На дворе появились «злючие» лошади, в хлевах коровы, овцы, птица. Перешли на оброк.

— Теперь, Васьтя, надо тебя женить,— решил батя. Сам подыскал ему невесту, с неделю разрешил молодым поваландаться и отправил брата в Крым на заработки с наказом: — Какую лишнюю копейку потратишь, голову сшибу!

Умер вотчим. Умерла мать. Ванюшечку кривоногого стали величать Иваном Васильевичем. Бурмистр заходил есть свежую рыбу. Палисадник завели.

Уходил на работу в Крым сосед наш.

— Эй, фитюлька! — крикнул ему вдогонку батя.— Бывает, нашего алмана там увидишь, скажи: велели домой.

Пришел алман. Борода по грудь. В пиджаке. Сапоги с набором. Взглянув на него, батя закрутился, задергался, визгнул, побежал в избу, схватил со стола деревянную тарелку, на которой по праздникам крошат мясо, горбушку черствого хлеба, щепоть соли и на коленях из избы в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца — через дорогу — к падворку, где стоял алман, пополз, униженно скуля:

— Ваше степенство! Енарал в сабогах, анхирей в дипломате! Не придавай казни, милуй!.. Прими хлеб-соль от людишек...

Потом как ужаленный вскочил на ноги, хлопнул тарелкой оземь и завыл:

— Сукин сын! Бродяга!.. Ты бы сабожные копейти-та в дом нес!..

У падворка стояла толпа, пришедшая встречать крымского. Все насторожились, притихли. Алман подошел к бате, взял за плечо и сказал:

— Ваньтя, пошто маму зовешь сукой?.. А хлеб, как сказать, дар богов: по-навозьи его грешно... Хочешь, по мусалам съезжу?..

Развернулся и дал бате по мусалам. Батя вытер лицо и пошел купаться. Купался долго, гоготал по реке, а перед вечером принес рыбы. Бабушка зажарила рыбу, все ели. Батя спрашивал крымского, как он шел домой. Василий рассказывал:

— Как же шел — ногами... В Крыму татарев много... пальцами говорят: урус, урус!.. А пройдешь две недели,

зачинается помесь, не то татары, не то какие хохлы... Ну эти, конешно, нашего бога признают.

И все пошло по-старому. Несколько недель батя опасливо приглядывался к брату: «перечит!» — затаил в себе злость и гладил по шерстке.

— Васьтя, гужи-то бытто порыжели, али помазать их деготьком, ась?.. Васьтя, бабы спрашивают: сколько под клушку положить яиц — три десятка хватит?.. Васьтя, било на мялку остругать дубовое или деревянное?..

Васьтя пространно и долго рассуждал, когда лучше помазать гужи — нынче или завтра; какое выстругать било — дубовое или деревя́нное... Батя зло ухмылялся в бороду, поддакивал, закидывал новые удочки. Алман охотно клевал приманку.

— Такой же, собачье мясо! — прыгал и кривлялся батя, убегая на любимую реку.

Через малый промежуток Васьтя уже вставал с зарей и работал, как бык; в сапогах с наборами братья ходили по очереди. Потом они исчезли: батя их сплавил.

К этому времени у обоих выросли дети: два сына у Васьти, Петр да Макар, два алманенка; два сына да две дочери у бати: Семен, отец мой, Алексей-беляк, второй сын; дочери: Наталья и Прасковья.

Уже будучи глубоким стариком, батя не мог без волнения говорить об этом времени: ладно работали они, крепко и с толком держал он в руках семью!

Для всех четырех парней он сам выбрал невест — «ну, лошади! ну, на любую клади десять пудов!» — перестроил избы, крепко-прекрепко огнездился. И только ржал, только кривлялся от восхищения, глядя, как четыре краснощеких молодца — «соколы!» — да шесть баб, одна другой костистее и краше, легко, играючи, с песнями, да плясками, да с присвистом, дуваном поддували всякую работу. А он — маленький, кривоногий, счастливо-злой от зависти, что лета его уже не те, что силы прежней нет — не сдюжить ему с парнями,— ходил, заложив руки за поясок, да покрикивал:

— Ух, черт подери, Сибирь в полон возьмем!..

И — матом, матом на всю деревню — от восторга, от распиравшей грудь радости.

Вдруг грянула Крымская война. Ребята оказались лобовыми.

— Я к тебе, Иван Васильич, значит, об мужиках поговорить... страженье...— завернул бурмистр к нему.

Батя сел на порог и не может встать.

— Страженья? В каких же, например, землях?.. Тарантаечка-то у тебя, Офремыч... ступки потрескались,— глядя снизу вверх на бурмистра, со смешком лепетал он.— Ишь ты вот, хосподи...

Бурмистр уехал. Батя вошел в избу, оглядел парней; сходил на двор, оглядел хлева со скотиной.

— Поди-ко сюда, Марьюшка,— сказал он бабушке, снова входя в избу и влезая с ногами на лавку.

— Не пойду, мужик,— пятясь в угол и дрожа, прошептала бабушка.

— По-ди! — с выступившими слезами закричал на всю избу батя.

Бабушка была вдвое выше его. Батя влез на лавку для того, чтобы сподручней было бить жену по голове: с земли он не мог достать, бабушка должна была подойти и подставить голову.

— Тятька, что ты! — заплакали дочери.

— Молч-ч...

Бабушка подошла. В ту пору она уже немного заговаривалась. С каким-то злым стоном батя сорвал платок с нее, обеими руками впился в косы и стал молотить ее головой по стене. Впивался в голову зубами, рвал тело, царапал лицо, шею. Покорно стоя и изредка стеня, бабушка сосала прокушенную руку. Домашние убежали из избы. Лавка и пол залились кровью. А он все молотил, молотил, и казалось, этому не будет конца. Бабушка беззвучно рухнула на пол. Он сорвал с нее шугай с рубахой, сел верхом и не знал, что делать, в какое место и как больнее ударить, только скрипел зубами и трясся.

— Ваньтя! Ваньтя! Побойся бога! — стонал лежавший на кутнике брат, уже больной, надорвавшийся в работе.— Ну, пойдут робята, ну, что ж теперь делать, чай, не мы одни!.. Робята, отымите мать-то: что ж вы, бессовестные, даете убивать?..

Этот стон вывел батю из исступленного столбняка; бросив бабушку, он с визгом кинулся на больного и стал наносить ему удары по лицу.

— Желаньщик!.. Заступник!.. Натряс детей-то?.. Нагородил огорожу?..

— Ваньтя! — рыдал брат.— Убьешь!.. Пожалей!..

Прибежали дети батины и Васильевы. Умоляли, плакали, хватали и целовали руки, но никто не посмел вступиться за умирающего, отбросить батю, запретить

ему бить: слишком уж крепко была вбита в головы вековая рабья мудрость — старшему в семье нельзя ни в чем перечить.

Батя опомнился, молча залез на печь и уснул. Пришла в себя бабушка. Умыла лицо. Умываясь, заметила в лохани грязные рубахи.

— Что же вы, бабы, этак делаете: хотите сгноить рубахи-то? — слабо проговорила она, обращаясь к невесткам.— Сходи, Нероб, выполощи на реке.

Неробою звали мою маму, старшую невестку.

Мама взяла рубахи и пошла с ними на реку.

Утром батя пропал. Ждали к обеду — не пришел. Вечером не ужинали долго — ждали — не пришел. И так три дня ждали.

— Поглядите, робята, отца-то,— стонал Василий,— в прорубку метнется, шутоломный!

А снохи и дочери, осмелевшие без бати, забрались с прядевом в красный угол и зубоскалили над бабушкой: жена Петра нашла у нее в шитве две детских рубашоночки.

— Ты, матушка, знать, родить собираешься,— стыдобушка голове!..

А бабушке в это время было за пятьдесят.

На четвертый день батя явился. Вместе с ним пришел человек в поддевке. Не заходя в избу, они прошли во двор, гоняли на веревке жеребцов, гордость и счастье бати, долго о чем-то беседовали. Батя горячился.

Потом вошли в теплушку.

— Бабы, соберите нам поесть,— ласково сказал батя.

Обедали, пили вино, батя даже послал стакан вина больному Василию.

— Петрух,— сказал он старшему племяннику,— на, снеси отцу винца, пусть промочит горлышко.— И не вытерпел: сейчас же скосоротился и добавил: — Другой месяц лежит, а не издыхает...

На следующий день, к полдням, гость снова появился, и не один, а с работниками. Батя вил в амбаре поводья.

— Тятя, человек пришел с работниками,— сказал Семен, отец мой.

Батя спал с лица.

— Скажи человеку: чичас придет,— прошептал он.

Семен ушел — сказать. Запустив в волосы пальцы, батя сел на мешок с отрубями и сидел так с час. Затем

вышел, словно пьяный, и долго искал по избе рукавицы. Рукавицы у него были за опояской.

— Принес? — не здороваясь, спросил он человека.

— Будто принес,— ответил тот.

Все глядели на батю, и никто не понимал, отчего его ломает. Но сейчас же это выяснилось.

Батя созвал сыновей и племянников и повел их вместе с человеком и его работниками во двор, отворил стойло. Оскалив зубы, на него огнем метнулся Голубок, его любимец, серый в яблоках.

— Не тронь! — напыжился на него батя.

Жеребец отступил.

— Хто тебе хоз-зяин? — сам бросаясь на лошадь и впиваясь ей грязными пальцами в кроваво-раздувающиеся ноздри, не то радостно, не то в диком отчаянии закричал он.— Я тебя поил, растил!.. Кроф-фь моя!..— И, закрыв лицо, лег вдоль порога стойла, бородою вниз.— Выводи, робята, через мое тело... отдавай ему... по-божьи — из полы в полу.

Дети замялись. У бати пропал голос, он не мог на них крикнуть и стал биться головою о порог.

— Выводите, ай оглохли! — крикнула за него бабушка; лишь она, верная собака его всю жизнь, умела с полувзгляда, полуслова понимать батю и вовремя прийти на помощь.

Один за другим четыре «черта» перемахнули через батю. Человек искрящимися глазами следил, как лошади вздымались на дыбы, мотая по двору работников его.

Выгнали коров, овец. Человек неторопливо пересчитал их. Доставая мошну, заметил:

— Сколько я тебе казны, Васильич, ухлопаю,— разор!.. На-ко, прими!

— Раз-зор?..— спросил батя, поднимая голову.— Штоб ти добра не было от кровей моих!..

— Ну, зачем же этак? — усмехнулся человек.

Батя встал на четвереньки, чтобы принять от человека деньги, и снова ткнулся лицом в порог.

— Подымите меня, робята,— попросил он,— я поврежден малость.

Жеребец измял ему ступню. Дети взяли батю на руки и поднесли к человеку. Синими губами батя пересчитал ассигнации и плюнул ему в глаза.

— Век бы душа моя не знала тебя, вошь!..

Человек обернулся к бабам и покачал головою.

— Ячменьку распарь, желаннушка, и привяжи к ноге-то: помогает,— отводя в сторону бабушку, прошептал он.

Потом бате:

— Прощевай, Васильич... Поправляйся с моих капиталов.— Человек хотел порукаться.

— Не подходи!—испуганно заверещал батя.—Опять ти харкну в морду! Ты меня ограбил!..

За скотиною продали хлеб, одежду, снасть, амбары.

Парни не пошли на службу, но семья очутилась между двух на голи. От бывшей полной чаши остались стены да слезы. Впроголодь ели. Не во что было обуться, одеться. Батя захворал. Снова перешли на барщину. Больной Василий плакал. Лежавший с ним батя утешал его, шутил, а сам был хуже брата: почернел, осунулся — зубы да глаза.

Одна беда не приходит. Бабы с жиру точили лясы над бабушкой, а она и впрямь была в тяготе. Почти старухе,— больной, имевшей двух девок на выданье да четырех невесток, старшая из которых уже носила мальчика на руках,— ей показалась зазорной эта поздняя беременность. «Яруньа, дура, не отстает от молодых!..» Бабушка решила тайно опростаться.

Был март. Играло молодое солнце. Расплавленным серебром катилась полноводная красавица река. В избе, уткнувшись личиком в тряпки, скулил батя: пропала в этом году его рыбная ловля.

Парни были на барщине. Рядом с батей таял алман. В теплушке переодевались пришедшие с работы бабы. Вдруг в избу с воплем вбежала Наталья, старшая дочь.

— Бабоньки, матяке худо!

Бросились на двор. Под переметом лежала в луже крови бабушка без сознания. Рядом детский трупик, наполовину зарытый в навоз...

Бабушку внесли в избу, обмыли. Она была как мертвая. Позвали повитуху. Та накинула на спину горшки ей, натерла керосином с редькой и солью, влила в разжатые зубы полбутылки вина.

Несколько недель бабушка не приходила в сознанье, рвала на себе рубахи, измучила всех. На красную горку открыла глаза. Было погоже. Солнце ударило ей в лицо. Бабушка зажмурилась и прошептала:

— Ох, милые, что же это?.. Девки!..

Дочери бросились к ней, но на глаза бабушке метнулся батя.

— Отжила, сука борзая? — проскрипел он с лавки.— Безмена нет под рукой, я б ти свистнул!..

Бабушка затряслась, закорчилась, лицо покрылось потом.

— Супостат, супостат! Враг-губитель! Лиходей-мучитель!..

Извела, ожесточила батю. В моменты буйства он волок ее в сарай, раздев, привязывал к столбу и плетью рвал в ленты тело ее. А бабушка не чувствовала боли; как собака, обнажала синие десна и лаяла:

— Супостат, супостат! Враг-губитель! Лиходей-мучитель! Я тебя деревянным ружьем застрелю!..

Так, с ранней весны и до поздней осени, десять лет она провела в сарае. А зиму — в темной, вонючей теплушке, вместе с овцами, телятами, птицей. Босая, в длинной рваной рубахе, с растрепанными косами, шевелившимися от насекомых, она была страшная. Даже дети под конец стали бояться ее. И все десять лет тело ее было черно, как чугун, от побоев, и не заживали на нем гниющие раны. Так и умерла с этими ранами, на этой же смрадной соломе, в темной и грязной закуте, меж животных, сама превращенная в бессмысленное жалкое животное...

А батя? Он плакал, когда хоронили бабушку. Вспомнил ли свою молодость, и ярь, и жадность, и восторг работы, в которой незаменимым другом и рабой была несчастная жена его, и теперь, наконец, оценил и пожалел ее? Почувствовал ли, что и его конец будет не слаще? Раскаялся ли в том, что извел, замучил до смерти человека? Кто его знает! Сложна и темна душа человека. Нелепа, запутанна, с вывертами и гнойными желваками, с дьявольскими кукишами душа старого человека. Нынче он жизнь отдаст за ближнего, завтра кровно обидит его; сегодня ласкает и целует глаза жены своей, завтра плюет в них. Показалось солнышко — душа чиста и светла — душа подвижника; задернулось небо тучами — Мафусаил способен на мерзость, гадость, бессмысленную жестокость и преступление.

Смерть жены как будто подшибла батю. Он присмирел, завял, рассеянно работал.

— Хосподи-батюшка, мается человек на земле, а про душу не помнит,— что на том свете душе уготовано? Робята, я, кажется, умру скоро, не забывайте, пожалуй-

ста, бога... Ходите в кобедню, попов привечайте... И вы, бабы... Превеликие нам муки положены на земле, давайте хоть у бога облюбуем покраше местечко...

Перед вознесением объявил, что идет в Киев, к угодникам...

— Обсел... подмок!..— шептались домашние.

Бабы с радостью набивали его сумку сухарями и натертушами. Сложив блинчиками губы, батя разморенно капризничал:

— Пошто вы?.. Выложьте вон!.. Пойду Христовым именем.

И вот настала торжественная минута прощания. Подорожному одетый, с белой сумочкой за плечами, батя снял образ с божницы, трижды поцеловал его и сказал старшему сыну, отцу моему:

— Сеньтя, иди, сынок, я обословлю тебя, може, не свидимся.— И у него задрожали губы, когда он говорил это.

А отец мой, смущенный и растроганный, ответил:

— Что ты, тятяка, думаешь об смерти, типун ти на язык, еще поживешь с нами.

— Иди, сынок, иди,— всхлипнул батя.

Отец подошел. Батя смиренно благословил его, низко поклонился и поцеловал.

— Прости меня, сынок, в обиде,— и упал перед ним на колени и прижался головою к лаптям его.

Так же благословил и младшего сына, Алексея-беляка, и племянников Петра с Макаром и всем, кроме баб, земно кланялся.

Семья проводила батю за конопляники. Когда он скрылся из вида, отец мой подбросил вверх шапку и пустился вприсядку.

— У-шел!.. Може, бог даст, заблудится!..

Обнявшись, с песнями, браты пошли прямо в кабак. До полден бражничали там. Отец кричал:

— Кто теперь хозяин? Ага! Что хочу, то ворочу!..— И снова вприсядку, или выскочит на улицу, да через всю дорогу колесом, колесом,— только рубаха раздувается.

Дома зарезали племенного барана, наварили холодца. Бабы спекли сдобных лепешек.

— Эх, и побаловались! — с восхищеньем рассказывал, бывало, отец.— Одной водки пожрали несусветную силу. Кур, цыплятишек перевели на нет. Петруха как-то

разошелся, кричит: «Давайте, робята, корову резать, пока бати нет!..» Спьяна чуть корову не зарезали!..

Под успенье, увешанный образками, с почерневшим от загара личиком, возвратился батя.

Мама чистила в сенях овечью требуху. Вдруг слышит: шаркают у крыльца лапти, тихий старческий голос, знакомый и незнакомый, певуче журчит:

— Хосподи, Суси Христе, преподобный Антоний, Федосий, Иван Многострадальный, пустите, рабы божьи, странного человека в дом...

Мама любила странников.

— Заходи, милый,— с радостью сказала она, выглядывая из дверей.

На пороге — батя.

Мама выронила требуху и не могла сойти с места.

— Так-то?! — увидев требуху и бросаясь с кулаками к маме, завыл батя.— Пиры-беседы?!.

Схватив одной рукой маму за волосы, он другой начал охаживать ее грязной требухой по голове.

— Пиры-беседы, растуды вашу мать?! Хозяин страдает, бога за вас молит, а вы, сукины дети, баранину жрете?!.

Была целая куликовская битва. «Инде монголы теснили россиян, инде россияне теснили монголов...» Сбросив с себя к чертям образки и ладанки, батя избил все семейство, не исключая и Феди, семилетнего брата моего. И так всех пушил матом, что, казалось, стены лопнут. Жена Алексея-беляка забилась было на печь, так он сволок ее оттуда за ноги и высек метлой при всех,— не увертывайся!..

Тот же отец мне потом жаловался:

— Ну, понимаешь, Борь, вчистую заездил!.. Ну, прямо — хоть давись! Вот, ей-богу, не брешу!.. Думали: не воротится, али придет потише, а он, как раскаленный, ну, взаправду как змей огненный!.. Эх, и помучил же нас!.. Поглядел: хозяйство подточено...— Отец при этих словах превесело хихикал и крутил головою.— Ч-чума его возьми, хозяйство!.. Обмерил, обвешал, чует, есть грех: ни сохи, ни бороны, ни драной онучи. К-эк завоет!.. К-эк ударится оземь... Да на реку купаться!.. Болтыхнулся с кручи и не вылезает... Уж мы: «Да, батюшка, да вылезай, мы больше не будем так-то, да, желанненький, прости нас!..» А он нам стыдное место всем показывает, а сам плачет...— Отец в этом месте опять крутил головой.— Такого анчутки я в жизни не видывал!..

И вот, Борь, пошла у нас такая кутерьма, не приведи господи! Забил всех в прах!.. А что мы работы поделали, ажно жутко: ну-ко, нагони старое обзаведение, точить-то легко!.. День и ночь, день и ночь жилились, в тыщу разов хуже барщины, да этак-то годов восемь!.. А что скажешь поперек — за бороду цапнет, да в рыло... Конешно, другого я до пяток бы расшиб, а тут нишкни — родитель... Соберет, бывало, сход: «Старики, желаю детей выпороть, ведро вина ставлю»... Поставит вина, нас всех четверых приволокут на сход и выдерут. Ну, вот как, Борь, он нам опротивел, сказать трудно: идешь около и в озноб тебя бросает — али дать ненароком, чтобы глаза на лоб выскочили!..

В половодье, лет семидесяти, батя, во время рыбной ловли, простудился. Я эту пору уже хорошо помню. Помню, как он прибежал домой с ведром гольтявок, мокрый, синий, и как волк щелкал зубами. Сунул ведро к шестку: «жарь!» — а сам полез на печь. Ночью его бросило в жар, потом в озноб, батя стал бросаться на стены и молоть околесицу.

Временами, приходя в сознание, протяжно и жалобно стонал, но лишь стоило кому-нибудь из семейных попасться на глаза, он, как козюля, извивался и через силу шипел:

— Р-рады?.. Гроб припасли, мошенники, нерачители!.. Погодите, не радуйтесь, я еще поживу... поживу...

И столько у него за это время накопилось злобы, что, бывало, начнет стращать, как он встанет и проучит всех, начнет грозить,— задохнется, посинеет и — у него корчи по всему телу.

Но показать ему себя уже не удалось — батя на всю жизнь обезножил. Эх, да как же он плакал, когда понял, что песенка его спета!.. Попросит, бывало, поднять себя с печи, вцепится, как маленький, руками в лавку и пойдет рядом, потом выпустит лавку, ступит несколько шагов, застонет и свалится на пол. В отчаянии рвал на себе волосы, ругал и царапал в кровь ноги, придумывал тысячи средств, но все было бесплодно!..

За годы сидячей жизни батя стал мелочным, сплетником, обабился. Еще бродила в теле сила, а дальше печки да кутника не мог двинуться. Тогда он стал привязываться к бабам: хлеб не так пекут, квас плох, не в то бердо кра́сна поставлены. Велит себя посадить под красна, а бабе — ткать; учит ее, как перебирать ниченки,

и если баба оступится подножкою, в кровь щипал ее за ноги.

Отношения к нему детей и племянников с каждым днем становились хуже: безногий батя перестал быть страшным! Его вечное брюзжанье раздражало. Да и не одно брюзжанье и придирки раздражали,— была здесь и месть к нему, может быть и неосознанная. Все реже ссаживали его с печи, все равнодушнее относились к окрикам и брани, подчас даже смеялись, когда ему была надобность для себя,— «потерпишь!..»

И так целыми неделями и месяцами лежал он на печи, и так же, как по покойной бабушке, по нем тучами ползали насекомые.

Урывками, раз в два месяца, прибегала к нам несчастная старшая дочь его, Наталья,— няняка Скворцова, как мы, дети, звали ее,— сама к тому времени имевшая охапку детей, вытрясала из рубахи насекомых или, разостлав на скамье, несколько раз прокатывала по ней бутылкой,— насекомые хрустели, как конопляное семя. И ту же рубаху опять надевали на батю: не было другой.

И вот в таком-то аду батя долго-предолго мучился, дольше бабушки. Стал тих; часто горько, как обиженное дитя, плакал.

А дела у нас в это время шли по-новому. Дети и племянники поделились. Отец пил. Напиваясь, срамно ругал батю, дергал за бороду. Батя отмалчивался. И лишь изредка, измученный попреками, побоями и бранью, клял бога, забывшего его на земле. И бог, наконец, сжалился над ним и скоропостижно прибрал.

Постом был какой-то праздник. Отец сидел в шинке. На печи, где ютился батя, в стене было прорублено маленькое квадратное окошечко на поле. И вот как раз против окошечка на равнине сошлись две деревни, наша и соседняя, драться на кулачки. А в молодости батя сам был не последний боец. И когда он увидел, как сходятся деревни, ожило его горячее, неуемное сердце и огнем заструилась кровь по жилам. Дрожа, вплотную приник к окошечку, следил за дракой, счастливо шепча:

— Наша берет! Наша берет!...

Вдруг счастье изменило нашим: опрятовцы стали их сбивать.

Батя схватился за голову.

— Наша сдай! Наша назад! Бери в кольцо!.. Наша сдай!..

И так забылся, что шепча: «наша сдай» — сам пятился назад.

Наша деревня в беспорядке побежала.

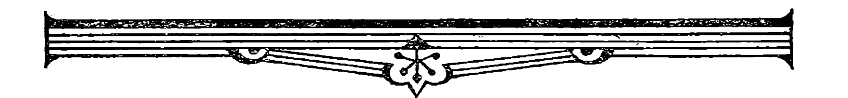
— Говорил: сдай! — в отчаянье крикнул батя, срывно подаваясь назад, и полетел вниз головою с печки, переломив себе хребет.

— Батя, как тебе жизнь показалась — долгой? — спросил его перед смертью брат Федя.

Тускло горела лучина. Ползали тараканы.

— Давно...— чуть внятно прошептал он запекшимися губами. А потом подумал и добавил: — Нет, Федя... как вчера... еще малость пожить бы...





ДЕТИ НУЖДЫ

(Записки)

Рукопись эту, местами тягучую и неграмотную, передал мне рабочий. Это не «художественная литература». Я переписал ее и расставил, где надо, знаки препинания.

...Черный, как мурин, человек с офицерскими погонами пристально разглядывает меня, вертя документы. Его рыжебородый холуй со шрамом поперек щеки, с которым я уже условился о могарыче, советует принять меня в пожарные, так как он давно меня знает, мы из одной деревни и сызмальства дружим.

— Он, ваше благородие, и в Москве жил пожарным, только вот подбился через семейство, детишки, трое стариков...— говорит холуй...

— Трое?

— Трое... отец с матерью, да бабка... старая-престарая...

Холуй весело подмаргивает мне.

Я не шел, а летел до квартиры. Не важно, что должность маленькая, одиннадцатирублевая, важно, что я вновь буду жить своим трудом, не объедая голодных. Сияющий, я сообщил домашним о том, что получил место в пожарной команде. Все порадовались не менее моего.

Своеобразный мирок — эта команда с особенной жизнью, навыками, обстановкой.

В небольшом продолговатом здании, с позеленевшими от сырости стенами, помещалось восемнадцать семейств. Каждая семья имела отдельное стойло, перегоро-

женное от других занавесками или тесом. В стойле, по-местному пологе: стол со шкафчиком, пара табуреток или скамейка, кровать. Грязное белье, обувь, уголь, щепки для самовара, мешки с картофелем и капустой складывались под кроватью, а остальное имущество и дети — на кровати.

Семейства делились по старшинству. Маховицкий, например, прожил пятнадцать лет в пожарных, он получал высший оклад — четырнадцать целковых, имел два лычка, полог его находился посредине казармы — у лампы. Щавелев жил четырнадцать лет — второе после Маховицкого почетное лицо. Брандмейстеров холуй, Щигровский, одиннадцать годов облизывал тарелки — третья достойная личность; старший сын его окончил городское училище и служил вольноопределяющимся, второй — писцом в полиции, а жена — первая в казарме сплетница и смутьянка.

Ей ни в чем не уступала лишь Анна Ивановна, знаменитая наша Кофейница, хотя муж ее и был во втором разряде и получал только двенадцать с полтиной. Зато у Анны Ивановны был капитал в двести рублей. Анна Ивановна была среднего роста, сухая, как щепка, остроносенькая, желтая. За желтизну ее и прозвали Кофейницей. Как, бывало, у кого нужда: табаку не хватило, пришел гость — опохмелиться не на что,— идут с поклоном к Анне Ивановне.

— Анна Ивановна, выручай из петли! Дай двадцать копеек.

Анна Ивановна поглядит на Щигровчиху.

— Все ко мне, да ко мне. Шли бы к ученым. У них, небось, сундуки трещат. На, да погляжу, как отдашь.

Иному приходится раза три за месяц поклониться ей. Зато, как придет время получки, Анна Ивановна, как царица савская, садилась на подушки, в руки брала желтый с мелочью мешочек и с торжествующим видом принимала дань от подданных.

— Эй, ты, Кузьма, что ты прошел мимо, али забыл? Постой, подсунешься!..

— Сейчас, сейчас, Анна Ивановна, все будет пополнено. Спасибо, что выручаешь.

— Григорий, ты хоть бы для смеха мне рюмочку поднес, чай, месяц ждала, слова не сказала.

— Да мне невдомек, Анна Ивановна, низвиняйте. Я сейчас вам принесу повеликатнее — пивка!..

Такие дни для нее были самыми торжественными.

В это время она и Василя своего не ругала ночами, как всегда, четко выговаривая среди общей тишины: — Ох, штоб он у тебя отсох. Штоб ты сгнил с им вместе...

Одно ее смущало: желтизна и сухость. Зато при воспоминании о прошлом она вся расплывалась в улыбку и благодушие, больно уж ей нравилось прошлое:

— Как я, бывало, молодая-то, как выйду, бывало, на улицу, да заиграю песни, ребята-то, ребята за мной, — как стадо... А ляжки у меня какие были толстые, да белые!.. Бывало, надену новое платье да пройдусь по улице, хвост-от: шу-шу-шу! А народ глядит, да — чья это? чья это?..

В этот момент обязательно слышался раздраженный голос Щигровчихи к мужу:

— Прош, а помнишь, как мы обвенчались? Помнишь, какие у меня были груди? Бывало, ляжем в постель, я тебе одну грудь подстелю, а другой укрою, — помнишь?..

Когда я вошел первый раз в помещение пожарной команды, то случайно остановился у балагана Анны Ивановны, где ее Василь с молодым пожарным пил водку. Чтобы как-нибудь завязать разговор, я попросил пивших принять меня в компанию.

— Вон, отдай бабе питиалтынный, — угрюмо сказал Василь.

Расспросил, как тут можно харчиться, нельзя ли поступить к нему в нахлебники.

— Аржаниха, вот возьми нахлебника, — насмешливо крикнула Анна Ивановна.

Я взглянул в угол. На койке, на куче грязного хлама, обвив руками колени, сидела женщина с густыми черными волосами.

— Куда уж нам с нахлебниками, себя не прокормим, — буркнула она.

Я не понял, что Анна Ивановна смеялась над бедностью соседки, и начал просить взять меня на стол, причем бросилось в глаза, что женщина эта не такая, как остальные: будто она случайно заброшена в этот мирок, совершенно не подходит под их масть, даже и тип-то какой-то особый, не русский.

Пришел вахмистр, толстый и хитрый человек, с киргизскими глазами. Выдал мне обмундировку, указал постель и повел в трубную.

— Вот твоя бочка, номер второй. Будешь помощником Аржаному. Обязанность: как зазвонят в колокол,

должен вызвать обоз во двор, потом в конюшню надевать хомуты. На пожаре быть с ломом.

Выкатили бочку. Григорий, молодой пожарный, вывел пару лошадей. Вахмистр показал, как надо запрягать.

Вечером откуда-то приехал Аржаной, черный, среднего роста угрюмый мужик с руками гориллы.

— Вот твой новый напарник,— сказал вахмистр,— покажи ему, что надо.

Аржаной исподлобья поглядел на меня и спросил:

— Водку пьешь?

— Пью.

— Приятелями будем.

В тот же вечер команду вызвали. Для меня, новичка, это было любопытно и жутко. Часов в десять, когда публика мирно беседовала, бабы сплетничали, неистово заверещал у дверей колокольчик, привязанный на проволоку с каланчи. В одно мгновение все наше сбродное население с быстротою перепуганных кошек, не разбирая дороги, бросилось в трубную и конюшни. Если бы кто имел время и охоту, увидел бы: там дитя ревущее, опрокинутое навзничь, чуть не убитое; там задрал вверх ноги стол с дымящимся борщом; там валяется мыльная мочалка с тазом горячей воды, а хозяин с намыленной, как копна, головою торопливо надевает каску, мыло кусками ползет по плечам и лицу его и падает на землю; а вот бородач, задумавший помолодиться: одна сторона лица его обрита, а другая густо намылена; чертыхаясь, он тоже напяливает на себя мундир и каску... Как стрела, со двора выехал верховой казак и куда-то помчался... Две минуты назад люди мирно беседовали, каждый занимался своим делом, а теперь, как сумасшедшие, мечутся по двору. Еще две минуты, и обоз, при зловещем свете смоляных факелов, сверкая машинами и касками, бешено несся по городу. И все это наделал незаметный повелитель — колокольчик. Он же не дает возможности отлучаться дальше ворот, свободно спать. Некоторые обитатели пожарной десятки лет проспали, не раздеваясь, не снимая серых, толстого сукна, штанов.

Горел двухэтажный деревянный особняк купца Павлова, впоследствии главаря местной черной сотни. Говорят, он сам поджег его, дабы скрыть какие-то плутни. Когда мы приехали, огонь уже выбивался в окна, как в неприятельскую крепость. Часть пожарных тотчас же бросилась в пламя; другие полезли на крышу, в сосед-

ние службы. Стоя в пролетке, брандмейстер командовал. Исправные машины, близость воды, расторопность и сметливость старых пожарных не позволяли распространиться огню на соседние постройки. Черные, с опаленными бородами, пожарные иногда выходили из пламени и клубов дыма, чтобы подышать свежим воздухом.

— Спасибо, братцы, верой, правдой служите,— покачивая белой головой в суконном картузе, говорил Павлов.— Везде хвалить вас буду... Губернатору, членам управы...

Вдруг, среди шума и треска горящего дерева, раздалось отрывистое:

— А-ах!..

Толпа ротозеев на противоположном тротуаре заволновалась и придвинулась ближе.

— Упал!.. в огонь! Скорее!

Почти все пожарные, чуя беду, бросились в завесу едкого дыма и через минуту вынесли обгорелого старика Маховицкого, упавшего с крыши. Он еще дышал. Одежда и волосы его обгорели; распухшее лицо было в крови; один глаз вытек.

Старика немедленно отправили в больницу, но на полдороге туда он потребовал везти в казарму.

При глубоком молчании его пронесли к своему пологу. Была полночь. Маховицкий знаками подозвал детей. Молча перекрестил их. Потом перекрестил жену. Попросил выше приподнять его голову и зажечь свечку. Жена подала свечку, но он отстранил ее.

— Василь,— прошептал он.

Подошел муж Анны Ивановны. Маховицкий рассказал, как и где похоронить его, какую надеть рубаху, сапоги, сколько заплатить попам. Сказал, кому он должен. Потом попросил свечку. Обгорелыми изъязвленными пальцами держал восковую копеечную свечку, тоскливо кривясь на детей. Через полчаса его не стало.

Утром вахмистр сводил меня на каланчу, показал «части» города, слободки, пригороды. Назвал церкви. Научил поднимать шары.

Так потекла моя жизнь — однообразно — в новом для меня миру пожарных.

В общем, все время был весел, много пел, а еще больше говорил: вероятно, после продолжительного уныния и замкнутости. Словами сыпал, как из рукава. А так как мне приходилось кое-где бывать, многое видеть, то

каждый вечер я рассказывал новое. Меня прозвали брехуном.

— Хоть не везет, да радует. Ну-ка, сбреши что-нибудь.

Но главное мое внимание заняла хозяйка — Аржаниха, Луша. Она оказалась сердечной, отзывчивой женщиной, немного замкнутой. Среди соседок она резко выделялась наружностью и тем, что не любила ссор и перебранок. Полной противоположностью был муж ее, горилла: лет на двенадцать старше ее, он был лохмат, груб, дерзок и отпетый пьяница. Несмотря на вопиющую нужду, он постоянно пропивал свое жалованье. Семья жила тем, что зарабатывала Луша, стирая поденное белье. У них было двое детей — Ваня четырех лет и Кирилл — хорошенький, белокурый мальчик, еще не умевший говорить. Эта разница Аржаных не могла не броситься в глаза мне. Я искренно жалел замотанную женщину. Вспоминал и свои безобразно и безвозвратно утекшие годы, и меня как-то ближе и ближе тянуло к приютившей хозяйке. Часто мы подолгу сиживали с нею за самоваром. Аржаной обыкновенно уходил в трактир или ложился спать. Я читал вслух или рассказывал что-нибудь, а то расспрашивал ее о прожитом житье-бытье. Вот прошлое ее.

«Бабушка» привела ее в приют. Она была настолько мала, что едва доставала крышку стола, за которым сидел «дядя». Потом «бабушка» ушла. Года через два в приют приходила «мама» в белом платье, целовала ее. И тоже ушла. Вот и все воспоминания о родителях, родственниках. Зато Луша с любовью вспоминала приютский сад, игры. Ее звали — Луша Ползик.

Иногда в приют приезжали чужие люди — богатые и бедные — и увозили кого-нибудь из детей. В таком случае командовали:

— Дети, на выборку!

Дети с восторгом бежали на выборку: они слышали, что за стенами приюта жизнь лучше — сытнее, разнообразнее и радостнее.

Однажды приехал в приют помещик Соловьев. Он выбрал Лушу. Дети закричали, запрыгали, хлопая в ладоши:

— Лушу Ползик выбрали! Лушу выбрали!

Так окончилась ее приютская жизнь. Ей было восемь лет. Она помнит дорогу в имение, зеленое море хлебов, ясное небо и радость свою невиданному, новому — при-

горочкам, деревням, рощам. То в страхе, то в восторге она прижималась к «дяде», который ласково трепал ее по щеке, спрашивая:

— Нравится?

Но в барских хоромах Луша быстро опомнилась. Сам был еще ничего — добрый, веселый, бесхарактерный. А жена — аспид и василиск. Скаредность толкнула ее в приют за бесплатной прислугой. На Лушу возложили уборку комнат, мытье посуды, чистку обуви и платья. Хотели вырастить хорошую горничную. И с первых же дней барыня возненавидела ее, так как ее необходимо было кормить, обувать и одевать. А она была шустрая, жизнерадостная; те отрепки, что барыня передавала ей, рвала быстро. От гостей Лушу прятали, а если кому нечаянно приходилось видеть ее, барыня говорила, что это дочка их пьяницы-садовника.

Случалось, выведенный из терпения барин спрашивал жену:

— Да что же это такое, посмотри, на что она похожа?

Барыня неизменно отвечала:

— Пожалуйста, Мишель, не вмешивайся в мои хозяйственные распорядки: имение мое. У тебя есть коньяк и любящая жена — и довольно.

— Террибль, террибль [1],— бормотал помещик.

— Ты ничего не знаешь, Мишель! — кричала барыня, тряся Лушу,— это такая дрянь, острожница, лентяйка!..

По отношению к рабочим эта змея была не лучше. Как-то так выходило, что рабочие были неоплатными должниками ее. По году и больше она не платила им жалованья. В день получки она выходила на балкон и сокрушенно заявляла рабочим:

— Иван, Матвей, Федор, у меня денег нет, как хотите. Где я их возьму? Вы вот поглядите: я — барыня, а хожу в худых ботинках.

Снимала с ног худые, стоптанные ботинки и показывала рабочим.

— Вы думаете, мне сладко ходить босой?.. А ведь я — дворянка, мой папа был мировым судьей...

Никакие мольбы, нужда, горе не трогали сердца скряги, несмотря на то, что жалование было заработано и составляло самый высший оклад — четыре рубля в месяц. Жаловаться, конечно, было некому.

---

[1] Ужасно, ужасно (от *фр.* terrible).

И все-таки, даже на положении рабыни-нищенки, с тычками, голодом, Луше в имении жилось хорошо,— это сама она говорила. Главное, она была еще ребенок, неудобства своего положения она не понимала. На соболезнования разных старушек-скотниц вроде: «Ах, ты, несчастная крошка, кабы у тебя была родная матушка!» — удивленно уставляла глаза, не зная, что значит «несчастная», «мать», все женщины — матери. Лучшая сторона ее жизни была та, что Луша из четырех стен приюта попала в деревню, где были и сады, и парк, и пруд, и раздольное золотое поле. Барские дети, ее сверстники, тоже не понимали, что значит кость черная, кость белая. Любили Лушу, она была участницей их игр, и когда, по распоряжению старших, грязную девчонку приказано было удалить от них, дети подняли рев, и господам пришлось сдаться.

Так прошло семь лет. Как-то перед пасхой барыню разобидела скотница. Кажется, не с той сиськи подоила корову. Барыня надавала ей пощечин, разбила подойник и, возвратившись в комнаты, скоропостижно умерла от злости своей змеиной. Наехали наследники. Барина вытолкали. А за барином пришла очередь и Луше: ей сшили ситцевое платьице и отвезли в приют.

Там ждали ее перемены. Старый смотритель сидел в тюрьме за изнасилования воспитанниц. На его место явился новый, чистотел, в серых перчатках. Красивых и сильных девушек он раздавал городским «тузам» «горничными». Разумеется, не даром. Луше было пятнадцать лет. По уму — дитя, по росту — полная краснощекая красавица с копною черных волос. Она и суток не пробыла в приюте.

Начался бесконечный ряд мытарств девушки-сироты, приютской, безответственницы, с которой можно делать что угодно. По дородству и красоте — а в ее лета какая девушка не красива! — она сразу бросалась в глаза. Являлась масса слюнявых господчиков, падких до молодого тела. В особенности тяжело ей было ладить с хозяевами. Большинство их были семейные, занимали то или иное положение в городе, слыли добрыми или умными, или набожными, или честными, но с прислугою держали себя хамами. С первых же дней — экивоками, а некоторые и напрямик заявляли: будешь вместе спать — будешь жить, получать жалованье и подарки, не будешь — скатертью дорога, хоть до острога. Были попытки насилий — в пьяном, трезвом виде, в отсут-

ствие жен и в то время, когда жены возились в соседних комнатах с больными детьми. В течение нескольких месяцев у Луши не высыхали глаза, она переменила около десятка мест, каждый раз выбрасываемая на улицу.

Находились сердобольные старушки, которые жалели ее, звали пить чай. Луша по горькому опыту подруг знала эти зазывания и, как чумы, боялась их.

Наконец дошло до того, что лезь хоть в петлю. Голодная, в слезах, Луша воротилась в приют.

— Такая здоровая дылда и не хочет работать! — закричал смотритель.— Бесстыдница!..

Поздним вечером, в осень, ее выгнали из приюта, приказав больше не возвращаться.

Луша шла по улице и громко плакала. Встречные принимали ее за пьяную проститутку,— издевались над нею.

Квартала через четыре ее догнала смотрительница и отвела к сестре, жене пристава. Жена открыто имела хахарей. Муж при жене водил в дом проституток. Понятно, пристав тотчас же набросился на Лушу: или сдавайся, или уходи. В городе не было ни одной родной души. В приют двери закрылись. Оставалось: умереть или отдаться приставу. И вот как раз в эту пору к ней посватался пожарный, не старый, лет двадцати семи.

— Я с вашей сестрой с тринадцати годов дела имею, сволочь вы народ,— говорил он Луше.

И Луша все-таки дала согласие.

— Счастлив, орангутанг, подцепил,— ну, погоди! — кричал вдогонку пьяный пристав.

Муж оказался, действительно, орангутангом: груб, дик, заносчив и горький, прегорький пьяница...

Я слушал это повествование: ни укора, ни проклятья, ни жалобы на свою долю...— Отупела или умеет прощать? — спрашивал я себя. Слушал и сравнивал с своею жизнью: жизнь Луши была мучительнее. И будущее не сулило отрадного. Жалко до слез стало ее, и возненавидел я мужа ее, Степана Аржаного.

Очевидно, и Луша жалела меня. И эта обоюдная жалость теснее сблизила нас. Мы стали чувствовать себя необходимыми друг другу.

Меня возмущала и огорчала грубость мужа ее:

— Луша, разотри мне руку. Луша, вымой мне голову. Луша, поищи вшей. Луша, дай на полбутылку!..

На полбутылку из тех денег, которые она зарабаты-

вала тяжелым поденным трудом, бросая на произвол судьбы детишек.

И Луша ни в чем не отказывала ему. А Степка становился все нахальнее, грубее. Раньше хоть пил, но не позволял выходок, теперь начал скандалить. И все это, капля по капле, переполняло чашу терпения.

Мне он до того стал противен, что я не мог глядеть в лицо его, обедать из одной чашки. Это, конечно, не могло укрыться от Аржаного. Он тоже возненавидел меня всей душой, но молчал. Он не ревновал, несмотря на то, что мы с Лушей были неразлучны: он глубоко верил в нее. Во время своих скитаний, когда он обыкновенно сидел на шее Луши, пропивая ее жалование, грубя хозяевам, насильно снимая с мест, заставляя бедствовать по неприютным русским дорогам, она оставалась верна ему. Он знал все это и по-своему ценил. Быть может, дорожил как доходной статьей: без Луши он давно погиб бы.

Вскоре, как и следовало ожидать, привязанность и жалость уступили место иному чувству: я полюбил Лушу — на свое горе и муки. Я понимал всю нелепость своего положения, чувствовал, что я лишний среди них. Пытался находить в ней отрицательные стороны. Как видно, и Луша переживала то же: стала сдержаннее, суше. Вздумала искать мне невесту. И правда, тут же, на дворе, была девушка, которая, как я после узнал, любила меня. Сумей она в ту пору как-нибудь сказать мне об этом, все бы кончилось благополучно, я повенчался бы. Но судьбе надо было поиздеваться надо мной.

Я был уже казаком у полицмейстера: развозил пакеты, сопровождал во время выездов. А девушка, Марфуша, служила горничной. Часто я катал с нею белье на кухне. На несчастье наше, мы не могли ни в чем сойтись во мнениях. О чем, бывало, ни заговорим, обязательно заспорим. Особенно мне не нравилось ее раболепство перед господами.

— Мы должны любить и уважать их,— говорила она,— они нас хлебом кормят, да еще платят жалование...

Это прямо бесило меня. Я изо всех сил лез,— старался доказать, что они-то как раз и объедают нас, живя нашим трудом. Говорил это от разума, о политике в ту пору еще не было слуха.

Между тем мои страдания о Луше были всем заметны: лицо мое почернело, дергалось, ходил как удавлен-

ный. Надо мной посмеивались. В особенности приятель Илья Носов, лакей полицмейстера. От лакея знала и кухарка и горничная. Однажды Марфуша стала прямо укорять меня.

— Брось ее, в кого ты втюрился — старая баба, толстая, как корова...

Укоряет и плачет, роняя слезы на полицмейстеровы подштанники, которые она гладила.

Я спросил:

— Да что же я сделаю: кто за меня, за нищего, пойдет?

Она закричала:

— Всякая пойдет!.. Я пойду!.. Даже любая!.. Нищий, да мил, а то есть с капиталом и сапоги лаковые, да глаза бы не глядели!

Это она намекала на Илью Носова, который к ней сватался.

А я, отуманенный страстью к Луше, не понял этого и подумал, что она шутит.

И вот началось то, чему и теперь я не нахожу оправдания. Какой-то вихрь, в котором все завертелось, закружилось, перемешалось — любовь с ненавистью, правда с подлостью, радость с горем. Все мы стали не своими. Нами овладела могучая посторонняя сила, отстранившая нашу волю. Все предметы и люди с крошечными серыми жизницами слились для меня в одну ненужную и неинтересную кучу мусора. Единственным светлым солнцем была моя Луша. В сущности, она не была моею, она принадлежала другому человеку — горилле, но это было только недоразумением, ошибкой, которую какою угодно ценою надо исправить,— надо было вырвать Лушу из лап чудовища, хотя бы ценою жизни.

Так мне думалось, так переживалось. И это сознание росло и крепло с каждым днем. Но как мы ни мерекали, как ни старались найти выход, все расползалось, как грязь под лаптем. На стороне Степки были закон и власти. А мы были только преступниками, нарушителями нравственности среди «честных» и «нравственных». Тогда мы решили тайком уехать из города. Но и тут дальше решения дело не двигалось: у меня не было лишней полушки за душой, у Луши — паспорта. За нами следили десятки любопытных глаз. Некоторые уже наговаривали Степану, что между нами неладно. Он стал волноваться, следить за мной. И так угрюмый, он теперь сутками не разговаривал ни с кем. Стал чаще

пить. В это время у них умер младший ребенок — Кирилл. Смерть сдвинула с мертвой точки наше дело. Луша заявила мужу, что намерена служить. Написали в волостное за паспортом. Я был как в лихорадке. По существу, Лушею уже распоряжался я, не Степка. Даже в делах хозяйственных Аржаной был между нами третьим лицом, ненужным, как наболевший веред.

Наступил март. Была в разгаре русско-японская война. В народе только и разговора было, что про войну. По улицам сновали ребятишки с телеграммами. Увлекались войной и в пожарной. Очень храбро рассуждали обо всем, зная, что их не призовут на службу. Эти разговоры немного отвлекали пожарных баб от сплетни про нас и наушничанья Аржаному. К этому времени Луша окончательно решила покончить счеты со Степкою и начать новую жизнь.

Рядом с балаганом Аржаных была койка Гриши Колдуна. Так звали пожарного небольшого роста, коренастого, с рыженькой, гвоздиком, бородкой, узкими глазами и лукавой, тонкой улыбочкой. Он говорил тихонько, вкрадчиво, а когда останавливался и думал о чем-нибудь, то рассуждал вслух — выходило, будто колдует. Он был скрытный и сметливый. От него не ускользало ни одно событие. Но он только, бывало, хитренько, тихо улыбался синими губами. Я же, под влиянием любовного угара, был неосторожен. Бывали такие случаи: балаган-койка Аржаных находилась в заднем углу казармы, около трубной. С одной стороны тянулась стена, стол, скамейка и кровать пожарного Андрюшина, с другой — две кровати, конец с концом, на крайней спал Гриша Колдун. Для прохода к пологу Аржаных была оставлена лазейка в аршин ширины, в которой стал ложиться на полу Степан. Чтобы поцеловать на ночь Лушу, я не спал до того времени, когда все засыпали, а потом с противоположного конца казармы пробирался к лазейке, переступал через спящего Аржаного и целовал Лушу. Колдун, страдавший бессонницей, видел мои проделки и доносил Степке.

— Брешешь! — кричал ему пьяный Аржаной,— за это режут!

И все это тянулось до случая, положившего предел всему.

У меня было две лошади. Конюшня находилась отдельно от других. Утренняя уборка начиналась рано, часов до пяти. Вот в это-то время, когда все уходили на

общую конюшню, мы устраивали кратковременные свидания. Однажды я стал просить Лушу придти в конюшню. Как бы предчувствуя беду, она не вышла. Я повторил просьбу. А из виду упустил, что с каланчи все видно. Там как раз дежурил Гриша Колдун. Он видел, как Луша пробралась в конюшню. Пришла смена. Гриша быстро сбежал с каланчи и жукнул Аржаному. Тот сначала бросился в казарму: Луши там не было. В руках его были железные вилы. Что происходило в душе его, не знаю. Войди он в это время в нашу конюшню, он заколол бы нас. Но, видно, не пришло еще время нашей погибели. Как тяжко больной, шатаясь, стеня, он остановился с вилами среди двора.

Мимо прошла Луша.

— Стой, ты где была? — хрипло спросил он.

Она не повернулась, не ответила. Аржаной стоял как вкопанный. Должно быть, он не хотел верить — даже себе.

— Ну, Борис, наделали мы с тобой делов,— шепнула Луша, когда я возвратился в казарму.— Степка все видел.

Словно пришибла меня. Молча сели пить чай. Вошел Степан.

— Молодые, чаек распиваете? С законным браком... венец принявши!

Криво, жалко улыбался.

— Не бреши, чего не следует,— проговорил я,— знаешь, за это по ряжке бьют.

— Тебя! — исступленно закричал Аржаной, бледнея.

Он начал ругаться с Лушей. А тут умывался младший сын Щигровского, писатель из полиции.

— Да что ты,— говорит,— галдишь, дай ей в морду.

Это послужило сигналом. Аржаной схватил Лушу за волосы, бросил на землю и стал топтать ногами.

Три-четыре человека схватили меня. Бабы плевали в лицо Луше, били по щекам. Со свадебными песнями нас подтаскивали друг к другу, хотели, обнажив, положить в кровать. Щигровчиха достала из сундука сорочку Луши, вымазала клозетной грязью и, надев на палку, со срамными прибаутками, под оглушительный грохот ведер, тазов, сковород, носила по казарме сорочку новобрачной. А на меня пожарные надели хомут и, поставив рядом, венчали. Василь был попом, и это продолжалось долго-долго. Луша не проронила ни слова, рот ее был в крови. Мучительную комедию прекратил бранд-

мейстер, прибежавший на крик. Но и он хохотал до слез, глядя на венчание.

Освобожденная из лап двуногих зверей, Луша легла вниз лицом на кровать.

— Куда? — закричал Аржаной,— поганить?

Он стащил ее с постели и, бросив в лицо паспорт, сказал:

— На, ступай с глаз долой, б..., чтобы я тебя не видел больше.

И Луша ушла.

Ах, вот когда я почувствовал могучую силу денег! Будь у меня хоть десятка, я положил бы конец всему, но — бедный богат шишками да вшами.

Луша поступила кухаркой к товарищу прокурора. В тот же день расчелся Степка. Ему нужно было отучить меня от Луши. О том, что она поступила к товарищу прокурора, знал один я, от Степки скрыли. Он начал следить за мной. Раз с пожара я заехал повидаться с Лушей. Степка подсмотрел и поселился рядом у кумы. Начался странный, скверный анекдот. Я ходил к Луше, и Степка ежедневно бывал. Пьяный, он плакал и на коленях просил прощенья, трезвый — грозил убить ее. Луша как в котле кипела, как трость колебалась во все стороны. Наконец она как-то заявила Степке:

— Если не бросишь водку, я тебя брошу.

Аржаной был пьян.

— Брешешь, не бросишь,— самоуверенно заявил он. Он был глубоко уверен, что Луша его любит за то, что он сильный мужчина. Ее верность он тем и объяснял, что он силен и Луше нет надобности искать на стороне любовников. Он не раз так и говорил Луше.

На первый день пасхи, придя христосоваться, он привязался к Луше с правами мужа.

— Ты ошалел, дурак? — спросила Луша.

Аржаной опешил, растерялся, бестолково глядел на нее.

— А что же, Борису можно, а мне нет? Неужто он сильнее меня? — удивленно спрашивал он.

Гориллы ценят женщин как самок. Только. Они не замечают в них отличительной черты характера — жалости, которая порою превышает чувство самой горячей любви и заставляет жертвовать собой для ненавистных. Богатым чувством жалости была одарена душа Луши, и это с первого же раза я заметил в ней, боялся, потому что понимал, что под влиянием жалости, если

я не буду посещать ее, Луша уступит Степке. Каждый день ходил к ней Степка, каждый день ходил и я. И всегда, после его ухода, я находил Лушу такой расстроенной, что приходилось часами беседовать, чтобы успокоить, восстановить душевное равновесие ее.

А тут еще между нами поселился враг, горничная Агашка, здоровая черная сисястая девка, раза два в месяц менявшая приятелей. С первого же дня она приняла сторону Степки и все до подноготной передавала ему. Скрыться было некуда. Как-то у Агашки ночевал чиновник. Я передавал Луше план нашего побега. Несмотря на то, что я говорил шепотом, он слово в слово все слышал, рассказал Агашке, та — Аржаному. С этого времени днем и ночью Аржаной стал караулить меня.

В апреле пришла телеграмма, что через город проедут разбитые герои с «Варяга». Тузы решили угостить их обедом на вокзале. Губернатор и полицмейстер поехали встречать. Хвалили их. Кричали, что «всех врагов закидаем шапками». Я был обязан сопровождать полицмейстера и после его речи изо всей силы кричать «ура». С утра и часов до четырех мы пробыли на вокзале; в пять, расседлав лошадь, не евши, я побежал к Луше, а Степка где-то сидел и караулил. Луша дала мне картошек. Не успел я проглотить куска, в двери ввалился Аржаной с дубинкою в руках, лицо было озверелое. Я оторопел. Слышал только, как он, брызгая слюною, прохрипел:

— Ты зачем к чужой бабе шляешься?

Я приподнялся и почувствовал удар дубинки по голове. Потом он ударил еще. В глазах у меня запрыгали искры, на мгновенье я лишился сознания. Но не упал. А Степка все время колотил меня по голове. Как в дыму, я различил лицо его, схватил одной рукой за бороду, другой допялился до горла. Между нами началась потасовка: двух зверей из-за самки; мы оба хрипели, катались по полу; клочьями с нас летели наши лохмотья, волосы... Я оказался сильнее, подмял Степку и почувствовал, как смялось его горло в моей руке, мне его стало жалко — я отпустил руку. Он был синий. Через минуту он стал дышать, открыл глаза; я заметил, что сижу верхом на нем.

— Разбой! — захрипел Степка.

Я снова придержал горло, он затих. По плечам, груди, рукам и по лицу моему струилась кровь. Как удав, сердце сжала тоска. Стало противным убивать Аржа-

ного. Я поднялся и вышел на двор. Из соседних квартир уже сбежалось десятка полтора баб. Ахали, голосили, звали полицию. Я попросил воды.

— Уходи, уходи, супостат! — загалдели они.

Надо было остановить кровь. Сгоряча я схватил Степкин рваный картуз,— мой был новый, с зеленым околышем. Я побежал в ближайший Красный Крест. Сестры милосердия, увидев меня в крови, шарахнулись,— кто куда.

— Сестрицы! — с мольбой закричал я,— перевяжите, я умираю!..— И потерял сознание.

...Весеннее яркое солнце, пробиваясь через распускающуюся листву молодых каштанов за окном, разбросало по полу блестящие кружева. Кружева шевелятся и тают на белых высоких стенах палаты. Как морской прибой, через раскрытую форточку глухо доносится монотонный и ровный шум города. Временами его перебивают воробьи, которые, как мужики на сходе, о чем-то азартно и бестолково спорят. Я чувствую, как с каждым новым вздохом грудь моя наполняется тихой радостью; сверла в голове ворочаются медленнее и легче.

Прислушиваюсь к весенним шумам, шаркающим шагам прислуги, разносящей чай в высоких оловянных кружках, а радость все растет, поднимается выше и едкой солью точит глаза.

— Сестрица,— шепчу я.

Ко мне оборачивается усатое лицо мужика в сером больничном халате.

— Очнулся? — спрашивает он.

— Очнулся, браток,— радостно говорю я.— А где же сестрица? Где я?..

— В больнице мы с тобой, али не узнаешь? — Мужик наклоняется и оправляет сбившееся на мне одеяло.— Оба-два. Вояки! Ушиб я тебя сильно... Ну, и сам валялся больше недели... Завтра на выписку... Дураки мы с тобой, Борис, эх, дураки!..

Я с ужасом вглядываюсь в знакомые черты.

— Ты, Степка? — трясясь, шепчу я.

— Он самый. Это ничего, что побрили,— отрастет. Небось сердишься на меня?..

— Не знаю, Степа, ничего не знаю. Тебе надо обижаться...

— Земля всех помирит. Лежи. Тебе разговаривать не велено.

Но мне надо сказать ему что-то. Должно быть, самое главное, нужное, то, что с первого дня медленно сжигало душу мою. Я только не могу припомнить что.

— Степа, слушай! — Я приподнимаюсь на койке, но сверло болезненно вонзается мне в мозг, и я со стоном лечу в темную свистящую пропасть...

...Через три недели раны на голове зарубцевались, и я вышел из больницы. Сослуживцы встретили меня молча. Вахмистр приказал сейчас же раздеться и передать обмундирование: меня уволили со службы.

— Не прижился. Вскочил чирей и засох. Только почесухи нагнал,— со смехом крикнула мне вслед Анна Ивановна.

Придя к Луше, я приказал ей немедленно рассчитаться с хозяином. Взял у нее паспорт и пошел на вокзал, где должен был ожидать ее с вещами и мальчиком. Прошел обед, ее не было. Наступил полдень.

Опять случилось несчастье,— решил я,— или обманула меня.

В это время, от Ямской, в двери вошла Луша с двумя узлами, бледная-пребледная.

— Где же Ваня? — спросил я.— Что-нибудь случилось?

— Вани нет,— глухо ответила она.

Случилось следующее. Степка, поняв, что его дело проиграно, решил действовать силой. Первым делом он унес от Луши ребенка. Ждал, что мать тотчас же прибежит за ним. Но Луша связала узлы и отправилась на вокзал. Тогда Аржаной бросился вдогонку. На главной улице он поймал ее.

— Пойдем на квартиру!

Луша не шла.

— Пойдем! Зарежу!

Луша не шла. Собрались любопытные. Давали советы. Увидев у Луши в платочке булку, Аржаной начал вырывать: он был голоден. А в платке было завязано Лушино жалованье. Она сопротивлялась, тогда выведенный из терпения Степка со всего размаху ударил тою же дубинкою Лушу по голове. Она упала на мостовую. Степка начал наносить ей удары по рукам и ногам. Никто из собравшейся публики не заступился — глядели как на бесплатное представление: бьет, стало быть, того стоит. Спасибо, проходил какой-то чиновник, приказал арестовать Степку. Приглашал и Лушу в участок,

но она, как только опомнилась, поскорее наняла извозчика и уехала на вокзал.

Когда я осмотрел на ее голове рану, она оказалась сеченой, дюйма в два. Еще сочилась кровь. Но Луша так завила волосы, что кровь впитывалась в них, не проступая наружу. Оставался последний поезд. Он, как на зло, медлил. Мы страшно боялись, как бы Аржаной не прибежал добивать нас. Наконец ударил третий звонок. Мы с облегчением вздохнули. Страх сменился светлой радостью. Все забылось — все скорби и муки пережитого.

— На-ша взяла, на-ша взяла, наша взяла...— сладко выговаривали колеса.

Ночью Луше стало дурно. Кровь на голове не подсыхала. Надо было сделать перевязку. На одной из больших промежуточных станций мы слезли. Фельдшер перевязал рану. Мы отошли на версту от станции. Надо было собраться с мыслями, обдумать, выбрать место жительства.

Как после зимы и ураганов ласковое солнце согревает землю, так и я, после перенесенных треволнений, согретый близостью любимой женщины, был счастлив как никогда.

Был конец мая. Солнце только что опустилось за край земли. Словно привидения, по полям ложились серые тени. Дымкой покрылась река. Сонмы цветов кадили тихому небу и тихой земле. Сочная трава почернела от росы и благоговейно склонилась, как бы молясь перед сном. В кустах выкрикивали коростели. Пели и заливались соловьи. Мы сидели молча. Постепенно надвигалась, как судьба, ночь. Умолкли птицы. Таинственная, святая тишина охватила собою вселенную. Я плакал.

На нашей совести был мальчик. Мы не могли оставить его с пьяным отцом. Ребенка надо было выкрасть. Но без денег, пристанища преступно было обрекать его на голод. Мы решили отправиться в Екатеринослав, заработать, а потом уж привезти его.

От Синельникова до Екатеринослава Луша предложила пройти пешком. Кругом, как море, расстилались колосящиеся хлеба, пестрели цветы. Ласковое солнце освещало нам путь. Мы шли и пели. А в голубой бездне небес наши песни звонко подхватывали жаворонки. Сорок пять верст мы шли четыре дня. Сорок пять верст — это сорок пять минут счастья, выпавшего на нашу долю.

В Екатеринославе к нам подсел нищий старик. Рас-

спросили его про работу. Он сказал, что начинают красить мост через Днепр.

Это было прекраснейшее время в моей жизни. Утрами я уходил на работу, а вечером, как только гудели гудки, Луша ждала меня. Радостный, я бежал на квартиру, где меня встречали ласка, ужин и чай.

Но это счастье было кратковременным. Луша день ото дня стала все больше скорбеть о ребенке,— что с ним, как он без матери?.. Как мы ни любили друг друга, эта любовь не заглушила материнского долга: Луша решила поехать за мальчиком. Я отговаривал, просил повременить, но видел, что все мои доводы слабы, они скользят по сердцу Луши.

Во второй половине августа моя работа на мосту кончилась. Луша уволилась с места. Я отдал ей все имевшиеся деньги, проводил на вокзал, мы распростились. Тронулся поезд. Я стоял и думал, что он увозит мою жизнь.

Как деревянный, я шел по улицам. Ах, я слишком дорожил теми крохами счастья, которые в насмешку мне бросила судьба! И это счастье, я знал, ушло от меня.

Я снял квартиру у сапожника-еврея,— деревянную будку, где он работал летом. Пришел ночью. Не было лампы. Пустынно, дико и холодно показалось в новом жилище. В голове звенело, лезли какие-то обрывки мыслей. Всю ночь я не спал.

На утро, измученный и разбитый, пошел к мосту: там собирались праздновать окончание работ. На деньги, данные подрядчиком, набрали водки и колбасы. Рабочие пили, ели, пели песни, дрались. Но я был чужд веселью.

Краешком сердца я надеялся, что Луша дней через шесть вернется. Стал бегать на станцию. Ожидал — вот-вот выйдет Луша из вагона. Но народ выходил, расходился — ее не было. Прошло шесть дней — последний срок по моему расчету. Целый день я просидел на станции. Пришел последний поезд. Луши не было. Боль в сердце увеличивалась. Беспокоила какая-то странная тревога. Ночей я боялся ужасно. Как ночь — для меня легче бы лечь в могилу. Вечером написал письмо. Что писал, не помню. Жду день за днем. А ее все нет. Стал ходить на почту. И вот однажды получаю письмо. Краткое: «Ваню взять не удалось. Степка расчелся с места. Мы решили ехать в Харьков». Будто удар грома на мою бесприютную голову. Каждый член, каждая жилка за-

клокотали во мне, запрыгали, затряслись, рука крепко стиснула письмо, я побежал,— быстро, без оглядки, зачем и куда сам не зная. Усталости я не чувствовал, а как бы чужая сила гнала меня. Что это было, теперь я не пойму. И долго ли это было, не знаю. Солнце клонилось к вечеру, когда я очнулся. Спина ныла, ноги отказывались стоять. Болело сердце. Но я не обращал на это внимания. Стояло одно: решили поехать в Харьков. Да как же это так — решили поехать в Харьков? Ни село, ни пало и вдруг — решили поехать... И я вдруг похолодел от ужаса: да ведь она обманула меня! Обманула, обманула, обманула!.. Я не заметил, как зашел в сквер и просидел там всю ночь. На утро собрался к цыганкам. Не верил я в гаданье, презирал тунеядцев, дурачивших народ. Но люди считают себя неверующими, когда у них все спокойно, а придет отчаянное горе — всему верят, смрадная тина кажется лебяжьей постелью.

Пришел на базар, к притону их.

— Давай погадаю про зазнобушку,— встретила меня одна из них. Не помню, не понимал, что она говорила. Да не то мне и нужно было. Надо было поговорить с кем-нибудь, снять тяжесть с себя.

— А вот пойдем, родимый, если будет дело — возьмусь, не будет — откажусь, не стану тебе голову морочить.

Отвела в сторону, бросила в стакан с жидкостью гривенник.

— Накрой рукой стаканчик: если прыгнет вверх и пристанет к руке — будет дело, не пристанет — гадать не буду.

Гривенник прилип к моей руке. Она отвела еще дальше, велела купить новый стакан, которым не черпалась вода, зарею, до восхода солнца, почерпнуть воды в Днепре и три зари пить по глотку и умываться, молясь на запад, читая ее молитву:

«Лихо время, кровь-руда течет, мое сердце грусть-тоска сосет. Окаянному молюся, его ангелам служу, беса тешу, богу грешу, с милой по воду хожу. Тьфу, сгинь, пропади! Моя доля, к злому сердцу не ходи. Все собирайтесь — с запада, восхода, ночи-полуночи, с четырех лихих ветров: Борея, Марея, Кузьмы с Ларионом... Помолитесь за меня несчастного»...

Все это я проделал. Когда заявился на базар, она уже ждала меня. Повела в глухое место, села за рундук.

— Садись, садись. Чтобы злой глаз не видел, злое сердце не слышало, постылые очи не глядели... Ты хорошо сделал, что послушался: дело идет как нужно. Теперь ты должен дать мне пять рублей, золотой, я положу его в ерусалимскую ракушку, отнесу на три дня под три дуба,— это нужно. В субботу получишь ответ и золотой обратно. Раньше субботы не ходи на базар: все пропадет. Обходи базар стороной, гляди назад, читай: «Белы горы,— на горах шатры. Крепки стены,— за стенами Батыри. Найди хмара, смети шатры. Полей дождик, размой камень. Растопися злое сердце мово ворога. Распустись алым цветком коса моей сударушки. На парусах шелковых, в лодке быстрой ясень-дерева прилети, приплыви ко мне, моя лебедушка!..»

Золотого у меня не было. Нашлось четыре с полтиной бумажками и мелочью,— последние. Цыганка повертелась, пожалась.

— Ну, давай, я как-нибудь устрою. После не забудешь цыганки Маши.

Через три дня я искал по базару цыганку Машу, но ее — Митькой звали. Я остался без денег и работы.

Наступила мобилизация. Я был на учете, но, как гвардейца, меня не выкликали, никто не объяснял причины. Так в томительном ожидании провел дней десять. Ночи были холодные, а я был в одном летнем пиджаке. Оставались три рваные Лушины кофты: одна шерстяная, две ситцевых; их надевал на себя. Мобилизация окончилась. Печальной вереницей гнали запасных вдоль улиц. Впереди превесело играла музыка,— подбадривала, а за нею, как стадо, понурив головы, не в ногу плелись запасные. Сзади шли женщины, дети, сестры, матери, жены,— все горько плакали. Плакал и я, на них глядя,— всех было жалко, и себя тут же.

Через день стало известно, что оставшихся запасных снова принимают на заводы. Мне удалось пристроиться в железнодорожном цехе Брянского завода — сбрасывать с вагонов шлак и ровнять его. Работа подлая, пыльная, от шести до шести. Завод находился от квартиры в десяти верстах. Чтобы поспеть к половине шестого, надо было вставать в три часа, а в восемь вечера приходил обратно. Харчей не было. Кое-как провел три дня без пищи, подбирая картофельную шелуху, которую выбрасывал хозяин-сапожник в мусорный ящик. Потом стало невмоготу. Товарищи надоумили обратиться в контору за книжкой. Я набрал в заводской потребительской лав-

ке тридцать фунтов хлеба и колбасы, но крысы ночью съели колбасу. По пословице: «Пойдет на старуху пропасть, все старцы целуют». Кончился хлеб, пошел еще взять,— отказали.

— Издохну с голода,— сказал я.

Мне ответили:

— Какой ты странный, ну, что же сделаем?

Я лежал голодный в нетопленном балаганчике и умирал.

В одну бурную, непогожую ночь хозяин не выдержал, прибежал ко мне и, картавя и заикаясь, стал лотошить:

— Я не могу так, я не могу глядеть и переносить... ты — гой, но ты же — человек, иди в хату, надо на печь!

На печи я согрелся, заснул. Утром сходил на почту: там ждало меня письмо от Луши. Она писала из Таганрога. Просила забыть, простить, она не приедет ко мне.

«Идти надо туда. Я расскажу ей, как я одинок, как полна душа моя ею. Неужто счастье дается только богатым, сильным, удачливым... Зачем же мы живем и маемся?..»

Паспорт был у хозяина. Я ему был должен рубль за квартиру. Я решил идти без паспорта. Думалось: Таганрог недалеко. Я уже горел, как в огне. Мучительно болела голова.

Сорок пять верст до Синельникова, которые мы с Лушей шли четыре дня, я прошел в семь часов. На станции отдыхала старушка с мальчиком. Разговорились. Она шла из Таганрога.

— Далеко он? — спросил я.

— Далеко, милый, две недели идем изо дня в день. Ты, ласковый, полечился бы, ты — сумный.

Две недели — без денег, паспорта, оборванный, с головой в огне!.. Не то; что-то другое надо делать... В ночь я пошел обратно и часам к девяти был на квартире. Достал чернила, перо. Написал письма. Не помню, что писал Луше, семье брата, в деревню. Четвертое — никому: я проклинал бога, святых, родителей, день рождения, землю, носившую меня.

Не было конвертов. Я положил письма в воинский билет, надписал адрес брата.

Пошел на днепровский мост. Сверху до воды было саженей пятнадцать. По бокам моста, аршина в два высотой, тянулась решетка. Я прошел на самую середину, чтобы действовать без промаха. Повернулся лицом вниз,

по течению. Поглядел на серые волны Днепра. Не было сожаления о жизни, была тоска, волны реки манили к себе.

«Все кончится. Один прыжок, одно усилие — и вечный, тихий покой... ни горя, ни забот, ни радости, ни слез... земля еси, в землю отыдеши»...

Чуть-чуть закружилась голова. Захолонуло сердце.

«Ну, одно усилие... Разве жалко болячек?.. Ведь ты же одинок, бездомная собака!.. Одно, одно усилие... закрой глаза... Ах!..»

Удар по голове и матерная брань. Меня кто-то отшвырнул от решетки. Послышались свистки...

«Что-то случилось!.. Что случилось?.. Ах, да — Лушу убили!.. Ну, что ж, пускай ее убили... убили — и убили... Кого-то убили»...

И далее,— не помню.

Очнулся я часов в девять вечера в поле, около трубочного завода. Было холодно, и меня трясло всего. Ноги ныли. В голове стоял угар.

«Надо бежать»,— решил я.

И я побежал. Бежал, бежал, бежал... Было очень темно. Я не знал, куда бегу, и лишь плакал от раздражения, потому что в темноте очень часто спотыкался, падал, терял время на эти падения, а мне надо было бежать скорее. Где я был, куда бежал, не помню. Мокрый от пота, задыхающийся, я лежал на земле,— вот момент, когда я опомнился. Я увидел во тьме слабое зарево города и вспомнил, а, может быть, уверил себя, что бежать надо в город. Попалось шоссе, я бежал легко и быстро. Прибежал на вокзал, зашел в помещение четвертого класса, прижался между спящим людом, немного согрелся и заснул.

Сон подействовал отрезвляюще. Утром лишь ломило руки и спину. Посидел на полу. Мужики рядом ели хлеб. Захотелось и мне есть. Попросил у них. Мужики дали кусочек. Но хлеб не шел. День был теплый, тихий. В сквере снова сел на лавочку. Ну, что ж делать дальше?.. Сердце не болело, как вчера, а была в нем только тяжесть какая-то, придавленность, тоска. Стал припоминать вчерашнее. Вспомнил, что хотел утопиться, но воспоминание не взволновало, легко и странно прошло мимо. Ну, а где же я был потом, что со мною случилось?.. И вдруг: стой! Да ведь это — сумасшествие, ведь я погибну!.. Ах, отдохнуть бы теперь, отдохнуть, собраться с мыслями, силой!.. Но где?..— В больнице! —

подсказал кто-то невидимый. И душа сразу просияла. Да-да, в больнице, в больнице!..

И я пошел. Больница стояла на краю города. Записался в амбулаторной. Приемная была полна народа — истощенные голодом, увечные, раненые, чахоточные — несчастные дети нужды. Ни на одном не было сносной одежды и обуви. Большинство надрывисто кашляло. Богатые не ходят по бесплатным лечебницам. Доктора сами летят к ним по первому зову.

Очереди пришлось дожидаться несколько часов.

«А ну-ка, не примут»,— подумал я. При мне служители выводили иных под руки: нет мест.

«Не примут,— куда деваться? Ведь я окончательно погибну!»

И в голову как будто кто стукнул:

«Слушай, чего ты дремлешь: прикинься сумасшедшим... Отдохнешь здесь, а там обстоятельства изменятся, ты найдешь Лушу»...

Я вскочил, бросился на пол, на четвереньки, и залаял по-собачьи. Люди шарахнулись от меня в сторону, а потом окружили и начали рассматривать. Я был весь в лохмотьях, Лушиных кофтах, с большими нечесаными волосами, которые торчали во все стороны, небритый, с перекошенным от флюса лицом... Подбежали два служителя. Отбиваясь, я продолжал лаять на них, а из глаз ручьями текли слезы стыда и острой жалости к себе... Ах, зачем я родился, чтобы доходить до такого ужаса, зачем в самом деле не был сумасшедшим!..





СХОД

I

С каждыми лаптями — лишний комок грязи, пол в школе чавкает.

— И за каким чертом по этакой погоде наряжают на сходку? Какие-такие дела безотложные, чтобы вы пропали?!

Зло, с брызгами отряхиваются.

Присмотревшись к незнакомцам в переднем углу, угрюмо нахлобучивают шапки, сторонятся,— один к одному.

— Небось о новом налоге... Вот, брат, а?

— Д-да!..

— Э-э...

К незнакомцам, с локотками о парту, голова умильно набок:

— Из города, поди, товарищ?

— Из города.

— Да, тоже — служба-матушка... как говорится... По этакому дожжишшу-те!.. Да... Кобель и тот конуру ищет...

— Прямо, стало быть, к нам, в нашу деревню?

— К вам.

— Да, раз уж такая ризорюцыя; в село Бугороцкое, тут уж, конешно... Как там озимые?..

Отойдя от незнакомцев, в своем кутку:

— Помоложе-то — ничего, разговаривает, а тот как зверь... Штоп я пропал — переодетый барин!.. Разорили их, сволочей, а они теперь над нашим братом орудуют... Я и так, и этак, а он — аж зубами скрипит...

— Нащот налогу?

— А то нащот чего же!..

— Т-твою в Христа!..

Наряд был: сей секунд, позавтракавши, комиссия. А собралось человек двадцать пять — тридцать, хотя на дворе сумерки.

Сизыми кольцами по классу плавает махорка. Хвалятся, чья крепче.

— От моей индо звон в голове: томленая.

— Похвалился звоном! Саданул оглоблей по голове — вот и звон. Ты вот курни мою: очумеешь, как от самогона. Меня домашние в сени выгоняют курить: гусята дохнут.

— А я не люблю чижолой: в грудях хрипит... мне чтобы посредственная...

— Фабрики «Чужого»?

Сбиваются на хозяйственные разговоры. Мирно, тихо, хорошо говорят. Но — зыкнут глазами на незнакомцев, опять пугливо:

— Должно, налог!.. И чего они молчат!..

А незнакомцы жуют хлеб.

Удивленно:

— Простой хлеб едят!..

Наконец терпенье лопается. Возясь, сплевывая, стуча кулаками о парты, набрасываются на председателя сельского совета:

— Тебя зачем выбрали — пуды брать? Это что за порядок? Дьяволы, сукины дети, собаки!..

Пошла писать! Забыли и про незнакомцев.

— Мы еще и не таких лупили под Ростовом!..

— А мы на Волге,— помнишь, Сергей? — пуза-то потолще!.. Бывало: б-бах! — готов!..

— Все они сволочи, саботажники... На тебя бы буденовцев!

— Али Махну!..

— И раньше кровь пили, пиявки, и теперь порядку в обществе нету!.. Что глаза-то вылупил? Сменить председателя!..

А председатель — тощенький, рыжий, оборванный — виновато моргает.

— Вот управься с ними,— шепчет он незнакомцам,— того гляди в зубы заедут... И шут меня дернул в такую большую должность лезти!..

Смерклось. Сквозь потные стекла просачиваются ржавые огоньки изб. Двери школы все чаще хлопают, грязь на полу чавкает звучнее. Плотной колыхающейся

массой толпа ближе напирает в передний угол, к столу, где садится «призидиум».

— Ну, все? — кричит председатель.

— Все-е!

— Значит, можно открывать собрание?

— Открывай.

— Ну, я сейчас пошлю за ланпой.

— Тот-то бы тебя взял, черта плешивого! — взмывает сход.— Об чем раньше думал?

— Об чем думал, не ваше дело,— огрызается председатель.— Меня одна волость замотала приказ за приказом,— вам хорошо! А намедни исполкон Калугин... Кто согласен бежать за ланпой?

Пререканья продолжаются минут пятнадцать. Появляется «ланпа» — грязная плошка с конопляным маслом, в котором плавает кусок бумазеи вместо фитиля и несколько тараканов. Председатель чиркает спичкой.

— Спички — шведские, головки — советские, сперва — вонь, потом — огонь!.. У вас, товарищи, не говорят этак? — обращается он к незнакомцам...

Те смеются.

— Я одному коммунисту этак-то сказал, к-как он долбанет меня по башке! — ободренный улыбками незнакомцев, с восхищеньем говорит председатель.— На вашего брата — на какого черта нарвешься!.. Ну, товарищи, прошу: тихо!.. Как?.. Не вам, что ли, говорят? Максим!.. Иван Федотыч!.. Фу, бестолочь!.. Максим!

— Его нету!

— А кто же это зявит?.. Прошу — тихо!.. Ну, теперь тихо?.. Выбирайте призидиум!..

— Да выбирай сам: созвал, так и выбирай!..

Председатель укоризненно глядит на мужиков, потом на незнакомцев.

— Разве это народ? — спрашивает он черноволосого, помоложе, с узелком в коленях.— Товарищи, хочете, на вас составлю бумагу?

Зло, с задних парт:

— Ну-ко, составь!..

— И составлю!.. Думаешь, не знаю, кто кричит?.. Выбирайте призидиум!..

— Нам он не надобен!..

Председатель опять к незнакомцам:

— Ну, каждый раз вот такая история!.. Помогите, пожалуйста, товарищи... Разве это народ?..

Незнакомцы переглядываются. Высокий, пожилой крутит цигарку. Черноволосый с минуту мнется, потом передает пожилому узелок, снимает шапку. Пожилой что-то ворчит. Черноволосый решительно опускается на скамью. Заинтересовавшиеся передние ряды смолкают.

Когда черноволосый сел, передние — локтями друг друга оторопело:

— Обиделся!..

В это время в класс вошла уездная комиссия по изъятию церковных ценностей.

И все прижухли.

В тишине:

— Здравствуйте, товарищи!

— У вас что-то крепко гвозди забивают,— говорит председатель волисполкома, провожатый комиссии.

— Да нет, это мы так, шутейно, товарищ исполкон,— жмется председатель сельского совета.— Вот товарищи, например, приехавши из города, ну — сход, комиссия...

Председатель кивает на незнакомых.

— Я уж доложил комиссии...

Один из них пытается что-то сказать.

— Комиссия приехала со мной,— говорит волостной председатель.— Вы свою приберегите до завтра. Избрали президиум?

— Так точно, налажен... Василий Лаврентьич! Василий Васильевич! Дядя Никанор, к столу!..

Примолкшая толпа следит.

— Ну, поживее, скоро там, што ли? — начальнически кричит председатель.

— Чичас, дюжо горячий, али стукает? — отвечают ему.

Среди класса происходит возня, угрожающий полушепот, толпа перед столом быстро, на обе половинки, распахивается и тотчас же смыкается позади двух древних стариков и мальчика с завязанной головой.

— Вам что? — сердито спрашивает их председатель.

— А в эту,— говорит один старик, тыкая пальцем в стол,— в призидию...

— Товарищ исполком, меня вотчим избил,— говорит мальчик с завязанной головой.

Председатель разводит руками. Всхлипывая, мальчик тащит тряпицу с головы.

— Вот по этому самому месту... мантачкой... кэ-эк бузнет!.. Аж индо у меня огонь из глаз...

Старики садятся за стол.

— Куда вас черт занес? — сердито шепчет им председатель.— Ну, разве вы призидиум?

— А кто же? — спрашивают старики.— Стало быть, мы это... как ты называешь... Поди-ко поспорь с молодяком,— швыткий!..

— Выискались орлы! Один срам перед уездом. Другие бы на печи грелись, кабы совесть была,— с ненавистью шипит председатель.

Выведенный из терпения член уездной комиссии, молодой, с смуглым румянцем, паренек в гимназической шинели спрашивает:

— У вас постоянно так?

— Постоянно, деточка,— печально говорят старики,— по прежнему времю за это бы по рылу, а чичас — как раки в ведре: елозят, таращатся, а кой ляд?..

— Ну, ладно,— прерывает гимназист.— Товарищи, я, как член уездной комиссии по изъятию церковных ценностей, должен сообщить вам, что ваши товарищи Поволжья ясно и определенно голодают. В общем, это явление недопустимо, но ваша святая обязанность всемерно прийти на помощь страдающему брату. Прежде же чем коснуться этого стихийного вопроса, я, товарищи, обязан доложить вам о международном положении Советской России, а потом перейти к местным нуждам. Товарищи, буржуи всего мира, ополчившись в бессильной и яростной злобе на рабоче-крестьянскую власть, веками спаянную в кровопролитных подвигах...

— Вы сперва, товарищ начальник, об налоге,— говорят собравшиеся.

— Да, сынок, вычитай, например, с кого сколько приходится, и мы пойдем домой,— шамкают старики,— что ж теперь делать... видно, надо тянуться, не впервой... Там небось похлебка простыла... Про войну не слыхать?..

Громкий хохот в темноте заставляет всех насторожиться.

— В чем дело? — раздраженно кричит председатель.— Тут у нас игрище? Выходи к столу, кто безобразит!

— Да тут, Иван Митрич, дьякону мешок на голову надели.

Председатель к гимназисту, тряся бороденкой:

— Разве это народ?.. Теперь видите?..

К волостному, на шаг подвинувшись вперед, с решительной твердостью:

— Товарищ исполкон, помните, вы мне угроживали: в случае чего — первый под арест, а?.. Это называется — порядок?..

Членам комиссии:

— Видите?!

Гневно — в пространство:

— А вы, товарищи граждане, голову с меня сняли!.. Все слышали? Больше я ничего не скажу.

В жестах упрек:

— В каком вы государстве озоруете, а? А еще мужики называетесь! Что дьякон, так в мешок надо? А на каком основании дьякон на сходке?..

Три молодых парня, бывшие красноармейцы, с хохотом выталкивают к столу длинного, черного, взлохмаченного дьякона.

— Сам спроси его!

Председатель спрашивает, топая лаптем:

— Ты, дьякон, зачем сюда?

Перепуганный дьякон дико озирается по сторонам. Хохот растет. Дьякон тоже начинает смеяться, обнажая белые, крупные, прекрасные зубы.

— Бесстыжие твои, бессовестные глаза! — говорит ему председатель.— А еще тебя духовным наши мужики сделали!.. Курощуп ты несчастный!

...Доклад о международном положении России затянулся на несколько долгих часов. Гимназист коснулся всех стран света и народов, населяющих земной шар. Разобрал антропологические особенности рас и племен. Сказал что-то про Карла Великого и Магомета. Китайцев назвал дураками за то, что едят лягушек. Похвалил Дюма за Великую Революцию. Потом уж перешел к событиям последних дней.

Слушатели не шевелились. Кто мирно храпел, склонив голову в колени, кто — на руки, на подоконник; иные — разметались, иные — сжались в комочек или крендель; одни свистели фистулой, другие — ноткой пониже, погуще, с причмокиванием.

В классе проветрился табачный дым и стало яснее. Но зато к столу так потянуло переварившимся ржаным хлебом с картошкой, огурцами, редькой, пшенной кашей и прочими дарами орловского черноземья, что светец с конопляным маслом стал смущенно млеть, трещать, бессильно прыгать и — перед цитатой из Зиновьева — сразу погас.

II

На рассвете, когда еще только молочнеет утро и дым из труб тянется лишь у рачительных хозяек, праздный наблюдатель мог бы видеть превеселую картину.

Отругиваясь, храпя сырыми голосами в сыром и свежем воздухе, мужики месят грязь, возвращаясь со сходки. Лица измяты, как на похмелье, поступь нетверда. Скользя, прыгая через лужи, обдают друг друга брызгами. Останавливаются, чтобы подвязать оборвавшуюся лапотную веревку или выбрать тропку посуше, закурить. Замахиваются пустыми руками на потревоженных собак. И время от времени сыро, отрывисто, опасливо смеются. Как напроказившие школьники.

— Ну и наслушались!..

— Послания к рымлянам!..

— Головища трещит от ума!..

Осторожно ступают перед избой председателя, в которой ночует комиссия.

Смельчаки заглядывают в окна.

Но там тихо.

— Вот так Хранция да Аглия...

— Прасковья да Степанида...

— И чего он, дьяволенок, мудрил!.. Ну, мол, старики, охота — неохота, а по пуду с двора везите: мы тоже жрать хочем. А то — у епонца с негрой губы толстые, у поляка — кишка тонкая... на что нам это?

— А как же зубы-то заговаривают? Они как начнут пасалтырь, дак только потшшытывай, сколько в анбаре хлеба!..

— Сколько себе, сколько чужому дяде!..

— Твое — мое — богово!..

— Как в люльке укачал!..

По-за гумнами ползут старички из «призидиума».

А часом-двумя позднее тот же праздный наблюдатель увидел бы неистового председателя сельского совета на рыжей клячонке с подвязанным хвостом, кричащего на всю деревню. Сам — рыжий, в лохмотьях; лошадка — рыжая, с репьями в гриве; рыжие лохмотья...

— Спасибо!.. Удружили!.. Поддержали совечью власть!.. Эх, вы, алманы не нашего бога!.. Как никономию разбивать — три ночи не спали!..

Оброть пеньковая, повод мокрый, хлестнет кобыленку мокрым поводом по пузу, она хвостом — круть! круть! круть!

— Но, дьявол! Застоялась!..

Мужики по избам уписывают горячие картошки.

— На сходку! — кричит председатель.— Вы меня не на смех выбирали... ж-живо!.. Одна нога тут, другая — там!..

Мир усовестился, поддержал председателя: одна нога тут, другая — там. На ходу подпоясывались.

Шепчутся, лотошат, а сами опасливо, как жулики, глядят на двери.

— Обязательно накинут фунтов по десять с души!

— Десять-то заплясал бы! Кабы пудом по спине не шарахнули!

— А може, простят по нашей бедности,— говорит пастух Ульяныч.

И когда входит комиссия, все с невыразимой любовью глядят им в лица. Гимназист недоволен, жмурится. Глаза его спутника поблескивают.

— Здравствуйте, товарищи! — кричит сход.

Гимназист удивленно поводит глазами.

— К сожалению, мне не удалось вчера коснуться желтого амстердамского профинтерна,— вяло говорит он.

— Касайся, товарищ, просим! — гремит сход.

— ...Созданный соцпредателями под видом защиты профинтересов рабкласса Запевропы...

— Тише, вы, дьяволы, через вас ничего не разберешь! — оборачиваются передние.

— Валяйте, валяйте, товарищ, очень нам интересно!..

— Эх, кабы почаще приезжали к нам вот этакие соколы!..

— ...В корне отвергнув принципы соглашательства с наймитами буржуазии, мы избрали прямой путь...

— Куда кривая вывезет! — восторженно подхватывает председатель.

— Нет, товарищи, вы глубоко ошибаетесь,— терпеливо поправляет его оратор,— наши конечные цели и задачи нам ясны. Они должны быть ясны и вам.

— И нам, товарищ, ясны, не слушайте его, дурака.

— На других глотку пялит: не так! А сам буровит хуже пьяного! — набрасываются мужики на председателя.— Затычка чертова!..

— ...Это как раз и делают, товарищи, волки в овечьих шкурах...

— Ишь ты, дьяволы!

— Спасибо, у нас таких нет, а то сейчас бы морду наколотили,— с готовностью говорят мужики.

— ...Это они вас тянут в сети лжи и предательства...

— Ну, брат, нас тоже без рукавиц не схватишь!..

Речь гимназиста течет стройно и живо. Ободренный вниманием, он повеселел. Он забыл, что ему уже двадцать лет, что он очень ученый и что его долг — сообщить темным мужикам все, что он знает, что вычитал, слышал на рефератах, митингах. Он призывает собравшихся крепко стать на страже интересов революции.

— А што нам, али долго! — отзывчиво кричит сход.

— Раз, два — и готово!

Под рукоплескания — этому давно уж научились в деревне — принимается резолюция.

— Видно, сыночек, сбросишь с нас фунтиков по пятнадцать,— ласково говорит гимназисту вдова,— ишь, мы как тебе дружно... ты уж не скупись, милый...

— Да уж, пожалуйста... мы — тебе, ты — нам... взаимное уваженье... мы бы тебя на лето в исполком взяли...

— Да я же не об налоге, граждане,— оторопело говорит им гимназист.

— Не об этом?.. А два дня собираешь? У нас об налоге болит сердце...

— Я, товарищи, член уездной комисии по изъятию церковных ценностей.

— Уж, пожалуйста, напиши, что, мол, дюже бедные,— не унималась вдова,— что, мол, всей бы душой радехоньки, да гайка ослабла...

— Да нет, бабка, мне налог не нужен!

— Совсем, миленький?

— Совсем не нужен! — Гимназист в сердцах стукнул папкой по столу.— Товарищи! В церквах — золото, серебро, драгоценные ризы...

— Это уж как исстари водится...

— У мужика — лапти худые, а поп не наденет...

— ...А между тем на Волге умирают с голода дети...

— При такой жизни умрешь!..

— ...А если на это золото купить хлеб, да накормить голодных...

— Разлюбезное дело!..

— Шут их всех накормит!..

— ...Я не за вашими пудами приехал...

— Не *за пудами?!*

Восторженно:

— Согласны!.. Согласны!.. Согласны!.. Накормить голодных!.. Все чтобы были сыты!..

— И ребятишки и большие!.. И бабы!..

— А попа арестовать, да в волости полы подметать!..

— ...Поп мне не нужен...

— Не нужен? Согласны!.. Согласны!.. Пишите приговор... Все как один!.. Что это, на самом деле, пропадать, что ли, людям!..

— Качать товарища!..

Голова качаемого гимназиста мотается как открученная. Задранные выше головы ноги описывают самые фантастические круги.

Вспотевшие веселые мужики осторожно опускают его на стол, спрашивая:

— Ну, что — не испугался? У нас как возьмутся, только трешшит...

Ласково хлопает его по костлявому плечу.

— На-ко вот пуговицы-то, оторвались: мать дома пришьет.

Веселые, довольные, громко перекликаясь, переругиваясь, мужики расходятся по домам.

— Ну, теперь, друзья, за вами черед,— сурово говорит председатель двум незнакомцам.— Кто вы такие есть у нас в республике?

— Шорники,— отвечают незнакомцы.

Глаза председателя становятся круглыми.

— А комиссия? — спрашивает он.

— Комиссия уехала.

Незнакомцы пожимают плечами.

— Чего ты кричишь? — спрашивает старший.

— Ага, комиссия уехала? А вы — не комиссия? — Председатель — весь гнев и возмущение.— Вы — самозваные белогвардейцы после всего, поняли?

Он хватает молодого за плечо.

— Граждане, будьте свидетелями: только что поймал двух белогвардейцев!..

— Уж никого нету, Иван Митрич, разошлись,— говорит школьная сторожиха,— надо закрывать училищу... Это нанимаются которым шлеи связать... Они у меня ночевали. Это рязанские мужики.

Незнакомцы поддакивают:

— Мы этим кормимся...

Сбитый с толку председатель опускается на скамью и бормочет:

— И шут меня дернул в такую большую должность лезти... Тому — не угодил, другого — прогневил, третьему — не с той строчки бумагу написал... Слыхали, что начальник-то вычитывал?.. Вам — в одно ухо впустил, в другое — вылетело... А ты — ночей не спи, думай: что он сказал? На что намекнул?.. Какую козявку подпускает тебе под рубаху?.. Ну, собирайтесь, я вас поведу в милицию.





В ПОЕЗДЕ

Поезд идет срывами. То проскочит, не останавливаясь, несколько станций так, что кондуктор едва успевает схватить «путевку», то неожиданно остановится в поле, среди снегов, темный и жуткий на мертвой белизне, с потушенными огнями, с разбитыми окнами, с вывороченными ступеньками подножек, с кучами зловонного тряпья на буферах и сцепах, в которых трясутся и тихо стонут закоченевшие люди. Тогда из хрипло открываемых дверей, сквозь сизый пар, в поту и матерщине, из вагонов прыгают в сугробы солдаты во вшивых шинелях, гремят пустыми котелками, винтовками, рухлядью в мешках и жадно глотают рассыпчатый снег, как песок или как воду, хватая его грязными, волосатыми пригоршнями. Поезд часто стоит лишь несколько минут, чаще часами. Насытившись снегом, насквернословив, наржавшись, покурив самодельных корешков, пересыпанных хлебными крошками, пшеном, шелухою подсолнухов, солдаты с бранью идут к паровозу, к комиссару,— их в поезде много, в каждом отделении вагона по комиссару, на тендере — главный, комиссарам — комиссар, везущий их к их хижинам, нужнейший, советский, свой, не продавшийся, выборный, Иван Лаврентьич,— и матерщиной, черными, обросшими пастями, грозя оружием, гранатами у пояса, не давая комиссару опомниться, сотнями глоток кроют его матом, изливая тоску, голод, злобу, страх: почему Гаврила не крутит?..

И когда устают, и дикий вой, и визги, и матерная брань — зловонная, с гноем, усталая — сменяется угрозами пустить его под вагоны, заткнуть трубу его требухой,— выясняется: не хватило дров. Или: нету воды, вышла вся до званья. Или: тут вот маленькая кляповинка не действует, сейчас починим. И с веселой злобой, сбрасывая в снег вшивый хлам,— Николашкино имущество, мать твою перемать! — бегут к сторожке, сараю, школе, больнице, уборной,— все, что попадается на пути, только б сухое, горючее, и с остервенелым треском, сапом, дымным потом, блестя огоньками цигарок, ломают, коверкают, отдирают, запально дыша, нагромождают на тендер балку на балку, бревно на бревно, полено на полено, парту на парту, стол на стол,— спешат, смеются, злобно скаля зубы, дрожат в тягостной истоме: скорее быть дома, почувствовать тишь соломенного уюта, запах горячего хлеба, ласки семьи. Или — орущей черной саранчой, маленькие, истощенные, истеричные, с натужным стоном-криком опутывают холодный труп паровоза веревками, связанными кушаками, обмотками, полотенцами, портянками и так версту, две, пять и более тащат его до станции, увязая по пояс в сугробах, срываясь под откосы, вывихивая на мостах ноги. В вагонах остаются только больные, те, кто не в силах двигаться, а тысяча, тысячи, страшной, хмельной, слепой, ревущей лавиной, напруживая легкие, тащат паровоз, проклиная своего бога и жизнь. То и дело загораются ссоры, мордобой, сухо трещат выстрелы. Трупы остаются на месте — в добычу хищным зверям и деревенским парням, выворачивающим их карманы.

Кое-где по дороге встречаются уцелевшие буфеты с мутным чаем, ржавыми селедками и ломтями мякинного хлеба. Или придорожные бабы выносят вареное мясо павших свиней и птицы, нерастелившихся коров, корзины репы, мороженых яблок. Они не брали с такой быстротой и храбростью неприятельские города, с какой в пух и прах разметывают буфеты, опоражнивают санки, корзины. С таким упорством и злобой они не гонялись за неприятельскими дозорами, с какой ловят буфетчиков, отнимая у них выручку.

Иногда на остановках к вагонам с мольбами подходят вольные — городская беднота,— застрявшие на станциях. С ужасающею бранью их гонят от вагонов, а они плачут, покорно клоня головы, насильно лезут в окна,

таща за собою мешки с плесневелыми сухарями: их сталкивают под колеса.

Но распутных или неопытных молодых баб они сажают в вагоны с радостью, даже зазывают, пускаясь на разные хитрости. В тесноте, на руках, как хрупкие сосуды, через головы друг друга, они переносят их в дальний угол вагона, в темь, в месиво распаренных тел и перегорелого воздуха.

Раз в вагон попросилась старуха. Еще свежая, под шестьдесят, говорунья.

— У меня сыночки два убиты. Вот и гумаги. А третий — в гошпитали, ранен, кровь проливал. Пустите, служивые, доехать до родины, я вам — мать.

Над нею смеялись. Потом сжалились и посадили. Старуха оказалась живой и болтливой. С проворностью мыши, между ног, по сумкам, спинам, что-то ворча, что-то наговаривая под нос, она пролезла в укромный уголочек, в затишье, ткнула на голову заспанному бородатому солдату свои пожитки и благодушно уселась на них.

— Ну, вот, теперь и я — барыня, князю Куракину двоюродная свояченица,— собрав губы оборочкой, весело сказала она.

— Теперь, бабка, князьям нет почету,— проговорил бородатый солдат,— довольно на нашей шее посидели, будя. Слезай-ко!

Он легко приподнял старуху и под хохот пересадил на голову соседа, лопоухого малого с больными глазами.

— Ездила на мужике, посиди на деревяшке.

— Тебе, господи! — воскликнул лопоухий малый, перебрасывая с себя старуху на соседа в серой белорусской свите.

— Не нам, не нам, а имени твоему,— перекидывая ее дальше, простуженно просипел белорус.

В вагоне, под однообразный речитатив колес, стоял хохот, пересыпаемый многоэтажными, бессмысленно нанизанными друг на друга российскими словечками, без чего мужик, мастеровой, арестант, солдат не могут связать пары слов.

Старуха, сморщив острый носик, превесело хихикала, цепляясь за вихры солдат.

Как ветошь, ее перебросили через вагон в противоположный угол, оттуда — обратно к бородатому солдату.

— Своему здоровью, куманек,— сказал ему сосед с другой стороны, опять сажая старуху ему на голову.

— Прилетела назад, галка? — смеялся бородач.— Ну ладно, лезь в гнездо.

Он потеснился, освобождая место между собой и лопоухим соседом.

— Лезь, да не кряхти, а то бить буду.

— Ишь какой вострый,— скрипела старуха,— а вон у меня сколько заступников-то, они тебе зададут!..

— Не поддавайся, бабка, не поддавайся! — кричали солдаты.

Так проехали верст девяносто. Старуха рассказывала солдатам, какая она была веселая в молодости, красивая, как за нею увивались парни.

— Как мухи на мед, так, бывало, и лезут, штоб они сдохли. А песельницей я была — как колокольчик. Фрося-колокольчик.

Свет кня-гиня молодая
С князем в те-реме жила...

Тоненько, по-журавлиному, закурлыкала она.

— Аж индо, бывало, диву даешься; откуда голос, ей же богу, не брешу... хоть вот язык мой отсохни по самую глотку...

— Будя, будя, мать, экая ты веселуха,— говорил бородатый солдат,— тебе говорят, князья с княгинями теперь не в почете. Ты спой нам нынешнее, хорошее, как мы кровь проливали.

— Уж и налили! — засмеялась старуха.— Аж портки мокрые... Есть ребятишки-то?

— Есть,— с готовностью ответил бородач,— трое.

— Ну, вот и дождутся папашки. А мои внуки теперь стадо стеречь, навек бобылями. Гостинцы, поди, везешь?

Старуха стала ощупывать сумку бородача.

— Кое-что везу,— с радостью говорил бородач,— теперь мне немного осталось, верст на сотню.— Обветренное лицо его расправилось, поласковело, будто залучилось.— Шапчонку малому, сапожки, он у меня верхом уже ездит... девкам кое-что. А это вот бабе,— бородач развязал сумку и, отвернувшись немного от соседа, показал старухе кончик потертого малинового плюша, ободранного с дивана классного вагона,— пускай нарядится.

— Онучи хороши, в церковь ходить,— восхищенно прошептала старуха,— новые лапотки, оборки потоньше,— черненькие,— как цветочек будет!..

— Теперь в церковку ходить нельзя, закон другой вышел,— серьезно ответил солдат,— пускай сошьет паневу, а из лоскутков колпаки ребятам... я уж это оплановал...

— Э, милый, в доме каждая нитка годится, это вот мои дураки головы сложили невесть за что...

— Да,— сочувственно вздохнул бородач,— недаром нас зовут баранами. А кто поумнее, не лез на рожон.

— Вестимо, милый, вестимо.

Они еще долго вполголоса беседовали. Бородач опять завязал сумку и положил под себя.

Склонив голову на грудь, старуха задремала.

— Укачивает? — с ласковой улыбкой спросил бородач.

— Да, дремлется,— прошептала старуха,— на машине-то — как в люльке.

— Ин, полежим. Времени хватит.

Их разбудил сильный толчок вагона. Сперва обоим показалось, что вагон падает. Крепко обхватив сумку, бородач хотел выпрыгнуть из вагона. Старуха заголосила. Но брань и хохот соседей отрезвили их.

Поезд стоял на большой станции.

— Пятьдесят верст осталось,— радостно шепнул бородач, оглядевшись. Все время с лица его не сходила широкая, счастливая улыбка.— К ужину буду дома. Сейчас Пафнутьево, потом Залежь, потом Белый Колодец, а там наша — Разутино... трактом... пруд, мельница, лесок барский... Я — шестой двор от краю... Ребятенки небось и не чают, что папашка рядом,— ах, ты, господи...

— Все доберемся,— уверенно ответил лопоухий.— Из огня выскочили, а в воде не утонем. Ты — нынче, я — завтра. Теперь говори: дело в шляпе. Правда, мать?

— Коли говоришь, значит, правда,— сухо ответила старуха. Она торопливо перебирала свои тряпки, узелки в тряпках, мешочки.

У паровоза поднялся крик. Затрещали выстрелы. Многоголосая толпа завыла что-то.

— Сейчас поедем,— крикнул в двери потный, со съехавшей папахой солдат.— Дай-ка штучку.

Ему торопливо сунули что-то в руки. Солдат нырнул под вагон. Через две минуты, сотрясая стены вагона,

раздался взрыв ручной гранаты, за ним — второй, третий.

И наступила изумительная тишина.

— Живее! — раздался в тишине слабый человеческий голос.

К дверям подбежал опять потный солдат с двумя другими. Они быстро вскочили внутрь и тотчас же наглухо захлопнули двери.

— Едем.

Почти одновременно вагон дернуло, сдало назад, стоявшие на ногах закачались или попадали в кучу, и поезд, скрипя железом, тронулся.

— Сволочи! — выругался потный солдат, обивая снег с папахи.— Мы еще не таких видали.

— Казаки? — спросил кто-то.

— Какой, черт, казаки,— беженцы. Хотели паровоз отцепить.

В поле, за станцией, опять распахнули двери, и колеса зачастили дробь.

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны,—

запел молодой голос.

Выплывают расписные,
Острогрудые челны,—

подхватили десятки голосов. Широкой волной разлилась по мертвой скатерти полей разбойничья песня, разгульная, дикая, зовущая. Ожили лица. Черные, обросшие рты с какою-то особой, озорной радостью выбрасывали потоки простуженных звуков, сливавшихся в в стройный водопад.

— Эх, так твою, не так! — залихватски взвизгнул лопоухий солдат, когда оборвалась песня.— Гуляй на все серебро! — Он полез за пазуху и достал из-под мышки щепоть вшей.— Шин-панского!..

Свадьбу новую справляет
И разгульно, и хмельно,—

донеслось из соседнего вагона.

Весь поезд пел. Вразброд, пьяно, нестройно, хотя никто не пил, редкие ели. Махали встречным будочникам шапками, стреляли, кричали что-то, неистово колотя мерзлыми сапогами в пол. Предки — поножовщина

проснулась в них, что ли? Или хотели забыть прошлое, незабываемое, неуемное, не отпускающее сердце из когтей своих? Или близкое будущее превратило их в бесноватых? Темна, страшна и непонятна душа толпы.

— Вот так, мамаш, гуляем! — закричал лопоухий, хватая старуху в охапку.

Последний нынешний динечек
Гуляю с вами я, друзья!..

Все дружно зареготали над его визгливым голосом, голодным лицом, фигурой нескладной.

А он, словно подбодренный насмешками, стал тормошить старуху, еще несуразнее выкрикивая:

А завтра, раньше, чуть цвиточек,
Заплачет вся моя симья...

Но веселая старуха неожиданно расплакалась — зло, визгливо.

— Чего пристал, лихоманка вшивая! — закричала она, толкая лопоухого кулаками в грудь.

Солдаты притихли недоуменно. Лопоухий виновато глядел то на старуху, то на солдат.

— Ты — что, на самом деле? — спросил лопоухого бросавший бомбу. Он был комиссаром вагона.— Она тебе — сука? — Он подошел и ударил лопоухого по щеке.

— Стоит,— простуженно просипел белорус.— Не плачь, бабка, никто не тронет.

— Деньги пропали, семьдесят рублей, сын в гошпитали дал,— выла старуха,— все тряпки перебрала...

— Деньги? — Лица у солдат вытянулись.

Бородач крякнул и плотней сел на мешок.

— Это — статья другая. Это, стало быть, вроде последний крест сняли. С родной матери удумано,— заволновался вагон.— Это — давай лучше не надо такая игра...

— Обыск,— бросил кто-то.

— Обыск,— подтвердил вагон.

Солдаты плотной массой сбились вокруг старухи.

— Обула-одела сирот. «На,— говорит,— мамушка, какую одежонку справишь ребятам» ...Справила!..— размазывая по щекам грязные слезы, причитала старуха.

— Говори: кто взял? — спросил ее солдат, бросав-

ший бомбу.— В клочки разорвем! — Лицо его покрылось пятнами, он пролез вперед всех и тряс старуху за плечи.

— А я почем знаю, может — ты! — кричала она.— Семьдесят рубликов... на хресте носила... тот-то меня дернул переложить в пазуху!..

— Нет, говори: кто взял? — повторил солдат.— Я не подходил близко. Товарищи, подходил близко?

— Зря треплет, не подходил. Ты говори правду! — загалдели солдаты.

— Ну, так вот этот, или — вот этот,— указала старуха на бородача и лопоухого,— рядом сидели.

— Правильно, товарищи,— один все укладывал спать, а другой обнимался,— потаскуху нашли!.. Обыск!..— ревела толпа.

— Ну, поворачивайся, стерво! Чего зубами-то ляскаешь? — Длинный, как шест, солдат в женской шали вместо папахи рванул лопоухого за воротник шинели.

— Братцы!..

Он ударил его кулаком по лицу и брезгливо вытер кулак. Из разбитого носа, путаясь в протабаченных усах, липкой струйкой потекла кровь, сползая на подбородок и шинель. Длинный еще раз ударил по тому же месту — по крови на усах.

— Братцы! — опять завизжал лопоухий. Вцепился длинному в горло синими пальцами. Трясся, обдавая его горячими брызгами. И через секунду истерично разрыдался.

— За что обидели? Ищи! — Рвал с себя окровавленную шинель, рубаху. Бросал в лица обмотками, штанами, тухлым бельем.— Ищи! — Все лицо его было измазано слезами и кровью. В крови и слезах были костлявые руки. Обнаженное тело — немытое, в расчесах, ссадинах, струпьях, усеянное по груди, шее и под мышками жирными серыми вшами,— мелко вздрагивало. На полуистлевшей ленточке, когда-то, кажется, розовой, как изморозью, усеянной гнидами, болтался маленький медный крест.

Тщательно, складку за складкой, рубец за рубцом, ошарили лохмотья лопоухого. Вытрясли и обыскали тощенькую сумку его, щели пола и стен, где он сидел, заглянули с отвращеньем под мышки, пах, пошаркали по голове. Денег не было.

Скорчившись, прижимая острые локти к животу, лопоухий дрожал. От него шел пар. И чем дальше, тем дрожь становилась неуемнее, он перевивался от холода,

изредка стеня, вытирая ладонями кровь с разбитого лица. Но на него не обращали внимания. Бросивший бомбу крикнул посторониться, перешвырял через вагон лохмотья в другой угол и велел ему одеваться. А сам перочинным ножом ковырялся в подошвах уродливых ботинок лопоухого, отодрал стельки, каблуки. И там ничего не было. Злобно бросил ботинки в голову лопоухого.

Загрохотал мост. Сотнями угрожающе взмахнутых рук замелькали железные переплеты. Как живой, паровоз пугливо всхрапывал на мосту. В прогалки кланявшихся переплетов ползла белая уснувшая река. Грязным пятном маячила на крутом берегу ее полузанесенная снегом деревня. Над ней кружились стаи галок.

— Раздевайся — ты! — грозно крикнул бросавший бомбу бородачу.

Оставалось двенадцать верст до его родины.

— Я не брал, товарищи, вот хоть детями побожиться,— проговорил он, поднимаясь со своей сумки.— Ну, и полезу я к бедному человеку за гаманетом? Я же...

Ему не дали говорить. Десятки глоток завыли на разные лады. Бородач пожал плечами и медленно стал расстегивать ремень.

— Ну, вот — глядите.— Он подал ремень, папаху, обмотку, заменявшую шарф, потертые темно-зеленые перчатки с одним пальцем для стрельбы, потом вывернул карманы шинели, из которых посыпались желуди.— А это я было своим ребятишкам вез, играть,— сказал он.

— Снимай шинель! Не знаешь, как обыскивают! — завопили на него.

Бородач вздохнул и опустил голубые, набухшие от сна глаза. Подал шинель, ватник; подавая, заметил на ватнике конец нитки; смахнул ее. Начал расстегивать гимнастерку; расстегивая, осторожно прикасался к медным пуговицам с орлами; пуговицы — орлы — были аккуратно обшиты кусочками миткаля.— Глядите.— Потом стал разуваться.

Снопами перекрестных острых игл его движения прокалывали враждебные взгляды.

Он снял крепкий, на толстой подошве, сапог, обернул сапог голенищем вниз и потряс его, стукая по подошве.

— Дай сюда!

— Да ведь вы испортите,— нерешительно проговорил он.— Ну разве под каблуком прячут деньги? А сапоги только что справил.

— Давай!..

Бросавший бомбу вырвал сапог.

— Хлястни по морде,— предложил белорус.

Бородатый поглядел на него и укоризненно покачал головою. Он стоял босиком, в нательной рубашке и ватных брюках, зорко следя за вещами.

— В одну кучу кладите, не разбрасывайте,— говорил он.— Эх, бабка, бабка, шут тебя принес к нам, на грех,— обратился он к старухе,— тыщи верст ехали мирно, спокойно...

— Тебе грех, а мне спасенье,— резко ответила старуха. Она тщательно следила за обыском, сама перетряхивая вещи.— Тебе тряпки жалко, коршуном вьешься, а у меня сиротскую корову свели. Есть кого война одела-обула, да жену в паневу обрядила, а мои дети в сырой земле гниют.— Она опять заголосила.

Бородач молча стал снимать брюки. Под ватными брюками оказались еще одни — суконные, подвязанные шпагатом.

— Запасливый, полцыгауза напялил! — злобно шипели солдаты.— У другого — гашник еле держится, а он...

— Что я, украл, што ли? — говорил бородач.— Которые свои бахляли на ханжу, а я берег. Все одинаково получили от казны.— Он подал им обе пары брюк.

— А тут што? — спросил длинный, хватая его за кальсоны. На поясе кальсон мотался серый узелок...

— Это не трогайте, товарищи,— умоляюще проговорил бородач.— Это — деньги, кровь моя, по трынке собирал... Это я, можно сказать, не пил, не ел...

— Далеко заложил! — Длинный рванул за гашник. С кальсон с треском отлетела большая черная пуговица. Бородач качнулся от толчка и торопливо зажал в кулак узелок.

— Это я, товарищи, не дам, я было за них смерть получил...

— Не брызгай,— слышали!..

У него вырвали узелок.

Сомкнулись в тесный, парный круг, голова к голове. Торопливо, зябнущими пальцами рвали тряпку.

— Мои! — бросилась старуха, увидав сверху красную десятку.— Вот эти самые!.. И тряпка моя!..

— Погодь! Успеешь. Считай, Раков!..

Денег оказалось девяносто рублей.

— Мои! — вопила старуха.— Ах, ты, анафема окаянная,— вор! Да я тебе все бельма выцарапаю!..

— Товарищи, как же это возможно, чтобы, например, мои собственные деньги, например, не пил, не ел...— начал было бородач. Он посинел от волнения и холода. Волосатые ляжки его судорожно вздрагивали. Он умоляюще протянул руки к длинному.— Василий Ахремыч, ты же, например, сусед мой...

Ему не дали говорить.

— Разорвем!..

Лезли с винтовками, кулаками. Били по взлохмаченному темени котелками, носками сапогов, прикладами. И больше всех молотил бородача лопоухий, полураздетый, надрывно давясь слюной, кровью, бешенством.

Бросавший бомбу с силой дернул за сигнальную веревку. Она оборвалась. Он с тихой злобой выругался матерно. Сунул соседу свой котелок, винтовку, сумку. В один миг, как кошка, взобрался на вагон и забарабанил мерзлым железом крыши. Через несколько минут раздался тревожный свисток паровоза. Поезд остановился.

Вам, знать, я должен дал-лажиться:
Ланцов из замка юб-бижал...—

донеслось из хвоста поезда,— там пели.

— Гей!.. Гей-гей!..

По обеим сторонам полотна расстилалось мертвое поле. По полю ползла невидная дорога, обсаженная вехами с заиндевевшими пуками соломы на них. Снег был рыхл и синь.

Крича, смеясь, сквернословя, люди стали выпрыгивать из вагонов. Хлопали закоченевшими руками. Толкали друг друга в сугробы.

Из ложбинки неожиданно выскочил заяц русак. Солдаты засвистели и заулюлюкали. Вдогонку треснули выстрелы. Прижав к спине уши, заяц перемахнул овражек, ошалело бросился назад, еще назад, закружился, оторопело стал, приподняв ухо, и бросился вдоль овражка, скрываясь средь сугробов.

Солдат, бросивший бомбу, вскочил на пригорок и закричал:

— Товарищи, все — сюда! Это я остановил поезд!

— А вот тебе морду набить, сукину сыну! — выпрыгивая из вагонов, орали на него.

— Не потому! — и он орал: — Происшествие! Идите сюда! — Вскинул винтовку. Раз за разом выпустил в воздух обойму.— Товарищи, ко мне! Сюда!.. Перестаньте! — обернулся он к вагону, где избивали бородатого.— Вылазь на улицу!..

С угрозами и бранью к нему стали подходить. Вязли выше колен. Падали. Простуженно выплевывали:

— Ну? В чем дело?

— В штанах. Сходись!

Когда толпа собралась и загудела, длинный выволок избитого бородача из вагона. Он был неузнаваем, распух, слабо стонал. Нательная рубашка его была изорвана и в крови. Кровь струилась из ушей, рта и даже глаз. Толпа в испуге прянула...

— Што такое?

Длинный ткнул бородача в снег.

— Стой!

Он, как мертвый, рухнулся к ногам его, распластав руки, пятная снег кровью.

— Товарищи,— сказал бросавший бомбу,— этот человек есть наш товарищ.— Он указал на хлипавшего кровью бородача.— И он сейчас, можно сказать, голый и при смерти. Но тому есть причина. Товарищи, все мы — пролетариат, и он — пролетариат, но человек человеку — рознь. Один пролетариат — голову сложил за революцию, другой пролетариат — как бы к тебе в карман залезти. И это — не есть пролетариат. Ну, одним словом, товарищи, ехала с нами старушка, мать наша, и у ей два сына убиты, и еще сын сильно раненный, и он вот вытащил у ей последние деньжонки,— так пристрелить?..

Вложил обойму, щелкнул затвором — раз и два — и выстрелил лежащему бородатому в ухо.

— Правильно я поступил, товарищи?..

— Ладно, не задерживай. Кричите Гавриле, чтобы крутил!

Солдаты побежали к своим вагонам.

Круто поводившее боками обнаженное тело человека дернулось, потом сжалось и потом стало будто расплываться, как тесто, вседать в снег.

Мелко-мелко задрожали мышцы рук и ног. Зашеве-

лились пальцы. Сжались. Разжались. Подтаял и обрушился снежок под вытекшим мозгом. Человек слабо дернулся — и затих.

Поезд, скрипя, пополз вперед.

От человека шел розоватый на солнце пар.

Среди лесов дремучи-их разбойнички идут,
В своих руках могучи-их тов-варища несут...

Поезд опять запел.

Сравнялись последние вагоны с человеком в снегу.

— До свиданья, милый! — крикнул сквозь грохот колес насмешливый голос.— Гляди, не простудись!..

А в вагоне, где ехал бородач, стали разжигать железную печку. Кое-кто ложился вздремнуть. Минут через пятнадцать мелькнула станция. Поезд на момент остановился.

— Восьми верст человек не доехал,— с удивлением проговорил длинный.— Вот бы вместе и домой пошли... Ну, до свиданья, товарищи!..

— Счастливо!

Длинный спустился на землю, вскинул за плечи винтовку и котелок. Поспешно обернулся.

— Стой! А это, как его... Товарищи, сумку-то, сумку-то его подайте, бабе снесу.

Ему молча швырнули под ноги сумку бородача.

И опять мелькали будки, шлагбаумы, телеграфные столбы, деревни, перелески. Гаврила то бешено крутил, так что солдат трясло и разбрасывало по вагону, как зерна в решете, за вагонами несся вихрь снежной пыли, то, тревожно свистя, паровоз еле тащился по сугробам.

Заходило солнце. Белые поля стали лиловыми. Над вагонами вились дымки: солдаты варили кашу, чай, гремели раскалываемыми поленьями. Иногда из вагона, рассыпая золотые искры, вылетала головня и с шипеньем, как ракета, зарывалась красной головою в снег.

Крепко зажав в сухую ладонь деньги, старуха неподвижно сидела на своем узелке в углу вагона, поодаль от солдат. Она еще не опамятовалась от виденного. Она словно замерла. Тонкие губы ее были плотно сжаты. Она стала маленькой и зябкой. На толчках голова ее болталась, как у куклы. И ей противны уже были деньги, возвращенные такою ценою. Она вспоминала ласковое,

простое лицо бородача, слова его, неизъяснимую радость близкой встречи с семьей. У нее еще звенело в ушах — «я опплановал, опплановал»... ей хотелось громко, горько плакать. Но она боялась солдат. Она пугливо вглядывалась в лопоухого, который сидел в стороне от нее: он то и дело лизал сбитые до крови суставы своих пальцев, и это тоже было страшно, хотя лицо его уже опять было беззлобно и просто, как у большинства. «А дома небось тоже есть жены, ребятишки. Придут и мирно будут жить. Даже не вспомнят... длинный-то вспомнит — сосед». «Лучше б хватиться мне денег теперь, когда он слез,— шептала она,— лучше б я по миру пошла с внучатами...» — Она не вытерпела и заплакала.

— Что, али опять деньги пропали? — зло спросил бросавший бомбу. Он отвел от лица горящую щепку, от которой прикуривал, и в упор поглядел на старуху.

— Не, милый, я — так, я — так,— испуганно зашептала она.— Я — так, деньги целы, при мне.

Она еще крепче сжала ладонь с бумажками.

Солдат прикурил и лег у печки. Красноватое пламя печки освещало его усталое лицо, шрам над бровью; что-то детское, обиженное было в этом лице. Подъезжали к станции.

«К петухам буду дома, а то — раньше,— думала старуха. Она боялась спросить, какая это станция, сколько осталось ей ехать. Слабой памятью прикидывала расстояние.— Да, раньше петухов не приеду, еще надо длинный мост проехать, на котором так боязно, город, за городом четыре остановки...»

Зеленое зимнее небо темнело. Над полями искристо загорелся Ковш. Шумел ветер в голых деревьях. Мелкий снег, как пыль, набивался в щели, посыпал плечи, папахи. На стене станции, у колокола, одиноко мигал закопченный фонарь.

Было тихо. Солдаты спали. Только по снегу прохрустел железнодорожник, закутанный в тулуп, с ручным фонариком у пояса. От разгоревшейся печки в вагоне стало дымно и тепло, клонило ко сну. Она оперлась головой о стенку и пыталась задремать. «Я опплановал, опплановал»,— шептал ей бородатый в ухо. Она испуганно приподнялась и шагнула к двери.— Уйду, в другой вагон надо, не то — останусь на станции...— шептала она.

— Куда? — хрипло спросил бросавший бомбу.

— Для себя, милый! До ветру. Пропусти.

Бросавший бомбу принял ноги. Но поезд тронулся.

— Надо было раньше думать об этом,— сказал он.

Старуха молча прошла в свой угол. Рядом лежал, раскинувшись, белорус. По другую сторону, упираясь сапогами в ее мешок, спал незнакомый солдат, лица его нельзя было разобрать в темноте. Солдат тихо стонал во сне. Она села на узелок и старалась ни о чем не думать... Тра-та, тра-та, тра-та,—стучали колеса. Хрр-жа, хрр-жа,— вторили буфера и сцепы. Ломило спину, ноги. Намокшие от снега лапти отяжелели. Лапотные веревки резали щиколки. «Отпущу веревки и усну, четыре дня не разувалась»,— думала она. Она ощупала свободною рукою пол между своим узлом и стеною. Переложила узел так, чтобы постороннему нельзя было просунуть к стене руку, и положила за узел деньги. «Заодно перепрячу и деньги». Она приподняла подол, нащупала у колен концы оборок и стала медленно развязывать их. Оборки были старые, в узлах. Она долго копалась, отыскивая нужные концы и нужный узел. Отпустила оборку. Ноге все-таки не стало легче. «Или переобуться?» Опасливо поглядела на бросавшего бомбу. Он дремал. Слабо тлела печка. «Вожусь в темноте-то, еще втемяшится, что шарю по чужим сумкам,— с испугом подумала она,— скорее перевяжу другую ногу да лягу». Она быстро переложила ногу, стала опять нащупывать концы оборок и удивилась: нога ее поверх оборки была перевязана тряпкой. «Ишь ты, к чему это? — недоуменно спросила она себя.— Али оборка оборвалась? Али чтобы теплее коленке было?..» Развязала тряпку, сунула под себя: веревки были целы, завязаны так же, как и на правой ноге. «Ишь ты, оказия!..» И вдруг ее стало трясти — сначала тихо, потом сильнее, сильнее... Пальцы ее словно остамели, не слушались, по спине ее пробежал озноб: она почувствовала под пальцами, за онучей, выдававшийся бугорочек у икры... Если бы у нее не перехватило дыхание, не закружилась голова, она бы дико, на весь вагон, закричала... Не оправив подола, она откинулась головой к стене и замерла. Чувствовала, как безумно колотилось в груди ее маленькое сердце, как загорелись и жгли ее ноги в мокрых лаптях. «Пропала... смерть... пропала...» Как в бреду, она вскочила на ноги и бросилась к дверям. Дремавший у печки солдат обернулся.

— Терпи до остановки,— грубо проговорил он,— хуже маленькой.

Она покорно села и схватилась за голову. «Пропала, пропала...» Потом быстро стала распутывать оборку на ноге. Пальцы не слушались. Она хваталась за веревку и рвала ее, еще сильней затягивая узел. Зубы ее стучали. Ей попался под пальцы выбившийся угол онучи. Не развязав веревок, она стала тянуть онучу. Веревки ослабли. Она засунула под онучу дрожащую руку и достала оттуда узелок с деньгами. Она сжала пальцы до боли в ногтях. Да, это были ее деньги, она при сыне прятала их за онучу, сын посоветовал, сын дал ей и короткое больничное полотенце перевязать ногу выше оборок. Она забыла про них.

Она не слышала, как поезд остановился, стоял. Как скрипнули двери вагона. Как по платформе, с котелками и чайниками в руках, бегали раздетые солдаты, ища кипятильник.

Из раскрытых дверей в нее дуло. В вагоне громко разговаривали. Бросавший бомбу собирал свои вещи. Она ничего не слышала, не понимала. Была как мертвая.

— Бабка, какая станция? — спросил, просыпаясь, белорус.

Она не ответила.

Бросавший бомбу сказал:

— Станция — «Не везет», начальник — «Сядь да гуди».

Белорус поднялся и стал потягиваться, закидывая за голову руки. Ей показалось, что это бородач простирает к ней окровавленные руки.

— Солдатики, ро́дные! — закричала она, вскакивая.

— Тю, мать твою в душу, опять деньги вытащили! — сплюнул белорус.— Чего ее не выбросят, жабу!

— Ро́дные! — кричала она.

— Замолчи, ведьма!..

— Ро́дные!.. Ро́дные!.. Ро́дные!..

Забилась в судороге на плече у белоруса.

— Ну, что ты, что ты? — испуганно зашептал он.

— Деточки, солдатики! Затмение! Ума затмение!..— Раскрыв перекошенный рот, она кричала как одержимая. Чувствовала, как в ней все ослабло, как опускается она под себя. И не могла сдержаться, кричала.

— Рехнулась, что ли? — спросил смуглый солдат, глядя на товарищей.— Фу, дьявол, да она аж мочится! — Он брезгливо сплюнул и отодвинулся.

Белорус схватил ее в охапку и толкнул к стене.

— Уйди! — кричала она, выбиваясь.— Пропала душа!

Я сгубила!.. За онучей были!.. Вот они!.. Затмение! Ума затмение!..

Она швырнула к печке узелок с деньгами. Бросилась в угол, за сумку,— швырнула другой узелок.

— Один — мой, один — его!.. Ума затмение!..

Сквозь мертвую, тупую тишину дробили колеса на стыках: скрипел вагон, качаясь; тяжко дышал потный паровоз. В глазах людей было безумие.

Лопоухий вытянулся, замер, глядя на распластанную на полу старуху; распухшие губы его отвисли. Смуглый солдат дрожал. Белорус втянул голову в плечи и зябко кутался в свою серую свитку. Бросавший бомбу облокотился на винтовку; винтовка скользнула прикладом по мокрому полу и уперлась смуглому в сапог, перевязанный по подошве мочалом. Бросавший бомбу не шелохнулся, не поправил винтовки,— темным пустым взглядом пил на лицах отблески пылавших углей.

— Ну, аратор? — спросил его пожилой солдат в деревенском полушубке, и голос его оборвался.— С какого края тебя бить?

«Бить, бить»,— думал каждый, пьянея.

Первым выскочил лопоухий. Он вцепился бросавшему бомбу в шинель и истошно заголосил, давясь:

— Где товарищ?

— Да! — охнула толпа, вздымая кулаки.— Где?

О старухе забыли. Бросавший бомбу выронил винтовку и закрыл лицо руками.

«Смерть...» — подумал он.

Он не защищался. Не молил. Качался под ударами, твердо втягивая в себя пол. Пол выскользнул из-под ног. Он упал головою к печке. Кто-то промахнулся и вместо головы ударил поленом по печке. Опрокинул ее, рассыпая кругом груды золота. Вагон наполнился едкою тьмою. В волосах бросавшего бомбу путались и шипели горячие угли.

— Отворяй дверь! Где сука?

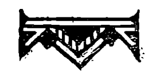
За ноги вытащили из угла старуху. Она была без сознания. Ударили головой о кромку раскрытых дверей. Молча, стиснув челюсти, трясясь в истомной злобе.

...Сперва в сугроб упал бросавший бомбу. Как в перину, тело легло ничком в мягкий снег — раскоряченными ногами к рельсам. Чуть-чуть скользнуло по откосу — солдат будто припал к ручью пить.

Пыль, взметываемая поездом, стала запорашивать мокрый затылок его, загнувшуюся на спину шинель.

Через четверть версты, у рельс, в сугроб легла старуха,— комочком, выгулив спину. Подножкой заднего вагона ее зацепило за фалды гнилой одежонки. Тащило несколько саженей, черня след. Дрожавший на морозе кондуктор нагнулся, посветил, отпрянул, хватаясь за тормоз,— потом махнул рукой. Придерживаясь за горячую от инея скобу, спустился на подножку, отсунул валенком зацепившуюся одежонку старухи,— тело скакнуло на рельсы, перевернулось, пропало в мутной снежной мгле. Кондуктор обнял рукоятку тормоза и застыл, горестно качая головою.

Над полями вставал месяц. В светлые ризы одевались деревья. По темно-синему бархату неба перекатывался бисер звезд. Вдали, в тумане, выступали слабые огни города.





САМАРА

(Из дневника)

Детям моим — посвящаю

Часть первая

...Дни лихолетья. Дни славы и подвигов. Дни распятия и заушения нации. Картошек нет. В Москве, на Сухаревке, за николаевскую четвертную досыта кормят жареной собачатиной. Все золото отдали немцам, тридцать восемь поездов, по сорока вагонов в поезде, вагоны набиты золотом под крышу.

Дни бреда. Исступленных глаз с искорками безумия. Пулеметных лент через плечо. Ленин скрылся в немецком посольстве.

Золотые сны мучеников Шлиссельбурга и Нерчинских рудников наяву.

Налеты. Сто девяносто шесть врачей расстреляно в одно утро. Перед казнью китайцы насилуют девушек.

«В аллеях цветущих акаций Екатеринодара мирно гуляет нарядная публика. Гремит военный оркестр. Опрятно, по форме одетые солдаты добровольческой армии весело коротают здесь часы досуга. Вон грузная фигура председателя Государственной Думы Родзянко, о чем-то оживленно беседующего с генералом N»...

«Боже мой, расстреляна Брешковская, бабушка русской революции!..»

По дороге в Петропавловку скончался Г. В. Плеханов. Говорят, он задушен конвоировавшими матросами.

Дни небывалого позора. Иудино лицедейство. Дни юношеского восторга, оплодотворившие столетия.

В эти дни люди завидовали умершим.

«К трудовому крестьянству. Товарищи, близок час освобожденья. Наши братья по крови — чехи захватили Тамбов, Пензу, Самару, Астрахань, Владивосток, Брыкалевку, Голопупино. Всероссийское Учредительное собрание объявило большевистскую власть низложенной. Да здравствует Всероссийское Учредительное собрание! Долой убийц! Долой палачей русского народа! Долой позорный брестский договор!..»

Во имя отца и сына и святого духа — бей жидов!..

Отныне все земли и недра, все предприятия и торговые заведения, с числом наемных рабочих свыше десяти человек, отходят в национальную собственность государства.

Единая, неделимая, великая, с Босфором и Дарданеллами...

К стенке. . . . . в бога мать!..

Во имя любви к России я еду на восток, за фронт, к иноземцам, поднявшим оружие против России, чтобы стать в их ряды — идти на Россию.

В окна ползут мягкие сумерки. Вокзал набит голодными детьми, распоясанными солдатами, мешочниками. Господами положения чувствуют себя матросы с офицерскими кортиками у пояса и золотыми перстнями на грязных пальцах. Не слышно задора и перебранки с ними, так характерных для Курска и Орла: близок фронт, лишнее слово ведет к расстрелу. Я только что проехал Козлов, где с привокзальной площади еще не убраны трупы повстанцев. Обок — ливенские мужицкие поля залиты кровью.

Всюду грязь, вороха тел, задыхающихся в своей испарине, подсолнечная шелуха, селедочные кости. Стены исцарапаны матерщиной. Народ — богоносец! — грязный, вшивый, голодный и разнузданный сброд, который обсахаривали и на обсахаренный молились, во имя которого, или прикрываясь именем которого, и я еду, быть может, на Каиново дело.

Лица людей тупо-блеклы или перекошены злобой. Неосторожная фраза, неловкий жест соседа вызывают шипящую гнойную брань. Словно бездомные собаки у боен.

Узкая светлая комнатка окраин Тамбова. Тщательно вымытый и выскобленный пол. Оборочки, салфеточки, стаканы, подстаканнички, цветочки,— даже нехорошо становится. На стенах пятна фотографий. В углу, в бордюре засушенного мятлика, Л. Толстой о чем-то нехотя беседует с А. Керенским и Виктором Черновым: брови старика насупились и вот-вот гневно задрожат.

— Али не по сердцу вожди? — спрашиваю я, подходя к портрету.— Кровью и железом грозят? А оброчек-то с мужиков все-таки драл? и казаков вызывал в имение?.. А потом — жена виновата?..

Старик презрительно молчит.

Я вспоминаю, как в шестом году, в июне, прочитав в газетах телеграмму, что в Ясную Поляну вызваны казаки, я отправился на Тулу, чтобы убить этого лживого шамана.

— Доколе земля движется с человеками, до тех пор по ней будут ползать безумные Герострата, большие и малые,— сказал мне в Орле приятель-семинарист, которому я открылся.— Воротись, малый, домой и убей в себе зверя. Революция — праздник, а не бойня.

Подал мне «Исторические письма» Лаврова...

В комнату вошла женщина лет тридцати с ребенком на руках.

— Отдохнули?

— Я не устал.

— Сегодня опять девять человек расстреляли... Борисоглебских мужиков... Это ужасно, ужасно!.. Так как же нам устроить с пропуском? Позвольте еще раз взглянуть на ваши документы.

Я подаю ей паспорт, членский билет, удостоверение «волоно», что командируюсь в Саратов «на предмет поступления в саратовский университет».

— Все это плохо,— раздумчиво говорит женщина, вертя в руках документы.— Большевики хуже жандармов. Читали последний декрет, что лица с подозрительными бумажками должны расстреливаться на месте?.. Да-да... Увидите Вячеслава, передайте, что я и дети здоровы. Вы — тоже член Учредительного собрания?.. У нас почти ежедневно обыски...

Женщина присела к столу и склонила на руки голову. Серыми пятнами на шею и щеки ее легли тени акаций за окном. Девочка тянулась к потухшему самовару.

— Не шали, Тося.

Пустым бесцветным взглядом женщина окидывает комнату.

— Сделаем так: вы отправляйтесь завтра к комиссару управления и потребуйте пропуск. Действуйте возможно грубее, это теперь модно: курите, отплевывайтесь во все стороны, сморкайтесь в горсть, вообще ведите себя по-демократически.— Она брезгливо кривится.— Комиссар — дурак, путно не умеет расписываться, но счастлив, что его посадили на губернаторский стул, и временами сентиментален. Попадете под хорошую минуту, пропуск обеспечен. Членского билета не показывайте, за это расстреляют. Чаю хотите?.. Боже мой, долго ли еще это будет тянуться?.. Хоть бы скорее шли чехи, это же невозможно: сахар шестьдесят рублей!.. Впрочем, завтра с вами увидится один из наших боевиков, он все расскажет... Вы — надежный?.. Вячеслав, бывало, всегда спрашивал у незнакомых: «Вы, товарищ, надежный?..» И, представьте, почти не ошибался... Вы, кажется, дремлете?..

Снова вокзал. В кармане пропуск, добытый ложью и сочувствием продажных царских чиновников, окружающих комиссара, усталого потного человека с растерянным лицом.

Уже нет места ступить, а новые толпы все прибывают. Беспомощно суетятся у подъезда, со стонами и бранью лезут в нутро, в духоту и зловоние коридоров, в чад отравленного парного воздуха.

Полпуда, пуд за плечами. Платформа, классы, станционный палисадник, как грудами смрадного мусора, забиты копошащимися фигурами. Почти на полверсты, до водокачки, разбросаны серые тела, несется вой. Каждый свободный вершок земли ближе к рельсам отвоевывается с боя. Измученные милиционеры тщетно пытаются навести порядок, это свыше сил,— такими же жалкими, растерянными, как толпа, со струями грязного пота на лицах, они пробираются по распластанным людям, умоляя не тесниться к рельсам, не мешать движению поездов, не лезть на смерть.

— Один черт! — болезненно кричат им.— Перестреляли бы, што ли!..

И бушующая масса напирает, ломится на полотно, в свободный промежуток рельс, нервно дрожа, липкая от пота и несчастная.

Где-то кого-то задавили. Для кого-то молят глоток воды. В звериной схватке два парня душат друг друга. Рядом истерично бьется мать, потерявшая ребенка. Ах, кому печаль до чужого горя, до язв чужих, когда собственные кровоточащие души кричат немолчным, неотпускающим, страшным криком!..

Большинство собравшихся — рабочие окрестных фабрик, мужики, мелкие железнодорожники. Все они кажутся только что оторванными от сохи и станков: черны и усталы их лица, вяла походка, в болезненные гримасы сомкнуты их губы, красны белки впавших глаз,— труд или голод наложили печать тоски на них?..

Звездным улыбчивым темно-голубым шатром раскинулось небо. Тихо шелестят деревья,— они темны и величественны в этот ночной час, они навевают мечтательную грусть. Почти беззвучно. Только стонет и хрипло дышит одной большой запаленной грудью толпа, да перекликаются паровозы. Словно играют цветные огоньки сигналов, перебегая от стрелки к стрелке. Спокойным, бесстрастным кривым взглядом старой проститутки из-за крыш пустых пакгаузов щурится опухшая луна. Хочется исступленно поднять кулаки и проклясть эту теплую, благостную, полную волнующих настроений ночь, это холодное и строгое, жемчужно-узорное небо, глухое к человеческому страданию, к судорогам, в которых корчится и плачет земля. Проклясть покой, счастливцев, мирно спящих под шатром ее, смять в безобразные складки покровы, которыми вечерние ангелы одевают мир.

С тоскою вглядываюсь в одинокую фигуру рабочего в дверях вокзала. Средних лет, русобородый, в черной засаленной блузе, с винтовкою в руках, он стоит на часах — неусыпный страж большевистской власти.

На площади, шагах в сорока от него, как жаба, растопырил кривые лапы пулемет. И там — рабочие, подростки, лохматый деревенский парень в свите, Ваня-дурачок, глупо ухмыляющийся.

Где же мадьяры и китайцы, о которых надсадливо кричат наши газеты? Чему смеется этот большеротый болван с гранатами у пояса?..

Время сеять и время жать, время молотить и собирать в житницы, время любить и в болях рождать чад. Время покоя и время смерти.

Время с железом и гранатами в руках ковать судьбу.

Во имя любви к России я еду на восток, к иноземцам, поднявшим оружие против России, чтобы стать в их ряды.

Во имя блага русского народа, во имя будущего вот этого рабочего, этого смеющегося, беспечного деревенского парня я иду с штыком на них. Буду убеждать других рабочих, таких же наивных и честных, как он, других деревенских парней, доверчивых и чистых, как хлебные колосья, считать э т и х рабочих и деревенских парней негодями, предателями революции и истреблять их.

Так я думаю, так верую, или так меня уверили, или так должно быть...

Что-то не вяжется, где-то скрыта подлая и преступная ложь.

— Нас обворовали... У нас отравили разум...— шепчу я.— Мы — пешки... Глупое, послушное мясо...

— Товарищ, проходи! Ваши документы!..

Товарный вагон под крышу набит телами, а обезумевшие люди все лезут в него. Цепляются за скобы и двери, за ноги успевших взобраться. Их безжалостно бьют по лицу и сбрасывают на землю. Как мухами облеплены буфера и сцепы. Трещит перегруженная крыша. Болят уши от воя и перебранки. Негде просунуть руки, повернуться. С ожесточением выбрасывается багаж, ненужный в этой свалке и не жалкий. Все потны и багровы, как в бане. Раскрытые люки уже не дают достаточного воздуха. С женщинами начинаются обмороки. Их мнут, как мусор.

Кто-то советует выдирать доски или разламывать крышу, но нет инструментов, крыша, к тому же, переполнена «дачниками». На первой же остановке втаскивают березовый комель, сброшенный с паровоза, и сквозь речитатив колес начинается буханье по стенам, треск. Через полчаса в вагоне образовываются просветы, теплый степной ветер с запахом полыни и полевых трав освежает наши головы. Все облегченно вздыхают, как рыбы, жадно хватая воздух запекшимися устами. Насытившись, бессильно опускаются один на другого, в одно смрадное месиво, и засыпают мертвым сном.

Близко Саратов. Брезжит заря. По небу расплываются кровавые полосы. С крыш неожиданно раздается пес-

ня. Впереди и сзади трещат выстрелы. Кто-то стонет. Кто-то истерически хохочет. Спящие тревожно поднимают головы... А поезд бешено мчится. Мимо мелькают темные силуэты будок, придорожных деревьев, редкие слабые огоньки костров. Речитатив колес превратился в сплошной грохот. Через проломы вагона нас обдает песком; как метель, кружатся и тают золотые искры паровоза. Русь моя серая, баламутная, бредовая! Ты хрипишь и мечешься как одержимая, а кто-то, неведомый тебе, мчит тебя в муть, в жуткое, еле брезжущее кровью зари. Куда он привезет тебя? Под каким откосом сгниют твои кости? Кто потом расскажет о твоих последних стонах, о муке твоей предсмертной? Кто отомстит за детей твоих?.. Или неведомый — сын твой, верный, бесстрашный и знающий, который через тьму, шаткие мосты сомнений, сквозь дикую и печальную степь твоей косности, примчит тебя в зарю, к порогу светлой и радостной жизни?.. Тогда — осанна кормчему! К черту жалость, вздохи о жертвах и крови, плещущей через края великого российского кровавого чана! Да здравствует грядущее!..

Саратов. Арсенал вместо вокзала. Или выставка военного ведомства. На улицах дозоры, пикеты, обыски, самосуд. Но трамвай еще ходит. И детишки весело торгуют папиросами, гоняясь за комиссарами в исполинских галифе.

Человек, открывший мне двери, испуганно отступил.

— Вам Садовникова?

— Да, Вячеслава Садовникова.

— Садовников арестован. Уходите. Прошу вас. У меня семья. Вы сегодня пятнадцатый. Пожалуйста.

На нем даже штаны трясутся.

Дверь перед носом захлопывается.

Старушка. Бедный серенький коридорчик на бедной пыльной улице. В углу корзина с древесным углем, гусиное крыло вместо щетки. Молча закрыла темное лицо руками и заплакала.

Я повторил пароль.

— Я не понимаю, сынок. Зины нет.

Стояла с закрытым лицом и плакала.

— Она в тюрьме. Говорят: расстреляна.

Жалкая, маленькая, серая, беспомощная, как ребенок. И по ребячьи всхлипывала.

Сквозь слезы:

— Может быть, кушать хотите?

Мелкими, частыми крестиками стала крестить меня.

— Не надо. Я не верую.

— Это ничего, ничего. Не обижайтесь.

Мокрые руки трясутся.

Над городом реют аэропланы. Скрипят обозы с амуницией и ранеными. Притаены лица обывателей. Вот кто слопает революцию-то — смиреннейший и подлейший, который сейчас крадется по стенке, полный покорности и подхалимства, — слизняк, блюющий ядом!..

«Сам» — здесь, прячется на окраине. А семья живет по фальшивкам на Немецкой, в конторе страхового общества. «Сам» бодр, полон уверенности в успехе: ведь сочувствие России на стороне нас.

— Вы посмотрите, что кругом делается? Фронт с каждым днем ближе. Еще неделю назад чехи дрались под Вольском, а сейчас уже на задворках Саратова. Да какие там, к черту, чехи, — хвалынские и вольские мужики, чехи — только ширма. А Тамбовская губерния? а Воронеж? а Ярославль? а Нижний и Сормово — это все чехи? Смешно!.. Нет, батенька, когда задето национальное чувство, когда начинают торговать русским народом оптом и в розницу...

Цекист таинственно подходит к нам и шепчет, осторожно поглядывая на женщин:

— Вы ждете боев за Саратов? Ничего подобного! Саратов нам подадут, как облупленное яичко, да-с.

— Граждане восстанут? — заражаясь общим радостным волнением, вполголоса спрашивает молоденький безусый офицерик, «капитан войск Временного правительства».

— Не граждане, а голодная и вшивая рвань, что набита у них в казармах.

«Сам» был страстный охотник и спортсмен. В первых числах июня, как только на Волге вспыхнул бунт военнопленных чехов, «Сам», захватив удочки и пару велосипедов, отправился в Саратов, чтобы в удобный час пере-

браться за фронт и стать во главе движения. Но лето было жаркое, фронт неустойчив, по Заволжью свирепствовал Чапаев,— переправляться было опасно. «Сам» поселился в деревушке под Саратовом и всем сердцем и всеми помыслами отдался рыбной ловле. А вечерами, в обществе жены, милой и славной хлопотуньи, или знакомой артистки, променявшей сцену на политику, катался на велосипеде, делая подчас 15—20 верст без отдыха.

Своим чередом текли события, лилась народная кровь, как вода, там и тут вспыхивали бессмысленные мужицкие бунты, на тысячу ладов перекраивалась карта России чужими и доморощенными закройщиками, за Волгой вместо «Самого» дирижировал «Почти сам», «Сам» поздоровел, налился, загорел до шелухи на носу, сохранив всё ту же незлобивость, юмор и беззаботность, которые так нравились в нем женщинам.

— Он очень одинок,— говорила о нем жена,— цека оттер его, сведения о событиях преднамеренно задерживаются, и он не знает, что делать... так странно в его положении.

Но это было неверно. Из Москвы регулярно выезжали в Саратов курьеры. Посылались письма. Его навещали областники. События требовали смелого и опытного руководителя. «Почти сам» за Волгой путал карты: опасались, что его уличат в шулерстве. Но был горячий период метания сазаном икры, сазан был необыкновенно жирен и толст в это лето, и «Сам» оттягивал переезд в Саратов. В качестве его глаза в Саратов приезжала артистка, променявшая сцену на политику; артистка очень нравилась партийным офицерам.

«Сам» явился в Саратов лишь после того, как на двенадцати прекрасных удочках его с бамбуковыми удилищами осталось только четыре крючка. Переодевшись мужиком, он приехал, чтобы поискать на базаре подходящих крючков.

Одновременно Москва командировала в Саратов цекиста для переправы за Волгу нескольких десятков офицеров. Попутно цекист должен был повидаться с «Самим» и убедить его немедленно ехать в Самару.

— Помилуйте, Ипсилон Зетович, это — преступление, до рыбы ли? Вся Россия ждет вашего вещего слова, а вы — рыбачите!

— Чтобы потом стать искусным ловцом человеков,— весело засмеялся «Сам».— Ну, расскажите, что делается

в Совдепии? А вечером ко мне на стерляжью уху. Познакомитесь с Розой Карловной,— вы слышали, что она теперь наша?

Пожив недели две в Саратове, побывав несколько раз у «Самого» в деревне, позавидовав приволью и сытости, покатавшись по Волге, провалив приехавших для переправы за Волгу офицеров, цекист, взяв обещание с «Самого» не домоседничать, укатил в Москву.

— По телеграмме... необходимо сегодня же,— говорил он, прощаясь, но телеграммы не показал. Да ее, кажется, и не было.— Так я скажу, Ипсилон Зетович, что вы уже на пути в землю обетованную.

— Да, да.

На широкой, на привольной на дороженьке
Млад разбойничек кинжал точит
На ворогов лихих, на супостатов...—

веселым тенорком ответил «Сам».— Смотрите, смотрите, как елец разыгрался!..

А русская кровь в это время лилась как вода — на севере, на юге, в глухих лесах Прикамья, на сибирских сопках, в зауральских солончаках... По Волге, на берегу которой они сидели, плыли в Каспий трупы, и трупам этим не было числа.

Тотчас «Сам» не уехал в Самару, а просидел еще месяц: увлекла ночная ловля рыбы с острогой, костры на отмелях, купанье. Русско-чешскими войсками были взяты Уфа, Казань, Симбирск, Екатеринбург, другие города. «Почти сам» образовал кабинет министров, над которым смеялись обыватели. Тогда Москва послала в Саратов второго цекиста с деньгами и фальшивыми документами, с предписанием, чтобы этот цекист ни на шаг не отступал от «Самого» и в наикратчайший срок доставил бы его в Самару.

— Да, да,— говорил ему «Сам».— Я не раз уже подумывал об этом. Но не было паспорта и денег. Теперь дело пойдет быстрее. Не прокатимся немного на велосипедах — до соседней деревни?

— Нет-с,— сердито ответил второй цекист,— не приучен-с! — У цекиста одна нога была короче другой, и он подумал, что «Сам» смеется над ним.

Высокий методичный цекист с короткой ногой, называвший себя всетуркестанским представителем, пото-

му что прожил в Туркестане около полгода и знал несколько фраз по-сартски, свято выполнял данное поручение цека. Он, действительно, ни на шаг не отступал от «Самого»: вместе ел, спал, вмешивался в семейную жизнь, читал нравоучения жене и детям «Самого», а Розе Карловне предложил немедленно убраться.

«Сам» попытался было защитить святость семейного очага, но цекист удивленно поднял красные брови, обиделся и заявил, что для него честь и счастье России важнее пустых фраз с пустого языка, что все придирки к нему со стороны домашних «Самого» за то, что он перед ними не рассыпается в порошок, ему смешны и жалки, и что впредь он просто не будет обращать на них внимания.

— А вашего скорого отъезда, сударыня, я терпеливо жду,— сказал он, обращаясь к артистке, променявшей сцену на политику.

«Сам» прикинулся больным и лег в кровать. Цекист терпеливо стал ухаживать за ним, закрыл двери, форточки, отдушники, семью выпроводил в клеть, не позволяя «Самому» разговаривать и читать, и хоть было лето и выходить было не опасно даже тяжелобольному,— запретил ему ходить в уборную, поставив под кровать кастрюлю вместо горшка.

— Вы бы тоже перешли в сарай или на сеновал,— говорил «Сам»,— заразиться можете.

— Я думаю о России, а не о себе,— сказал цекист.— Закройте глаза и не двигайтесь, это обессиливает.

На два шерстяных одеяла, укрывавших «Самого», он накинул свою кавказскую бурку, тщательно подтыкая под матрац полы бурки.

К обеду у изголовья больного стояли хинин, касторка, доверов порошок, александрийский лист, каломель, пузырь со льдом и полбутылка красного вина. Баба грела чугуны с водой для клизмы.

И «Сам» в тот же день выздоровел. Обрадованная семья смеялась до слез.

Наутро «Сам» торопливо переехал в Саратов. Неразлучный цекист подыскал ему комнатку в рабочем квартале, у распропагандированного старика столяра.

Город напряженно прислушивался к событиям. Вече-

рами, возвращаясь с работы, сторож приносил «Самому» обывательские сплетни. Говорили об истязаниях в тюрьмах, поголовных расстрелах, ропоте заводских рабочих, которых старик называл шалопаями.

«Самому» вспоминались сцены недавнего прошлого, Петербург, тысячи и тысячи этих шалопаев,— темные несокрушимые волны, теснимые громадами дворцов,— с кровавыми знаменами над головами, пьяные в творческом восторге,— они были послушны воле его.

Так было все просто. Так казалось все возможным, достижимым. Так ярко сбывались сны.

А теперь все перепуталось, свилось в грязный клубок, в котором затерялись концы и начала. Из сумеречной тьмы комнатки с дешевыми обоями на него глядело не человеческое дорогое лицо «демоса», а окровавленная морда зверя — «охлоса», щелкающая зубами.

— Бунт рабов... бунт вшивой разнузданной твари, уставшей в окопах, трусливой и страшной...— шептал он.

— Нынче барынь гоняли — нужники в казармах выгребать,— с усмешкой говорил старик,— княгиню Енгалычеву, Желиховскую, Черепанову, штук на пятнадцать,— жалкое положение!..

— Жалкое? — хрипло переспрашивал «Сам».

— Ну, конечно, жалкое,— говорил старик.— Это же нашему брату ничего не страшно. А им — крупчатыми ручками да за мужицкий помет,— ого!

Старик дробно хихикал, не скрывая злорадства.

«Сам» с удивлением и досадой глядел на него.

— А ругаешь большевиков?

— Нынче все их ругают, всякая сволочь, которой самой — оплеуха цена.

Нас пятеро в квартире. За коновода у нас высокий угрюмый старик с отпущенной бородой, «народоволец», как называют его здесь. Младший из нас — «капитан войск Временного правительства», худенький мальчик с наивными глазами.

— Вы, вероятно, в душе смеетесь надо мной, Иван Петрович,— часто говорит он мне,— двадцать лет, а капитан, но это верно, Иван Петрович, даю честное слово. Я, собственно, сын землемера из Курска. Но когда, знаете, все убежали с фронта, меня сразу из прапорщиков произвели в капитаны...

— Солдаты?

— Ничего подобного, даю честное слово! Я горжусь этим, Иван Петрович. Все убежали, а мы, горсть, по четверо — пятеро суток не евши, отстреливались от немцев... И теперь вот меня комитет посылает...

Больше двух недель мы живем затворническою жизнью, а Саратова нам все еще не подают, «как облупленное яичко».

С утра цекист таинственно уходит и еще таинственнее возвращается.

— В Самаре — ух, великолепно! Над зданием комитета членов Учредительного собрания развевается красное знамя, выходят газеты всех направлений, с августа функционируют советы, в войсках о политике — ни-ни!..

— Да? — коротко спрашивает старик-народоволец.

— Да, да. Волжским фронтом командует знаменитый Махин, наш, полковник генерального штаба, от добровольцев нет отбоя, прифронтовые крестьяне истребляют совдепы...

Старик-народоволец крякает. Мальчик-капитан в восторге жмется к цекисту.

— Говорят, уже съехалось до трехсот членов Учредительного собрания. Вскоре будет обеспечен пленум. Правительство большевиков будет объявлено низложенным. Эскадрильи аэропланов развезут по всем уголкам России манифест Учредительного собрания и тогда...

Оттопырив нижнюю мягкую губу, старик-народоволец насмешливо барабанит пальцами по столу.

— Вам это не нравится? — резко спрашивает цекист.

Мальчик испуганно оборачивается.

— Да, очень.— В серых глазах народовольца вспыхивают огоньки.— Очень — наивно...

— Ах, наивно! — пренебрежительно тянет цекист.— Полтора года назад наивно было думать о свержении самодержавия. Однако свергли — и царя и царскую братию...

— Да, свергли — царя и царскую братию,— глухо говорит народоволец и размеренной походкой выходит в соседнюю комнату.

Цекист пристально глядит ему в спину.

— А вот дети царские еще не все свергнуты,— оборачивается народоволец и осторожно затворяет за собою двери.

— Всякому овощу свое время,— говорит цекист.

Мы не все понимаем в их недомолвках, намеках, порою обостренных отношениях, порою — тайном и продолжительном шушуканье, когда нас просят на минутку выйти из комнаты.

Усердно топая лаптями о булыжник, по улице идет батальон красноармейцев. Играет музыка. Над головами развевается красное знамя. Сзади — двуколки, мальчишки, пыль.

Когда музыка замолкает, тощенький красноармеец в передних рядах запевает песню, вытягивая, как петух, худенькую пыльную шею. Ряды нестройно подхватывают, через фразу песня налаживается, вливаясь в лапотный такт, лица солдат оживают.

Мы смело в бой пойдем
За власть советов
И, как один, умрем
В борьбе за это...

Кажется сном. Вчера эти люди или соседи этих людей с тупыми, мертвыми лицами тоже ходили по улицам. Так же шелестели пыльной листвой подстриженные деревья. Гнались толпы зевак. Слепило солнце. Бухал булыжник глухо. Только людей этих водили зашнурованные в корсеты фендрики, щеголявшие золотом наплечников. Так же играла музыка. И так же старательно они следили за ногой, чтобы не сбиться с шага. Так же раскрывали свои пыльные рты, ловя и подхватывая песню. И так же у одних оживали от песни лица, а у других обессмысливались. Но шаг под песню становился у всех свободнее и легче. Только песни были не те. Да не было распоясанных, небритых командиров в чертовски смешных штанах с раструбами. И не было красных знамен. Не было души, хотения. Была серая скотина, которую сентиментальные прохвосты называли святой скотиной. А сентиментальные дураки из-за этой скотины умилялись, когда их называли святыми, и покорнее подставляли лица под кулак.

Снилось ли мне пятнадцать лет назад, за тюремной решеткой, что я увижу русскую мастеровщину и русских мужиков свободно, под музыку, расхаживающими по большому губернскому городу с красными знаменами в руках и во всю глотку горланящими сердитые песни, ко-

торые мы, бывало, передавали друг другу на ухо,— снилось ли?

Идут чумазые, потные, распоясанные, прозревшие,— кричат неистово:

Это есть наш последний и решительный бой!..

Со всеми, на всех — смерть или победа.

Снилось ли, что они будут идти по зубы вооруженными, что у них будут пушки, гранаты, аэропланы, танки, железные дороги, радио, телефоны, броневики, деньги, дредноуты, подводные лодки, лакеи-спецы,— снилось ли?

Не снилось. Иначе ужас прошлого не казался бы таким тяжелым. О, если б снилось! Тогда в тысячу раз горшие муки можно было бы с восторгом перенесть. А я иногда падал духом.

И — снилось ли, могло ли сниться, что в эти великие и страшные дни я, жизнь и душу отдавший народу, пойду вместе с попами, царскими офицерами, помещиками, казаками — палачами первой русской революции, вместе с деревенскими лавочниками, урядниками, и пойду усмирять освободившихся из ярма братьев своих, этих чумазых, этот «обнаглевший негосударственный сброд»? Снилось ли?

Не снилось. Не могло сниться. Не должно сниться. Это — безумие. Или — кошмар. Или — подлость. Не снилось.

Красноармейцам — земля и воля,
Попáм, буржуям — черная доля...

А мне? Пуля в спину, как казнят итальянцы самых подлых, самых презренных изменников отечества?..

Колышется и горит золотом лозунгов красное знамя. Ровными вздохами ложатся лапти на булыжник. Мотают мотней нелепых штанов командиры.

— Боже мой, где же правда, как выпутаться?..

— Не в середине,— хитренько ухмыляется лысое подмигивающее лицо с лубка киоска на углу,— с нами или против нас, других путей нет.

Я прислоняюсь к киоску и тихо, горько плачу, потому что я запутался, как в темном лесу.

А шаги все дальше, тише.

Над миром знамя наше веет...
И несет... клич борьбы... мести гром...
Семя грядущего сеет!..

В этих песнях, в этих лицах, в этих властных красных знаменах, перед которыми сейчас все преклонились — одни с восторгом и радостью, других заставили согнуть спину,— в этой силе взошло семя, сеянное и мною... И я иду топтать ростки его!..

Осанистый «народоволец» с отпущенной бородой оказался командиром гвардейского пехотного полка. В течение длинного ряда лет этот полк снабжал Россию жандармами. В девятьсот пятом году он участвовал в московском усмирении.

— Я узнал об этом случайно, Иван Петрович,— говорит «капитан», глотая слезы,— об этом шушукались женщины. Он лично бил солдат. В марте сбежал на юг, иначе солдаты растерзали бы его. А теперь вместе с нами он пробирается за Волгу, чтобы поддерживать Учредительное собрание. Это же — ложь! Он убежденный монархист. Он едет, чтобы бить с нами большевиков, а потом приняться за нас. Иван Петрович, как же примирить: мы, эсеры, поддерживаем черную сотню, черная сотня — поддерживает нас. Стало быть, между нами есть общее?

— Да.

— Что?

— Глупость. Или — подлость. Обе стороны лгут. Эсеры думают расправиться с большевиками, а потом взяться за черную сотню. Черная сотня думает обратное.

— Кто кого перехитрит?

— Да.

— А если обе стороны окажутся чересчур хитрыми?

— Глупыми?

— Да, я в этом смысле. Если, хитря, обе стороны провалятся, все потеряют?

— Мы опозорим себя.

— Мы опозорим себя,— шепчет мальчик.— У нас были Гершуни, Каляев, Егор Созонов, Халтурин, Перовская, Желябов, матрос Егоров, тысячи и тысячи безвестных мучеников.

— А теперь есть дворянин Борис Савинков, провокатор Евно Азеф, сумасшедшая Спиридонова, истерик и трус Керенский, десятки и сотни обывателей, вообразивших себя государственными людьми,— говорю я,— есть коротконогий рыжий цекист, похожий на плохого сбытчика фальшивых денег, рыболов и говорун «Сам»...

— Когда-то партия социалистов-революционеров гордилась своими мучениками...

— Сейчас — обывателями...

— Девушку Зину, вы слышали про нее, здесь послали выкрасть у большевиков документы, нужные для «народовольца». Эту девушку большевики расстреляли. За кого погиб человек?

— Раньше такие девушки шли убивать царских сатрапов. Сейчас мы прикрываем их своим знаменем.

— Мы, Иван Петрович, запутались. Злоба, которая накипела против большевиков, делает нас нечестными,— разве это допустимо?

— Там этого не будет,— говорю я, указывая за Волгу.— Не должно быть. Не допустим. Вы верите, что мы правы? Не я, не вы, не Сидор, «Сам», соборный протодьякон Авксентьев или коротконогий цекист,— права партия, поднявшая оружие, правы идеи, что толкают нас на братоубийство?..

— Да. Там по-другому. Я верю цекисту. Надо верить. Но здесь я не могу быть. Я уйду, Иван Петрович. Меня за это не осудят?.. Я даже сегодня в ночь решил уйти. По карте я изучил местность. Помню названия сел. Отдохнуть бы от этого смрада...

Худенький, в веснушках, тиковой крашеной блузке, похожий на бедного ученика городского училища, стоял передо мной и ждал ответа. А во мне самом кричало все от противоречий.

Каждый поезд привозит с собой в Саратов новых сторонников Вандеи. Едут старики, женщины, девушки, подростки. Военные всех рангов, учителя, крестьяне, петербургские хлыщи, земские служащие, безработные адвокаты и журналисты, рабочие, красноармейцы, полицейские. Эсеры, меньшевики, кадеты, монархисты, юдофобы, спекулянты, авантюристы. Одни переодеты и с фальшивыми документами, другие в виде «ответственных» советских работников с аршинными мандатами. Большинство прет на авось, только бы выбраться из большевистского ада. С вокзала разбредаются по явкам, каждый в свой куток, масть к масти. Многие проходят через наше чистилище, где получают советы, указания, пароли, деньги. Одни бодры и самоуверенны, другие растерялись, расползлись, как проношенные штаны,

иные затаены, те горят в тоске по погибшим, некоторые щеголяют своей смелостью или до смешного конспиративны... И все одинаковы, с одним едким запахом: всех сравняла исступленная, зеленая ненависть к Кремлю, совдепам, евреям и социализму — монархистов, эн-эсов, эсеров, меньшевиков, обывателей. Лишь не все в этом сознаются или даже осознают. Все с болью жалеют прошлое,— прошлое своей группы, своей разновидности, своей секты,— оно теперь кажется прекрасным: Николай Александрович, Павел Николаевич, Александр Федорович, Георгий Валентинович... Но все — даже полицейские, даже кадровые бурбоны — с гордостью подчеркивают, что только они действительные социалисты, а не хамы-большевики, опозорившие социализм и красное знамя, на полсотни лет отпугнувшие несчастное, тупое, невежественное, безграмотное население России от социализма. Это — наше невежество, нашу неграмотность, слепоту, забитость, превратившуюся в народе в ярость против угнетателей,— особенно смакуют, усиленно подчеркивают, издеваются над «вшивыми социалистами»,— вздыхая, ахая, скрипя зубами. Красное, в крови и заревах, крыло революции напугало их,— они жалки. Я понимаю военщину, которая мстит, рабочих и мужиков, именем которых Москва кощунствует, спекулянтов и авантюристов, которым кажется вода за Волгою мутнее. Но интеллигенция? Но партийные? Не они ли в прошлом «семя грядущего сеяли», звали к восстанию, захвату власти трудящимися? А теперь испугались и вкупе с монархически-погромным скотом сбегаются топтать юные всходы?.. Или — они сеяли лебеду, а выросла тыква?

Да, они так думают.

Многие. Большинство.

Романтики-мещане. Белоперчатники. Фантазеры. Лжецы.

Чехи под Саратовом. С напряжением ждем решительных боев. Только что возвратилась из разведки артистка, променявшая сцену на политику. Под Инзой большевики жестоко разбиты. Решается судьба Кузнецка и Пензы. В Пензе, на вокзале, под видом застрявших сибиряков, скопилось много наших партийных, которые ждут падения города. Полк путиловцев перешел на сто-

рону Учредительного собрания. Установлено воздушное сообщение с Москвой. По всей Тамбовской и Нижегородской губерниям организованы отряды лесных братьев, которые вырезают волостных и уездных коммунистов. Иоффе, Красин, Зиновьев и другие заправилы уже удрали за границу.

— Этого надо было ожидать,— говорит «Сам».— Роза Карловна, помните, я еще в Петербурге говорил...

С неделю «Сам» день и ночь что-то пишет.

Ночами, когда город тревожно засыпает и по улицам, будя булыжник, ходят только патрули, да какие-то подозрительные фигуры вглядываются из-под нахлобученных картузов в лица редких прохожих, мы пробираемся на окраину города к «Самому» с докладами.

Цекист ходит один, он не любит компаний, он с глазу на глаз беседует с «Самим». Возвратившись, таинственно отводит нас по одному в сторону и шепчет новости. Потом таинственно перемаргивается с нами.

— Знаете причину успеха? На нашей стороне дерутся французы!.. Три дивизии. С ними дальнобойная морская артиллерия... В Екатеринбурге — англичане, пока только полк, шотландцы, знаете — в этих коротких юбочках... Под Омском — японцы, торопятся... Видно, придется вам, Иван Петрович, еще покомиссарить. Хотите — в Саратове? Только мы не будем теперь свою власть называть комиссарской. Больно загрязнили это прекрасное французское слово — комиссародержавие!.. Ну, тогда смотрите, покрепче держать в руках вожжи!.. Посентиментальничали — и довольно. Это сентиментальничанье нам вот где село — трещит!..

Цекист хлопает себя по веснушчатой шее.

— Око за око. Не согласны,— говорите теперь же. А я опять в Туркестан, к своим туземным друзьям, они, вероятно, никак не дождутся меня.

Другой раз:

— Слышали? К Уфе подходит английская пехота. Идиоты! Все эти Литвиновы, Цюрупы — они думали справиться с нами! Это, брат, тебе не фунт изюма, и не кот наплакал, не баран чихнул, и не таракан что-то наделал... Хотя Цюрупа, признаться, порядочный малый, я вместе с ним учился в Харьковской гимназии... Жаль, что вы не знаете, Иван Петрович, английского языка, а то бы мы прикомандировали вас к английскому штабу в качестве уполномоченного от Учредительного собрания.

Вы — крестьянин, землероб, и в то же время образованный, прекрасно говорите по-английски, это было бы эффектно, и свободолюбивые англичане...

Хочется ударить его или рассмеяться в лицо, или выдать большевикам.

— Послушайте, кто вас выбирал в цека? когда?

— На седьмом партийном съезде. От левой группы — Камкова, Биценко, Мстиславского и Колегаева. Они теперь в левых эсерах. Я дальше не пошел с ними, потому что они — дураки. А что? И вам хочется пробраться в цека? Поработайте с мое, быть может, изберут... Да нет, вы слишком расплывчаты, неопределенны.

Вечереет небо. Спокойна гладь реки. Легкой пушинкой пароход скользит по лилово-светлой дороге. Тоненько покрикивает. От гор ложатся на воду островерхие тени.

Мы ищем новых путей за Волгу. Стали слишком часты случаи провалов. Нам надо переправлять «Самого». Мы еще не знаем, что в среде нашей уже имеются предатели, что половина татар, которых мы нанимаем для отправки проселками на Вольск,— «наш Вольск»,— находится на службе у большевиков.

Пассажиров на пароходе мало. Это большею частью поречные бабы с пустыми корзинами из-под фруктов и птицы, которую они привозят в Саратов. Да угрюмые старики-колонисты с длинными трубками.

Нет обычного разговора и шуток. Все злы, притаены. Шепотом жалуются на насилия заградительных отрядов. На трудность доставки на себе корзин с провизией,— к мануфактуре не подступишься, керосин вышел, соль дорога...

— А корзину груш норовят взять за так, цыпленок — рубль, подумать только!..

— Кабы не эти бродяги.

— Гороховский батюшка намедни просил подождать: скоро конец этому. Только и сказал: «Скоро, православные, конец этому, потерпите». А его наутро в Саратов, рясу сняли.

— Говорят, на фронт проводили...

— Не в сырой ли земле?.. Вот дожили!..

— Зато комиссаров много. Брось палкой в собаку, попадешь в комиссара.

Исподтишка, в полу, ныли при барине. Ныли при самодержцах. Ноют теперь. Опасливо, с трусливой злобой, переходящей при первом окрике в фальшивую лесть. Какой государственный строй был бы по сердцу им?

Встают дикие дни осенней сумятицы семнадцатого года, деревенские погромы, красный петух, надорванный лай набатов. Полчища этой грязной саранчи на белом, чистом снеге. Не было начальства, с начальством сбежало старое пугало — бог, сожжено или разграблено имущество господ — змеиное, наше кровное, дедами нашими нажитое, народное... Ездили до запала на кровных рысаках, бренчали на роялях, ели до поносов мясо, топили печки фруктовыми деревьями, пили спирт, пьяные лупили друг друга поленьями, пели «вставай — подымайся» и «вставай, проклятый — заклейменный»,— добыли волю.

Да, то была их воля, то был настоящий, нужный им государственный строй. Соломенный, лапотный, деревенский,— с Гостомысла мечтали. Не однажды с четырех углов запаливали Русь из-за него. Теперь он — явь. Перестали работать. После господ стригли под польку попов, потом лавочников, потом богатеев, потом вдов, бобылей, бессильных, потом — друг друга. Бросили возделывать поля. Издевались и убивали своих соломенных пророков. Торговали и менялись женами. Расстреливали и вешали, как собак, своих волостных и сельских выборных,— советы. А дрались за советы. Кричали: да здравствуют советы! Гнали от себя губернскую и уездную власть. Ограждались от нее штыками и пулеметами. Хохотали, когда города молили — как милостыню — хлеба. Города вымирали. В городах смерть косила сотнями и сотнями тысяч братьев их, снявших с них рабские цепи. Злорадно сообщали друг другу, что города гибнут. Злорадно ждали, что дальше будет. И когда это «дальше» пришло, когда под окнами их вонючих хижин стали стучаться землисто-черные человеческие тени в городских кепи, с мозолистыми руками, они снимали последние нательные рубашки с них за кусок хлеба, пару картошек. Это называлось: «Наша взяла». Нарядились в пиджаки, пальто, кепи, сапоги со скрипом, суконные, с голодных ног, шаровары... К черту зипуны, сибирки, свиты, сермяги, самодельные овечьи папахи, толстые рубахи из рядна́, сквозь которые не ущупаешь на сытом брюхе вошь!.. Шляпы, перчатки, сак-пальто, плюшевые

береты,— николаевской бы нам теперь, николаевской! Да подешевле!.. Да ливенки, да бубны!.. Что это, сволочи, в городах присмирели — не делают нам ливенок, сахара, николаевской?!. Жить, так уж весело, по-хорошему!..

А в городах вымирали. В городах питались падалью. В городах не успевали вывозить трупы. Города стали похожими на кладбища. Так им, сукам, и надо — попраздновали при царе! Теперь мужики — царь!.. Кури самогон, пей, блюй, да здравствует леворюция!..

— Что — помощь? Мы все — как один! Это у вас так говорят. Разумеется, поможем. Кушайте котлеты.

Немец, к которому мы приехали, подкладывает нам еще по паре сочных румяных котлет, с нескрываемым любопытством следя за тем, как мы жадно едим. Нам стыдно, но мы голодны и, нерешительно поблагодарив, принимаемся за следующую порцию.

— Кушайте, Иван Петрович,— говорит цекист,— после московской социалистической псины — приятно. Берите хлеб, картофель.

Он глотает, почти не прожевывая. Вытирает кусками хлеба подливку с тарелки и отправляет в рот.

— По-французски,— бормочет он,— французы не любят оставлять после себя грязных тарелок.

Чтобы скрыть смущение, усиленно угощает меня.

— В Москве собак ели? — как глухой, громко спрашивает немец.— Нет, мы еще не дожили. А, вероятно, скоро доживем.

По высокой и светлой столовой с цветами на окнах, дорогими занавесками, удобной мебелью, белоснежным столовым бельем, по сытому лицу хозяина, одетого в свежую тройку, не чувствуется, чтобы они дожили когда-нибудь до псины.

— Вам приходилось кушать собак?

Цекист молчит, взглядывая на меня.

— Нет,— говорит он.— Но многие ели. Например, один мой товарищ. Вы не пробовали, Иван Петрович?

— Это неправда.

— Чего неправда? — кричит немец.— У нас в Саратове, в общественных столовых, подают щи с падалью,— га!

Пресыщенные, еле дыша от тяжести в желудках, мы усаживаемся в подставленные кресла. Хозяин выходит

из комнаты. Через стекла мелькает его округлая, с брюшком, фигура. Он обходит вокруг дома, манит собак, словно боясь, как бы мы их не поели. Или не увезли в Саратов, в общественные столовые.

— Кажется, все спокойно,— говорит он, входя.— К нам тоже стала проникать русская зараза. Шпионство. Сходки. Выстрелы. Вы оба — члены Учредительного собрания?

— Да.

— Вам можно верить? Кто вас направил ко мне? Мустафа Махамудзинов? Да, он хороший господин. Конечно, мы вам поможем.— Хозяин испытующе глядит в лицо цекиста.— У нас вся надежда на Учредительное собрание. Простите, до нас еще...— У него срывается грязная фраза по адресу русского народа и революции.— Га, это меня научили ваши русские,— словно оправдываясь, добавляет он.

Цекист смущенно смеется.

— Ничего, ничего. У нас теперь это в моде.

— Ругать Россию? Я знаю. Революции вы не сделаете,— что? Неграмотным? Дикарям?.. Несчастный царь, несчастное русское правительство!.. Сколько надо было ума и напряжения, чтобы держать в страхе и повиновении этот сброд, эту орду прирожденных преступников! Как? Справляться, создавать видимость великой державы, дружить и обниматься с просвещенной Францией!.. И вот плоды: убили царя, двор, и дутая твердыня сразу обратилась в гниль, труп, зловоние,— это ужасно. Как прыщи, на трупе выступили спасители: Гучков с английским пластырем, Чернов ваш — с клизмой, Тихон — с троеручицей... Га, нужен был околоточный с митральезой и пучками розог...

— Не слишком ли?

— Виноват.— Немец опустил глаза, поправил выбившиеся из рукавов манжеты.— Мои деды тоже платили подать, обороняли государство, и я люблю Россию. Я — такой же русский. Но разумную, законную революцию нам не совершить...

— По шнуру, с циркулем и аптекарскими весами?

— Да! — убежденно восклицает колонист.

— Долго путаться.

— Тогда к черту всякие революции! — кричит он.

В полдень осматриваем колонию, похожую на опрятный уездный город, с садами, чисто выметенными улицами, крепкими и удобными постройками. Потом немец

ведет к себе на двор — в конюшни, свинарни, к рогатому скоту. Все дышит довольством и сытостью. Амбары полны хлебом. Под сараями рядами поставлены еще новенькие сельскохозяйственные машины, брички, фуры.

— И это все должно погибнуть! — задыхается немец.— Здесь несколько поколений собирало. Га, у нас единственная надежда на Учредительное собрание. Мы поможем. Ведь мы же сами выбирали туда депутатов.

Нас зовут в комнаты.

— Слушайте, нам сейчас нужно двадцать тысяч рублей,— говорю я, глядя в глаза немцу.— Если у вас не найдется, займите у соседей. Наконец, продайте жеребца, на котором вы привезли нас с пристани. Деньги нужны Учредительному собранию.

Цекист в недоумении поднимается и что-то хочет сказать.

— Мы сейчас слабы, нуждаемся в помощи. От поддержки сознательных и честных граждан зависит судьба родины. За Волгой умирают люди.

Минуту, две, пять в столовой стоит тишина. Только шелестят светло-голубые занавески на открытых окнах. Поскрипывает крашеными половицами недоуменно шагающий цекист. Да равномерно тикают стенные часы.

Немец удивленно вскидывает на меня невинные голубые глаза и тихо говорит:

— Вы шутите? Где же, скажите, я возьму столько денег? Да у нас во всей колонии не найдется столько,— вы верите?

— Охотно. А не продать ли нам жеребца в Саратове? За два дня мы доведем его до города.

— Чтобы большевики отняли! — испуганно подскакивает он.— Нет, благодарю вас. А потом, простите, я все-таки не верю в русскую революцию.

Опыт окончен. Время ехать.

Садимся к столу и пьем чай. Сдобные сухари, варенье, масло, мед.

— С вишневым, пожалуйста. А это — черносмородинное. У меня дочка — мастерица.

Подросток-девушка застенчиво улыбается, оглядывая наши грязные сапоги.

Потом мы прощаемся.

— Дорога торная. Здесь неопасно. Привальное, Карловка, Кара-Кумыс, Бутеево, Мейерштадт... А там и Орда

и Уральск... Здесь можно переправляться полками,— провожает нас немец.— Добрый вечер. Счастливой дороги.

С балкона за нами наблюдает дочь его.

— А вот если Чапаев нагрянет,— стараясь скрыть злобу, говорю я, кивая на девушку.

— Что-о? — бледнея, кричит колонист.— Чапаев?

С минуту он, как сом, хватает воздух круглым, жирным ртом.

— Чапаев далеко, под Красным Кутом.

— Неизвестно. Нынче — там, завтра — тут. Будьте здоровы.

Ах, мне хотелось бы, чтобы чапаевцы, действительно, были здесь, сожгли бы имущество этого самодовольного животного, все эти сухарики, ватрушки, жеребцов, косилки, брички, изнасиловали, растоптали бы ребенка — дочь его! Тогда он, может быть, понял бы нас, жалких, мечущихся детей, у которых изнасилована и растоптана родина!..

Над Волгой тьма. В темной воде отражаются звезды. Холодно. Цекист дрожит в своем люстриновом пиджачке.

— Черт меня дернул, я больше с вами никуда не поеду,— сквозь зубы говорит он.— Вы только портите дело.

— И я не поеду,— с тоскою говорю я.— Вы только без разбора отдаетесь всем, не получая ни похвал, ни мзды.

Убит Ленин. Город объят безумием. Еще большая, чем обычно, тишина на улицах, затаенность. Но, как у горячечного, в каменных жилах его безумно бьется кровь. Он весь словно дрожит. Весь до крайности напряжен. Случайный треск шины мотоциклетки, лязг упавшей с повозки полосы железа кажутся пушечными выстрелами, и люди с мутными от ужаса глазами стремительно бегут в подворотни. Как стадо. Как трусливые гиены.

Кофейни и лавки закрыты. Опущены шторы на окнах. Чтобы не мешали всласть радоваться. Или горько плакать. Убийца еще не известен, но на устах у всех: эсеры, эсеры...

Все конспиративные квартиры наши переполнены бежавшими. Бросают дома, семьи, имущество. Задыхаясь, выплевывают: начались аресты, ловят на улицах, расстреливают без допроса, в город введен полк китайцев, на каждом перекрестке по десятку шпионов, расстреляна команда саперов, выразившая радость по поводу убийства, во дворе тюрьмы горы неубранных трупов, трупами забиты колодцы...

Всею душою хотели этого убийства, надеялись, ждали, полагали в нем спасение «родины и революции», а теперь несчастны своею трусостью, возможностью попасть под беспощадное колесо событий, втайне раскаиваются в своих недавних острых хотениях, трусливо, подло осуждают убийцу, словно выхваляясь перед кем, словно боясь или зная, что в среде их имеются шпионы, которые сообщают врагам слова и мысли их.

И это лживое осуждение, чуть не осмеяние чужой жертвы, чужого страдания,— противно.

Только военные, привыкшие к смерти, к человеческому безумию, спокойны. Они выражают радость. Улыбаются. Самоуверенно и грубо шутят.

А на базаре старушка горько-прегорько плачет над своей корзиной с яблоками.

— Опять убили!.. Нехристи, опять убили батюшку!..

Ветхая, темно-коричневая, иссеченная морщинами, с головой трясущейся.

— Бабушка, что ты весь день плачешь?

— Ах, оставьте меня, милые! Докуда же это будет?.. Опять убили батюшку!..

Слушаем девушку из-за Волги. Она третий раз переходит фронт в качестве беженки, потерявшей родителей. Да она и похожа на сироту. Маленькая, зябкая, почти ребенок, с большими испуганными черными глазами. Одета в домотканую свитку, деревенский платок.

— Когда опасно, я плачу,— говорит она.— Уж несколько раз так было: поймают, приведут в штаб.— «Чего здесь шляешься, шпионка?» — А я начинаю плакать и целовать руки у всех. Поглядят, пожмут плечами: «А черт ее знает, может быть, правда, родителей ищет, пустите ее».— Я опять целую руки. Это противно, но помогает. А потом — надо забыть, что противно... А раз хотели изнасиловать. Но это уже не красноармейцы, а казаки.

Звонко смеется.

— Панталоны помешали. А тут есаул подвернулся. Есаул оказался хорошим... А вы все сидите здесь? Надо ехать. Каждый человек ценен. Сидеть можно дома — там еще спокойнее.

По очереди оглядывает нас. Роняет удивленно:

— Такие все большие, здоровые. Надо идти сражаться. Вот придете в Самару, записывайтесь в батальон Учредительного собрания.

— Берточка, расскажите про Самару. Там хорошо? Свободно? Можно без разрешения чихать на улице?

— Да, конечно,— задумчиво говорит девушка.— Там без разрешения пьяные офицеры поют на улицах: «Боже, царя храни». Пускай бы они, мерзавцы, здесь спели! — почти кричит она.

— Берточка, не глупите,— говорит цекист,— в нашей Самаре и — «Боже, царя храни»? Смешно! Над зданием комитета членов Учредительного собрания развевается красное знамя, а на улицах — пьяные монархисты? Что вы городите?

— Да,— говорит девушка.— Они даже хотели влезть на крышу и снять красную тряпку — они так называют красное знамя. Не позволили случайно проходившие рабочие. Я вам, Аполлон Аполлонович, много скажу. Это потом.

Что-то хрупкое, надорванное, жалкое в ней. Складки в углах бледных губ. Бледные десна.

В семнадцатом году, в июне, я встречал ее на Галерной, в нашей «штаб-квартире» — в великокняжеском дворце, в который нас пустили на правах «хозяев»: партия обязалась бежавшему князю Кириллу или князю Димитрию беречь дворец и мебель, за что князь не взял квартирной платы. Но ходить разрешил со двора, через кухню, по черной лестнице. Революционная партия в добрососедской сделке с романовским негодяем,— как все это было нелепо, странно!

Откуда это сразу образовалась дружба у потомков Александра второго с преемниками Желябова? Большевики так не умеют делать.

И вот запомнилась фигурка ее в беленьком платье, изредка появлявшаяся в аляповато-золоченых комнатах дворца, безвкусных, ханских. И столько брезгливости — детской, непосредственной — было в движениях ее к этой мишуре дутой, к азиатчине этой раззолоченной, к истуканам-лакеям княжеским с наглыми лицами, стояв-

шими там и сям по комнатам дворца и зорко следившими, кабы кто из новых хозяев не украл чего-нибудь из богатств великокняжеских, так осторожно, словно боясь запачкаться, прикасалась она к тяжелой мебели, портьерам шелковым, паркету.

И одновременно столько в ней было радости, звонкого и певучего смеха.

Но то было год назад.

— Один раз спала с красноармейцами,— как росу роняет девушка,— в татарской деревушке. Под Яблоновой. Было сражение. И никто не знал, кто победил. Так, по крайней мере, говорили красноармейцы. Пришли в избу, где я остановилась. Как снопы падали на пол и засыпали. Ноги их были в крови. Много было раненых. Не просили есть, пить, только стонали во сне. Я почти всю ночь сидела между них на полу, в соломе, и гладила одному мальчику голову, который больше всех метался и вздрагивал во сне. И плакала, такие они были измученные, несчастные.

Она туманно уставилась взором в одну точку; криво, болезненно скользит по бледным губам ее улыбка, обнажая бескровные десна.

— Потом опомнилась. Петухи пели. Это враги мои,— подумала я.— Война есть война. Если я уничтожу хоть одного из них, один или два из наших солдат останутся живы. Я вышла во двор. Было тихо до жуткости. Я наложила на ставни болты. Закрыла двери. И подожгла избу. Я не знаю, сгорели ли они, я убежала. Но я должна была так сделать. Война должна быть войной. Все надо перенесть. Пережить все. Все отдать. Душу, честь, тело. До последнего вздоха. Да. До судорог. До вечного... неумолкаемого... крика сердца...

Остекленевшие глаза ее давно остановились, она как-то осела, опустилась, потухла. Язык ее еле ворочался. Потом речь стала несвязной. Голова опустилась на грудь, она быстро и неожиданно скользнула телом по стулу и в беспамятстве упала на пол.

Пораженные, оцепеневшие, мы растерянной кучей бросились поднимать ее, мешали друг другу.

Ее унесли в другую комнату.

Покушавшаяся женщина при допросе действительно назвалась эсеркой. Она тяжело ранила Ленина.

— Жаль,— говорили военные,— видно, что — баба: бить не умеет.

— А храбрые мужчины забились по чердакам и меняют белье,— не вытерпела одна из женщин.

Мужчины пренебрежительно фыркнули.

В ту же ночь все местные эсеры, не успевшие или не пожелавшие скрыться, были арестованы. Среди них было много только сочувствовавших или отошедших от работы.

На заре их расстреляли.

Цекист поблек, часами сидел неподвижно. «Народоволец» его уже уехал. Место «народовольца» занял видный московский меньшевик, пробиравшийся за Волгу, щупленький и опрятный еврей с синими жилками на вдавленных висках. Они были неразлучны. Первые дни они вместе ходили даже в уборную, все время оживленно беседуя. Народовластие, всеобщее избирательное право, референдум, право инициативы, демократия, большевики тут-то сглупили, там-то ошиблись, в этом пункте сподличали... Каутский сказал то-то, Лавров — то-то, Георгий Валентинович отнесся к этому так-то, Виктор Михайлович об этом выразился этак-то... А «я мыслю» в данном вопросе иначе... А «мне представляется» это положение в обратном виде... Как два местечковых талмудиста, счастливых своею ученостью.

Но московский выстрел, грянувший на всю Русь, навсегда оборвал их споры.

— Напрасно, ни к чему это,— тихо прошептал меньшевик.— Сколько крови, сколько невинных жертв погубит этот глупый, необдуманный выстрел!..

В тот же вечер он уехал обратно в Москву. Был печален, все что-то прикладывал пальцы к вдавленным вискам.

Кровь не замедлила. Красными слезами заплакали камни...

Террор красный...

Часть вторая

В городе — аресты. У нас их зовут погромами. Так стыдно уезжать от свежих могил: словно мы бежим. Как будто чувствуем свое бессилие, побитость.

Но ехать нужно, нужно. Мы оттуда, с Волги, будем бить погромщиков.

Коротконогий цекист суетлив, нервничает. В деся-

тый раз примеривает перед зеркалом долгополую шляпу, похожую на резиновый мяч с выпущенным воздухом.

— Так хорошо, Иван Петрович? Берточка! Слушайте, Берточка, вы мне посоветуете? Я хочу загнуть поля с правого бока... По-моему, прелестно, а? Его превосходительство комиссар всероссийский!..

Скользит по злым глазам моим.

Внушительно:

— Иван Петрович, я удивляюсь... Мы — случайные попутчики... Я еду в Туркестан как уполномоченный Наркомпрода. Вы — ответственный партийный работник. Номер моего партбилета — восемь тысяч триста шестьдесят семь. У меня мандат на внеочередные телеграммы. Не должен же я ходить в смазных сапогах и вшивой косоворотке!.. Черт, размазня! — вдруг бешено кричит он.— Как вы попали в партию?

— Вы — нечестны,— шепчу я,— вы предаете своего товарища, который поверил вам и выдал эти документы. Он, вероятно, думал, что вы действительно готовы работать в Туркестане. Вы заставили своего товарища сделать подлость, преступление против своей партии, которую он, вероятно, не меньше вашего любит и предан ей.

— Может быть...— презрительно цедит цекист,— дальше?

Я молча достаю фальшивки с большевистскими печатями и рву их.

— Я поеду по своему паспорту, гражданин комиссар.

Губы цекиста кривятся в презрительной улыбке.

— Еройство?.. Товарищ Берта, вы тоже поедете по своим документам? У вас, кажется, тесный контакт?

— У меня, Аполлон Аполлоныч, нет собственных документов, вы это знаете,— говорит девушка,— я поеду как жена Ивана. А вам, Аполлон Аполлоныч, удобнее ехать одному с комиссарскими мандатами... Он — трус, он не поедет один, клянусь вам...— шепчет она и громко, болезненно хохочет.

Контакт?

Мы берем извозчика к вокзалу. Толкаемся среди красноармейцев, чекистов, меж поездов, в людской живой рухляди.

«Сам» спешно выехал за день до нас. В старом прасольском пиджаке, сапогах бутылками, меж кустов ситца, коробок с гребешками и пуговицами, пасм цветного гаруса, на татарской скрипучей телеге,— обросший, взлохмаченный, похожий на прасола. Был прост, тверд. Только чуть-чуть дрожало правое веко. Я искренне любил его в этот момент. Я вообще люблю его. Его бесприютную жизнь, остроумные книги, его трогательную товарищескую отзывчивость. И его слабоволие, беспомощность перед врагами. Ах, зачем только он думает, что он — вождь? Зачем его уверили?..

Коротконогая партийная ищейка прозевала: вместе с ним за Волгу поехала и артистка, променявшая сцену на политику.

Снова — вагоны, давка, смертный бой за места. Снова бешеный галоп распоясанного «Гаврилы», снопы мреющих искр во тьме, стоны...

В вагоне — жуткая притаенность. Сентябрьская кровь расстрелянных слишком жива в памяти; слишком еще ощутим ее теплый парный запах.

Сосед соседу — предатель.

Но как нетрудно наметанному глазу отличить обывателя от переодетого в «шпака» военного, бегущего за Волгу, как неумело, наивно, растерянно разыгрывают они роли мешочников, продагентов, бывших пленных, дряхлых стариков.

Грохочет поезд, полукружием танцуют сжатые полосы, межи, деревни, дорожные будки. А потом — телега, сено, пара пузатых лошаденок в ноевом ковчеге, поля, холмы, реки, перелески, любопытство, бесконечные жалобы, нудные расспросы, «эй, ямщик, не гони лошадей» и — жуть впереди.

Фронт еще далеко, верст за сорок. Но усиленные дозоры на станциях, санитарные поезда с визгливыми сестрами в кожанках, патрули, разъезды, «комендантские» по селам, вытянутые лица мужиков — кричат о нем.

Мы долго спорим, когда и как ехать. Цекист настаивает ехать ночами, по звездам, проселками, минуя жилье; не жалеть денег и лошадей, только скорей бы пробиться сквозь фронт.

У спутницы опыт: бить в лоб, ехать открыто, держась ближе к «комендантским». Я присоединяюсь к ее плану. Возмущенному цекисту предлагаем ехать отдельно, если он считает этот план неудачным.

— Для вас это даже лучше — быть одному. У вас же — совдепские документы,— говорит девушка.

— Берточка! — неожиданно говорит цекист,— если вы, невзирая на общенародное дело, которому изменяете, невзирая на опасность, которая грозит нам всем, решили установить контакт с товарищем... с товарищем Иваном, то будьте, пожалуйста, откровенны: не ломайтесь, не лгите, не обсусоливайте планами, геройством, неустрашимостью, а говорите проще — нам хочется ехать вдвоем...

Лицо девушки бледнеет.

— Позвольте,— растерянно залепетала она.

Но цекист перебил:

— Как член... центрального комитета... партии социалистов-революционеров... я приказываю вам, товарищ Берта... подчиняться моим директивам... и ехать вместе...

Цекист энергично хлопнул себя кулаком по колену.

Возница с удивлением оглянулся.

Девушка уже поборола себя.

— Разрешите не подчиняться,— спокойно проговорила она.

— Стало быть, я прав — контакт? К черту — Россию, революцию и прочую дребедень, пусть бедное крестьянство страдает под большевистско-немецким игом, а мы, гм... Я сообщу о вас цека.

— Да, контакт... если вам необходимо для доноса...

— Ну, знаете, это — плоско! — улыбнулся цекист.— Этим, батенька, меня не заденешь... А насчет всего прочего я так и знал. Еще с Саратова. Контакт? — обратился он ко мне.

— Дурак! — ответил я.— Морду набью, сукин сын! Или выдам большевикам.

Первая линия фронта. Отдыхающие части. Повозки с ранеными и больными. Напряжение. Отдаленный, глухой грохот орудий...

План спутницы оказался прекрасным: на нас даже не обращали внимания. И эта удача примирила нас. Еще идя по коридору сельской больницы, куда мы пробрались в гуще крестьянских телег с больными, цекист дал понять, что недавнюю сцену он склонен рассматривать как простое недоразумение.

— Я очень счастлив...— сказал я.— Берта, вы счастливы?

— Да, разумеется...

Цекист недоверчиво покосился. Поглядел на спутницу.

— Нет, в самом деле? — спросил он, обнимая меня за талию.

В столовой, за самоваром, он возмутился перегруженностью больницы, отсутствием лекарств, сообщил, что он — член центрального комитета «пэ-эс-ер», что вопрос о сельских больницах придется пересмотреть и поставить на должную высоту.

Потом он сообщил, что он — член Учредительного собрания. И клал много сахара в стакан. Между прочим, он — всетуркестанский представитель. А до того чуть не стал комиссаром Черноморского флота. Но вовремя одумался. Он не давал хозяйке, милой, усталой женщине, раскрыть рта.

В середине повествования в комнату вошла другая женщина — «наша учительница», как отрекомендовала ее хозяйка. Обе, как молитву, слушали его, боясь проронить слово. Сейчас его основная задача за Волгой — путем печати объединить вокруг Учредительного собрания всю революционную демократию. Он недурно пишет.

— Наверно, читали мои статьи в «Деле народа»? Я пишу под псевдонимом «Неукротимый».

Слушательницы застенчиво сознались, что статей «Неукротимого» они не читали: им неаккуратно выплачивали жалованье, и газеты они не могли выписать. А сейчас они совсем не получают жалованья.

— Ерунда! Это скоро уладится,— сказал цекист.— Война затянется недолго. Вы знаете, что на нашей стороне — союзники? Уже сражаются под Симбирском.

— Симбирск, говорят, пал.

— Ерунда, опять скоро возьмем! Фронт, вероятно, выровнится так: от Балтийского моря до Черного, по старой линии. Потом продвижение вперед — на Пруссию, в Карпаты, затем — в Венгрию,— ну, помните, как это было раньше?.. А мы тем временем займемся внутренним строительством. Учредительное собрание в первую очередь объявит, что оно всемерно на стороне союзников, потом...

Это тянется весь долгий-долгий вечер. Девушка отдохнула в комнате хозяйки. Еще раз поставили самовар. Я прочитал «Вильгельма Телля» Шиллера, а он все говорил, говорил, говорил...

Деревня спала. Где-то выли собаки. Бухали редкие пушечные выстрелы. Стонал сыч под крышей. А он говорил.

— Какой он хороший, интересный, образованный!..— шептала в передней учительница хозяйке.— Только — как много он говорит и — торопливо...

Раздумчиво:

— Хотя ведь он же член Учредительного собрания, а там надо произносить парламентские речи.

Вздохнула.

— Ну, прощайте... И не жалеет жизни. Ищет борьбы. Дитя бури — зовет он себя. Да, дитя бури. И прекрасных, светлых, святых замыслов... Как я счастлива, Капитолина Васильевна, что зашла к вам! Дитя бури! А девушка, еще ребенок, а... Отчего кривился этот лохматый с ним?.. Издерганный какой-то, злой, противный... С ним даже страшно остаться одной...

С утра — густой туман. Вязкой пеленой покрыл деревню, сад. Как кукиш, из тумана выпирала темная колокольня.

Мужик, приехавший за нами, предупредил, что дорога будет опасной: на тракте, в Сосновке, засада, нередки случаи расстрелов на месте. Быть может, мы воротимся?

— Нет, мы поедем.

Тогда ему надо хорошо заплатить: он рискует лошадьми, а то и жизнью.

— Сто рублей хватит?

Цена неслыханная.

— Ну, что вы смеетесь? Все-таки сотни три надо...

Три сотни — на это можно справить новую избу. И мы, вероятно, заплатим ему. Интересно, откуда партия берет деньги? В моем кармане больше трехсот рублей, столько же у спутницы, неизвестно, сколько у цекиста... Откуда они? Ну, нам с девушкой дал цекист. Цекисту дал цека. А цека где взял их? Членские взносы? Средства губернских комитетов? Чепуха! Сборы среди крестьян и рабочих? Но они дают одну, две, наконец десять тысяч, не больше. А партия швыряет сотнями тысяч — на газеты, издательства, подкупы, на содержание огромного аппарата разведчиков, агентов, шпиков, тысяч нелегальных, военные организации, ко-

мандировки за границу и т. д., и т. д. Не цена ли это крови?

— Ты богатый? — спросил я мужика.

Он удивленно вскинул брови.

— Я?.. Капитолина Васильевна, удостоверьте, какой я богач.

— Слушай, ты просишь с нас огромную сумму. Я знаю, ты рискуешь, но триста рублей — это все-таки нехорошо. Мы — члены Учредительного собрания, едем в Самару, чтобы присоединиться к чехам и освободить вас от большевистских насилий. Учредительное собрание прогонит большевиков и установит в России законный порядок, законную выборную власть. Мы же за вас рискуем головой, за все крестьянство. А ты обираешь нас. Ты должен помочь нам.

Мужик засмеялся:

— Эк хватили — за все крестьянство! Да его — несметная сила, а вы за всех трое хлопочете. А в Самару, правда, недавно хроменького возил. Ну, и матершинник же попался!.. Что ж, счастливой дороги. Но только нас это не касается. Вы свое делаете дело, мы — свое. Мы — к земле. Какие мы помощники в чужом деле? Знаете поговорку: господа бесятся, а у слуг скулы трещат... Так — триста рубликов. А там — воля ваша. Может, кто дешевле возьмет. Ну, только не найдете, чтобы по-вашему — за помочь...

Мужик опять засмеялся и поглядел на хозяйку:

— За всех мужиков хлопочет! Да их, как червя,— мелионы!.. Можно этому, Капитолина Васильевна, поверить?

Окрик раздался неожиданно, когда мы были уверены, что опасность уже миновала.

— Гони, будто не слышим!..— вполголоса бросила спутница.

Не оглядываясь, мужик подстегнул лошадей.

— Стой!..

— Гони!..

— Стрелять буду!..

— Гони, ну его к черту! Телефон в деревне есть?

— Нету.

— Тогда — гони, за лошадей заплатим.

Выстрел раздался слабо, рассеянно. За ним — второй,

третий. Над головами взвизгнула пуля. Побелевший возница выронил вожжи.

— Пропали!..— выдохнул он.

«Пропали»,— мелькнуло в голове. «А может быть, еще не знают, что в полосе фронта лиц с подозрительными документами приказано расстреливать?»

Из-под навеса, с винтовками на изготовку, к нам бежали парни с накинутыми на плечи шинелями.

— Немного оставалось — две-три сотни шагов, и мы бы были в роще,— прошептала девушка.— Не струсите?

Подумалось: «Боюсь. Боюсь до смерти, до крика. Ведь сейчас погибнет мир для меня!..»

Выдавливаю через силу:

— Кажется, ничего... Буду крепиться...

Но чувствую, как судорожно трясутся непослушные челюсти, как смертная, липкая истома охватывает тело, и тело становится чужим, безвольным, как вместе с сердцем трепещет во мне каждая жилка, каждый мускул, как вдруг острым позывом потянуло помочиться... И как стали ярки — до боли в глазах ярки — осенние тихие краски догорающего дня... Далекими, странными казались окрики подбегавших красногвардейцев. И с ужасом чувствую, что еще момент, и я стану мочиться под себя...

Что спасло нас? Не знаю. Кажется, стыд перед девушкой, что вот я буду сидеть с нею рядом и — подленько под себя мочиться от страха. Но ведь нас вместе убили бы, и она все равно не узнала бы, что я незаметно опустился от страха, или даже если заметила бы, то не все ли равно: через пять минут мы лежали бы рядом с продырявленными черепами — мочившиеся, не мочившиеся, храбрые, трусы, честные, негодяи... И — все это молниеносно мелькало в голове...

Это ли спасло, или — лица парней, в тумане мелькавших перед глазами, а потом вдруг четко выступивших,— лица ли их, такие простые, родные, свои, деревенские, до мельчайших точек близкие, спасли нас? Я не видел врагов в них, я знал, что они и теперь поверят мне, хотя они и кричали громко, и матерщинничали, и требовали, чтобы мы подняли вверх руки, и щелкали замками винтовок. Но таких вот парней, даже физически почти похожих на них, в темные годы я учил новой жизни, новому евангелию, учил уметь умирать за революцию. Ведь это — те же, почти те же парни, которых

я учил молитвенно повторять наши скрижали... Это тоже молниеносно мелькнуло в мозгу. И я почувствовал, как почти против сознания отхлынуло от сердца, как раздвигались губы мои в подобие улыбки навстречу этим парням: они честные солдаты революции!.. И тут же, одновременно, этот острый, подлый позыв.

— Не оглядывайтесь...— сказал я спутнице.

— Документы!.. Пропуск!.. Белогвардейцы!.. К стенке!..— сердито кричали в это время парни, подбегая к телеге.

Я быстро выпрыгнул из телеги и отбежал шага на два назад. Раздался выстрел; он на этот раз показался оглушительным. Что-то будто рвануло за плечо.

— Ты — сдурел? — вполоборота спросил я, опрастываясь.

Парни опешили.

— Вы белогвардейцы?—торопливо проговорил один, подбегая ко мне.

— Дурак, отойди, или не видишь, что делаю? — закричал я.

— А это — тоже белогвардейцы? — спрашивал он, указывая на телегу.

Я подошел к солдату и, взяв его за полу распахнутой шинели, сказал:

— Если ты, болван, еще раз назовешь нас белогвардейцами, я дам тебе по морде. Слышал? Ты думаешь испугать своей кочергой?.. Ты кто такой?

— Иван Богунов...— растерянно ответил красногвардеец.

— Вы что тут делаете?

— Не пускаем к чехам белогвардейцев.

— Так надо отличать белогвардейцев от своих! Тебе документы?

Я достал паспорт.

— Печать видишь? Царская или советская?

Головы наклонились над засаленной бумажкой.

— Ну?

— Не нукай, не запряг. Царская?

— Ну — советская.

— Подпись — царская?

— Тоже — советская.

— Кем выдан паспорт — становым? Белогвардейцами?

— Кажись, советом.

— Вас поставили ловить белогвардейцев, а вы стре-

ляете по своим? Товарищ Крестовоздвиженский, покажите ему документы,— обратился я к цекисту. Он сидел неподвижно.— Товарищ Крестовоздвиженский! — повторил я.— Спите?

Цекист дернул подбородком, широко раскрыл туманные пустые глаза.

— Документы? Нет, нет, я не сплю.

— Заглавие видишь: Народный Комиссариат по продовольствию?..— говорил я, показывая на штамп белого лоскута.— Еще показать? Вы так боретесь с белыми? Своих подстреливаете? Где у вас телеграф? Есть? Я немедленно пошлю в Кремль телеграмму, как вы расправляетесь с ответственными советскими работниками. Вы на чехов и другую сволочь надеетесь? Царя ждете? Вам нужны помещики, предателям? Где телеграф?

— Позвольте, товарищ... у вас на лбу не написано, что вы московские.

— Я тебе, сукин сын, на спине напишу, откуда мы... Где телеграф?

Парень помялся и глухо ответил:

— Телеграфа нет. Одиннадцать верст отсюда.

— Где дорога?

— Прямо. Потом, версты через четыре, в левую сторону. Извините, товарищ...

— Погоняй, земляк... Стой!.. Ваши фамилии? Богунов,— дальше?

— Извиняйте, товарищ...

Боже мой, какая гадость, какая подлость, какое гнусное предательство!.. Неужто ценою лжи, предательства, одурачивания простых, честных людей добывается счастье людей? И к счастью ли, не к погибели ли, ведем мы, патентованные народолюбцы, тех доверчивых, слепых, ищущих, что еще идут за нами — за мной, за этой — тоже слепой — измученной девушкой, за тупым, чванливым ничтожеством с короткой ногой?..

Лес точно выкован из золота с киноварью. Высоко в небе взметнулись его золотоголовые вершины. Неподвижно и строго глядят в синь трепетнолистные осины. Березы похожи на сказочных царевен в одеждах из нежного желтого шелка. Клен — как пасхальный поп в парчовой ризе. Кровавыми пятнами проступают сквозь золото гроздья рябины. Так сладко, так радостно растянуться на мягком цветном ковре опадающих листьев.

Забыться на минуту. Забыть жизнь, судороги, в которых изнемогает мир. Уснуть. Иль — умереть.

— Иль расслюнявиться и поплакать над горькою долей?..— зло обрывает кто-то во мне.— Паяц, дрожа за драгоценную жизнь, ты недавно только обезьянничал перед лохматыми идиотами с кочергами.

Усталый цекист спит, раскинув циркулем ноги. Мужик шуршит овсом, подгребая его к мордам лошадей. Чиликает птичья мелочь. Всхрапывают усталые лошади. Матово, плавно отступает золотой лес, качается, как в колыбели; так сладко пахнет прелью, грибами, хвоей...

Кусты жимолости распахиваются, как занавес, нервно хрустит сухой хворост.

— За нами — погоня! Кто-нибудь объяснил, что их одурачили,— быстро говорит девушка.

— Погоня! — вскакивая, кричу я вознице.

Он торопливо запрягает лошадей.

Как воры, крадемся к опушке. В версте по скату, на неоседланных лошадях, блестя на солнце дулами винтовок, скачут верховые.

Потом мы бежим назад и — логом, через лесные просеки, треща телегой, высоко подпрыгивая, впившись омертвевшими пальцами в грядки телеги, мчимся в противоположную сторону, к северо-западу, пьяные от ужаса и надежды.

Огромное торговое село кажется вымершим. Закрыты ворота и ставни. Даже собак не видно. По огородам бесприютно шляются свиньи.

Пара лошадей с грохотом выносит нас из-под бугра на середину улицы. Мчимся задами, меж риг, сараев, погребиц. Возница то и дело оглядывается. Он заражает нас своим волнением. Мы словно вросли в телегу. Хочется быть маленьким, незаметным, неузнаваемым. Так жалко становится жизни, этого голубого, холодного неба, этих ласковых предгорий, купающихся в золотом свете. Девушка тихонько пожимает мою руку.

— Все будет хорошо...— шепчет она.

Да, все будет хорошо. Должно быть хорошо. Иначе не выдержит сердце.

Телега круто поворачивает к воротам. Они наглухо закрыты. Возница беспомощно бегает вокруг богатой

пятистенной избы, крытой железом. Осторожно стучит в окна. Взмыленные лошади отфыркиваются пеной.

С легкостью акробата возница перескакивает через забор и гремит засовом.

— Гони! — глухо бросает он, распахивая ворота. И тотчас же смыкает их за нами.— Денек!..

Изба пуста, опрятна, на две половины. На столе неубранные ложки, ковш воды, миска.

— Я сейчас поставлю самовар,— говорит возница.— У вас чай-сахар найдется?..

Быстро находит воду, самовар, лучину. Он — свой в этой избе.

— Э, милый, сколько уж я перевозил вашего брата!..— говорит он.— И каких только не видел!.. Почему?..

Прищуривается:

— А вы почему на рожон лезете — надо? Стало быть, и мне надо.

— Ты — партийный? — спрашиваю я.

— Да, шестой десяток в партии с землей-матушкой. К другим не приучен. Да и не надобны.

Торопливо зажигает лучину, хрустит щепой.

— А дым середь дня? — спрашивает он себя.— Дело неладно.— Бросает лучину с огнем на пол. Медленно, заботливо топчет ногой.— Где же хозяин?..

— Значит, без чая? — разочарованно говорит цекист и ходит, припадая на ногу, по горнице.

Девушка глядит на его усталые глаза под дымчатыми консервами, на слипшиеся волосы, пыль, сенную труху на брюках, на грязные, длинные руки и шляпу-долгополку, теперь похожую на старое голенище от валенка, и громко безудержно хохочет. О, как он непохож сейчас на «комиссара всероссийского»!.. Как он несчастен, жалок... без чая!..

— Аполлон Аполлонович, мне кажется, вам поля шляпы надо загнуть с левого бока, пока не поздно, впереди еще опаснее! — сквозь истерический хохот кричит она.

— Я не узнаю вас, Берточка,— говорит цекист, останавливаясь.— Что с вами? Вам отдохнуть надо...

— И я не узнаю вас, Аполлон Аполлонович, я — очень скверная, гадкая! — захлебывается она.— Я знаю другого Аполлона Аполлоновича — гордого, важного, самоуверенного, самовлюбленного... Помните — Питер, апрель,— помните? Какой вы были внушительный, Апол-

лон Аполлонович, как вы гордо выпячивали грудь, проходя перед революционными войсками!.. Как на митинге — помните, помните? — вы сравнивали революцию с каким-то священным сосудом, наполненным до краев нектаром. Нектаром, да? Кажется, нектаром? Вообще — чем-то внушительным, звучным, не понятным солдатам... Этот сосуд надо было темным солдатам пронести в трепете через какую-то гору, через какие-то реки, не разлив капли... Я тогда любовалась вами. Или — «то было весной, и было так ярко»? А теперь... вы надоели мне, Аполлон Аполлонович! Зачем вы едете? Вы же не умрете за Волгой. Ведь туда едут умирать. А вы будете брюзжать, читать нотации, совать свой нос в личную жизнь товарищей. Останьтесь и подождите нас, прошу вас. Потом в Москве вы получите самое почетное положение: мы сделаем вас туркестанским генерал-губернатором, у вас будет тюрбан, полдюжины самых шелковых, самых полосатых, самых широких халатов, хорошо? — кричала она. Потом — сразу, хрипло: — А знаете, как делают большевики?

Как кошка, она хищно пружинится.

— Со мной — мой до капли. Против — к черту, мозги на стену. Это — революция, Аполлон Аполлонович! Революция в Москве — не у нас. Мы слякоть. Да! Слизь! Когда родится ребенок, у женщины вместе с новой жизнью выходят краски и воды. Так мы — вот это. То, что — не жизнь. То — что выносится в судне в помойку. Новый человек, крик новой жизни — в Москве... Нет? Ну, скажите же, что нет, что я ошиблась, что я гадкая, скверная, злая.

Еле волоча ноги, через двор плелся мужик.

— Никак, хозяин? — обрадовался возница.— Он!

Войдя, хозяин молча поздоровался с ним. Молча поглядел на плачущую девушку. Сел в угол — широкобородый, костистый, тихий.

— Надо запрягать лошадей,— сказал возница.

— В Черкасское? — спросил хозяин.

— В Черкасское.

Молча вышел.

— Сейчас у меня расстреляли двух сыновей в волости,— сказал он, помогая цекисту усесться в телегу.— Теперь сам буду возить вас. Сыновья отвозились.

Мы — в гуще фронта, и здесь — спокойно. В гуще фронта нет любопытных. Солдатам не до розыска шпионов и перебежчиков. Теперь только случайность может погубить нас. Фронт, как морские волны в бурю, бешено перекатывается. Сегодня гонят красных за десять — двадцать верст назад. Назавтра красные отбрасывают чехов к Волге. Сегодня в волости — совет, через неделю — земская управа. Часто земская управа и совет дежурят в волости совместно. Это — нелепо, но это — так.

В полях убирается уцелевший подсолнечник, просо. В деревнях, в полях, на грунтовых дорогах печальными взглядами встречают и провожают нас разоренные крестьяне. Многие просят закурить. Не жалуются, не ропщут, не спрашивают — куда мы едем. Но мы знаем, что они догадываются, куда мы едем. И мы сами пытаемся заговорить с ними, чтобы узнать, сочувствуют ли они нам. Но они немы, как земля, они слишком дорогою ценою платили за свои сочувствия.

Молодежь в селах исчезла: перебита, мобилизована или неделями и месяцами отсиживается в погребах, картофельных ямах, в пыли и духоте сеновалов.

Уж попадаются выжженные села. Вид их ужасен. Там не достанешь хлеба, подвод. Там не добьешься слова. И здесь люди немы, но если бы это было в их силах, они растерзали бы непрошеных благодетелей. Но сила — не у них, они это знают. И только глубже, упрямее глядят в землю воспаленными глазами. Что-то зловещее в их темных лицах.

Мы не раз уже встречали изнасилованных женщин и девушек. Мы видели женщин, до костей иссеченных казацкими нагайками. Мы проезжали мимо братских могил. В общей куче в братских объятиях там покоились солдаты обоих фронтов, дети, случайно попавшие под выстрелы, до смерти изломанные, измятые солдатами женщины. Мы видели попа, на котором целую ночь катались верхом скучавшие на отдыхе партизаны: попа становили на четвереньки и погоняли шомполами по толстому заду. На его шее мотался колокольчик. Катаясь, партизаны держали попа за длинные волосы.

Наконец, мы видели старуху, мать коммуниста, с выколотыми глазами и отрезанными грудями. Видели церковные кресты, валявшиеся в навозе, трепыхавшиеся по ветру концы намыленных вожжевок на столбах, в петлях которых умирали большевики...

— Когда мы будем в Москве,— задумчиво говорит собеседник,— мы не оставим камня на камне. Я собственными руками буду вешать большевиков как бешеных собак. Буду уничтожать их детей, жен, сочувствующих... Всякую слезу, пролитую по ним, я превращу в огонь, который спалит плачущих.

Он — сельский учитель. Мужик. С девятьсот третьего года он сидел в тюрьме. Был в ссылке, эмиграции. На нем и сейчас английский ватерпруф, клетчатое кепи. Он недавно, всего несколько часов назад, присоединился к нам. Он едет из Смоленска.

— Я отдал революции все — лучшую пору жизни, любовь, здоровье, родителей. Работая в России, я не раз рисковал головой во имя революции. Где-то под забором умерла моя мать, потому что у меня не было иной матери, кроме России, и иного дела, кроме революции. Помните стихи Омулевского? «Оставь отца и мать, не строй себе гнезда, будь одинок»... Я до конца пронес это тяжкое бремя... Тысячи мужиков и рабочих знают меня как беззаветного друга народа, как его неподкупного защитника, доверили мне свою судьбу и судьбу детей своих... И вдруг я — контрреволюционер, помещичий прихвостень, меня объявляют вне закона!.. Вы понимаете?.. Это значит — всякий холуй, сволочь вправе пустить мне пулю в лоб и получить за это одобрение, даже награду, от русского революционного правительства за то, что уничтожил врага революции. Да что же это такое?.. Я не знаю: или мое прошлое — действительно сплошное преступление, или я схожу с ума.

Он прижимает к груди тонкие худые пальцы — пальцы музыканта или карманного вора — и вопросительно глядит на меня, нервно подмигивая усталыми глазами.

— Вы знаете, со мной был случай. В Брянске. Допустим, что в Брянске. Меня арестовали как эсера. Иных улик не было, не могло быть. Да и не нужно. В полиции, куда меня привели, сидели тоже эсеры, человек шесть. Среди них — девушки. Над нами издевались. Это излюбленное: «А что вы сделали за восемь месяцев?..» Матросы, солдатня, какие-то штатские морды. Было мучительно больно,— как передать это?.. Или как совместить? Нас, социалистов, унижали, оплевывали, подвергали голоду и матерной брани за то, что мы, по их мнению, были дрянненькие, никудышные, не слишком левые социалисты, что мы отстали от революции, оправели, из-

менили народу, что мы достойны всяческих казней, заушений, бичей, плевков, пощечин, голода, сырых застенков, грубых окриков, унижения человеческого достоинства... Хотелось выть от боли, потому что это была неправда, несправедливо, оскорбительно... Но это не главное. Главное — издевались, унижали, били ногами по голове те же люди, да, да, те же люди, в тех же шинелях и с такими же лицами, которые в седьмом, восьмом, девятом году так же издевались над нами, так же били, так же отправляли на виселицу, сторожили в тюрьмах, гнали этапами в Сибирь,— те же толстомордые, грубые животные с оловянными глазами!.. Издевались и унижали за то, что мы — социалисты, что мы — слишком левы, рьяны, слишком далеко шагаем вперед, что мы — разрушители и враги родины... Скажут: они теперь стали сознательными. Ложь! Те же!..

С раскрытым от бешенства ртом хрипит:

— Вы понимаете?

Я боюсь, что с ним будет припадок.

Жизнь обратилась в бред.

Я видел: овраг наполнен гниющими трупами. В этих трупах рылись собаки. Стаи птиц кружились над оврагом с хищным клекотом.

По приказу офицеров трупы стащили в одно место, в овраг, и запретили хоронить их.

Быть может, среди этих трупов были мои односельчане, родственники...

Был предательски приведен в это село полк красноармейцев — в засаду, в огненное кольцо пулеметов и ручных гранат, в крестьянские дворы, набитые озлобленными всадниками.

И началось истребление.

Казаки и чехи, под командой царских офицеров, истребляли крестьян и рабочих во имя Учредительного собрания.

Остался ли кто жив из несчастных — не знают. Крестьяне не знают. Не верят, чтобы остался: негде было укрыться. Все было заранее предусмотрено, взвешено, учтено...

На родине, в Осташкове, в восемнадцатом году, все фронтовики, а за фронтовиками большинство населе-

ния, оказались сторонниками Октября. К черту смели земскую управу, «отделы», милицию, учителей, попов, пройдох, краснобаев. Захватили в свои руки княжеское имение, роздали бедноте скот и инвентарь. Объявили себя диктаторами, составляли какие-то «гумаги» к населению. Мужики с восторгом читали эти безграмотные «гумаги», пьянели от них.

Потом скопом двинулись на уезд и, как жгут, скрутили его. Все они, эти солдаты, до войны, в начале войны, были эсерами, состояли в нашем братстве. Я остался почти один. Мне хотелось осознать это. Ведь все они были духовными детьми моими. Но они отвернулись от меня. Да, да,— злобно, с недоумением. Когда я приехал из Петербурга, после позорного разгона позорного заседания Учредительного собрания, я приказал собрать волостной сход. Съехались тысячи. Плещущее серое море надрывных лиц, рубищ, мучительно ищущих, воспаленных взглядов. Они меня ждали как счастье. Но когда я стал говорить им, что Учредительное собрание предательски разогнано большевиками, потому что большинство его членов отказались признать советскую власть, что большевики — захватчики власти, что они погубят Россию,— раздался такой взрыв гнева против меня, что я растерялся, я не узнал их. Только месяц назад мое слово было законом для них. Это у нас, в Осташкове, в подвалах княжеских, было найдено до десятка ящиков вина и в течение десяти месяцев не пропало бутылки, хотя, как и везде, люди падки до выпивки, потому что я сказал им, что вина трогать нельзя: революция — не пьянка, не грабеж, а — труд и наслажденье победой над поработителями. Это у нас, в Осташкове, не было взято хворостины — из леса, ремня — из сбруи, ягненка — из скота, зерна — из амбаров, клока сена — из стогов, щепки или гайки — из инвентаря, хотя сторона наша — безлесна, мужицкие закрома — пусты, скот — голоден, мужики — голы и голодны: они терпеливо ждали законной санкции Учредительного собрания. Это Осташково и ближайшие волости собрали последние пуды и десятки вагонов в осеннюю распутицу, бросили на фронт хлеба и фуража, когда с фронта пришли вести, что революционные солдаты терпят лишения, что лошади гибнут без корма. И это потому, что я им говорил, что сделать так необходимо, что зерном, куском холста, прядью соломы мы поддержим и укрепим революцию. Это осташковцы перед выборами в Учредительное со-

брание расползлись как саранча по уезду и убеждали мужиков голосовать за эсеровский список № 3, потому что в этом списке значился и я — «наш Ваньтя, осташковский, мы его знаем, он — не продаст, он — отца-мать зарежет, а не продаст, он же насчет леворюции — верное дело, четырнадцать же годов хлопочет!» — и это у нас из тысяч и тысяч голосов за все другие списки были поданы единицы и десятки, а все остальные — свое сердце, свою веру, свои сокровеннейшие думы — понесли нам, номеру три... И это мне в лицо (только спустя один месяц!) исступленная толпа бросала, потрясая кулаками:

— Шкура!

— Подлец!

— Предатель!

— Княжой прихвостень!

— Пальтишку-то тебе князь Осташков справил?

И только жалкая часть таких же слепых, как я, которых ослепили, обмусолили, обволокли (кто сделал это?), да лавочники, да попы, которых потом в колья потурили с собрания, да сельская «антилигенция», да кулачье, да бывшие стражники, да бывшая черная сотня, с которой я боролся, членов которой мы когда-то расстреливали, которые, лжесвидетельствуя на суде, загоняли нас в каторгу, арестантские роты, на вешалку, на поселение,— только они яростно кричали:

— Просим!.. просим!..

— Иван Петровича просим!..

Их толпа отшвырнула как падаль. Они в крови пошли со сходки...

Дальше?.. Дальше пылали имения, прыгали зарева, набаты лаяли, как бешеные псы, громились винокуренные заводы, выкорчевывались фруктовые деревья, волки выли в полях. И хищными волками, с помутившимися от растравленной злобы лицами по селам рыскали свои, доморощенные, неграмотные погромные пророки — ученики мои.

Вспыхнула революция против нас, охранников «революционного» порядка и помещичьего добра.

А ко мне приходили лавочники, кулачье, черная сотня, сволочь, подлые, чистопробные, патентованные контрреволюционеры,— плыл сброд, жижа,— и смели говорить:

— Что делается? Что, сукины дети, выкусывают? Где у них бог? Где совесть?.. Слыхали: княгиню Ухтомскую,

Лидию Валерьяновну, раздели чуть не догола и на простой мужицкой телеге — лошадь плохонькая! — отвезли на станцию Туровец.

— Знаешь, в Успенском разрыли фамильный склеп Емельяновых и выбросили тела в овраг... «Змеиное гнездо зорим!..» Брешут, негодяи, думали: в склепе закопано золото.

— Ужас! Можно поверить? Графа Сангайлу застрелили в доме, а после молодняк привязал графа к кобыльему хвосту и мертвого таскал по улицам села под гиканье.

— Вот бы казаков-то или чеченцев на эту сволочь!

— Вот бы нагайки-то на негодяев!

— Дело — в жидах, жиды народ смутили, перерезать жидовню, и сразу потихло бы!..

Как они смели?!.

И я слушал все это — молча, не протестуя, не гоня эту сволочь от себя, не выдавая их ревкому, часто говоря как во сне:

— Да-да, да-да...

Какой ужас! какая гадость! как стыдно!..

Княгиня Ухтомская за ничтожные беспорядки пятого года, за один только скотный сарай, сожженный мужиками, до нитки разорила село. Она в сотни раз больше содрала с них. Семьдесят человек «ее мужиков» по четыре года гнили в арестантских ротах.

Земский начальник Емельянов собственноручно хлестал мужиков по зубам, травил собаками за то, что мужики «смели» ходить по его земле. Отец Емельянова, земский начальник, хлестал и травил отцов их, — родовое!

В пятом же году граф Сангайло, «губернский лев», начальник карательного отряда, пол-уезда высек розгами, солдаты насиловали беременных женщин...

Ах, не я ли с группою осташковских парней охотился, днями сидя в засадах, чтобы убить этого зверя, эту гадину. Я учил этих парней ненавидеть и мстить кровью за каждую невинно пролитую слезу...

Эти парни теперь не со мною.

Революция отодвинулась от меня.

Я стал одиноким.

На меня смотрели с недоумением и жалостью.

Иные — жгуче ненавидели.

Я находил сочувствие только у кулачья, попов и чер-

ной сволочи. Да. Да у слюнявых, бездейственных ничтожеств с телами мокриц.

— Четырнадцать лет непрерывного страдания!.. Тюрьмы, каторгу прошел...

— Столько раз тебя би-ли!..

— В голоде, нужде жил... До смерти засечена казаками жена твоя!..

— Самого хотели повесить!..

— А теперь, на готовое, кровью да кандалами купленное, пришло хулиганье — творят суд и закон... Эх!..

И это подкупало. Только у них, с ними у меня находился общий язык, общие мысли «спасения порядка и России» и — общая, жгучая ненависть через большевиков к народу. Я этого не осознавал, но это было так, ибо весь народ, вся Русь была с большевиками. Только одни мы не видели этого.

Я сбежал из деревни. Я жил в Орле, Москве, Курске, Твери, Смоленске, участвовал в ливенском восстании, козловском бунте, московских заговорщицких совещаниях, развозил оружие, динамит из Вологды по заданию цека, переправлял в Архангельск царских офицеров, подчеркнуто эсерствовавших, они, видите ли, ехали на север, «чтобы победить или умереть за Учредительное собрание»... Фу, гадость!.. Подавляющее большинство их было монархистами и ненавидело нас. Мы хотели их использовать как «технически необходимый в гражданской войне элемент». А они издевались над нашей куриной дальнозоркостью...

Все это я говорил спутнице в селе Черкасском, в трех верстах от фронта; за селом больше суток шли бои. На площадь у церкви, взрывая столбы земли, дыма и песка, падали снаряды. Село загоралось не раз. Оно было нейтральным, то есть в нем не было ни земской управы, ни совета. Даже под страхом немедленного расстрела никто из крестьян не соглашался брать на себя высоких обязанностей начальства. За последний месяц село несколько раз переходило из рук в руки. Предыдущий сельский совет был расстрелян чехами.

Мы сидели в просторной и светлой избе деревенского кулака-жилетника, с рубахою навыпуск, бывшего содержателя постоялого двора, скупщика хлебов, — таковы наши обычные явки: поп, семинарист, кулак, лавочник, доктор, реже — учитель, редко — мужик, фельдшер. Мы сидели у окна, на лавке. Площадь перед окнами была сера, пустынна. Было серо небо, лохмато швырявшееся

тучами. Ветер налетами поднимал на улице пыль, кружил известь и песок в обломках сбитой снарядами колокольни.

Истаявший в презрении к нам цекист нервно ковылял по избе, изредка удивленно и зло выбрасывая:

— Погромщик!.. большевик!.. истерик!.. Как вы смеете называть себя святым именем социалиста-революционера? Вы — авантюрист... Вон, пойдите и, как большевики,— взорвите храм, зажгите село, изнасилуйте...

— Тебя?

— Не смейте! А то я вас ударю!.. Вы пользуетесь тем, что я физически слабее вас... Это — гадость!..

Но — бухала трехдюймовка, где-то поблизости, казалось, вот рядом, разрывался снаряд, и цекист, хватаясь за сердце, прижимался к грубке, силясь совладать с ляскавшими челюстями.

Временами мягко, по-паучьи, в избу вползал хозяин с налитыми кровью глазами от страха,— хрипел:

— Ка-к? Осилят наши?

Цекист, задыхаясь:

— Безусловно.

Кулак:

— Дай-то бох!..

Широко, привычно, складно крестился пухлыми руками.

— Вы не боитесь? — шептал цекист.

— Не-е... жутко...

— Без привычки,— шептал цекист.

— Где нам... во-на!..

Пили друг в друге тоску и потный ужас.

Этой ночью нам нужно сделать последний переход — верст десять,— и мы будем у своих.

— По приезде я немедленно доложу о вас цека,— с ненавистью говорит цекист,— вас, милостивый государь мой, выбросят из партии.

— Сначала доберись. Большевики слабеют. Отступая, они сметут село. Вместе с селом распнут тебя. Ты представляешь это удовольствие?..

Девушка притрагивается к руке моей. Незаметно ласково гладит ее.

— Не надо. Прошу вас, не надо.

А у меня гнойный нарыв до крика саднит душу.

— А как же тогда твои угнетенные сарты, узбеки и прочие халаты? Кто защитит их? Кто за Волгой объеди-

нит революционно-социалистическую интеллигенцию и трудовое крестьянство в компактную массу, в огонь и железо? — кричу я.

Мы сбросили маски. Мы всею душой ненавидим друг друга и не скрываем этого.

Пауки в банке.

Вот уже неделя, как я не сплю. Все кажется, что кто-то, кто сильнее меня, против воли тянет меня за Волгу на подлое и грязное преступление, что в этом виноват цекист, что слабость моя толкает меня на это преступление, мысль, что обо мне дурно подумают товарищ Валерьян, товарищ Ида, товарищ Куликов, товарищ Фунтиков, Лариса Петровна, Иван Тимофеевич, «Сам», синклит вкупе...

А минутами острая ненависть к большевикам рвет мозг. В чаду, в крови, в слезах, в смрадном тумане Русь. Горстка безумцев,— большинство из них нечестны,— опутывают дьявольскими путами измученное, обескровленное тело народа. На крови, на хрусте костей, на воплях миллионов, на будущем детей — детей наших производится опыт безумцев во имя будущего счастья каких-то аргентинцев, папуасов, итальянцев, бурят, сенегальцев, которых я не знаю, не хочу знать, для которых не поступлюсь движением мизинца. Россия — жертвенный кролик в кровавых лапах сумасшедших операторов. Бунт темной дикой толпы, под шомполом и пулеметами пошедшей в окопы, невежественной и трусливой, как папуасы, наивной и жадной, как папуасы, дикой и мстительной, как папуасы,— толпы, не знающей своей истории, не имеющей понятия об отечестве, уставшей от бессмысленной и бесцельной бойни, возвели в дрянненький ореол социальной революции, сыграв на самых низменных, самых подленьких инстинктах власти человека над человеком, на грабежах, насилиях, насилованиях, жадности, хамстве. Звериное, доисторическое позолотили сусальным золотцем мести класса — угнетенных над угнетателями, обиженных над обидчиками...

Буслаевщина, татарщина, смутное время, пугачевщина, Разин...

Сколько уж раз над Русью пылал костер «социальных» революций. Сколько раз, под ножом иноземцев и русской голытьбенной сволочи, земля захлебывалась

«богоносной» кровью мохнорылых истериков в растрепанных лаптях и домотканых свитках!

Зажгли священный факел освобождения мира — вшивую тряпку на хворостине — и забесновались, как каннибалы: — Свет с востока!..

Безумие, липкая кровь, ужас, чума, тиф, черная смерть, Азия с востока!..

Зачем я пишу это? Зачем всенародно обнажаю струпья свои?

Я похож на нищего, — самую отвратительную разновидность человеческую, — который на людных перекрестках города сует всем в лицо гниющие, изуродованные члены свои, прося копеечной жалости. А вокруг него солнце, зелень, смех, творческий взмах в камнях и железе всесильной человеческой мысли. И созвучно мысли звенят звонками, грохотом, гулом фабричных труб, визгом сирен, крепкие нервы города. И синь полог неба. И по сини, по лучезарному свету, по золотым просторам вселенной победно несется колесница грядущего. О, как я чувствую бег ее, как напряженно звучит мое сердце навстречу буйному грохоту колес ее!

И не от нее ли — не от вшивой ли тряпки на хворостине безумцев — зажжен и разгорелся ослепительный факел ее!..

Тогда... и зулусы, и сенегальцы, и русь, и чудь?..

Мужайся, Иване, гляди прямо в глаза жизни, сукин сын!..

Поперек улицы легли длинные тени от изб. Грохот орудий умолк. Посерела и прижухла земля. Устала хлебать людскую кровь, сука?

— К-ак? осилили наши?

Цекист, задыхаясь:

— Осилили.

Кулак:

— Это — верно?.. не ошиблись?..

Цекист:

— Безусловно.

Кулак:

— Дай-то бох... Может, чайку?.. с лепешечками?..

Гик. Взмет пыли. Глухой топот за углом. Эскадрон кавалерии быстро занял площадь перед церковью.

— С лепе-е...

Словно из-под земли выросли. В мыле, в пыли, в серой мути надвигающегося вечера загнанные лошади, нервно хрустя удилами, круто поводили ребрами. Быстро спешившиеся красноармейцы,— это были красноармейцы, среди них было много мадьяр,— торопливо привязывали лошадей к церковной ограде. Некоторые бросали лошадей без привязи. Бежали к избам.

— Будут заглядывать в окна. Ложитесь,— выдохнула девушка.— Ложитесь! — нервно крикнула она цекисту.

Он бессильно опустился у грубки.

— Вас же видно, Аполлон Аполлоныч, спрячьтесь! — досадливо бросила она.

Цекист полез под стол.

Тишина. Девушка торопливо достает с груди бумажки и мелко рвет их, забивая клочки в трещины. Грудь ее мала, неразвита.

Считаю минуты. Солдаты бегают по избам. Ищут буржуев, кулаков, у них можно отнять пару овец, теленка, куски сала, хлеб. Придут к нам. Будут издеваться. Потом пристрелят — просто, без судебной волокиты, буднично, как собак. Только — ощущение холодка дула нагана за ухом, потом взрыв, неслышный крик ужаса и боли в сердце. Тут же в пыль бросят наши трупы. У трупов вывернут карманы. Потом убийцы будут есть сало или баранину. И снова на лошадей — в тьму, в смерть, в легенды...

Проносится жуткий смешок мужика-возницы: — «Трое... за всех мужиков стараются... а мужиков — мелионы... Можно этому поверить, Капитолина Васильевна?..»

И вот — шаги и смех под окнами. Девушка прижимается ко мне всем телом и до боли сдавливает мои руки, нервно дрожа.

— Спите! — выдыхает она в ухо.

Окно шаркает. Его силятся открыть. Крепкая брань. Шаги. Я беру в ладони голову девушки и мутно, страстно целую губы ее, глаза, щеки.

А в сенях кто-то требовательно кричит. И мокро хлипает в ответ хозяйский голос.

Я неотрывно впитываю дыханье девушки. И это кажется сладкой вечностью.

— Какая гадость! какая гадость! — придушенно взвизгивает из-под стола цекист.— Целуются!..

Я прихожу в сознание. Девушка лежит с закрытыми

глазами. В сумраке бледно белеет худенькое лицо ее с полуоткрытым ртом. Я вскакиваю с лавки и бешено кричу в открытую фортку:

— Он зде-есь!..

Как после глубокого сна, девушка открывает туманные, удивленные, безвольные глаза.

— Он здесь! — снова кричу я, барабаня по раме.

На площади тьма, костры, конское ржанье, тени. Тени равнодушно оборачиваются.

Под режущий хохот цекист гремит столом, опрокидывает стол, выскакивает в сени, во двор, в конюшню, оставляя нам свою историческую бурку, историческую шляпу, исторические нравоучения, клок пиджачной полы на гвозде в дверях.

Земля обетованная, освобожденная, свободная. Мать ласковая. Милыми и нежными кажутся пустынные осенние поля твои в серебряной паутине. Шире, синей синезвездный полог твой. Слаще воздух. Белей, мягче предгория.

Буйная радость — радость воскресшего — распирает грудь. Кровь — сзади. И грохот орудий сзади; он почти не слышен. Впереди — ширь, Волга, Русь.

Как родного, обнимаю старика-татарина, слезливо мигающего трахомными глазами. Татарин подхлестывает кобыленку. Прошу татарина хранить девушку. Она опять едет назад, в гущу фронта, под Хвалынск, в судорожный узел боев, где застрял «Сам».

Поля опутаны колючей проволокой. Свежими ранами зияют ямы от разорвавшихся снарядов.

— Это — в прошлом, в прошлом,— шепчу я.

— Солдат давал — мало давал. Еще раз пришел — еще солдат давал. Солдат сказал: не пошел война! — лопочет татарин.— Сказал: плохой война!.. Пушку привез. Б-ба! у-у!..— татарин испуганно таращит глаза и крутит снежной головой.— Слобода горел, ребята горел, солдат стрелял, баба плакал...

— Кто?

— Баба плакал, ребят плакал, мужик плакал...

— Кто стрелял?

— Чеха стрелял, мужик плакал, слобода горел... Э-э! — татарин указывает кнутовищем на темную, приближающуюся слободу.

И — пусть. Война — война. Быть может, еще раз бу-

дем стрелять, расстреливать, убивать тех, кто плюет в лицо родины, кто предательски-трусливо отворачивается от кровоточащих ран ее.

Попутчики пьяны будто от вина. Еще из сеней постоялого двора я слышу их возбужденные возгласы, громкий и счастливый смех. Им ласково улыбается хозяйка, молодая грудастая баба с ребенком на руках. Посереди их сидит сияющий цекист.

— Вижу: парень дрейфит, путается, растерял документы... Я тотчас же выскакиваю из телеги и кричу этим идиотам...

Он рассказывает застолице наш случай с красногвардейцами в Сосновке. На момент тупеет, увидев меня. Потом со стола летят чашки, он чуть не перепрыгивает через головы собеседников и тискает меня в своих объятиях.

— Я привез вашу бурку,— говорю я.

Но он не слышит.

— Голубчик, добрался? Как я рад! Ну, как я рад!.. Садитесь. Хотите есть? Хозяюшка, дайте товарищу есть. Ну, там — что у вас найдется — масло, яйца. А потом — чай... Это — писатель из народа, член Учредительного собрания, помните, в наших «Глаголах» печаталась его знаменитая «Повесть о шестом пальце»? Охотился за Дыбенко,— шепчет он слушателям.

Слушатели равнодушно меряют меня взглядами. Их человек девять. Большинство их — офицеры. Их лица худы и темны, перейденный фронт наложил на них печать свою. Они в самых разнообразных костюмах, щетинисты. Малы и грязны их руки. Они жадно уничтожают яйца. Спрашивают хозяйку, продается ли в Сызрани водка. До Сызрани — двадцать верст. Среди них — женщина.

— Вы пишете? — удивленно спрашивает она, чистя обломком спички ногти.

— Да.

— Много? — Брови ее поднимаются.

— Да. «Юрий Милославский», «Князь Серебряный», «Макбет», «Повесть о шестом пальце»...

Цекист счастливо хохочет, хлопая меня по плечу. Женщина глядит на мои заплатанные брюки и немного отодвигается: от моих ног смердит потом.

— Вы не умеете острить,— говорит она.

Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за народное дело! —

вдруг верещит цекист и кружится по комнате:

— Черт побери, совсем!.. Иван Петрович!

Нам ненавистна тиранов корона,
Цепи народа, страдальца, мы чтим!..

Ему слегка подсвистывают. Свист постепенно усиливается.

Смерть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам!..—

возбужденно кричит цекист.

— Смерть! — хором отвечают ему попутчики и опять подсвистывают. Свист переходит в иной мотив.

— Смерть! — повторяют они и, как один, громко и стройно бросают в раскрытые окна:

Мы смело в бой пойдем
За Русь святую...

Цекист в упоении закрывает глаза. Руки его — рука христианского мученика в пиджачке — трепетно скрещены на груди.

И... всех жидов побьем
Об мостовую!..—

обрывает хор.

У цекиста выкатываются глаза. Он с ужасом глядит в возбужденные лица поющих. По комнате проносится хохот.

В это время во двор въехала другая телега.

— Так вот оно что!.. Об... об... об мостовую?.. Я — тоже еврей! — хрипит цекист.

Публика с хохотом встает из-за стола и садится на подводы.

— До свиданья, товарищ, член Всероссийского Учредительного собрания, член центрального комитета партии, есь-ерь, уполномоченный по туркестанским делам и будущий министр народного...— раздельно, нагло, жестко кричит в окно человек с передней подводы.— До Самары!..

До Самары...

«Офицеры нам нужны как необходимый технический элемент в гражданской войне»...

Телега пропустила мимо себя выезжавших офицеров и повернула под навес. Было тепло, солнечно и пыльно. Это была редкая осень на Волге. Из телеги вылез мужик лет тридцати в красных деревенских штанах и пыльной рубахе. Внимательно оглядел двор, окна, бросил что-то другому мужику, отпрягавшему лошадь, и второй мужик, выйдя на улицу, поглядел в сторону уехавших офицеров. Потом торопливо запахнул раскрытые ворота. Мужик еще раз поглядел на окна, обил пыль с картуза, оправил рубаху, задерживая руки на поясе, и медленно зашагал к порогу.

— У него под поясом наган,— сказал я цекисту.

— Ах, да бросьте вы пугать, все это противно! — страдальчески отмахнулся цекист.— Все — противно!.. Вы — противны!..

Он склонил на руки голову и застыл.

Мужик пошаркал рукою скобу. Остановился. И опять вышел во двор. В телеге, склонив голову, сидела женщина мещанского покроя; лица ее из окна не было видно.

— Поставь еще самовар. Этот человек заплатит,— сказал я хозяйке, указывая на цекиста.— У него горе — жена сбежала с армянином.

Цекист удивленно поднял рыжие брови.

— Очередной фокус? — спросил он, брезгливо морщась.

— Да.

Цекист нерешительно помялся и надел свою затасканную шляпу.

— Я поеду один.

— Хорошо. Только позвольте — вы теперь сзади загните поля шляпы, по-охотничьи. И перо воткните. Можно куриное.

Войдя, мужик перекрестился в угол. Он был плотен, широкоскул. Лицо его было в темном загаре. Сквозь загар на щеках и переносье проступали веснушки.

— Можно попить чаю? — спросил он хозяйку.

— Можно. Проходите в избу.

Мужик сел в простенке и закурил, звучно поплевывая на пол. Через минуту в избу вошла женщина и тоже села в простенок. На ней была широкая, дикого цвета,

юбка с бесчисленными сборками и свободная кофточка под теплым платком. На маленькой руке блестело обручальное кольцо.

— Какая удивительная осень,— с тихой радостью проговорила женщина.— Как детский сон.

Мужик неопределенно промычал. И оба, украдкой, стали разглядывать меня. Когда хозяйка вышла, женщина наклонилась к мужику и что-то прошептала, положив свою узенькую руку в его ладонь. Она была моложе его, нежнее. Что-то детское было в ее радостных, не живших глазах, в углах пухлых губ, полуоткрытых, в движениях тела, то порывистых, то плавных — наигранных. Да, они были чужие друг другу. Они — не мужики. Они ехали на фронт. Это было ясно. Они тоже во имя любви к людям, родине, к революции шли на смерть.

— Дальние? — спросил я.

Не вынимая цигарки изо рта, мужик ответил:

— Из-под Сызрани.

— Далек путь?

Женщина поднялась с лавки и стала глядеть на лубочные картины, развешанные по стене.

— Нет, не далек,— нехотя ответил мужик.

— Ну, а все же? — резко спросил я.

Мужик удивленно обернулся, растоптал окурок и, поправляя пояс, спокойно сказал:

— На ярмонку, мы по торговой части занимаемся. Как сейчас Воздвиженская ярмонка, так мы, значит, с Анисьей насчет товарцу...

И он зевнул, крестя рот.

— Ты это напрасно озорничаешь,— сказал я,— теперь молодые не верят в бога и не крестятся.

— Нет, мы пока верим, наше положенье такое. Как говорится, без бога не до порога...

— А с богом — хоть в Москву. Ты — большевик. Ты не умеешь притворяться. Я еще во дворе заметил, что у тебя под поясом револьвер! — запальчиво крикнул я.— Ну, разве эта девушка жена тебе? И ты разве мужик?.. Вы хотите перебраться за фронт.

Лицо женщины передернулось, как от боли. Она стала меньше, беспомощней. Беспомощно опустилась на лавку рядом с мужиком. Жалко глядела мне в глаза.

Ни один мускул не дрогнул на лице мужика. Молча, спокойно достал кисет. Оторвал клочок газетной бумаги. Неторопливо вертел цигарку. Только пальцы чуть-

чуть прыгали, да будто ярче проступили на переносье веснушки.

— Ступай, донеси, награду получишь,— сказал он.

В стекло постучался цекист.

— Подвода готова.

Хозяйка поставила на стол самовар. Ополоснула чашки.

— Свой будет сахар или принести?

— Свой. Ты пока выйди. Вон человек стучит в окно — он хочет заплатить тебе за чай. Ты скажи ему, чтобы не кручинился: найдется другая жена. Тут у вас нет подходящей девки — потолще? Он — богатый.

— Ну, полно, городской не польстится на мужичку,— улыбнулась хозяйка.

— Вот польстилась же,— кивнул я на мужика с женщиной.— Он — в деревенских портках, кудлатый, а она, гляди,— барыня.

— Что ж, бывает — и курица поет петухом. Кудлатый, а, видно, прилюбился. Присаживайтесь к столу, уж не знаю, как величать вас: товарищи или господа, или граждане... запутались, как в темном лесу...

— Ты интеллигент или рабочий? — спросил я, когда хозяйка вышла.— Откуда?

Упрямо, долго смотрел.

— С Урала, рабочий.

— Я — мужик. Я еду из Орловской губернии. Я — член Учредительного собрания. Я еду в Самару, к чехам. Чехи и русские идут войной на Москву. Против своих, русских. Рабочие и мужики против рабочих и мужиков. И против тебя, если тебе удастся перейти фронт. И ты пойдешь против меня. Кто-нибудь из нас должен погибнуть. Или оба погибнем. Мужики и рабочие истребляют друг друга. Слушай, что мы делаем?..

— Я — еду в Москву, а ты — в Самару,— сухо ответил мужик.

— Не то, голубчик, не то!..

— То самое.

— Пойми же, не то!

— А коли не то, поворачивай на Москву.

Он поднялся и стал наливать чай, нервно посапывая. И опять — упрямый, пьющий взгляд.

— Шлях труден?

— Да. Держись к Черкасскому. В Черкасском на постоялый двор у церкви. Жирный кулак в жилетке. Я скажу пароль тебе. Кулаку скажи: едешь обратно в

Саратов с поручениями. Он сделает, что надо. Револьвер брось...

— О нет! — упрямо тряхнул головой мужик. Еще раз — долго, внимательно глядел мне в лицо.— Слушай, поедем.

— Поедемте,— тихо проговорила женщина.

Цекист со двора:

— Вы скоро?

Долго крепко целуемся братским целованием.

Ночь. Темное поле. Увалы. Мелкий, спорый, нудный дождь. Впереди, меж увалов, через редкие деревья, проступают слабые огни Сызрани. Хлюпает грязь. Натужно дышат лошади. Кутаясь в бурку, цекист говорит, что любит меня, но не всегда понимает.

Я устал.

— А ты, брат, знаешь, кого везешь? — неожиданно спрашивает цекист возницу.

— Мы-то? — мужик оборачивается и щупает его в темноте взглядом.— Да бог вас знает. Люди,— уверенно говорит он, подумав.

Цекист весело смеется, подталкивая меня.

— А ведь не ошибся, а? Иван Петрович! Нет, брат, люди-то — люди, да только какие? Мы, брат, члены Учредительного собрания, понимаешь?

— Это не плохо,— говорит мужик, равнодушно хлопая кнутовищем по крупу коренника.

— Ты, брат, вези нас в лучшую гостиницу, знаешь хорошие гостиницы? Нам, брат, нужно как следует отдохнуть с дороги, помыться от совдепской грязи...

— Тогда прямо в баню с номерами,— говорит мужик,— там всякое придовольствие получите.

— Святая простота! — в умилении закатывается цекист.— Вот она, Иван Петрович, народная душа-то... непосредственная и чистая, как горное озеро... Черт, пенсне потерял!.. Подожди!.. Ага!.. Ну, трогай. Подстегни пристяжную. Семейный? А то добровольцем бы к нам. Нам честные люди нужны. Так-то, гражданин. Ну, как — рады у вас в деревне, что Учредительное собрание освободило вас от большевистской кабалы?..

Возница покосился и не ответил.

— Нет — в самом деле?

— Конечно, довольны. Вы — тоже едете освобож-

дать? Очень даже довольны, не забудем,— глухо говорит он.

Остановил лошадей.

— Слезайте!

— То есть как — слезайте? — растерянно заелозил на веретье цекист.— Куда слезайте?

— В грязь, чего глаза-то лупишь! — бешено закричал мужик, взмахивая кнутовищем.— Не повезу больше!.. Слезай!.. Освободители, мать вашу в Христа!..

— Ловко — горное озеро-то?

— Ах, идите вы к черту, опротивели вы мне!..

Город наполовину выжжен. Под дождем плачут слепые фонари. В провалах, налитых водою, мостовые. Редки и угрюмы прохожие. Фронт.

Пять или шесть раз нас останавливали заставы, дозоры, патрули. Мокрые мальчики в серых шинелях не по росту под командой чешских унтеров с красно-белыми ленточками на козырьках покорно месят грязь, будя ночь. Я еще первый раз вижу войска Учредительного собрания,— они пока жалки.

В участке цекист говорит, что он — цекист, избранный от левой группы на седьмом съезде партии, что я — автор нашумевшей «Повести о шестом пальце»,— нас подозрительно осматривают, нашу одежду и грязь на ногах.

— Этот негодяй, возница, оказался большевиком и высадил нас с телеги. Мы верст семь плелись пешком,— говорит цекист.

— Почему же вы не застрелили эту сволочь? — спрашивает военный.

— Знаете, как-то не пришло в голову,— смущенно сознается цекист.— А потом, по правде, и не из чего было, мы оставили револьверы в Саратове. У меня там замечательный кольт и сотня патронов, Марк Андреевич Натансон подарил,— знаете его?.. Ну, как у вас дела идут? ничего?.. Большевики бегут? Союзники уже прибыли?.. Местный комитет партии наладил работу? Масса сорганизована?.. Я ужасно, ужасно рад, что, наконец, добрался до земли Ханаанской, ужасно!..

— Здесь — русская земля, а не жидовская,— бросает военный.— Ваши документы!..

Тихо, упавшим голосом цекист говорит:

— Я в ином смысле — земля Ханаанская... в смысле — обетованная... И потом, я уже сказал вам, что документов у нас никаких нет... Parlez vous français? [1] Нас может удостоверить только Самарский комитет членов Учредительного собрания и цека партии. Иммунитет члена Учредительного со...

— А ну вас к черту с вашими комитетами, иммунитетами, цека партии!..

— Позвольте, милостивый государь!

— Панкратов, обыщи их!..

Нас донага раздевают и тщательно ощупывают каждый рубец на одежде, каждую прореху, каждую сборку.

— Это ничего, Иван Петрович, от своих — не оскорбительно,— трясясь от холода, бормочет цекист.— Это — если бы большевики или мадьяры. Они просто оторвали бы головы... Вот здесь, товарищ, в жилете у меня еще карманы есть, у меня в жилете четыре кармана. Вы, товарищ, эсер?..

— Разрешите, господин товарищ, солдатам самим заняться обыском,— грубо кричит офицер,— и не разговаривать с ними, иначе я провожу вас в подвал!

— Виноват, я только хотел помочь им.

— Благодарю вас, господин товарищ, как-нибудь обойдемся без вашей помощи.

— Ну и сволочи! Какие все-таки они грубые! — говорит цекист, прыгая через лужи на улице.— Впрочем, война не красит людей, она отнимает у них все человеческое. Лишь в исключительно исключительных случаях насилие может быть оправдано, запомните это. И надо иметь огромный запас силы, чтобы уметь отражать удары зарвавшихся солдафонов. Помните, как на постоялом, когда я с гордостью бросил им: я — тоже еврей! — хотя, вы знаете, я — русский, сын священника. Помните их смущение?..

Через полчаса в номер гостиницы, куда нас с трудом пустили,— в коридорах гостиницы пахло блевотиной,— громко постучали. Ключа в дверях номера не было, дверь тотчас же раскрылась, и к нам вошли три офицера. В дверях остановились солдаты с винтовками.

[1] Говорите вы по-французски? *(фр.)*

— Ваши документы!..

Офицеры были пьяны, в солдатских шинелях, с клочками георгиевских лент вместо кокард, с нарисованными химическим карандашом погонами. Только у одного, он был пьянее всех, поверх химических погон блестели новенькие, мокрые от дождя капитанские эполеты.

Цекист был полугол. Закутавшись в бурку, он выжимал над умывальником промокшее белье.

— Наши документы проверены,— сухо сказал он.— Мы — члены Учредительного собрания, находимся на территории Комитета членов Учредительного собрания, и я не позволю каждому пьяному бурбону врываться ко мне в номер: личность и жилище члена Учредительного собрания неприкосновенны,— это вы знаете? Извольте немедленно убраться отсюда.

— Да? — спросил один из офицеров.

— Да, да, я приказываю.

Офицеры рассмеялись.

Капитан молча подошел к цекисту, стащил с него бурку, передал бурку солдатам, а сам дурашливо стал разглядывать цекиста.

— Как вам не стыдно хулиганить! — дрожа от негодования, кричал цекист. Он был без рубашки. Брошенная рубашка его валялась под ногами. Худое тело его было грязно, по спине и плечам его темнели дождевые полосы.— За околицей фронт, на фронте умирают люди, а вы окопались и пьянствуете здесь! Вы оскорбляете члена центрального комитета партии, которая возглавляет антибольшевистское движение. Как ваши имена? Я буду жаловаться полковнику Махину!.. И это — народно-революционная армия, какой позор!.. Глядите,— цекист театрально ткнул пальцем в меня,— перед вами — писатель из народа: завтра же он заклеймит в печати ваши дикие выходки...

— Стихами и прозой,— сказал я.

— Дурак! Кретин! — свирепо обернулся ко мне цекист,— над нами издеваются, а ты балаганишь!.. Какие идиоты выбирали вас в Учредительное собрание? Вы — самозванец! У вас выборы были подтасованными!.. Ну? — дико набросился он на офицеров.— Вон! Сейчас же — вон, а то я вас вытурю в шею!..

Пьяные нерешительно переглянулись и вышли.

— Извиняемся,— сказал один из коридора, бросая на пол бурку.

Дрожащими руками цекист стал надевать на себя мокрую сорочку.

— Так, говоришь, народно-революционная армия? — спросил я.

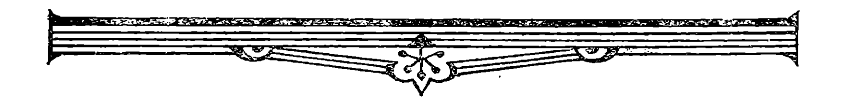
Он жалко, с болью поглядел на меня и ничего не ответил.

— Так, говоришь, территория комитета членов Учредительного собрания, иммунитет, Русь, четырехвостка, референдум, инициатива?..— чтобы досадить себе, переспросил я.

Он закрылся буркой и молча лег на кровать поверх одеяла.

Берта права: совместно с большевиками их надо было истребить в начале революции, а потом бы любителям авантюр устраивать заговоры, восстания, взрывы, русско-русский фронт...





ПЕРЕДЫШКА

Расположение красных было в десяти — двенадцати верстах к северо-западу от добровольцев. Главные силы их были направлены восточнее, на Бузулук, наперерез оренбургской железной дороге, дабы разъединить войска самарского правительства с уральскими и оренбургскими казаками.

Против Каппеля, занимавшего северную сторону самаро-златоустинской железной дороги, и Недоуздкова с Португаловым, отступавших по южной стороне дороги, были выставлены мобилизованные орловцы, два московских рабочих полка и бесчисленное множество самарских мужиков добровольцев, совершавших поход в собственных телегах, с женами, на собственных клячах, с мешками сухарей и пшена в повозках, с котлами, таганами, горшками, люльками и не отстававшими от хозяев собаками.

Они стояли в большом торговом селе, в узле двух пересекавшихся степных шляхов. Шла утренняя перекличка. Лагерь был похож на переселенческий караван или сельскую ярмарку. Вся обширная площадь вокруг церкви была заставлена мужицкими телегами с поднятыми вверх оглоблями. На оглобли были накинуты рядна, укрывавшие их от дождя. В телегах лежали винтовки и пулеметы. Над лагерем стоял гул. Под навесами галдели бабы, смеялись и спорили мужики, рычали гармоники, плакали дети, раздавались песни, топали ноги. Над головами, в мути утра, ветер трепал пеленки, раз-

вешанные на оглоблях, на дугах, на штыках. Между телег горели костры, пахло сырым деревом, пшеном, горелой шерстью, конским пометом, человеческими извержениями. В одном месте ковали лошадей, в другом драли шкуру с зарезанного быка, в третьем чинили повозку, выбивали подушки, стирали рубахи, брились. Там, как заправские прасолы, два мужика менялись лошадьми. Мужики то срывали и хлопали оземь шапками, то крестились на церковь, то бузовали друг друга матом. Группа любопытных становилась то на сторону хозяина рыжей понурой кобыленки с репьями в хвосте, ему кричали: «Не меняйся, леший, гляди, кобыла-то чуть не расплачется, жалко с тобой расставаться!» — то подзадоривали огромного черного верзилу в папахе, с синими, как у цыгана, белками. У верзилы был мышастый третьячок, лохматый и страшный от худобы. Этот третьячок с неделю назад приблудился к лагерю, и верзила присвоил его. Об этом все знали, в том числе и кобылий хозяин, но верзила клялся, что третьячок у него родовой, что он ни за какие тысячи не променял бы его, что родовых лошадей меняют только бездомки да дураки, но третьяк мал ростом и ушаст, и его нужда заставляет меняться: при государь императоре он служил в кавалерии и теперь желает быть в кавалерии, а на этой сволочи разве уедешь? — И с гневом отпихивал от себя третьячка, который приходился ему не выше пупа.

— Ведь я ему, ребенку, спину сломаю! — горестно взывал верзила.— Ведь его еще надо в хлопочках держать, тогда из него выйдет азият!...

— Не верь, обманет! — кричали мужики кобыльему хозяину.— Твоей-то цены нет, а жеребенок — кошка!

— Где кошка? Мой жеребенок — кошка? — яростно кричал черный, хватая мужика за пельки полушубка.— Ты на мою родовую скотину — кошка? Ах, ты, гадина вшивая, я его с детями в одной чашке выкормил! У тебя гостя в дому такого от рода не было. Твоя родня хвоста его не стоит. Ты думаешь, твое дерьмо — скотина? Ишь, губы-то отвесила, как анчихрист,— об грехах задумалась? — и черный грубо ткнул кобылу кулаком под салазки.

Прищурившись, кобылий хозяин ехидно улыбался, глядя на черного.

А у церковной ограды, в кругу бородачей, под звуки

трензелей и ливенки, павой ходила молодайка, румяная и бесстыдная. Похотливые глаза бородачей липко ползали по ее чудовищному заду, по тугим грудям, обтянутым ситцевой кофточкой,— как живые поросята, груди тяжело ворочались под легким ситцем.

Эх, ну, сигану
На Ерему, на Фому! —

вызывающе смеялась она в лица бородачей.

Свекор лапти плел,
Подковыр потерял.
Сноха хату мела,
Подковыр подняла...

— И-их! — распаленно выли бородачи.— Настюха, шельма, в гроб вгонишь, штоб ты сдохла!..

Под ногами людей шмыгали собаки. Некоторые из мужиков еще только умывались. Другие молились на церковь. Рядом два парня, о чем-то весело болтая, через слово крыли в бога.

Меж повозок в длинном белом балахоне со шприцем в руках ходил фельдшер, а за ним худой красноармеец с саквояжиком в руках.

— Подходи, кому лечиться! — кричал красноармеец.— Подходи, не задерживай!

— Эй, табаку, вольнички, кому табаку — двадцать рублей стакан! — вторил ему молодой малый, шлепая по грязи белыми катанками.— Табаку самого крепкого, томленого, мореного, каленого, сам бы курил — деньги надомны!.. Табаку крепкого, вольнички!

Все эти люди в войне были охотниками. Не могло быть речи о строгой дисциплине, об единстве одежды и обуви их. На них был самый разнообразный и самый рваный хлам, едва прикрывавший тело, но у всех без исключения на левой стороне груди, на мокрой ветоши, болтались лоскутки красной материи. Иные нацепили эти лоскутки и на шапки. У большинства они были так грязны, так захватаны, измяты, истерзаны, что только с трудом их можно было признать за красные банты солдат революции.

Этот галдеж, этот содом, эту мечущуюся волну человеческих тел, возгласов, брани, ржанья, лая, смеха покрывал резкий звук медной трубы. Стоя на колесе, щетинистый красноармеец в папахе, сдвинув папаху на за-

тылок, дул в трубу так, что у него выкатывались глаза. Он трубил сбор.

Из изб, с шинелями внакидку, нехотя, выходили заспанные красноармейцы и строились в шеренги. Красноармейцы квартировали отдельно от мужиков. Стоя в шеренгах, они весело зубоскалили, награждая друг дружку оплеухами, другие лускали семечки или курили, третьи охорашивались перед маленькими карманными зеркальцами, зажатыми в ладони. Охорашиванье состояло в том, что они слюнями и обломками гребешков как-то по-особенному закручивали выпущенные из-под картузов длинные пряди волос, придававшие этим курносым, широкоскулым, сероглазым и веснушчатым лицам особо залихватский вид под казака.

Почти все красноармейцы были донельзя неряшливо и грязно одеты, заваляны в соломе и сенной трухе, с огрубелыми от непогоды лицами. Сколь разнообразна была одежда их, столь разнообразен и возраст. Здесь стояли бородачи, по четыре года гнившие в царских окопах; и безусые, зябкие мальчики с наивными глазами, только что набранные с орловских полей; были австрийские военнопленные в смешных сальниках-кепи; и русские, по нескольку лет прожившие в Германии,— люди с сурово застывшими лицами; были интеллигенты с смешными, бескровными руками в сетке синих жилок, но большинство было рабочих — молодых, озорных парней, поступивших в Красную Армию добровольно, частью — по разверстке профессиональных союзов.

Рабочие были теплей и лучше одеты, но и их одежда в этом море гнилого тряпья, кишевшего вшами, казалась ужасною.

И только матросы, стоявшие отдельной группой,— эта группа составляла как бы ядро войск,— выглядела сытей и опрятнее. Матросы были увешаны бомбами и пулеметными лентами, из карманов их торчали наганы. Это была аристократия отряда. Они презирали красноармейцев, полагая, что главная сила в них, в матросах, в их беззаветной храбрости,— дрались они, действительно, беззаветно,— а не в этом стадно-вшивом «брыдле», как они называли красноармейцев, и что только благодаря им, матросам, побеждены царь и Временное правительство.

Перед шеренгами ходили красные офицеры, которых называли «краскомами»: страсть к насилованию русско-

го языка коснулась и армии. Краскомы были так же скверно одеты, как и рядовые красноармейцы. Так же шутили и дурачились с ними и между собой. Это была та же небритая, заволянная в сенной трухе мастеровщина из бывших фельдфебелей и унтеров, которая в главной своей массе свалила чудовищную монархию.

Сбор подходил к концу. По два человека в ряд красноармейцы растянулись на всю площадь, обок с поповкой и мужицким табором. Краскомы оглядывали шеренги. Один из них, худой, и нервный, бывший разведчик и георгиевский кавалер, отойдя шагов на десять от своей шеренги, поглядел на все еще дувшего в трубу горниста. Рыжеусый рабочий в свитере, похожий на средневекового кольчужника, с рваным картузом вместо шишака, выплюнул семечки и крикнул горнисту, подымая картуз:

— Архангел, будя!..

Горнист резко оборвал рулады, вытер рукавом губы и слез с колеса.

Из пятистенного дома напротив вышли военный в шинели старого образца и еврей в кожаной куртке. На околыше фуражки и на плечах военного еще не выцвело сукно из-под кокарды и погон. Еврей, небритый, с выпуклыми черными бараньими глазами, комиссар красных войск, шел впереди. На боку его болтался револьвер.

— Смирна-а! — крикнул бывший георгиевец, когда комиссар и сопровождавший его военный спустились со ступенек крыльца.

И вслед за ним по всему фронту, по-петушьи — на разные голоса, раздалась та же команда другими краскомами.

Красноармейцы поправили шинели, перестали лускать семечки. Орловские мальчишки и старые солдаты-фронтовики вытянулись.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался комиссар, проходя по линии.

Ему нестройно и весело ответили.

По табору опять поднялся гомон. Снова застучали молотки по пресмешным походным наковальням, захныкала, как в родимчике, гармошка, ребятишки опять стали стравливать собак, снова заревел черный верзила с цыганским лицом, издеваясь над кобыльим хозяином. Верзиле удалось-таки всучить ему своего мышастого треть-

ячка. Теперь верзила на все корки хаял третьячка, крича, что он задохлый, недоделух, что он об одном яйце, что он еще вчера учупил, что кобылий хозяин — дурак и ничего не понимает в лошадях.

— А на кобыленке-то, на этой козырной крале-то только Ленину да генерал-Скобелеву ездить! — ревел он, в восторге поднимая руки.— Это не кобыла...

— А жеребец,— ехидничал кобылий хозяин.— Глянько, она — вся в чесотке.

— Брешешь, это не кобыла, а мешок счастья, черт неумытый!.. Это — Маруся!..

Казалось, шум и крики в таборе стали еще неистовей.

В это время из пятистенной хаты вынесли расшитое золотом красное знамя. Какие-то люди в штатском — их никто из красноармейцев не знал — торжественно и тихо несли развернутое знамя к столу.

Мужики мельком и равнодушно обернулись, потом снова загалдели. Только дети да бабы, заинтересованные тем, что происходит за табором, побежали к пятистенной избе.

Но, пока они добежали, знамя, свиснув полотнищами, уже стояло неподвижно у стола, а на стол, поддерживаемый под мышки красноармейцами, взбирался остробородый, сухой старичок в очках.

— О, штоб те попритчило, опять канун да ладан! Я думала, понесут округ церквы, а после — округ деревни! — досадливо крикнула мясистая молодайка, плясавшая у ограды.— Пойдемте, бабы, надоели мне-кося эти аратели...

Между тем старик что-то ласково говорил красноармейцам. Он не кричал и не размахивал руками. Он просто беседовал с ними. Изредка указывал на красное знамя. Поправлял очки на близоруких глазах.

Красноармейцы перестали лускать семечки. Плотной массой окружили стол и удивленно и жадно глядели старику в рот. А когда он кончил, табор тревожно обернулся на неистовый крик и хлопанье ладоней их. Ближайшие к красноармейцам мужики тоже захлопали в ладоши.

Старик еще стоял на столе. Мелкий дождь смачивал его открытую голову. Потом старик поднял руки, и по площади поплыли первые и неуверенные звуки гимна, будто порыв ветра закачал верхушки леса.

Затихла наковальня. Таборный брадобрей отложил

бритву и полез на колесо, вполголоса подпевая. Товарищ его с намыленной щекой стал рядом с ним. Блестя радостными глазами, розовощекий паренек подхватил гимн. Старик отец насмешливо покосился на него. Сзади паренька закурлыкала баба с ребенком на руках. Перестали браниться черный верзила с кобыльим хозяином.

Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вступить готов,—

торжественно и мощно неслось по площади.

Замолкла, будто подавилась, гармошка. Перестали хихикать и взвизгивать молодухи.

Звуки росли и наливались силой.

Как по команде, красноармейцы стали обнажать головы.

Мужики, один по одному, протискивались между телег ближе к шеренгам.

Старик все поднимал и опускал руки. И в такт его движениям полноводной рекой лилась еще неслыханная серыми полями песня.

Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой...

Некоторые из мужиков полезли было под навесы. Другие торопливо доедали горячий кулеш. Потом бросили ложки и вместе со всеми чутко прислушивались к гимну. Снимали шапки. Цыкали на ребят. Мерно кивали путаными головами, будто прислушиваясь к сердцу, ответно бившемуся нараставшим волнам.

Лишь мы, работники всемирной,
Великой армии труда,—

неслось из сотен уст красноармейцев:

Владеть землей имеем право...

И словно ток электрический прошел по табору,— земля, земля!..

Владеть землей имеем право!..—

вдруг нестройным, ревущим потоком, словно прорвав плотину, словно бурными водами заливая площадь, грянули и подхватили со всех концов мужики,— нелепо, почти неожиданно, дико, вразлад, не слушая один друго-

го, перебивая один другого. Встали как один. Сорвали шапки. Молитвенно стиснули руки. Обернулись лицами к церкви, и черными ртами, всею силою голосов, всем сердцем, всею болью, всей верой и радостью, неистово заорали в серую муть утра:

Владеть землей имеем право,
А паразиты — никогда!..





ЖЕНМАССА

Рассказ

Председатель волисполкома досадливо отмахнул осьмушку серой бумаги, до дыр исклеванную ремингтоном.

— Завтра подам заявление по случаю неизлечимых нервов.

— «В.срочно».— Закуренный до черноты ноготь секретаря провел бороздку под надписью в правом углу бумажки.

— Я не привык с вами долго рассуждать, хотя вы и партейные,— с достоинством сказал он.

Председатель беспомощно поглядел на его высокую, нескладную фигуру в френче деревенского сукна, багровые пятна щек.

— Вы, должно быть, и теперь колотите жену? — насмешливо процедил секретарь.— Па-жалуйста... Прикажете отнестись, что по случаю нервов председателя женмитинг в Ненужной волости решительно отменяется?

Председатель болезненно втянул голову в плечи и снова взялся за бумажку.

— В этом вопросе я не согласен с советской властью, пусть лучше меня исключают из партии товарищей коммунистов. Да-с. Например, гуж-в-налог-труд, страховые обстоятельства, а вы, извините, заставляете путаться с бабами,— у меня силов нет.

Тогда секретарь выдернул из-под рук председателя бумажку и многозначительно прочитал длинную надпись «завгубженпропагом».

— Нуте-с?

— Начхать! — досадливо крикнул председатель.— Я должен заниматься важными государственными об-

стоятельствами в связи с общей разрухой, а вы меня к бабам тянете,— не допущу.

Тем не менее женмитинг был назначен.

— Пожалуйста,— говорил на второй день председатель члену коллегии, своему сотруднику, юркому и пьяному «беспартийному социалисту» Полфунтикову.— Это дело не касается коммунистов, даже срамно для них... это — ицеровское...

Председатель подумал и с размаху хлопнул кулаком по бумажке.

— Чтобы я разносил вредную пропаганду,— не допущу!..

Член волисполкома Полфунтиков и секретарь Горизонтов на шаг отступили от председателя. Секретарь Горизонтов саркастически улыбнулся.

Довольный окриком, председатель велел сторожу принести из печки уголек и, закуривая, говорил Полфунтикову:

— Вы, товарищ, уже с четвертой женой развелись...

— А если в этом есть закон природы? — спросил член волисполкома Полфунтиков.

— Пожалуйста, без нравоучений.— Председатель повысил голос.— В порядке революционного состоянья, приказываю вам заняться этим глупым вопросом. В противном случае — пеня в тройном размере.

Председатель ткнул окурок Полфунтикову и добавил:

— Пеня тут ни при чем, потому с тебя налогу не причитается.

Полфунтиков, беря окурок, сказал:

— По-моему, женотдел надо назначить на масленой в пятницу.

— Почему?

— В пятницу будет катанье, в порядке ревдисциплины мы прикажем оцепить базар, сгоним баб в волость и откроем женотдел.

— Женмитинг,— поправил председатель.

— Центропуп,— фыркая, сказал секретарь.

Четырнадцать председателей сельских советов и четырнадцать секретарей, сидя в волостном присутствии, спорили, кто дальше плюнет. Зал волостного присутствия светл и просторен. С утра волостные арестанты старательно выскоблили пол железными лопатами. Мартовское солнце мягко щупает на полу белые полосы

ободранного лопатами дерева, ловит в косые столбики пыль и кружит ее в плавной толчее.

Упираясь темными ладонями в колени, вытянув шеи, председатели и секретари нацеливаются и звучно цыркают сквозь плотно стиснутые зубы. Когда им удается цыркнуть одновременно, председатели радостно переглядываются и разноголосо хохочут, тряся бараньими шапками.

Сидящие против них за деревянною решеткой арестанты цыркают навстречу председателям и секретарям. Белыми гривенниками ложатся на пол пенистые плевки. Сельский секретарь, по ушам — попович, смешливый и расторопный, меряет, кто дальше сплюнул.

— Брешешь, прохвост,— кричат арестанты,— свои меряешь, так частыми шагами, а наши,— раскорячиваешься, индо штаны трещат...

— Совсем даже наоборот: и себе и вам одинаково.

— Нет, брешешь... Что мы за решеткой, дак норовишь саженью?.. Ван Онухрич!.. Ван Онухрич!..

В присутствие входит волостный сторож.

— Ван Онухрич, вон видишь, я плюнул к потрету,— возбужденно кричит кудрявобородый мужик из-за решетки,— будь друг, выпусти на минутку смерять — сколько шагов. Или сам смеряй.

Сторож глядит на мужика, на плевки, на заинтересованных председателей и секретарей.

— Я ти вот плюну, аж в ухах звякнет! — Сторож подносит к решетке кулак, похожий на кувалду.— Тебе тут старый режим — безобразить?.. Ты против кого плюнул?..

Мужик виновато моргает.

— Это — Марс,— говорит сторож, тыкая перстом в портрет,— надо всеми землями командер.

— А еполеты-то и с него сняли,— говорит мужик,— в пинжачок нарядился.

Будто в первый раз, он внимательно и долго разглядывает лубок.

— Важнеющий... отпустил бороду... рубаха белая... Кабы очки надеть, вылитый отец Миколай Ярданский... Вот кто небось жалованьице-то заколупывает!.. Ребята, по какому делу вас сюда вытребовали? — обращается он к председателям.

— Начальство скажет. Об налоге, поди.

К обеду, когда солнце растопило хрусталь луж, с портфелями под мышкой в волость вошли секретарь и

члены волисполкома. Впереди старчески семенил председатель волисполкома, за ним, вразвалку, со скучающим лицом и ссадиной на переносье, секретарь Горизонтов. «Я, собственно, по уму — секретарь губисполкома, да так уж, из милости, путаюсь с разной сволочью»,— громко и важно скрипели его опойки.

Полфунтиков тащил кипу листовок.

Председатели и секретари сельских советов поднялись.

— Садитесь,— сказал им Полфунтиков,— тысячу раз говорено: при начальстве не подыматься... А вы царизма не бросаете... У кого есть закурить?

Присутствие наполнилось сизыми тучами.

Полфунтиков говорил собравшимся:

— Товарищи, порядка дня у нас не будет...

— Конешно, нет порядка: другую неделю ни за что сижу как оглашенный,— ответил глухой голос из-за решетки.

— Прошу без дисциплины не вмешиваться в важный вопрос.— Полфунтиков энергично стукнул карандашом по столу.— Из уездного центра пришла боевая телефонограмма...

Он показал председателям и секретарям исклеванную ремингтоном бумажку.

— Весь Радостно-Лыковый уезд сверху донизу надо покрыть сетью женмитингов и женотделов. Наша волость, как более от центра и отсталая, еще не организовалась. Недаром товарищ Теплый, выступая против нашей волости, сказал нам: «Вам, товарищи, надо учиться грамоте, вы — поголовные невежи, а требуете от крестьянства порядка и сознательности». Пусть население Ненужной волости знает про себя мнение товарища Теплого...

Полфунтиков передохнул, собрался с мыслями и сказал:

— Принесите мне воды.

Расторопный секретарь из поповичей принес из прихожей ведро с водой, к которому была приклепана на цепочке медная кружка.

— Поставь тут на столе, чтобы мне было видно,— сказал Полфунтиков и, отхлебывая воду большими глотками, продолжал:

— Согласно полученной инструкции, женщина — такой же человек, как мужик, только в бессознанье...

Председатели и секретари с удивлением переглянулись.

— Мы должны устроить женотдел,— решительно сказал Полфунтиков.— Это наш святой долг перед Западной Европой и другими организациями. И — короче к делу, как говорит товарищ Теплый...— Полфунтиков взмахнул руками.— Мужеская сторона воздвигла замечательную революцию. А женщина мирно спала в пучине рабства. Теперь спят только буржуи да старый режим. Бабе тоже надо делать замечательную революцию. Во многих городах, даже в международном масштабе, женщину теперь трогать нельзя...

— А сам пятую охаживаешь! — раздался тот же недовольный голос из арестантской.

— Прошу не перебивать оратора во время прений,— строго заметил Полфунтиков.— Разве мы про закон природы открыли собранье?.. Товарищи, берите вот эти инструкции «К женщинам», и каждый должен не покладая рук работать. В пятницу назначен женотдел.

— Ну-ко, просунь и нам парочку,— проговорил кудрявобородый мужик из-за решетки,— поглядим, чего в ведомостях пишут. Может, облегченье какое в налоге.

Полфунтиков пачками раздавал председателям и секретарям листовки.

— Ваши жены должны быть равны с населеньем, даже выше,— подавая каждому по горсти листовок, наставлял Полфунтиков,— так постановил на пленуме центр. Пора бросить дурью смелость: походя садить бабу по ряжке. Действуйте по инструкции. Будите женщину! — как напечатано в заглавье. А я бы на месте товарища Теплого добавил: не ошибается тот, кто ничего не делает. На нас возложена ответственная работа. Подтянемся и — бахнем. Пусть тогда по центру кричат: вот так укурили! Тот же товарищ Теплый, который записал нас в малограмотные... А сам раньше от большого ума на Максимке смазчиком стрелял...

Полфунтиков рассказал, как надо готовиться к митингу, как собирать по селам бабьи сходки, что и как говорить. Председатели и секретари покорно слушали.

— Главное — без хвальши. Главное — следите, чтобы ни одного мужика не было. На ваши сходки бабы приходят? Нет. Какой их черт пустит — только мешать! Значит, и на их сходке чтобы ни души. Без всякой подтасовки. Глядите в инструкцию. А остальное — ерунда...

— Тебя что-то в земляной отдел зовут,— сказал Полфунтикову сторож.

— Не могу,— решительно ответил он,— я занят ответственной работой.

Сторож пристально поглядел на Полфунтикова и крякнул.

— А там сказали: беспременно чичас, чтобы после не обижался.

— Так бы и говорил сразу, что сей минут,— строго сказал Полфунтиков,— беги, скажи: идет. Поняли, товарищи? Инструкции получили?.. Немедля приступайте к ответственной работе. Я надеюсь на вас. Пусть наши враги дрожат в бессильной злобе...

Полфунтиков искал глазами шапку.

В это время со скамьи поднялся обглоданный председателишко — Филипп Удушливый.

— Товарищ Полфунтиков.

— Я — товарищ Полфунтиков, ну?

— Можно мне сказать правду в глаза?

Полфунтиков подумал и ответил:

— Говори, можно.

Филипп Удушливый подошел к столу и отвернул сырую полу полушубка. Штаны на коленях его были продраны. На одной, по грязно-серому, красовалась желтая заплата.

— Видал? — спросил Филипп Удушливый, подымая к лицу Полфунтикова драную коленку.— Старики, видали? — Он подходил к каждому из присутствовавших и показывал коленку.

— Ты это чего показываешь? — спросил кудрявобородый мужик-арестант.

— Колбасу,— сказал Филипп Удушливый.

— Да нет, в самом деле, что за решеткой, дак ты нас и людями не считаешь?

Филипп Удушливый и арестантам показал свои дырявые штаны. Потом обратился к Полфунтикову:

— Я, например, председатель. Первеющее лицо в деревне. А хожу в рваных портках. А волость этого не знает. Волость кричит: давай подать! Дай штаховку! Заплати труд-в-гуж-налог!... Правильно?..

— Ну, пускай — правильно.

Председатель взял Полфунтикова за пуговицу и, потягивая пуговицу к себе, продолжал:

— Кто же меня будет слухаться, когда на мне портки в дырьях?.. А через кого? Через то, что у меня баба —

трепло. А вы — про центру. Я нынче поутру съездил ей в зубы, одну заплатку положила. Завтра — другую. А попробуй-ка вдарь ее опосля женмаски, она ти за Можай загонит...

Филипп Удушливый отвернулся от Полфунтикова.

— Я на эти ваши глупые слова не голосую. А угодно сажать за провинность — ваша воля. Ван Онухрич, отворяй, милый, рестантскую... За мир потрудиться — никто не осудит... Это кабы в сусеке поймали...

Филипп Удушливый сам подошел к арестантской, вынул из пробоя деревянный кляпышек, заменявший замок, сбросил наметку и открыл за решетку двери.

— Потеснитесь, братцы, сколь полагается. Не первый, не последний. Поди, блох у вас тут — море.

Снял рваный полушубок, аккуратно положил его в угол и с удовольствием растянулся на шершавом полу.

— Покойно у вас, не в пример с волей.

Зевнул. Прикрыл глаза ладонями. Тихо засмеялся, крутя головой.

— Дома будут ждать обедать... Вот ти Влас Иваныч Полфунтиков... И из-за чего он, милый, старается, народ мутит: баба сверху мужика... Этого даже в мысли не положишь... Самогоночка нас, самогоночка...

Член сельского совета, молодой малый из красноармейцев, нарядчик, прижался к чуланчику,— влип в него. Наискось, в луже весенней талой воды, баландались ребятишки. Увидев прижукшего нарядчика, ребятишки бросили котят — купали в луже — и, шлепая лаптями, ударились к чуланчику: что-нибудь веселое... Маленький, отставший, в зеленых соплях, отцовском шарфе из английской обмотки, нога — в лапте, нога — в валенке, радостно поволок котят к колодцу. Котята жалобно ныли.

Увидев ребят, нарядчик поднял палку: оборвал рысь. Потом на носках, душа дыханье, пробрался к розвальням и со всего маху треснул спавшую в санях собаку палкой.

— Хальт, доннер веттер, матка боска! — закричал он на всю улицу.

Ребята присели от восторга, а дворняжка, неистово воя от боли и перепуга, понеслась за сараи.

— Хальт, туды т-твою в руссишь швайн! — раскатисто смеясь, кричал ей вслед нарядчик.

Выскочивший на крик хозяин столкнулся с нарядчиком в сенях.

— Мою звезданул?

— А шут ее знает. Аж палка сломалась.

Вперебой хохотали.

В избе, отрывая косую от листовки «К женщинам», нарядчик говорил бабам:

— Ну, бабы, нынче тките, а завтра к ядреной матери из-за кросен: и на вас пришла погибель.

Спиной к нарядчику, свесив через скамью объемистый зад, ткала хозяйская сноха.

— До погибели семь лет, либо будет, либо нет,— не оборачиваясь, сказала она.— Ваши бабы уж небось выткали холсты, а мы до средокресной путаемся.

Нарядчик лег животом на шесток, открыл заслонку, прикурил от горячего пепла и опять сел на лавку.

— Вы царизма держитесь,— сказал он хозяину, кивая в печь,— одни картохи стоят. А мы молоко дуем, черт с ним и с постом...

— Корова не отелилась, гадина,— сказал хозяин,— вот и постимся.

Нарядчик хлопнул молодайку хворостиной по свесившемуся заду.

— А ведь я не шучу: честное слово, завтра бабам на сходку! Хотели на масленой устроить, но отложено в виду нетрезвых обстоятельств товарища Полфунтикова. Из волости — в город, из города — в губернию. Так слышишь? — Нарядчик опять хлопнул молодайку хворостиной по заду.— Подсохнет, девка, ни за что твое имущество!

— Ну-ну, а ты не дюже, а то челноком,— смеясь, сказала баба,— ишь, нашел казенную!

— Она так и зовется — казенная,— сказал нарядчик,— слово твое на месте.

Хозяин опять взялся за шлею, которую чинил.

— Али насчет какого налога оповещаешь? — спросил он.— Трут нашего брата сквозь двух терок.

— Да нет, самделе бабий сход! — с хохотом ответил нарядчик.— Либо куда на работы погонят, либо — прохождение военного устава, собака их знает.

Глаза молодайки стали выпуклыми.

— Да брешешь? — с мольбою прошептала она.

— Брешут собаки да твои свояки,— сказал нарядчик,— растрясут хархары-то.— Нарядчик еще раз похлопал молодайку.— А может, оставят в нестроевой

команде — рубахи мыть красноармейцам... Получай инструкции.

Когда нарядчик вышел из хаты, молодайка в клочки порвала листовку и, упав головой на кросна, залилась слезами.

В другой избе, старообрядческой, нарядчик сухо подал бабам по листовке, спросил, где старуха и двенадцатилетняя девочка.

— Мамка холсты снует на поселке, а Окультя у наставника в книжку учится,— сказали ему.

— Призовите сей минут обоих.

Молодой малый запряг лошадь и привез зелено-горбатую ведьму и девочку с грифельной доской.

— Инструкции,— строго сказал нарядчик, суя листовки.— Завтра в шесть утра быть у канцелярии волисполкома. Сколько всех налицо? — Нарядчик переписал баб.— Девчонкам оставаться дома до распоряженья.

— Нам антихристовы книги не надобны,— злобно прошипела старуха.— Сыми шапку, басурман!

Нарядчик огляделся.

— Будьте свидетели,— сказал он работникам,— оскорбляет советскую власть при должности.

Но старухин внук, молодой малый с медной серьгой, упросил простить старуху.

— Тут у меня есть немного,— сказал он нарядчику, выводя его в сени.

Выпивая самогон прямо из горлышка и закусывая круто посоленным хлебом, молодой малый говорил:

— Ты, брат, хорош, мы от тебя никогда обиды не видали...

— Скажи, чем обидел? — спрашивал нарядчик.

— Ничем,— уверенно говорил молодой малый.

— То-то и дело,— говорил нарядчик,— я всем хорош, на меня, брат, ни одна собака не лает.

Он подумал и добавил:

— А дело — делом. В шесть часов утра чтобы при канцелярии, это у меня твердо.

Молодой малый смотался к соседям и принес еще бутылку.

— Это будет покрепче — с куколем,— сказал он.

— С перцем, ерцем, собачьим сердцем,— засмеялся нарядчик.— Хороший вы народ, сталоверы, только вот советскую власть не уважаете... За это — сволочи.

— Мы всякую власть уважаем,— сдержанно сказал молодой малый,— нам что Гришка, что Микишка... Му-

жик да земля до века, а власть... читал вторую книгу *Ездры?..*

— Поди ты в чертово омуто с Ездрой,— сказал нарядчик,— читал приказ № 1041?.. Землей можете владеть, а паразиты никогда. Паразит — это по-советски: вша.

После этого нарядчик не заходил в избы. Стукнет палкой по раме, аж стекла задребезжат, спросит:

— Хаз-зяин дома?

Хозяин как оглашенный сам выскакивает из избы.

— Дома, дома. По какому случаю?

— Прошу без случаев. Сколько баб? Завтра в шесть утра всех в канцелярию. Провиянту на двое суток. Теперь иди в хату.

— Да ты погоди, милый! Ты — толком.

— Прошу не задерживать.

— Да как же, например, у меня баба брюхата.

— Я сам, может, брюхат. Сказано: в канцелярию.

У избы лодыря:

— Слышишь али нет?

Молчание.

— Начинаю окошки бить! Господи, обослови...

— Да слышим, чего привязался? Кабы здоровье...

— Я ти вылечу, сукина сына! — Треск по раме.— Продналог вывез?

— Тот-то его вывезет...

— Вели бабе завтра приходить сидеть за это.

Тотчас же в дверях появляется растрепанная босая образина с перьями в голове.

Восхищенно:

— Неужто и на баб пришла погибель?

Нарядчик уверенно:

— Теперь всем гражданство.

— Вот за это спасибо. Вот это порядок! — Образина от удовольствия подпрыгивает.— Пускай, сволочи, узнают, как наш брат потел, пить-есть хотел...

У вдовы, с края села, обессиленный нарядчик попросил картошек.

— У нас никогда не варят таких рассыпчатых,— говорил он, уминая одну картошку за другой.— Теперь меня дома ищут.

— Поищут да бросят, не иголка,— смеялась вдова, садясь с нарядчиком рядом.

— Это уж обязательно. Ты на эту сходку завтра не

ходи: глупость, угонят еще окопы рыть. Вот поужинаем, да на печку,— ладно? А там само дело покажет, как быть.

Оба захохотали, увесисто хлопая друг друга по спине.

В волисполкоме, в кабинете председателя, обрушилась печка. Не было денег исправить ее. Кабинет председателя с неделю не отапливался. Было холодно и сыро. И промозгло от крепкой махорки. От махорки даже стены кабинета стали черными.

В кабинете председателя члены волисполкома и местные шкрабы,— шкрабов было семь, они были в валенках, нагольных полушубках, зеленолицые,— в кабинете обсуждался вопрос об организации при волости детского сада и «других культурных начинаний», но, главным образом, детского сада. Летом в страду детей рвали свиньи, дети тонули в помойных шайках, в гнилой речушке, поджигали деревню, детей топтала скотина, дети, как мухи, гасли от дизентерии.

— Знаете,— говорила учительница, горячо прижимая худенькие руки к груди,— знаете, как будут счастливы матери? Даже неважный, даже маленький садик, даже один призор спасут не одну детскую жизнь...

— Да, вы правы, да,— задумчиво кивал ей председатель волисполкома.— Да.

Его знобило. Тяжелым, липким свинцом было налито усталое тело его. Он до боли сжимал скрещенные под столом пальцы, пересиливая лом в висках. Подмышки саднило от насекомых: неделями председатель спал, не раздеваясь, в своем кабинете — не было времени съездить домой, сменить белье.

— Какой в жизни сдвиг, какой простор для работы,— говорила учительница, а другие шкрабы молча согласно кивали ей землисто-зелеными лицами.— Только помочь проснуться самодеятельности народной. Ведь мужики же хорошие! — застенчиво улыбнулась она.— Они только запуганы жизнью, прошлым...

— Я знаю,— тихо сказал председатель.

— Вы, голубчик, помогите нам,— говорила учительница.— Я знаю, вы задушены работой, устали, вам отдохнуть бы надо, но это потом,— правда? Вы не откажете?

— Нет.

— Вот и хорошо. Быть может, наладим библиотеку,

спектакли... Масса же молодежи, ее надо заинтересовать, втянуть в работу... Мы устроим культурную ячейку...

Председатель взял худенькую руку ее и крепко пожал.

— Я буду помогать вам, Катерина Борисовна! Если взумею.

Иронически улыбающийся Полфунтиков воскликнул:

— Ого, дело идет на лад. Крой, пред, бога нет! Жми покрепче!.. Я думал, ты насчет этого слаб!..

Учительница испуганно обернулась и сказала с досадой:

— Какой вы пошляк, Влас Иванович!

— Еще бы,— сказал Полфунтиков,— кабы я с вами в музыки наяривал, ну и все такое прочее, да жалобно поддакивал всякой ерунде,— Полфунтиков покосился на председателя,— тогда бы я был первым вашим ухажером... А революция пускай пропадает на высоте своей задачи? Это ловко! А между прочим, женмасса тоже погибает, а об этом вам наплевать...

— Женмасса без вас не погибнет, уверяю вас,— сказала учительница.

— Вы думаете? — насмешливо спросил Полфунтиков.— Еще посмотрим.

Входя, бабы искали глазами иконы, но их не было в волостном присутствии.

— Матушки, и отсюда, кобели, всю святость вышвыряли!..— Одни крестились на кафельную печку, другие — на шкаф с делами, большинство — на дверь председателя волисполкома, где раньше висели бога,— железные клыки, поддерживавшие «святость», и теперь еще торчали из серой штукатурки.

Мужиков не пускали в присутствие.

— По случаю нынче бабьего исполкону,— говорил сторож Ван Онухрич,— например, запела свинья анхиреем.

Хохотал в лохматые мужицкие лица.

— Случай такой уж был. Только при старых режимах. Пришел раз мужик со сходки. Попросил есть. Баба спрашивает: «Пошто, старик, наряжали на сходку?» — «Да дела, грит, плохие: новые законы уставляют, чтобы в доме хозяином не мужик, а баба, земский начальник вычитал». У той аж зубы затряслись. «Да неужто

взаправду?» — «Взаправду, грит, видно, такая несчастная планида на мужиков. Ну, только, грит, не всем бабам, а которая при сходе закинет ногу за ухо, вот так»...

В прихожей раздается взрыв хохота. До слез смеются мужики, бабы, ребятишки. Брызгая слюною, хохочет председатель волисполкома. Худенькая, в рубцах, старуха стыдливо уткнулась мокрым носиком в рукав полушубка. Смеются две миловидные бабы, с заплаканными лицами. Тоненько и звонко пищат белоголовые внучата Ван Онухрича.

К полдню присутствие набили до дверей.

Взволнованный Полфунтиков с трудом протискивался между баб. У окон и в дверях стояли сельские власти. Потные бабы тяжело дышали.

— Что ж ты, долго их будешь мучить? — спросил Полфунтикова председатель волисполкома.— Которые есть уже плачут.

— Странное дело,— ответил Полфунтиков,— не шутки собрались шутить. А нехорошо, так сам бы взялся за руководительство женмассой. Впрочем, я всегда с вами не в солидарности.

— Еще бы,— насмешливо проворчал председатель волисполкома,— кабы вместе солдаток охаживать да самогон курить...

Укоризненно глядя на председателя, Полфунтиков сказал:

— В Пугачевской волости все партейные записались в женмитинги, а у нас даже из помещения гонят да глаза брехней трут,— спасибо за агитацию!

Обиженно хмурясь, он достал из-под дивана связку листовок, плакаты о внутреннем займе, журнал исходящих бумаг, волостные посемейные списки.

— Это уж — извините! — закричал секретарь Горизонтов и вырвал у Полфунтикова журнал исходящих бумаг.— Намедни потерял продналоговые списки, довольно!

— А на черта они? — сказал Полфунтиков.— Мужики сами знают, кому сколько платить. Подумаешь, важную беду сделал — списки потерял! А может, я их искурил!.. Вот про вас бы с председателем в Центральных Череповецких Известиях пропечатать за соглашательство, вы бы попрыгали!.. Я намедни читал, как там одну потребиловку крыли...

В самом дурном расположении духа Полфунтиков вышел из кабинета председателя.

— Посторонитесь,— громко воскликнул Ван Онухрич, очищая ему дорогу.

— Ничего, ничего,— проговорил Полфунтиков, упираясь локтями в бабьи груди и животы,— в тесноте, да не в обиде. Полегче, товарищи-женщины, поаккуратней, а то вы у меня политические документы рассыпете.

Он бережно прижимал к груди листовки, плакаты, пресс-папье и «Вестник Российского коннозаводства» за девятьсот тринадцатый год.

Как рожь под ветром, бабы волнами плескались по присутствию, пыхтя, охая, с выпученными от тесноты и спертого воздуха глазами.

Полфунтиков пробрался к столу, оглядел пестрое месиво бабьих голов, качавшихся и приседавших, как зыбь, громко и внятно бросил:

— Здравствуйте, дорогие товарищи!

Передние бабы обернулись к дверям, полагая, что Полфунтиков здоровается с кем-нибудь из приехавших начальников.

— Это я вам говорю: здравствуйте, дорогие товарищи,— надо понимать! — сказал Полфунтиков.

Бабы засмеялись.

Полфунтиков строго посмотрел на них.

— Поди здорово, батюшко,— печально промолвила худенькая старуха, стоявшая впереди всех.

— Раз мы собрались на заседание и будем заниматься государственным делом, надо потише,— продолжал Полфунтиков.

— Тише, вы, овцы! — закричал на баб Ван Онухрич.— А то живо к чертям повытурю отсюда!

Полфунтиков удивленно поглядел на сторожа и спросил:

— А ты зачем присутствуешь на женотделе? Ишь ты, нашелся председатель райконторы! Уходи подобру-поздорову... Еще кричит тут шибче всех!..

— Они, дьяволы, окошки поколотят,— сказал Ван Онухрич.

— Сам дьявол! — раздраженно крикнула какая-то баба.

— Правильно,— сказал Полфунтиков.— Товарищи-женщины, председатель сельских советов вам уже объяснили, что вы по инструкции центра — такие же люди, но только спите в невежестве.— Он потряс над головою листовкою: «К женщинам».— И нечего теперь обращать внимание на старых дураков.

— Так, по-твоему, я — дурак? — спросил Ван Онухрич.— Спасибо, спасибо! Это, стало быть, за то, что я имею от государь императора два Егорья за храбрость? Лов-ко! А можно сказать: от дурака слышу.

Полфунтиков распорядился, чтобы сельские власти немедленно вывели Ван Онухрича из присутствия. Внучата сторожа громко заплакали. Лица баб стали тревожными.

— Ну, пойдем, што ли! — говорили сельские власти, беря Ван Онухрича под руки.

— Куда? — свирепо спрашивал тот.

— Куда? В колидор. Велено вывести!

— А в рыло желаете? — спрашивал Ван Онухрич, вырываясь.— Меня сам исполком уважает.

— Это нам не известно. Иди без греха.

— Я буду придерживаться характера товарища Теплого,— обратился Полфунтиков к бабам, указывая на выводимого сторожа.— Делать, так на ять, без запятых, а кто не с нами, тот против нас,— кажется, понятно? Вас тут несметная сила, дыхнуть нечем. До каких же пор мы будем корячиться да ждать, когда вы придете в сознание? Писали, приказывали, а все без толку. Люди выбиваются из сил, делают замечательную революцию, а вы, самдель, как овцы... Ну, эта поблажка прошла, довольно, мы вас приведем к Исусу!..

— Не пугай! — крикнул в раскрытые двери Ван Онухрич.— Все равно с тобой буду судиться!..

— Да что это вправду такое? — загалдели бабы.— Пошто прогнал? У нас дома скотина, печки не топлены. Бабы, пойдемте!..

— К порядку! — крикнул Полфунтиков.— Это кто сзади зявит про контрреволюцию?

— Все галдят, как белены объелись,— ответила старуха.

— И даже чересчур глупо. Сперва надо выслушать, а потом галдеть.

— Тебе хорошо — мужиковское дело. А ну-ко у меня хлебы перекиснут! — продолжала старуха.

— Не мешай, бабка! Али Николай по сердцу?..

— Что ты, милый, мне теперь что Микалай, что Гаврил,— тьфу! Об сырой земле думаю.

— Все вы думаете! Через то нет и ревдисциплины, что царизм уважаете. Вы знаете, что по всему уезду открыты женмитинги? Не знаете. Только у нас не бросают приверженности. А благодаря, что есть такие това-

рищи, даже занимают высшие оклады.— Полфунтиков многозначительно поглядел на закрытые двери председательского кабинета.— Им — хаханьки да хихиньки, на женмассу они, можно сказать, харкают. Я не буду называть фамилии, догадайтесь сами, кому спичка в нос.

— Жене твоей,— сказала молодая беременная красноармейка.— Почему мне не даешь способию?

— Вот так сказала! — засмеялся Полфунтиков.— Что я, кую деньги-то?

— Нет, ты их пропиваешь, утроба ненасытная, Феньке Рыжей носишь! Бабы, лупи его!

— А ну, тронь,— насмешливо сказал Полфунтиков.— Антанта заявилась! А, между прочим, есть у тебя мандат?

Глаза красноармейки стали круглыми.

— Что-о? Ты что сказал? — прошептала она, бледнея.— Ты что сказал при народе? — И в тот же миг по присутствию раздался звонкий звук пощечины.— Еще?

— Да ты сдурела? — спросил Полфунтиков, хватаясь за щеку.

— А ты нас срамить согнал? — спросила красноармейка, опять размахиваясь.

— Товарищ Горизонтов! — закричал Полфунтиков, закрываясь от бабы «Вестником коннозаводства».

В открытых дверях кабинета, прячась за баб, секретарь и председатель волисполкома приседали от хохота.

— Хорошенько его, хорошенько,— шепнул председатель.

— Тащи на улицу! — заверещали бабы.— Снегу ему в портки!

— Бей!..

— Караул! Милиция!.. Товарищ Горизонтов! Товарищ исполком! — вскочив на диван и отбиваясь от баб ногами, кричал растрепанный Полфунтиков.

Но бабы стащили его с дивана.

— В начальство влез!

— Ишь, охаверник, насмех собрал!..

— Да еще хочет гнать в город окопы рыть!..

— А дома ребятишки дохнут!..

— Книжкой-то его, книжкой по голове!..

Кто тряс Полфунтикова за волосы, кто колотил кулаками по спине, кто — «Вестником коннозаводства».

— Крой!.. Мажь!.. Так его, кобеля...— восхищенно ржал Ван Онухрич.— По рылу-то, по рылу прилаживай!..

Вечером истерзанный Полфунтиков писал в уезд:

«Через то, что у нас контрреволюция, то прошу сделать обыск у председателя, каждый день притворяется партейным, а в хате — «боже царя». Ну, между прочим, женмасса на кулацкую удочку не подходит. Народу было очень много и ошиблись только в «Интернационале», кроме меня да секретаря Горизонтова, никто не умеет петь. Но в виду, что Горизонтов в соглашенье с председателем, а самогон не переводится, пел я почти один, а женмасса и окружное населенье слушали. Товарищ Теплый, Алексей Амельянович, приедучи в нашу волость, не уличит нас баранами, а останется в сочувствии. Некоторые женщины даже плакали. А кабы я был с помощниками, все бы плакали. Но этому время будет. Только надо председателя убрать, это я пишу тайно. А Горизонтов чтобы мне подчинялся, и я ему запрещу носить очки, чтобы не изображал. Литературы присылайте еще, в три секунды женмасса налегла — и даже ни листика.

Влас Полфунтиков.

Но только мне фамилия не нравится, а лучше — Влас Непобедимый».





НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Очерк

Было так.

Был период казенного увлечения колхозами. В деревню приезжал какой-нибудь паренек в чудовищных галифе с обшитой кожей задницей — под кавалериста, как коновал, обвешанный разными инструментами: наган, бинокль, полевая книжка за сеткой, портупея, стэк или хлыст в руках и неизменный френч военного образца с раструбами. Чаще паренек не был военным, инструменты напяливал по моде. Паренек выступал на сходке с речью о международном положении. Потом речь сводилась к тому, что буржуи и прочие контрреволюционеры достаточно сыты крестьянской кровью, теперь им самим производится кровопускание.

Мужики внимательно слушали и говорили:

— Ну, конешно!..

Паренек предлагал сровнять с землей змеиные гнезда, а на месте их построить «царство трудящих».

Мужики говорили:

— Где нам? Мы бесписьменные.

Паренек говорил:

— Это одна глупость, что бесписьменные, зато и постройка, и весь инвентарь, и скот, и земли, и угодья, и лес отойдут вам бесплатно. Живите, трудитесь, земотдел вас не забудет, на то и революция в мировом масштабе. Ну только, конечно, товарищи крестьяне, работать придется сообща, потому что помещичья ваканция кончилась: теперь не Керзон и Гришка Распутин, а мужицкая ваканция начинается, я, товарищи крестьяне, сам мужик...

Мужики говорили:

— Куда нам! Ну тебя в болото с ваканцией, за постройки-то да за землю отвечать придется, когда Ленина сменят.

Но находились «ироды», и «жадобы», и вертихвосты. Ироды, жадобы и вертихвосты кое-что соображали и говорили пареньку:

— Мы, товарищ, это обдумаем. Ты — галка, мы — палка. Ты поточил зубы да улетел, ты за это жалованье получаешь, а палку сколь кверху ни бросай, она опять на землю падает. Мы это обмозгуем. Поезжай себе с вашим удовольствием в город, а мы прикинем так и этак на бердах. А после наведаемся.

Прикидывали так и этак на бердах. «Организовывались». Землемерам и землеустроителям возили в город яйца с салом, и вскоре в змеином гнезде возникала трудовая сельскохозяйственная артель «Красный пахарь», или «Красный серп», или «Красная поляна», или «Беспощадный гнев революции»,— с уставом, планом работ, руководящим выборным органом. Устав и план работ аккуратно завертывали в тряпицу и клали в сундук, на дно. В поле, на границах, ставили межевые знаки, и мужикам, односельчанам, однопохлебочникам своим недавним, говорили:

— Ребята, слухай, что скажем: мы теперь — казенные, поняли? У нас и гумаги в порядке: печать — серп с молотом — и подпись красными чернилами. Ребята, теперь ежели ваша скотина зайдет на нашу землю, милости не просите. Сват, брат, родня,— милости не просите...

— Стало быть, на змеиную ваканцию? — кричали им.— Стало быть, перескочила курица али овца — голову ей прочь?

— Нет, мы не на змеиную, мы — царство трудящих... Что вы, ребята, зря губами шлепаете? Сказано: отца родного не пожалеем!..

В гостиных и кабинетах барских складывались слоноподобные печи, поперек «комнатей» протягивались веревки, на веревках сохли гнилые пеленки. А инвентарь и лес приводились в порядок.

— У тебя, Аким, семь душ-то?

Аким, из тех, что любит говорить: «таё, таё, по-божецки... таё, по правде»...— Аким говорил:

— Таё, семь. Да молодайка, таё... брюхата. Восемь. Да приемыша хочу, таё, подыскать... сироту какую-ни-

будь безотрадную. Девять. Вы глядите, давайте мне на девять душ, а то, таё...

— Девять. Тебе, Аким, вырежем земли на девять душ. Ладно. Дело в наших руках. Еще, Аким, тебе надо хату? Хату тебе, Аким, на девятерых надо просторную. Надо десятерик с теплушкой... Ну, подходи-ко, Ван Горыч. У тебя, Ван Горыч, народу четверо? Тебе хату без теплушки, семнадцать венцов... Четыре десятка — сорок, да четыре семитки два десятка восемь штук: шестьдесят восемь дубов тебе, Ван Горыч... Ну, да на потолок, да на пол, да матицы, да притолки, да косяки, да лутки, да подсошки, ну, одним словом, Ван Горыч, сотню дубов пили, какие приглядятся, а больше не пили... Тебе, Охрем, надо гнедых коней, гнедые тебе ко двору,— бери гнедых. А я возьму саврасого да эту — «Лорду», на которой граф ездил: у меня Васятка дюже охочий до «Лорды».

Через год, два от имения оставались пни. А вместо коммуны в бывшей усадьбе торчали подслеповатые избы, крытые соломой, хлевы, клетушки, подклети, погребицы,— весь тот жалкий, скверный, скверно сколоченный и пригнанный мусор, детище их бывших лачуг в деревне, с которыми, как с грязью и вшами, они сжились от Гостомысла.

А в облупленный, раскрытый, зияющий оскалами разбитых окон помещичий дом ироды коллективно ходили «до ветру».

Так было. Так создавались и гибли в деревне, в период казенного увлечения коммунами, разного рода колхозы, трудовые артели и товарищества.

— Жулики, шут их возьми, рвачи,— смущенно говорил мне весною 1921 года заведующий уземуправлением, брянский рабочий, поклонник коммун.— Пока дело не сделано, кусок не схвачен, галдят, суют под нос уставы, хвалятся общей обработкой, хватают инвентарь, землю, деньги, а через год — делятся и бьют друг друга по мордасам из-за гнилой шайки или охапки хвороста. Из трех десятков коммун у нас в уезде осталось три, и те на ладан дышат. А остальные рассыпались как труха... Нет, мужик еще не дорос до коллективизма. Его еще надо варить, тесать, лудить, чистить суконкой с песком...

Так говорил «завузу», и было досадно слушать его складные речи, хотя в словах его было много правды. Но эта правда как-то нелепо переплелась с ерундой, до-

пущенной теми же земорганами, в частности — ретивыми парнями в чудовищных галифе, смертными любителями докладов о международном положении. Земорганы выступали в новом строительстве деревни в качестве богатых дядюшек-благодетелей, усердно и неумно нянчась с мужиками, с их непомерной жадностью, безрассудно бросая на ветер, в прожорливую пасть иродов, государственное добро. Не было крепости, хозяйственного подхода, экономической заинтересованности, примера. Не приехал никто в деревню,— хотя бы тот же «завузу», поклонник коммун,— не растолковал по-хорошему, не расшевелил бедноты, не сделал нужного подбора, не указал путей. Спешили с насаждением нового быта, отписывались, на бумаге все выходило складно и гладко, а новый быт, под злорадный хохот зарубежников, разваливался или принимал дикие формы.

Нужно было изыскать новые тропы, с иным подходом.

И изысканием этих новых троп, с помощью того же «завузу», в одном из сел Орловской губернии, в 1922 году занялась группа крестьян.

— На своей работе,— говорили они,— мужик трясется над каждой былинкой, над каждым навильником навоза, подбирает каждое упавшее зерно. Он до жадности бережлив. Он вложил в землю семена и тяжкий труд и ждет за это от земли вознаграждения. Он хранит и лелеет ниву. Надо, чтобы он дрожал над каждым колоском и над каждой травинкой и на общественной ниве. А это возможно, когда мужик прольет не один ушат пота над общественной нивой, прежде чем получит урожай. Тогда он будет знать, что это по-серьезному, по-настоящему, что земля и урожай этот — его труд, а не дармовщина, перепавшая от смешных и странных городских человеков, беспутно разматывающих народное богатство. Он будет знать, что никто в мире не отнимет у него труда его. И он примется с яростью за дело. Пока других подходов к мужику не может быть. Только материальная заинтересованность да гарантия со стороны закона и власти...

Так рассуждала эта группа, сама — мужики.

Она приглядела заброшенный участок в 100 десятин. Участок находился в пяти верстах от селения, за запольной надельной землей. Он частью состоял из болота, частью из пустоши, давно заброшенной и выморенной, не дававшей урожая. Группа организовала мелиоратив-

ное товарищество — «Лимиратив», как потом называли его мужики.

В начале лета группа открыла запись в члены товарищества. Дело было на общественной сходке.

— Граждане, у нас по соседству пустует участок земли. Он заброшен и не приносит дохода. Если на этой земле потрудиться, осушить болото, сровнять кочкарник, удобрить и распахать землю, она сторицей вознаградит наш труд. Мы страдаем от бескормицы. На дом мы не собираем двадцати пудов сена. А если эту разработанную пустошь засеять культурными травами...

Мужики удивленно подняли брови.

— Это что же за культурные травы?

— Клевер, тимофеевка, люцерна...

— А не полынь с татарником?

— Нет, клевер, тимофеевка...

— А кондратьевки с акулинихой нету?

По сборной избе проносится хохот.

— Тебя в клетку бы за хорошие песни, да чистить затруднительно!

— Распашем кочкарник, высушим, а потом на его положат пудов тыщу аренды?

— ...Наложат не больше, чем платим за надельную землю...

— Спасибо на добром слове, скоро и от надельной откажемся.

— Не все такие прыткие. Кто желает записаться в товарищество?

Молчание.

— Василий Матвеич, записывайся, ты человек с понятием, трудолюбивый,— обращается «оратель» к пожилому крестьянину-хозяйственнику.

— Что я — муху, что ли, съел? — раздраженно отвечает Василий Матвеич.

Сход еще громче хохочет.

Потом мужики один по одному расходятся.

— Нынче нам на сходке Пет Ваныч таку прытку загнул, умерли со смеху,— говорят они бабам.— Вот черт, потешный!..

Но черт потешный на второй день опять собрал сходку и долдонил с ними до ночи.

— Да ты что — жалованье, что ли, получаешь от «них», что ты бесишься? — удивленно спрашивали мужики.— Что ты нас от работы отбиваешь?

— От вас буду получать жалованье: вы меня выберете председателем правления.

— Ого, держи карман! Аль затошнило пахать-то?

— Тошно глядеть на вашу худобу.

— Еще бы... благодетель нашелся!..

Но черт все-таки сбил мужиков войти в товарищество.

— Главное, землю жалко, золотая земля, а она — как солдатка непригретая,— бормотал он.

Сбить помогла молодежь, красноармейцы, партийные — весь тот маленький, незаметный, но плотный кусочек нового, который медленно, часто с мучительными усилиями, прослаивает темнолапотную деревенскую толщу.

— А как будем владеть землей: сообща или всяк по себе? — стали допытываться крестьяне.

Черт дал обязательство «узу» ввести коллективный труд, но мужикам дипломатично говорит:

— На это воля ваша, как постановите, так тому и быть.

— А то я буду ломать хребет, урожай снимет арап? — трясет кудельной бородою старик.

Черт, переглянувшись с своей группой, повторяет:

— На это воля ваша: как постановите, так тому быть.

— А быть, пиши: Миколай Домнин,— говорит старик.— Ай мы хуже вас? Пиши подряд, не спрашивай, хрен ли их спрашивать? Мужики, все согласны?..

Группа рада. После схода намечает план работ, волнуется. Но утром — как удушливый смрад:

— Умен! Перед «куманьками» выхваляется! Знаем мы эти подходы: на языке мед, а под языком лед. В коммуну записывает, лопни его утроба! Ни в жизнь!..

— И замарай меня, замарай, пожалуйста, и чтобы ни духу, ни звания моего у тебя на гумаге не осталось!.. Ну-ко, что выдумал: в коммуну ему захотелось, и нас туда топить!.. Да ты при мне замарай!.. Может, они тебе за это тыщи платят, а мне потом пропадать с семейством!..

Это — уж агитация попов и бывших членов «союза руцкого народу», украдкою блюющих ядом.

— Он же сам коммунист. Это ему только стыдно перед народом объявиться, он же в их, анчихристову, дудочку дует!.. А вы, бородачи, поверили? А если опять

Деникин? Или государь император? Вы думаете, государь император расстрелян?..

В товариществе осталась горсть смельчаков. Остальные побоялись государя императора. Тут были и бедняки, и середка на половине, и «пролетария», которым «нечего терять, кроме своих цепей», и два-три мужика покрепче: всякой твари по паре — люди, объединенные одним желанием трудиться, холить землю, быть сытыми.

— Ну, ребятеж, теперь и мы — казенные, только без приданого,— говорил им Пет Ваныч,— надо наживать приданое. Не подгадь!..

— Бреши еще! Мы — свои! — орали мужики.— Мы не казенные. А то к чертям всю обедню и попу по рылу!..

— Ну, ладно, свои, свои,— успокаивал их черт.— Таких, как вы, и в казну-то не примут.

Участок разделили на восемь полей. Каждое поле — на сорок делянок: по числу сорока членов товарищества.

Спорили и кричали из-за восьмиполья.

— Озорство! Отцы наши на трех жили, да хлеб ели!

— Ладно, поживите на восьми.

— Озорство! Ты нас в коммуну тянешь!

— Куда вас в коммуну с такими хайлами... Разве коммунизм помойная яма? Молчите уж...

С бранью, потом со страхом, что труд пропадет даром, с тайной надеждой, авось Советская власть лопнет, тогда земля останется за ними, началась разработка.

Два года хрипели мужики и лошади, прорывались канавы, срезались кочки, ломались плуги, бороны и спины, распиналась на все лады мать.

А через два года участок нельзя было узнать.

Там, где уныло трепались полынь да татарник, где над ржавыми болотными кочками тоскливо плакали чибисы, там темным золотом колыхалась рожь — первая проба. Зелено-матовыми волнами переливалось просо. В зеркале льна отражался кусочек голубого летнего неба.

Мягко, любовно, как по перине, по черному бархату пашни ступал мужицкий лапоть.

— Земля-то — малина. Аж чудно! — удивленно бубнили мужики.— Ну, зато и спину поломали, туды т-твою мать!.. Теперь обязательно отнимут землю, помяни слово. Либо задушат налогами.

Но — землю не отняли. Не задушили налогами. Приехал из Орла худенький человек в очках, оглядел поле, покопался в земле, щупал и мял в бледных пальцах землю, набрал пучок сорных трав.

— Это вы в два года сделали? — спросил он, еще раз оглядывая поле.

— Так точно, кишки рвались! — загомонили мужики.— Никак невозможно отбирать землю!..

— Вы сообща трудились, артелью?

— Никак нет, товарищ огролом, разве с баранами можно сообща? Работали всяк свой паек, на совесть... Пет Ваныч сказал: робята, на совесть — ни один сукин сын не отымет трудов, пускай хоть сто огроломов приезжают, даже из-за границы... Артель — это лежебокам. Видал «Пахаря»? Прошлогодний хлеб еще не молочен. А мы, туды т-вою душу-мать, аж соль на морде выступала!.. Это будет даже бессовестно, ежели отнять землю!.. Она нам, можно сказать, кровью досталась,— понял ай нет?

— Да я и не собираюсь отнимать,— удивленно сказал человек в очках.

— За это — покорно благодарим.

Человек в очках подозвал председателя и сказал ему:

— По качеству почвы, Петр Иванович, местоположению и другим условиям вам хорошо бы тут сеять культурные травы на семена... Тем более, республика так нуждается в них.

Мужики навострили уши.

— Это, граждане, очень выгодно, не бойтесь,— обратился к ним человек в очках.

Он достал книжечку, почиркал карандашом.

— Вот. Десятина клевера, в среднем, дает пятнадцать пудов семян. Сейчас клевер расценивается по двадцать пять рублей. Смекните. Разве десятина ржи или овса даст вам триста семьдесят пять рублей дохода?

— Тридцать! — воскликнул кто-то.

— Вот видите?.. Помимо клевера, у вас можно сеять райграсс, тимофеевку, семена вам на льготных условиях отпустит губзу... затем мятлик, пырей, лисовост, ежу сборную... Согласны?..

— Согласны. Пожалуйте, товарищ, чай простынет.

Агроном после чая уехал.

— Черт тебя принес, ежа сборная, дурак разбор-

ный... пошел крутить, пустая мельница... Тут бы на лето овса — море.

— А землю отняли бы — лучше?

— То-то и беда — хвост увязили.

— Погоди, ребята, а может, и не плохо? Пет Ваныч, как по-твоему: плохо или не плохо?

Прошло еще два года. В июле 1926 года я был на участке. Выдался погожий, солнечный день в это дождливое лето. Мы ехали с Пет Ванычем на дрожках-бегунках. Дрожки швыряло по колчам. Вороной лоснящийся рысак быстро мчал нас по ржаному крестьянскому полю. Оно было жалким. Тощие, вымученные колосья забила лебеда и лягушатник. Местами пестрели зеленые плеши. Местами из-под корня тянулся новый «подход», обессиливавший ниву.

— Будет голод,— сказал я.

— Да,— беспечно ответил спутник.

Минут в двадцать мы проехали пять верст и остановились на углу «лимиративного» участка. И я не верил глазам. Кочки, ржавь, чибисы, «укажи мне такую обитель» — где все это? Передо мной лентой, на три-четыре версты, зыбясь, тянулось серебристо-зеленое, золотое, ярко-розовое, ярко-шафранное прелестное море, колос к колосу, стебель к стеблю, уже негде пролезть.

— Ну как? — ржал черт.— Неплохо? Двадцать копен с десятины верных. Двадцать раз по семи пудов. Что, сударь, скажете? А поглядите-ка наш овес — ого!..

Мы подъехали к овсяному клину, и словно лес рябины разостлался перед нами.

— Шатиловский, брат, высокосортный!..

Черт соскочил с дрожек и вырвал прядь овса. Он был сорока вершков.

— Тростник, не овес! По пятьдесят двойников на соломине, ведь это — сам-сто!..

И, как в насмешку, налево по рубежу тянулись крестьянские чахлые гречихи, овсы, вика, забитые осотой, сурепкой, куколем, синецветником и мышиным горошком. Словно злокачественными язвами, поле было изъедено пустующими полосами, покрытыми сорной растительностью: то были бедняцкие недосевы.

— В чем тайна и сила? — думал я.— Та же земля, даже хуже, те же руки и орудия производства, те же климатические условия...

— Вот оно, брат, артельное дело-то,— как-то тихо, по-серьезному, бросил Пет Ваныч.— Воля, соревнова-

ние, взаимопомощь. Мы уж второй год коллективно работаем. И прекрасно идет дело, сударь мой!..

— Неужели добились?

— Жизнь, брат, заставила. Черт знает, сколько времени пришлось обламывать — тихо, исподволь. Мужики же не идиоты, они только напуганы и — жадные. И в этом виновата наша подлая история. Приходилось на примере, на опыте доказывать преимущества артельной работы. Учли... Первые годы наше поле тоже было пестрым, как это.— Черт указал на надельную землю.— Тот захворал и не вовремя посеял, у того лошадь стала, третий бросил в землю навоз вместо семян,— разве за каждым углядишь? И было лоскутное одеяло... Приходилось, как дятлам, долбить в точку, делали опыты... Разумеется, правительство крепко поддерживало: второй год мы, по декрету, не платим налога, губземуправление ссужает нужными семенами. Мужики это великолепно поняли... А главное, конечно, не надо заставлять их дуть в новую дудочку, пусть они приглядятся и сами потянутся к ней.

Черт дернул головой и спросил, тыкая вперед кнутовищем:

— А это чудо видали?

Мы подъехали к участку, покрытому какой-то просовидной растительностью аршина в два вышины.

— Это, брат, заграничная гостья — суданка, нынче весной выписали из Харькова. Глядите, сколько будет сена: пятьсот пудов с десятины... И какого сена!

Жирные, темно-зеленые стебли с узкими, лентовидными листьями мягко шелестели. Я вошел в середину суданки: она была мне по грудь.

— Пилами будем пилить! — хохочет черт.— А поглядите, как ее скот любит!.. Послезавтра косить. Два урожая соберем. Завалимся сеном, хоть печи топи...

Кочки, ржавь, чибисы, обитель...

Едем наискось по отцветающей вике на семена. Жеребец еле передвигает ноги, так она густа и высока. От вики поднимается банный, напитанный запахом увядающих цветов пар.

По три-четыре раза переваливаем землю. Сил не жалеем. Зато и голодать не будем. А те, что государь императора ждут! — Черт весело захохотал,— те последние портки нынче спустят!.. Ах, погодка-то славная!..

Он снимает засаленный картуз и вытирает пот.

— Хорош жеребчик? — Наш, лимиративный... Молодежь у нас — молодца!.. Прямо сказать — золотые ребята. И черт знает, откуда у них смелость, задор, глотки широкие!.. Все сопляками да замухрышками росли. А теперь только и скажешь: ребятеж, это необходимо революции! — зубами загрызут... Прекрасная, честная, золотая молодежь!..

Мы в небольшом логу.

— Сейчас и на работу гляньте, у нас покос,— говорит Пет Ваныч.— Ну-ка, милый! — Он осторожно шевелит вожжами. По картофельному полю, подбрасывая на бороздах, жеребец выносит нас на взгорье, и глазам нашим представляется картина.

Поле покрыто ровным розовым снегом. Летний воздух горяч, пропитан медом. Поле бескрайно. Вправо, над серою пашней, кружатся кобчики. В бороздах изнемогают от зноя грачи. Ни кустика, ни звука, ни тени. Только колышется и слабо звенит золото ржи да млеет розовый снег цветущего клевера. Фыркают и бьются от слепней стреноженные лошади. Иногда тишь, марево, истому оглашает дружный, громкий хохот. Перед нами полста мокрых от пота рубах — синих, желтых, голубых, бесцветных — мерно взмахивают рукавами, как по команде, склоняются набок головы; вдоль шеренги проносится равномерный всплеск рук, звон стали, стон падающей под косой розовой пены. На миг поле замирает в истоме. Потом снова взмах рук, плеск трав, крик боли. Ровными душистыми грядами позади косарей ложатся розовые ряды.

— Го-го! — в восторге ржет черт, махая картузом.

— Го-го! — кричат ему в ответ, махая косами.

Кочки, ржавь, чибисы, обитель...

— Закуривай! — орет черт, осаживая жеребца.

Шум, крик, закуривай, старик! — несется по рядам. Один по одному, вытирая на ходу соленый пот, к нам подходят веселые, усталые мужики. Бросают косы.

— Здорово, Буденный! — говорят они черту.— Что ж ты проспал, едри твою двадцать, время — обед?

Глядят на палящее солнце. Опускаются на теплые ряды. Жадно, с наслаждением, курят самосад.

— А ведь у вас настоящая коммуна,— говорю я.

— Ну, так что ж, страшным словом не запугаешь! Видал, сколь отмахали за утро? — Пожилой, черный, как галка, мужик показывает на скошенный участок.— Видишь? Да я бы один издох тут с тоски!.. А то с шут-

ками, да с песнями, да гармонь вон под рядом валяется... Да невозможно приравнять к артели!..

— А помните, боялись коммуны?

— Мало ль что! Небось твоя мать девкой тоже боялась выходить замуж! — грубо хохочет он.— Ну-ко, давай табачку.

Медленно, с потугами, строится новая, невиданная жизнь деревни.

Разумом и волею завоевывает город русские равнины.

Я знаю, верю: светлое земли русской не за столетиями. Этою верою пропитаны новая земля, на которой мы сидим, и сердца этих тихих, но упрямых в хотении новых людей. Да, они теперь уже новые, накрепко захваченные в водоворот истории.

— Машин купим, трактор,— бубнит за моей спиной черт.

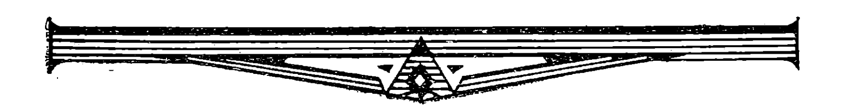
И я верю: у них будут машины, трактор.

И мне тепло и радостно.

Хочется крикнуть этому ласковому, знойному полю:

— Слава жизни! Слава труженикам! Слава новой Руси!





БАТЯ НА ПРАЗДНИКЕ

В Орловской губернии в июне сельскохозяйственная артель праздновала свое пятилетие. Общее собрание артели, человек из двухсот,—на этом собрании были и бабы с детьми,— назвала этот праздник «Праздником цветения трав», постановив ежегодно в период расцвета полевых трав и начала покоса отмечать его демонстрациями и общим собранием на полях.

С вечера готовились повозки, чистилась сбруя, из укладок и сундуков доставались лучшие наряды.

День выдался солнечный и ласковый, пятьдесят повозок членов артели, убранные красными флагами, красными лентами, пестрым маком девичьих нарядов, растянулись на полверсты по притихшей улице деревни. Тучи ребятишек, как мухи, облепили грядки телег, бесами крутились под ногами лошадей, изумленные и радостные глаза их были похожи на брызги солнца. Со знаменами, гармошками, с букетами зелени и полевых цветов молодежь шла впереди. Неслись задорные песни, каблуки дробили чечетку, сотни завистливых глаз не «товарищей» артели провожали этот милый и радостный поезд.

Посередь деревни, у избенки, вросшей в землю, кто-то предложил взять с собою на праздник батю Мирохина. С десяток парней тотчас же со смехом отдели-

лись от повозок, через минуту появился фургон, набитый свежей зеленью, и на руках из темной и душной избы, заполненной цыплячьим писком и мухами, вынесли девяностопятилетнего батю Фролку — белого, как вата-сырец, с провалившимися черными глазами. Иссохшими руками, похожими на корни ивы, он обнимал шеи несших его парней, приговаривая:

— Молодцы, робята. Спасибо. Вот это спасибо, что не забыли старика.

И глаза его теплились радостью.

Батю торжественно водрузили на фургон, член правления артели схватил в руки вожжи, и батя Фролка, окруженный хороводом молодежи, поплыл по деревне, спрашивая:

— Это что же у вас?

— Праздник цветения трав.

— Как?

— Новый праздник, в поле травы зацвели.

— Новый? Все у вас по-новому, шельмецы... Ничего, ладно выходит. При мне того не было... В ваши года я на барщину ходил... А это что́ — икона впереди-то?

— Портрет Ленина.

— Ишь ты. Везде Ленин. У нас Петюшка тоже прибил на стену.

Участок артели находился в нескольких верстах от села. Грустными и жадными глазами батя глядел на полоски, на которых восемьдесят лет был верным и бессменным часовым, теперь полоски по-иному были порезаны, снесены столбы с двуглавыми орлами, распаханы рубежи,— батя не был на поле пятнадцать лет.

— Вот тут,— шамкал он,— лог этот звался Кобылий Погост, тут, к году, десятина давала четырнадцать копен, я шесть посевов ее держал... А тут, в Песочном, не нашего мужика оглоушило громом, черный стал...

А песни, и смех, и переливы гармоник в поле были еще задорней и звонче, рдяней казался кумач знамен, счастливей лица молодежи.

Батя снова шамкал:

— На Ведмежью Лощину едем али куда? Бывало, лошадь попадет, веревками тащили... А соро́к было — тьма. С того и деревню прозвали Сорочьи Кусты.

На углу участка, там, где розово пенилось море цветущего клевера, поезд ожидали волисполкомцы, сельсоветчики, партийцы, агроном, члены правления артели. Их окружали подводами, молодежь бесилась в пляске, гармонисты выбились из сил. С криками «ура» батю вынесли из фургона и поставили рядом с волисполкомцами у стального серого чудовища. Батя на всякий случай отодвинулся от него подальше. Волисполкомец храбро влез на чудовище и говорил мужикам, размахивая руками. Батя не понял ничего. Но когда заплескали в ладоши и батя взглянул в лица артельщиков, они показались ему столь праздничными, что он не вытерпел и тоже хлопнул лубками ладоней, но тотчас же сконфузился, потому что молодежь увидала, что он хлопает, и стала плескать ладонями еще громче.

После речей, выстроившись парами, все пошли осматривать участок — труд свой. Одного батю посадили в фургон, и в фургон к нему вскочил бойкий парняга в кожаном пиджаке, назвавшийся «агроломом».

«Хороша бы покрышка на хомут»,— подумал батя, глядя на блестящую кожанку его.

Бате показывали клевер двух сортов, красный и розовый,— он в жизни не видел клевера,— шатиловский овес в семь вершков ростом, рожь Лисицына, батя изумленно прикидывал:

— Неужто копен двадцать пять даст с десятины, этакой я не видал еще?

И ему стало больно, что молодежь обогнала его, и все объяснявший «агролом» показался надоедливым.

Потом его возили на картофельное поле.

— В поле картоха,— с досадой проворчал он,— места не хватило на усадьбе.

— После картошки овес много лучше, все по науке,— засмеялся агроном.

— По науке. Раньше, бывало, без науки, а тоже с хлебом жили.

Чего только не показывали бате: и покос на бывшем болоте — травинка к травинке — в полтора аршина ростом, и бураки на корм, и лен-долгунец, и оренбургское просо с кистями, как павлиний хвост, и все было лучше, богаче, наряднее, чем при бате. Он потух, устал, насупился.

— Вам жить, вам жить,— с непонятной болью шептал он.

Наконец ему показали водоотводные канавы, откуда он веревками вытаскивал лошадей. Место было сухое, через канавы перекинуты мосты. Батя радостно ухмыльнулся, но сейчас же, насупившись, заметил:

— Озорники, тут уток бывала мáссия...

Его заметно покоряла хозяйственная заботливость над землей.

Артельщики обогнули поле.

— А теперь, батя, глянешь еще на одну притчу, да и катись на погост! — озорно крикнул ему в уши парень в дóнельзя желтой рубахе, кивая на серое чудовище.

— Что ты кричишь, я не глухой,— недовольно проворчал батя.

Толпа расступилась, и батю подвели к чудовищу. Оно неожиданно фыркнуло, будто выплюнуло что. Батя робко попятился. По знаку, данному председателем артели, толпа расступилась, будто пестрые ворота распахнулись на обе половинки, серый стальной страшный черт испуганно затрясся, батя крепче впился в руки поддерживавших его парней, не отрывая взгляда от машины. Черт медленно пополз вперед, за чертом преогромный плуг, и под носом бати неожиданно потянулась черная, прямая, блестевшая соком, широкая борозда.

— Без лошади? — простонал батя.

— Без лошади,— спокойно сказал «агролом».

Когда трактор объехал просторный круг, батя попросился на телегу. Он стал будто меньше и серее.

— Батя, что ж ты загрустил? — спрашивали его.

— Не, милые, не, не грущу... Дивно очень, не грущу... Восьнадцать лет бы мне, не грущу...— шептал он спекшимся ртом.

На скатерти из веретий, в этой скатерти было не меньше сотни шагов в длину, она была разостлана на мягкой траве,— батю угощали печеными яйцами, пшеничным хлебом и пивом. Над обедавшими развевались красные полотна. Солнце добросовестно грело костлявую батину спину.

— Робятушки! Робятушки, внуки! — кричал чуть охмелевший батя.— Слухай, робятушки, вы напишите

мне бумагу на тот свет! Пропишите, что вправду в деревне теперь пашут без лошадей, на ентих! — Батя тыкал своим лубком на трактор. — А то буду рассказывать покойникам, а они не поверят, скажут: брешешь, Фролка! скажут: ты счумел, Лексеич!.. Эх, и мило́ жить с таким конем!.. Робятушки, прямо мило́-милехонько!..





ЭПИТАФИЯ

1

Прием и сдачу начали рано, до солнца. Новое правление косилось на стариков: их вчера хорошо прохватили на собрании пайщиков.

Торопились: инструктор, небритый, мордастый парень, похожий на пономаря, предложил закончить прием-сдачу в трое суток.

— И приступить к здоровой, планомерной работе... Расхлябанность, разбросанность, бесхозяйственное отношение к вещам и событиям!..

Инструктор был умный, читал «Богатство народов» господина Смита.

— Черт знает, никакого плана. Что скажут в орготделе? Изжить надо!..

Инструктор испуганно таращил судачьи глаза. Испуг передавался членам правления — старым и новым.

Ходили по амбарам гуськом: старое правление, новое правление. Старое — насупившись, с уксусом на языке, чуть-чуть срывно. Новое — деловито, в глазах прыгали веселые чертики. Ходили по амбарам и меряли хлеб; по лавке — считали брючные пуговицы, банки с помадой «Метаморфоза», копытную мазь, пасма гаруса, иголки, пудру «Леда», мыло «Весенняя прихоть». Серый, захватанный кусок коленкора — полтора пуда аршин — приняли не мерявши.

На дворе, под раскрытым навесом, новый член правления Малафейкин, толкая уступком ржавые заснеженные плуги, раздраженно бросал в морду дремавшей корове:

— Вот так дело, на что, спрашивается, плуга?

Корова, не поднимая глаз, тяжело вздыхала.

— Пахать,— сказал за корову лавочный сторож Ефим.

— Сам знаю — не верхом ездить, на что, спрашивается, лежит? — обернулся к нему Малафейкин.

Сторож задумался:

— Кабы в ней сила была, не лежала бы. А то она бессильная, плуга. Гайки ребята повыкрутили. Ну, лемех пропал, черт его укараулит. Умен поп Семен,— сказал сторож, глядя члену правления в живот.— Небось вчера, после перевыборов-то, как ироды нахрюкались! Штрухтур-то все косоротится, как азиат из-под печки.

— И дурак выходишь,— спокойно сказал Малафейкин.— Надо не ба́лы разводить, а дело в порядок поставить, в виду, что в кооперации залог победы на всех фронтах. А, кроме того, довольно стыдно.

Сторож стал щупать плуг за рычаги, Малафейкин — за оси. Возмущенная корова повернулась к ним хвостом.

— Придумана кила,— с презрением сказал сторож.— Раньше сохами ковыряли, а урожай — аж не выговоришь...

— Вестимо, раньше лучше было,— согласился Малафейкин.— Нашего брата во всем надувают.

А у дверей лавки стояли мужики.

— Ну, что — скоро там, што ли, ей, правленья? Все меряете да вешаете! Вас бы повесить на часок, сукиных детей,— всю потребиловку растащили!..

Мужикам зимой делать нечего, по четверо за спичкой в лавку ломятся.

— Ну, как оно — сходится? Сойдется. Не хватит,— натянете, ай не знаем?

— Это, товарищи, совсем даже напрасно — натянене. Надо изжить,— говорил им второй член правления Евгеша, теперь — Вегень Палыч.— Натянете — это геройства нет. Надо работать по плану.

— Все равно — жулики,— гудели мужики.— Вегень Палыч, ягодка, ай первые? Стоять, например, у дегтя и пальцы чтобы чистые, миляга! Тебя же дураком обзовут. Ну-ко, тащи с полки папиросы-то... Нету, брат, такого дела, чтобы наш брат, мужик, не запутался, э, голубь сизый!.. Селедки-то пробовал, нет еще?

Бесстыдно ржали в смущенное лицо Евгеши — Вегень Палыча.

Инструктор сказал:

— Прием-сдача — это вам первая плановая работа.

За ней еще тысячи. Прошу безоговорочно закончить операцию в три дня — и никаких гвоздей: вы от этого можете пострадать коллективно.

Но закончили с великим напряжением только на четвертый день к обеду.

У казначея оказался недочет в 94 рубля $47^{1}/_{2}$ копеек: старое правление забыло списать бублики, отпущенные к чаю «в разное время и разным лицам», как объяснил бывший председатель. Потом — расход по командировке члена правления Гнедого на губернский съезд по улучшению породы венских голубых кроликов. Потом — штрухтур, баранина, папиросы «Совнарком».

— Изжить,— сурово сказал штрухтур и снял с полки четыре коробки папирос «Стамбул».

— Эко молочная ферма-то знаменитая! — щелкнул он пальцем по открытым грудям турчанки, изображенной на коробке.

Приказчик жалостливо поглядел на папиросы,— их на полке осталось только две коробки,— достал из-за пазухи карандаш и привычно помуслил его:

— Уплатите за Стамбулу наличными или записать? Какие, к примеру, потешные имена бывают у баб — Стам-була.

— В Расее, как в свином месиве, всего вдоволь: и похлебка, и помои, и каша, так и в Расее,— угрюмо сказал сторож.— У нас — Агашка, в хохлатчине — Гапка, а в Москве — Стамбула. Кто с разумом, тот все понимает.

— Это уж обязательно,— сказал приказчик и снова обратился к штрухтуру,— так записать или наличными уважаете?

Но штрухтур повернулся к нему спиной и ответил:

— Я даже с вами разговаривать не желаю. Я имею дело с правлением.

Штрухтур поправил черные очки, которые надевал при ревизии потребительских обществ, и важно вышел из лавки.

Член правления Малафейкин, Лизар Хведорыч, все время издали моргавший приказчику, не вытерпел: подлетел к стойке и шепотом, который можно было слышать с дороги, сказал ему, нажимая на мать:

— Ты, Федот, пожалуйста, брось свою приверженность к старому правлению, ты не грязни нас при начальстве, а то живо вылетишь к чертям отсюда!.. Какое

твое дело, что человек покурить захотел? Разве он хуже тебя?

Приказчик на ухо сказал ему, но тоже все слышали, что он напирает на мать:

— Иди ты, Малафейка, от меня к свиньям собачьим. За четыре коробки Стамбулы с меня спросят али с тебя?

— Конечно, с тебя,— уверенно ответил член правления Малафейкин.

— Ну, так иди ты, куда послал, а то гирей в морду,— прошептал приказчик.— За вас за всех, за мошенников, я не ответчик. Желаю расчет!

Если раздосадуется приказчик, с ним нет удержу. Он с сердцем бросил на прилавок ключи, достал из-под прилавка ватный картуз; в картузе лежала недокуренная пачка папирос «И я курю» Ростовского гостабактреста с ухмыляющимся Мефистофелем в красном берете. Приказчик положил в карман папиросы и полез через прилавок к дверям.

— Торгуйте, штоб вам лопнуло, а там поглядим, что будет. Мне и до суда дойти недалеко.

Так воскликнул приказчик.

— Либо — мальчик, либо — девочка, а что-нибудь будет,— отозвался вошедший в лавку молодожен.— Али не поровну поделили?

Малафейкин ответил приказчику:

— Ладно. Не хуже вашего сделаем. Сто очков вперед можем запустить не глядевши.

— Нет, брат, я не в тех видах. Мы, брат, не подгадим. Мы, брат, не те орлы,— обращаясь к молодожену, сказал член правления Малафейкин, Лизар Хведорыч.— Это они, сволочи, прожрали девяносто пять рублей, а вину свалили на голубых кроликов.

— А наша правленья, брат, в струнку,— продолжал Малафейкин.— Нашу правленью понос не прохватит...

Когда член правления Малафейкин говорил, то очень увлекался и говорил горячо и убедительно.

— Наша правленья,— говорил он,— не такая, как в Сандровке: она доход произнесет собранью,— вот какая наша правленья. Выйдем честь честью на трибуну и скажем: вот вам, собранья, тыща чистых капиталов,— слыхал про нашу правленью?

Молодожен утвердительно кивнул головой· слыхал, дескать.

— Не хвали день с утра, а бабу с вечера,— насмешливо отозвался кудлатый мужик в шинели, сидевший на корточках у ящика с мылом. За спиной мужика подросток лет четырнадцати совал себе под рубаху вытащенный из ящика пятифунтовый брус мыла. Наблюдавшие за его работой мужики нервно ухмылялись. А когда подростку удалось запрятать мыло и благополучно выскользнуть из лавки, они весело захохотали.

— Что волку в зубы, то Егорий дал,— прищурясь, сказал кудлатый мужик, как будто доселе не замечавший того, что делалось у него за спиной.

— Что ж это такое Егорий мне дал в зубы? — ощерясь спросил его приказчик.— Ты с краденым, што ли, видел меня, или как вас понять?

— Это тебе Малафейкин дал в зубы,— спокойно сказал кудлатый.— А завтра ему дадут в зубы. Ну?..

2

В конторе, на косоногом столе стояло блюдо с солеными огурцами, яичница, бок баранины, связка бубликов, стаканы,— больше на столе ничего не стояло. За столом конфликт с приказчиком уладили. Штрухтур так и заявил во всеуслышанье:

— Конфликт улажен.

Приказчику приказали извиниться перед правлением. Приказчик сказал, что если на то пошло, то пускай лучше потребиловка сдохнет, потому что если честному человеку, который день-деньской мерзнет в лавке, наживая чужие капиталы, не дают сказать слова, то пускай лучше потребиловка сдохнет... но, между прочим, раз правление приказывает, он не прочь извиниться, он от этого не полиняет...

И он тотчас же извинился перед правлением: перед председателем Тихон Герасимычем, перед членом правления Вегень Палычем и перед Малафейкиным. Малафейкину он даже сказал так:

— У нас с тобой, Лизар, можно сказать, по-шутейному и вышло-то все. Можно сказать, по-товарицки. Ты — меня матом, я — тебя... как маленькие. Кабы разодрались — дело десятое.

Ему сказали:

— Ну, иди, Федот, торгуй, а мы в баланец заглянем.

Приказчик сказал:

— Да глядите, что я его, загораживаю вам, што ли?

Вы свое дело справляйте, а я — свое. А ежели, к примеру, надо селедок, скажите, зараз примчу.

И вот в это время штрухтур и сказал:

— Конфликт улажен.

Приказчик обернулся.

— Может, и перед товарищем надо извиниться, мне все равно? — спросил он, кивая на штрухтура.

— Нет, перед ним не надо извиняться,— сказали ему.

— Кабы ты его чем ударил или порфель украл,— добавил Малафейкин,— ты только сказал: давай деньги за папиросы,— эка важность какая!

Когда приказчик вышел, штрухтур надел черные очки, и все притихли. Так продолжалось минут десять. В эти десять минут было слышно, как в переднем углу, над головами, на божнице, за тусклой фольгой, шуршали прусаки, ползая по животу «всех скорбящих радости».

— Стукнуть, что ли, по маленькой? — спросил штрухтур, снимая очки.

Был вечер, но в контору будто брызнуло солнышко.

— Ну-к, что ж,— охотно отозвался Малафейкин.

И все задвигались: плечами, головой, руками зябкими, штрухтур — беременным портфелем.

Один Евгеша, Вегень Палыч, идейный, начал было:

— Ешшо не начамши дела, ешшо, как пословится, курочка на гнезде... а вы уж христосоваться...

Его надменно перебил сторож:

— Понес, шут тебя знает куда, кобыла кривая: ешшо, ешшо да ешшо!.. Пасалтырщик, шельма!.. А ты пей, да дело разумей. Штоб дело в руках смеялось. Понял, ай вдолбить? А не хочешь пить, другим не плюй в посудину.

Председатель глянул на потупившегося Евгешу, осадил сторожа:

— Знаешь, мы теперь — выборные, чего ты на нас галдишь?

— Я не на вас, Тихон Герасимыч, а вот на эту оказию в рыжих портках,— кивнул он на Вегень Палыча,— на смутьяна вот на этого! Да на самом деле, товарищи,— сторож возмущенно поднял руки,— тут сотенное дело затирается, а он с своим ешшо, как муха в глотку.

Сторож сплюнул и наклонился к Малафейкину:

— Лизар Хведорыч, вы — человек умнеющий, я по-

нимаю, ну, а зачем вы, скажите на милость, такого черта беспутного выбирали к себе в правленью? Вот дурак-то, будь я подлец, норовит изломать всю обедню!..— Сторож покосился под лавку, на таинственный бугорок, прикрытый дерюгой.— Комедию-то у Лукашки брали или на Лобашихе? — умильно спросил он.— У Лукашки хороша, туды ее в голову, из меду. Намедни мы с Лексей Иванычем ахнули, так он и теперь в пласт растянут: поясница, говорит, отнялась вчистую, больше, говорит, капли не буду жрать, штоб она провалилась, окаянная.

Пили из глиняного кувшина. Горлышко у кувшина отбилось, и наливать в стаканы было неудобно. Наливали в миску, из миски черпали стаканами.

— Как тюрю хлебаем! — с восхищением говорил подвыпивший сторож.— Давайте, братцы, накрошим хлеба да ложками, ей-богу! Тихон Герасимыч, умница, ты уважаешь ложками?.. А этому,— сторож кивнул на штрухтура,— этот из благородных, пускай дует прямо из кувшина, авось не облопается...

— Посади свинью за стол, она и ноги на стол,— с презрением сказал штрухтур и отодвинулся от сторожа.— Гражданин председатель, нельзя ли вынести этого лохматого дядю, а то он забывает, с кем сидит.

Председатель растерянно поглядел на застолицу и не знал, как быть, но его выручил сам сторож. Он залился звенящим смехом над словами штрухтура и крикнул ему:

— Что ты других заставляешь выгонять? Ты сам выгони, вот это будет дело! Ну, попробуй! Ага, гайка не крутит? Я, брат, из семи печей хлеб едал,— выгони! А я в милицию: товарищ милиция, так и так, новые-то не успели за вожжи взяться, а уж самогон жарят, штрухтур велел принести...— Сторож передразнил штрухтура: «Стукнуть, што ли, по маленькой?..» Она тебе, милиция, стукнет по хряпке!.. Я, брат, все знаю: и конпасен берешь без денег, и ножик-складень слизнул, и папиросы с голыми бабами, и вики двадцать пудов... А деньги не платишь... Жулик!..

— Ну, ну, а ты потише, Кузьма Крючков,— говорил сторожу Малафейкин.— Это тебя не касательно: папиросы, придет время — заплатит...

— А я говорю: не заплатит. Я по морде вижу. Ишь, очки-то напялил, Керзон!..

— Ну, ну, а ты потише, Кузьма Крючков! Ишь разблошился на всю хату.

Но сторож никого не хотел понимать и кричал неистово:

— Малафеюшка, товарищ дорогая, ты его давеча в лавке, как он вышел, правильно обозвал сукиным сыном, побирашкой!.. Он такой и есть!.. Хоть сам Рыков приезжай, всю правду расскажу, будь я подлец!.. Вот, скажу, товарищ Рыков, у вас в Москве берут вику без отдачи, за так? — «Нет, скажет, не берут». — А ножи-складни берут?.. Ага!.. Малафеюшка! Я, брат, давно тебя уважаю. Хоть ты — гадина, а уважаю, в ноги могу поклониться. Я, брат, сам с усам... А гайки к плуге тебе будут. И лемех будет. Я, брат, свои отвинчу, да представлю, не гляди, что я криво повязан, потому я — сторож, у меня все должно быть в полной сохранности, понял? Только бы вот этих Юд поменьше...

Сторож злобно ткнул пальцем в штрухтура и в горестно сжавшегося в уголку Евгешу идейного.

После выпивки штрухтур был красный, как самый красный сатин Цинделя. Развеселившееся правление уже не прочь было спеть «Разлуку» или что-нибудь вроде «Песня моя — фимиам священный». Член правления Малафейкин перевивал под столом длинными ногами, готовый удариться в пляс. Лежавший под столом сторож, урча и матерщинничая, ловил Малафейкина за ноги.

Даже Евгеша идейный — Евгеша носил на груди значок ОДВФ, — даже он, хлебнув пару стаканчиков, ныл:

— Кооперация, она штука веселая, в-великая. Кооперация всех на ноги поставит, думаете — не поставит? Что такое кооперация? Советская власть плюс электрификация. Ее надо жалеть. Через кооперацию, например, новая политическая некономия. Правильно я говорю, товаришши, али ашибаюсь? Первым делом, например, поддержим кооперацию. И так далее и тому подобное. Согласны этак, товаришши?..

Но штрухтур надел черные очки и произнес:

— Довольно.

И все тотчас же замолчали, будто воды в рот набрали. Даже немножко жутко стало.

— Что, у моей лошади есть овес? — спросил штрухтур.

Член правления Малафейкин сказал:

— Можно поглядеть: есть или нету.

Он поднялся с лавки, поглядел в пустую миску из-под самогона и снова беспомощно сел.

— Есть,— сказал он.

Штрухтур презрительно улыбнулся:

— Даже через стену увидал!

И у него аж губы скривились от уничижительной насмешки.

Тогда Малафейкин опять поднялся, опираясь о стол, но кто-то сзади дернул его за опояску или так показалось, что дернул, и товарищ Малафейкин больно стукнулся затылком об стену.

Он сказал председателю:

— Пойди ты погляди, ты — председатель.

Председатель встал и пошел. Штрухтур крикнул ему вслед:

— Там у меня мешок в передке, насыпь на дорогу.

— Чего? — спросил председатель.

— Ну вот — чего?.. Насыпь!..

— Можно,— сказал председатель.

И все молчали, пока ходил он. Потом штрухтур наставлял их, и в конторе было так тихо, что жуть брала, потому что все внимательно слушали штрухтура. Даже сторож не раз поднимал с пола отяжелевшую голову и бормотал:

— А Юда-брехун еще не уехал?

Штрухтур говорил правлению:

— Это только вам в диво, что ваша потребиловка на ладан дышит, а погляди по губернии: все одной масти — срам, расхлябанная платформа, нет увязки, и всюду бесхозяйственное отношение к вещам и событиям... Изжить надо!..

Штрухтур говорил правильно. Всем сразу же полюбились слова его. Но поднять глаз никто не смел.

Штрухтур достал из пузатого портфеля инструкцию, поглядел в нее и продолжал:

— Но на то существует орготдел при губсоюзе и инструкторский аппарат, который должен вни-кать,— понятно или нет?

Штрухтур сурово кашлянул, обвел всех пронзительным взглядом, достал папиросы, ласково полюбовался на грудастую турчанку при шелках и тогда только открыл коробку.

— Ага, подымить захотел? Давай подымим! — сказал Малафейкин, протягивая руку.

— Хорош без дыма,— ответил штрухтур, пряча коробку.

— Ты же четыре пачки взял, а деньги на нашу шею,— с упреком сказал Малафейкин, но штрухтур опять надел очки, и Малафейкин будто подавился рукавицей.

Играя папироской, штрухтур говорил:

— В Скарятинском ЕПО было четыре отделения. Товаров было на семь тысяч. Теперь в Скарятинском ЕПО товаров нет. И деньги исчезли. Как понять?

— Правленья разворовала,— убежденно отозвался сторож.

— А во — видал? — воскликнул на это Малафейкин, показывая кулак с колесную ступицу.— У нас не разворуют.

— В Щетиновке кто-то зажег лавку, а сказали на правление. Правление сидит в домзаке,— продолжал штрухтур.

— Тоже глупое состояние: товары надо в каменную лавку, как у нас,— сказал Малафейкин.

— Как у вас! — насмешливо поморщился штрухтур.— Как будто в каменных лавках не горят товары...

— Молчи, черт мордастый! — отозвался из-под стола сторож.— Юда-предатель!

Штрухтур говорил:

— В Гремучем Колодце на потребиловской лавке замок, а правление под судом. В Красной Слободке правление под судом. В Заячьей Просеке — под судом. Ловко? Ловко,— сам же себе ответил штрухтур.— Ловчее не бывает. А все через проклятую расхлябанность, работа не по плану.

— Ах, и жулик ты, крест господний! — негодующе закричал сторож.— Сам подучаешь зажечь лавку, а потом грозишь острогом. Ах, и жулик московский!..

— Первое и главное, и основное...— Штрухтур даже и не поглядел под стол на барахтавшегося сторожа, до того противны были его выкрики.— Первое и главное...

— И основное,— прошептал Евгеша.

— И основное,— подчеркнул штрухтур,— это работа по плану. На то республики во всех странах света. Потребиловка — тоже республика, только масштабом короче.

— И программа другая,— с чувством добавил Евгеша.

— Извините, в губсоюзе программы нет, это надо знать, кто работает по кооперации,— надменно оборвал его штрухтур.

— Плюнь, он это сдуру сказал,— защитил Евгешу Лизар Хведорыч.— Послать еще за баночкой или хватит? Теперь бы кислой капусты да изюму,— принести?

— Неси,— сказал штрухтур, снимая очки,— только аккуратно.

— Знамо дело, надо по форме. Председатель, иди за изюмом, ты у нас голова об двух мозгах. Или — стоп. Ну-ко, ты, Ешшо, ну-ко, беги собачьей рысью... Си-дит, как Прасковья-пятница, ни холост, ни женат, аж индо тошно глядеть. Тащи изюму, бубликов, таранок... ай мы каждый день этак будем?.. Говорится: поиграл дерьмом да за щеку. Правильно будет по-вашему, товарищ штрухтур?..

3

Осенью народный судья, обращаясь к Малафейкину, говорил:

— Подсудимый Малафейкин, вы получили повестку?

— Никак нет, товарищ судья, даже и в глаза не видел, потому без надобности,— ответил Лизар Хведорыч.— Хоть любого соседа спросите.

Он был очень смущен, говорил нехотя, запинаясь, будто слова у него тянули из глотки канатом, вот как переменился товарищ Малафейкин.

— Странно,— сказал судья.— А кто ж это расписался в получении?

— Не могу знать, товарищ судья, у меня врагов погибель: то завидуют, то в долг не дал, то — то, то — се... А как я могу в долг дать, когда в лавке жернова, санные оглобли да пуговицы? А промежду прочим, и свои не прочь подкусить... он, вот он! — Малафейкин безнадежно ткнул в плечо идейного Евгешу.— Вот поглядите на него!..

— Так. Подойдите ближе, подсудимый Малафейкин.

— Ближе? Можно, товарищ судья, к самому столу подойти, я не вор, и народ меня не зря выбирал на должность,— горько сказал Лизар Хведорыч, норовя стать так, чтобы суду была видна огромнейшая свежая

дыра на пиджаке его.— Вишь вот, дыру заслужил с заслонку. Да лапти без ушников... вот как благодарят наши граждане!.. А раньше я как цветочек ходил: что рубашка, что пиджачок, сапоги-полувал... Дослужился в подсудимое состояние!..

Судья терпеливо и даже внимательно выслушал члена правления Малафейкина.

— Вот этот актик вы подписали? — дружески спросил он.

— Это насчет чего?

— Да тут насчет сахара. Мешок сахара под дождь попал и наполовину растаял.

— Да, да, истинная правда: наполовину растаял. Я еще, помню, сам и вез-то его из райсоюза. Как ударил, понимаешь, дош, да гроза, да молнья, аж лошади на дыбы взвиваются, туды т-твою голову!... Я и так и этак... А жарища, а пыль — дыхнуть нечем!.. Навстречу Борис Андреич, пьянее вина.— «Здорово!» — Здорово, мол...— «Далече был?» — Да вот, мол, из городу с сахаром...

Группа слушателей,— в середине ее мотался сторож,— весело засмеялась.

— Молонья, жаришша, дош, понос... одиннадцать напастей, и все на одну голову...

— А портки-то надел что ни на есть рваные!..

— Хорошо,— продолжал судья.— А вот этот актик насчет селедок тоже вами подписан?

— Ась? Это которые тухлые? Мы закопали их. Отрава, накажи господь. Невозможно, бывало, в лавку войти, вот до чего вонища. Даже все диву давались...

— Нет, не тухлые, а вот рассол селедочный...

— Ась?

— Рассол селедочный. Бочонок весил двенадцать пудов и восемь фунтов брутто. А когда распродали селедки, тары и рассола оказалось девять пудов и тридцать три фунта.

— Правильно, правильно: восемь пудов и тридцать девять фунтов, я это как сейчас помню.

— Нуте-с. Этот актик вы подписывали?

— Ну, как же, обязательно... мы, мы... собственноручно. Еще председатель сказал при всех: «Эко, говорит, тарища-то чижолая!» Помнишь, пред?

— Нет,— ответил председатель.

Лизар Хведорыч горестно всплеснул руками и воскликнул:

— Здорово, милый! От-ка-зывается!..

Судья в это время сличал подписи на актах и повестке.

— Подпись на повестке ваша,— уверенно сказал он.

— Бох ее знает. Может быть,— скромно ответил Малафейкин.— Запамятовал.

— Подсудимый Ухо!

К столу потупясь подошел Вегень Палыч.

— Ухо — не Ухо. Ухо — дразнят,— прошептал он.

— Ваше имя и отчество?

— Вегень Палыч Охапочкин.

— Я вызываю Ухо.

— Ухо не надо, я не Ухо.— Вегень Палыч был бледен и трясся.— Прошу переменить фамилию.

Судья сердито поднялся.

«Слава ти, осподи, приканчивает, вот ти и суд»,— радостно подумал Малафейкин: «Только пужают».

Судья говорил Евгеше:

— Я предлагаю не мешать заседанию суда. Разбирается дело Малафейкина, Ухо и Переяркова по обвинению в систематических хищениях из кооперативной лавки и растрате народных денег. А вы пристаете с переменой фамилии. Потрудитесь отойти от стола.

— Нарвался, анчихрист? — злорадно прошептал Малафейкин.— Так тебе и следует, не задавайся. Оч-ки завел!..

— Подсудимый Ухо! — крикнул судья.

К столу снова подошел Вегень Палыч.

— Ухо не надо,— умоляюще проговорил он.— Я — Ухо, только Ухо не надо.

Судья побагровел.

Заседатель справа наклонился к нему. Но в это время выскочил сторож. Сторож, можно сказать, спас Вегешу.

— Дозвольте разъяснить,— закричал он, отталкивая Вегень Палыча.— К примеру, товарищ судья.— Сторож низко поклонился судье.— И вы, мужики.— Сторож поклонился заседателям.— К примеру, у их ночевал татарин коновал. Ну, мать, конешно, зачижелела. Ухо да Ухо, или там — свинячье ухо, это уж как полагается. А разве кому допряма известно, кто отец? Может, киргизец или дьякон...

Сторож передохнул и засмеялся, пораженный складностью своей речи, затем обернулся к Евгеше и ехидно спросил:

— Доплелся?

Но тотчас же ему стало жалко убитого горем приятеля. Дружески хлопнув его по плечу, сторож добавил:

— Ничего, ничего. Тебя, Вегеш, надо отсторонить от суда, ну тебя к хрену, потому ты — муха. Ты иди домой, на печку, паси тараканов. Иди, иди!

Сторож стал подталкивать Евгешу.

— Да иди, рыло коростово!

— Невозможно: буду ответ держать,— печально отвечал Вегень Палыч.

— Гражданин, уйдите ж от стола,— сказал нарсудья сторожу.

— Сейчас, сейчас. Иди, Вегеш...

— Гражданин, я прикажу вас вывести. Суд должен разбирать его дело.

— Не стоит,— отмахнулся сторож.— Суди вон тех — Малафейку с кутейником, чтобы не жульничали. А что невдомек, меня спроси: я всю их рикабуцию знаю. Покажи им жернова, а то больно люты на самогонку стали. А Вегеша и так соплями подавился, не трожь его.

А Малафейкин в это время укоризненно шептал председателю:

— Что ж ты, пред, мутишь? Я, брат, все расскажу. Ты бы должен: так, мол, и так, судьи праведные, штрухтур говорил: в Щетиновке лавку сожгли, в Заячьей Просеке тоже сожгли, по всем местам сожгли, а у нас она — как игрушечка, ветер соломки не шегутнет. А товарищ, мол, Малафейкин до невозможности аккуратный и боязливый человек, даже, сказать, от кур бегает, он ни сном ни духом не повинен,— вот как надо. А то выискался — то-пит!.. Я, брат, утоплю не так, ты пузырей не пустишь,— вот как я умею топить!..

— А если спросят: куда же товар девался? — тоскливо спросил председатель.

— Не знаю, не ведаю, ищите, вот тебе и ответ. Что они, святые, что ли: знают, куда товар делся? Очень даже удивительно.

Судья, зорко следивший за Малафейкиным и председателем, приветливо кивнул Лизар Хведорычу:

— Сговорились?

— Да,— простодушно ответил Малафейкин,— покалякали маленько.

— Подсудимый Малафейкин, вы обвиняетесь в том,

что, будучи заведующим лавкой, не раз злоупотребляли доверием граждан, избравших вас.

— Так точно,— печально сказал Малафейкин,— хоть любого спросите... даже вся волость знает.

— И злоупотребляли в корыстных целях.

— Это — брехня.

— Подсудимый Малафейкин, не волнуйтесь, не употребляйте грубых выражений и отвечайте спокойно: вы признаете себя виновным?

— Спасибо,— поклонился суду Лизар Хведорыч,— дослужился до виновных чинов. Вон лучше спросите Охапочкина: он при очках, а я человек подневольный; что, бывало, скажут, то и сделаю. С меня спрос короток.

— Стало быть, не признаете? Расскажите суду обстоятельства дела.

Подсудимый Малафейкин тяжело вздохнул и поправил штаны.

— Даже непереносно слушать, Гаврил Николаич, как вы меня при людях вором бесчестите.

— Гражданин Малафейкин, я вам сейчас не Гаврил Николаич, а судья,— сказал судья.

— Все отказываются, все долбят невинную голову! — обращаясь к публике, воскликнул Лизар Хведорыч.— Ну-ну! Дожил!..

Судья нетерпеливо вздернул бровями.

— Мы слушаем, гражданин Малафейкин.

— Слушайте,— уныло сказал Лизар Хведорыч,— на то вы и суд, а мне рассказывать нечего. Посидели бы на моем месте, было б сочувствие, а то — рас-ска-зывайте! Разве я могу за всеми углядеть? Тот шпички тащит, тот — мыло, энтот — сахар, а один даже дегтярную бочку слямзил... Тут комиссара трехголового посади, и то ума лишится. А у меня натура слабая, мужицкая...

— Это кто ж таскал?

— Кто? Мужики. Придет с три копейками за бумагой, а из лавки тащит на рубль, а то и два. Это не мужики, а бесы, вот что я тебе скажу. Только что отвернулся, глядь — уж пуда соли нет, глядь — масло выпущено, глядь — сатинчик утерся...

— Из-под рук?

— А то из-под ног, что ли?.. А натура у меня, товарищ судья, слабая, пролетарская.

Судья сочувственно улыбнулся и сказал:

— Расскажите, подсудимый Малафейкин, как вы жернова покупали.

— Это можно,— встрепенулся Малафейкин.— Все можно. Покупали жернова по плану. Приехал штрухтур, не знаете его? — мордастый такой, в черных очках. Ну, приехал, и шут с тобой, думаю. А он как начал нас пушить, да чуть не в бога, как начал поливать, аж волос на голове дыбом. Протокол за протоколом, протокол за протоколом. Что тут делать?

— За что ж это он? — спросил судья.

— А черт его знает, говорит: работа не по плану. Надо, говорит, по плану: товар — партиями. Увязки нет, развязка не в ту сторону, уклон страдает,— извозчик нашелся! Нагородил ведмино беремя да уехал. «Вам, говорит, не миновать тюрьмы», вот до чего докричался. Дня четыре мы ходили шальными...

— С похмелья,— сказал сторож.

Лизар Хведорыч обернулся и укоризненно промолвил:

— Да будет тебе, ботало! Эх, Ефим, Ефим, язык-то у тебя, как у собаки хвост в репьях,— за все цепляешься.

— Рассказывайте дальше,— понудил нарсудья.

— Штрухтур уехал, а мы стали думать. День думаем — не выходит, два думаем — не выходит, неделю думаем. Запрягли с предом лошадь и поехали в город советоваться. Помним: штрухтур толмил: главное в товаре — сортимент.— «Вот что,— говорят нам на постоялом,— не горюйте».— Как так не горюйте? — «Не горюйте, дешево продается партия николаевских жерновов, к вам само счастье в руки просится, жернова — товар ходкий, теперь их никто не делает». Пред спрашивает: «Не ошибемся?» Не,— говорю,— одни рушки возьмут штук на пять, да мельница, а которые попрахеве — будем отдавать кузнецам, колеса отягивать, дело верное. Пришли глядеть, а их сорок шесть штук.— «Хотите,— говорят,— покупайте, хотите, нет, ну только,— говорят,— мы поштучно не торгуем». Мялись, мялись, да и закупили все.

— Сорок шесть жерновов?

— Сорок шесть.

— А сколько продали?

— Один.

Лизар Хведорыч жалобно улыбнулся.

— И потом? — спросил нарсудья.

— Что ж потом? — потухшим голосом ответил Малафейкин.— Вы хоть бы немного председателя поспрошали.

— Я его обязательно расспрошу.

— После купили тыщу санных оглобель у калуцких полехов, еще после — полтора пуда пиньжачных пуговиц.

— На вес?

— Дома вешали, денежки у нас и ухнули. А в долг не дают. И вышел крызиц.

— Ну, а вот не было у вас случаев хищений из лавки?

— Не, боже сохрани, помилуй.

Тогда сторож опять протискался к столу, кивнув судье:

— Постой малость, я поспрошаю.

Сторож насмешливо прищурился и спросил Лизар Хведорыча:

— Малафейк, а помнишь, ты пьянствовал со штрухтуром, а штрухтур учил тебя лавки поджигать? Сколь слопали изюму?

— Брешешь, Ефим, я не пьянствовал со штрухтуром, я и водки-то не пью,— ответил Малафейкин.

— А кто под столом валялся? — снова спросил сторож.

— Ты валялся,— сказал Малафейкин.

— А кто разбил себе до крови голову?

— Тоже ты.

— Ладно. А помнишь, ты кричал пьяный: «Хочу баранины, хочу конпасеев, хочу подсолнухов»?

— Глаза лопни, не валялся. Это ты все брешешь, псюга,— сказал Малафейкин.

— Ага, брешешь? А помнишь, жена принесла в лавку полтину, а ты ей тридцать аршин первеющего канифаса?

— Руки отсохни, только двадцать, и то — в долг.

— Руки отсохни? А куда ты дел крупчатку?.. Руки отсохни?

— С места не сойти, не знаю. Должно быть, упер кто.

— Ну, теперь ты допрашивай,— сказал судье сторож,— яуморился. Спрашивай, куда дел канифас, куда — мешок сахару, куда — муку, изюм, материю, новую плугу, семь хомутин, приборы грубочные, сласти...

зачем посылал сторожа в Поздево?.. Валяй. Селедки каждый день жрали без счету.

В середине допроса Лизар Хведорыч расплакался.

— Все на меня накинулись,— говорил он, недоуменно разводя руками,— куды, куды? А я почем знаю... Пантюху из Малафейки сделали. Товарищ судья, прости, Христа ради. И вы, мужики.

Подсудимый Малафейкин опустился на колени, поочередно кланяясь судье и заседателям.

— Один бох без греха. Кое-что, конечно, не доглядел, того... этого... как его...

— Ниже кланяйся, ниже! — кричали ему.— Ножками подрыгай!..

Вечером Лизару Хведорычу с товарищи вынесли приговор: Малафейкину, беспартийному, сорока лет,— два года; Переяркину, Тише, преду,— два с половиной; Вегень Палычу, идейному, одывыфы,— три месяца.

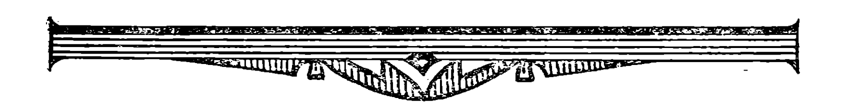
— Не так, мало! Припаяй, пожалуйста, Малафейке еще года полтора! — беспокойно крикнул сторож, бросаясь к столу.

— А Ефима Брюкву, кооперативного сторожа, за участие в систематических пьянствах с членами правления и умышленное сокрытие их преступлений суд постановил подвергнуть заключению на...

— Вы что — счумели? — заорал Ефим Брюква, тараща красные глаза на заседателей...

— ...восемь месяцев.





ВОЗВРАЩЕНИЕ

I

Старик лет семидесяти, босой, в зимнем полушубке нараспашку, бросил у коновязи лошадь и побежал на платформу. В одной руке он держал кнут, а в другой солдатский картуз с синим околышем. Ветер будоражил его дыбом вставшие волосы, они были седы и грязны. Несколько раз старик торопливо и как бы с испугом взглядывал на солнце. За стариком, роняя пенистую слюну, гналась собака. Старик злобно оглядывался, грозя ей кнутом. Собака приседала нерешительно и льстиво. Но когда старик бросался вперед, собака веселой опрометью догоняла его.

На станции было безлюдно и тихо. На полдень и на восток, как море, расстилались хлеба, бескрайние и мерно зыбкие, в синем цветне. Бестолково озираясь, старик обежал платформу, и на песке платформы слабо отпечатывались ступни его задубеневших ног.

Из-за куста застручившейся акации вышел сторож с топором в руках.

Старик, как мальчик, метнулся к нему.

— Василий!..— Он говорил, волнуясь, перекладывая из руки в руку картуз с кнутом: — Понимаешь, Василий, запоздал. Давно прошла машина?

Сторож поздоровался с ним за руку, старик радостно не отпускал его.

— Понимаешь, вскочил до свету, а вот гляди, что сделал! — с укоризной глядя на сторожа, воскликнул он.

Старик бросил на колышек палисадника картуз, вытер полушубком струившийся с лица пот и опять взглянул на сторожа беспомощно и виновато.

— Закурить есть? — неожиданно спросил он.

— Есть,— сказал сторож.

Старик протянул руку за кисетом и отдернул ее, будто прикоснулся к горячему железу.

— Постой, Василий!

Взлохмаченный, высокий, костистый, длиннорукий, он нелепо дрыгал ногами, подбегая к полотну дороги, и сторож усмехнулся, глядя на него.

Стоя на горячих рельсах, старик долго глядел вперед, в марево расцветшего утра, вдоль двух сходившихся впереди струн, до рези в глазах блестевших на солнце.

— Закуривай, деда,— сказал сторож.— Иди, закуривай, не пришел еще поезд-то...

И в мгновенной улыбке, озарившей лицо старика, сторож уловил страх.

— Не пришел еще? — прошептал он.

— Пока не пришел,— ответил сторож, глядя, как черные губы старика обметываются корочкой сухого жара, как у горячечных.

Они сели на корточки у изгороди и закурили. Сторож — приземистый и сбитый, в кольцах синей цыганской бороды, старик — как сломанный бурей сухостой. Торопливо затягиваясь, старик жег свои пальцы. В махорке попадалась шелуха конопли, цигарка трещала, и нельзя было понять, откуда шел едкий запах гари — от шелухи, обжигаемых пальцев или от искр, обильно сыпавшихся на овчину. Сторож бросил окурок и хотел примять его сапогом, но старик торопливо отстранил его ногу.

— Что ж ты по скольку бросаешь? Тут еще задышки на четыре хватит...— И он жадно дотянул окурок.

Старику очень хотелось, чтобы сторож спросил, зачем он приехал на станцию, почему волнуется, поджидая машину, и он часто и нетерпеливо взглядывал на сторожа. Но тот молчал. Тогда старик начал издали. Будто от холода подбирая под полушубок ноги, он равнодушно спросил:

— Как у вас, старосту переменили?

Сторож удивленно покосился на него.

— Их же всех до пасхи сменили,— сказал он,— а у вас разве старый ходит?

— Не старый, а толку мало,— подумав, ответил старик.— Ну, да скоро другие порядки наступят, помяни мое слово,— торопливо и многозначительно добавил он.

Сторож молча кивнул головой. Потом, глядя в сторону, как бы мимоходом он спросил:

— Годов восемь аль больше?

— Одиннадцатый,— бессильно прошептал старик.

Сторож покачал головой.

— Как ключ в воду. Ни письма, ни весточки,— шептал старик.— А вчера телеграмм пришел...

— Да, это бывает...

Они слабо улыбнулись друг другу.

— Я хорошо помню его,— вставая, сказал сторож.

— Знамо, все помнят,— твердо ответил старик.— А я разве забыл? — Он с минуту держал в горсти теплый песок, струившийся меж пальцев.— Поглядел бы ты, что сейчас в деревне орудуют.

— Орудуют?

— Не приведи бог! — испуганно воскликнул старик.

И они долго молчали, глядя в землю.

— Я пойду взгляну на лошадь,— будто не в силах превозмочь себя, сказал старик.

— Ступай,— ответил сторож,— еще часа три.

— Ого, пол-осминника можно спахать? — воскликнул старик.— А я, брат, испугался,— поверишь?

II

Высунув кровавый язык, собака забилась под телегу. Старик, склонив набок голову и раскорячившись, насмешливо глядел на нее.

— Жарко в полушубке-то? — спрашивал он, осторожно тыкая собаку кнутовищем в бок.— Ничего, терпи, вот хозяин приедет, другую песню запоешь... Гостинцев тебе привезет...— И несуразная мысль о гостинцах для собаки, неожиданно сорвавшаяся с языка его, показалась старику столь забавной, что он весело расхохотался и пнул собаку ногой.— Правда? — хлипая, спрашивал он.— Изюму, бубликов, селедок!..

Собака вяло поднялась. Деревянный в грязи тележный подлисок уперся ей в спину. Старик схватился за полы полушубка и присел, не в силах справиться с душившим его смехом. Кричал, раскидывая черные ладони:

— Не знаешь, куда деться? Завязла? А еще называешься Дамка. Рыжуха,— обратился он к лошади,— Рыжуха, погляди на дуру: залезла под телегу, а вылезти не может. Ты пригнись, омёла!..

Проходившая мимо дробненькая баба с удивлением поглядела на старика, и лицо его стало сразу суровым. Выпрямившись, он строго спросил бабу:

— Машина из самого большого города скоро?

Баба торопливо обошла телегу.

— Я кого спрашиваю? — прикрикнул старик.

Серые лупастые глаза бабы скользнули по взъерошенным волосам старика и насупленному взгляду его.

— Я из чужой деревни, не знаю,— ответила она.

— Так бы сразу и говорила,— наставительно проворчал старик.— Вас тут, может быть, тысячи шляются...

И старик сам удивился, как он строго и ладно обошелся с этой ветреной бабенкой, которая даже не поклонилась ему. Он деловито подошел к кобыле, поправил пеньковую шлею на ней, перевозжал, сунул ладонь под потник хомута, крепко щелкнул по впившемуся в грудь ее оводу, тронул дугу. «Запряжка слаба, торопился»,— подумал он. И он принялся перепрягать лошадь, изредка поглядывая на солнце и на полотно дороги в желтом песке. И с каждой секундой движения его становились торопливее и беспомощней. Он уже раскаивался, что затеял эту перепряжку: он мог опоздать с ней. Он кое-как перетянул гужи, вправил дугу, даже не заметив того, что она легла кольцом назад, трясущимися руками продел чересседельник. Ему послышался отдаленный гул поезда, и движения его стали порывистее.

«Нашел работу, дернуло!» — со злостью и отчаянием думал он, хватаясь за супонь. И он почувствовал, что не в силах поднять ноги, чтобы упереться в клещу хомута, так дрожали его руки и колени. Прижавшись плечом ко клеще, он с натугой стал тянуть руками жирную, в гудроне, супонь. Ладони беспомощно скользили. А гул, казалось, нарастал. В отчаянии он схватился за

супонь зубами и долго, с резкой болью в деснах, тянул ее, пока супонь не захлестнулась за металлическую бородку хомута. Он чувствовал, что сейчас упадет, и совсем не замечал слез, струившихся из глаз.

Отдышавшись, он снова побежал на рельсы. Поле было пустынно, в цветне. В молодых елках чувыкали пичуги. Знойный день примял траву и цветы. Расставив ноги, темный и нескладный, он до ломоты в бровях глядел вперед по рельсам. Рельсы были жарки и немы.

«Значит, не приедет»,— решил он. И он снова побежал на станцию.

Он сидел в телеграфной, курил папиросы. Ему дали их штук пять. Он никогда не курил папирос и удивлялся, как можно курить их: от них даже настоящей горечи не было во рту.

— Баловство, с жиру, только бы на люд не быть похожими,— думал он.

Люд — это те тысячи, с которыми прожил он жизнь, которые горько трудились над землей, питая своей кровью всех, а эти, что курят смешной табак, как мох, это белоручки, дворовые; он не любил их и боялся.

Но сегодня он был возбужден и храбр, ведь он сам вошел в телеграфную и будто невзначай сказал, что приехал за сыном.

При этом он достал из кармана телеграмму и издали показал всем. Его не выгнали. Посадили на лавку с решетчатой спинкой. Потом он попросил покурить. Ему дали. И все охотно разговаривали с ним. Старик говорил, что сын его «за землями». И он многозначительно и строго глядел на слушателей.

— Мы знаем,— отвечали ему и снова предлагали папиросы, похожие на огарки пятаковых свеч.

III

Столб рыжей пыли меж хлебов старик первый заметил из окна телеграфной. Он беспокойно вскочил и побежал на платформу. Да, это ехал дозорный, в руке его болтался красный флажок. Лошадь прыгала мелким напряженным галопом, как бегают крестьянские клячи. В такт прыжкам ее дрыгали голые локти седока. Старик и верховой стали издали махать друг другу: старик картузом с синим околышем, дозорный красным флагом.

Наконец старик не вытерпел и дико закричал, подняв руки:

— Чего тебя несет, лешего, без пути?

Верховой согласно мотнул головой и подхлестнул лошадь.

— А? Что ты сказал? — спросил он, осаживая кобыленку.

Он был в поту, без шапки, с бороденкой набок, возбужденно радостный. Сунув флажок под мышку, он стал вытирать подолом рубахи лицо. Лошадь билась от оводов, жадно впившихся в мокрые бока ее.

— Ты чего примчался? — строго спросил старик и топнул пяткой.— Неймется? Начальник сказал: через три часа.— Он ткнул пальцем в солнце; палец был черен и тверд, как древесный корень.— Я курил с ним в горнице,— добавил старик.

Мужик даже не обратил внимания на окрик или не понял его. Соскочил с лошади, юркнул в рожь и присел.

— Ну, как,— через минуту спросил он оттуда,— машина скоро будет? Держи лошадь-то, а то убежит, враг. Вот, сволочь, до каких пор не едут с машиной... А овода в яровине — земля не держит...

Красный флажок из кумачового лоскута он воткнул в землю напротив себя.

— Дурак,— раздраженно ответил старик.— Потерпеть не можешь? Неуч...

Взрыв паровозного свистка заставил подскочить их. К станции подходил товарный. Бросив лошадь, наискось, по хлебам, путаясь ногами в колосьях, падая, матерясь, они стремительно помчались к станции. Старик кричал, что мужику надо скорее ехать обратно. Мужик, поддерживая обеими руками расстегнутые штаны, посылал старика в омут, он только издали глянет на него и зараз махнет в обратную, у него не лошадь, а чертова зверюга, он на такой лошади царя обгонит.

В глазах обоих рябила вереница медленно плывших вагонов.

Старик подбежал к поезду первый.

— Что, нету? — спросил он, задыхаясь, кондуктора, стоявшего на тормозной площадке.

Тот удивленно поглядел на его возбужденное лицо, на космы седых волос дыбом, на другого мужика, суетливо гнавшегося за ним по ржи.

— Проходи, проходи, дед, нету.

— Нет, брешешь, есть,— азартно воскликнул старик, взмахивая кнутом, и побежал вдоль вагонов, заглядывая на площадки. Он был жалок. А за ним, не выпуская штанов из рук, гнался мужик с бородкой набок. Они добежали до паровоза. Струя холостого пара так напугала их, что старик на миг онемел.

— Тут он, у вас? — умоляюще протягивая руки, спросил он, робко подвигаясь к подножке паровоза.

Два чумазых парня высунулись сверху и спросили, что ему надо.

— Малый мой...

— Что? Кричи громче...

— Ваньтя наш... тут?

Парни переглянулись, и один помоложе, молокососишка, ответил:

— Нету, весь вышел. Тебе, дед, не холодно в полушубке?

Мужичонка, вероятно, видал виды, он начал во весь голос лаяться с машинистами, а под конец, разжав руки, показал им такую козу, что чумазые озорники аж взвизгнули. А старик очумело метался по другой стороне поезда.

Он успокоился и затих лишь после того, когда самый главный начальник станции — он был в красном картузе и светлых пуговицах — сказал ему, что в этой машине люди не ездят, что он приедет с другой машиной, лучше, наряднее, та будет с окошками, как в хате, и что эта машина придет через полчаса. И начальник при этом поглядел не на солнце, как все, а на белую круглую хреновину, которую достал из кармана и которая сама открылась.

IV

Человек вышел из вагона и постоял на площадке. В руках его был небольшой чемодан. На миг человек растерянно поглядел на маленькую в зелени акаций и молодых осин станцию, такую маленькую и тихую, что у него аж сердце заныло, и он крепче сжал ручку чемодана. Потом он медленно стал сходить на платформу. И когда он сошел и стал оглядываться вокруг, люди, бывшие на платформе, въелись в него взглядами и стали следить за каждым движением его.

Человек был брит, в шляпе и городском белье. Из-под шляпы, над ушами, выбивались пряди светлых волос. Человек был в коричневом легком пальто, перетянутом по талии поясом, и перчатках. Человек пошел в станцию, и все напряженно глядели в спину его. Тогда, будто повинуясь их воле, человек не вошел в станцию, а свернул вправо, под колокол, наклонился и поставил чемодан у стенки. И все сразу же заметили, что на ручке его чемодана болталась какая-то четырехугольная штучка с бумажкой посредине и что оба конца чемодана облеплены бумажками — серыми, красными, розовыми, больше розовыми.

Человек порылся в кармане, вынул платок. Все продолжали напряженно глядеть на него, каждый на своем месте, и всем показалось, что руки его дрожат. Человек вытер лицо и тоже оглядел всех по очереди. Улыбнулся бабе, изнемогавшей в любопытстве. В коленях бабы торчал мальчик лет пяти с выгоревшей головкой.

Ушедший поезд был еле слышим.

Человек направился к начальнику станции. Сторож, стрелочник, телеграфист, телеграфистка, баба отступили. Начальник отставил вперед левую ногу, а руку заложил за борт белого кителя. Человек подошел к начальнику, приподнял шляпу и спросил, может ли он получить багаж.

— Да, конечно,— ответил начальник.— Издалека изволили прибыть?

Начальник на весь участок славился деликатностью и уменьем поговорить с образованными людьми.

Человек порылся в карманах и подал начальнику багажную квитанцию.

— Я из Петербурга,— сказал он.

— Член Думы Бубликов? — догадливо спросил начальник.

— Нет, нет, не член,— сказал человек.

Начальник бережно принял квитанцию и побежал к кладовой. Но его опередил сторож.

— Сейчас принесут,— сказал начальник, возвращаясь.— Ну, как там в Петрограде?.. Кстати, как теперь надо говорить: Петроград или Петербург?.. Простите, если я утомил вас разговором.

— Я думаю, все равно: Петербург, Петроград. В конце концов это не важно,— проговорил человек.

— Конечно, конечно! — с жаром согласился началь-

ник.— Ну, как там у вас, в Петербурге, кончилась революция?

Человек улыбнулся.

— Мне думается, нет, рано,— сказал он.

— Да неужели? — воскликнул начальник и засмеялся, потому что думал, что человек шутит.— А у нас, знаете, кончилась, у нас лягушек за три версты слышно.

Сторож в это время нес из кладовой еще чемодан, облепленный бумажками, нес и покряхтывал от удовольствия.

— Василий,— сказал ему начальник,— чем дурака-то валять, возьми да сбегай на деревню за подводой. Домчись, пожалуйста.

Человеку:

— Наверное, не привыкли ездить на наших телегах? Глушь, бедность... А рессорные экипажи теперь, сами знаете...

Лицо начальника приняло скорбное выражение, будто он был виноват в том, что рессорные экипажи теперь стали не в моде.

Человек улыбнулся.

— Нет, я привык, ездил... Тут, видите ли, за мной должна быть подвода, я телеграфировал.

И не успел человек сказать это, все смятенно отступили от него.

— Вы из Осташкова? Иван Петрович? — воскликнул начальник станции, всплескивая руками.

Человек смущенно ответил:

— Да, я из Осташкова.

— Ах, боже мой, Иван Петрович, дорогой! Ведь мы заждались... Позвольте представиться: местный начальник станции Пятов.— Начальник обеими ладонями крепко сжал руку человека.— Вот счастье, вот радость... заграница, Африка, Мадагаскар...— Он с невыразимою любовью оглядывал багаж человека.

За начальником к человеку бросились телеграфист, сторож, стрелочник, после всех баба.

— Ваньть, это ты? — спросила она, заливаясь слезами.— Одежа-то на тебе какая хорошая!

Все крепко пожимали руку его, возбужденно говоря, что любого из них зарежь на месте, никто не мог бы признать его сразу.

— Мне помстилось,— кричал сторож,— он больше всех был огорчен, что не признал человека сразу,— мне

помстилось: сошел человек и человек бытто знакомый — лицо, волосья, как полагается... Эге, думаю, тут что-то неладно, тут надо подумать...

— Я сам так-то,— дергал его стрелочник.— Человек, да черт с ним, что человек, разве мало их таскается... Гляжу, а это наш, осташковский...

Только телеграфист небрежно шепнул телеграфистке:

— Я сразу его узнал, но неудобно было подойти: мы же до сих пор были незнакомы.

— Ну, держись теперь Осташково, свой царь приехал! — подбрасывая шапку, воскликнул сторож.— Всем царям царь.

Человек изумленно обернулся на него.

— А что, неправда, что ли? — накинулся на него сторож.— Стало быть, ты теперь нашим царем будешь, вот и весь сказ. Помнишь, как мучился? Помнишь, как тебя казаки терзали? Забыл? Память плохая? Вот тот-то и оно... Ну, так и молчи... Помнишь, ты у меня единожды на печке в крови валялся, а полиция две тыщи рублей сулила, помнишь? Я бы теперь лавкой торговал на всю волость...— На минуту сторож стал центром внимания всех.— Полиция, понимаешь, когтями землю скребет, где малый? Нет, думаю, сучьего сына, за две тыщи не купите!..

Сторож наклонился к уху начальника и прошептал:

— У него, Андрей Филиппыч, бок был простреленный, во дырища, рукавица пролезала.— Сторож развел руками, показывая, какая была дыра в боку человека: в эту дыру свободно могла пролезть собака.— А то ладит: в цари не гожусь, в цари не гожусь! — возмущенно проворчал он.— Годишься, как заставим. Цела еще метка-то на боку? В цари не гожусь... То-то у нас был хороший царь — Гришка Распутин.

Человек улыбнулся.

— Про Гришку теперь не поминай, то время прошло,— наставительно сказал стрелочник.

Вдруг сторож подскочил, как укушенный, и бросился за станцию, крича не своим голосом:

— Деда Петро! Деда Петро, приехал!.. Ведь за тобой с утра папаша тут,— обернулся сторож к человеку.— Деда Петро, куда тебя нечистая сила загнала?

И все тотчас же загалдели, изумляясь, куда девался старик: приехал встречать гостя, целый день томился сам не свой, а то запропал, как иголка.

Сторож был у телеги, обежал вокруг станции, заглянул в телеграфную, даже в квартиру начальника,— старик исчез.

— Прямо чудно, то бегал, как козел, нудился, а то вот на тебе. До ветру, что ли, вышел?

И все вопросительно глядели друг на друга.

— Да вот он! — со смехом воскликнула баба.— Он в кусты залез.

Жалкими, молящими глазами старик глядел из кустов акации на подошедших людей. Он крепко держал руками картуз свой, будто боялся, что его выдернут, и пятился. Потом он будто попытался что-то сказать, у него задвигались желваки на скулах и затряслась борода. У человека похолодела спина, таким несчастным, беспомощным и старым показался ему отец. Он шагнул в заросли акации:

— Отец!

Старик взметнулся:

— Сейчас, сейчас, сынок, лошадь, того... лошадь готова!..— он побежал к коновязи, на бегу болтались полы смрадной шубенки его; по щиколкам хлопали дерюжные порты. «Когда их стирали, стирали ли?» — мелькнуло в голове сына. Старик трясущимися руками отвязывал повод, тпрукал, бил босыми ногами лошадь по коленям. Сын подошел сзади и хотел обнять его.

— Сейчас, сейчас, сынок,— бормотал старик, качаясь,— готово.— И побежал к телеге, хватаясь за вожжи.

Сын только почувствовал, как тяжело, запально дышал старик.

V

Кругом, насколько хватал глаз, тянулось ровное сине-зеленое море хлебов. Рожь была по пояс, местами выше и гуще. Иногда по верху ее пробегал слабый ветер, рожь колыхалась мертвой зыбью, то чернея, то отливаясь матовой рябью. Тогда над колосьями почти непроницаемой завесой подымался цветень, будто тучи серебряно-багрового дыма вырывались из земных недр, и на время тускнело солнце. Трава, цветы, земля казались плесневелыми. Потом опять душным гнетом налегала тишина, волны выравнивались и с безоблачного неба бесшумными потоками лился палящий зной.

Старик, сидевший по-татарски в передке телеги, ни разу не обернулся, хотя они проехали уже версты три. Изредка он чмокал и шевелил вожжой. Рои злобных оводов гнались за телегой, острыми шильями кололи кожу лошади, впивались в вымя ее, грудь, бока, и под шлеей ее уже пятнами проступила кровь. Измученное животное беспрерывно мотало головой и фыркало, и то бросалось в галоп, — тогда старик отчаянно натягивал вожжи, перекидываясь на спину, — то падало на колени, пытаясь лечь, — старик тоже вскакивал на колени и бил ее кнутом. Иной раз старик бросал вожжи и хлестал лошадь картузом по вымени и животу, и с каждым взмахом картуз его становился краснее. Лошадь благодарно оглядывалась. И каждый раз украдкою старик присматривался к сыну. Но тот будто не замечал его возни. Глядел на ниву, синеватое небо, далекие и редкие ракитки большака. Или наклонялся и набирал горсть теплых колосьев, но не рвал их. И лицо у него было такое, как будто человек вспоминал сон и не мог вспомнить его. Один раз, когда старик снова стал возиться с лошадью, сын вылез из телеги и пошел по тропинке вперед, прихрамывая.

«Пересидел ногу», — подумал старик, ухмыляясь.

Только теперь, осторожно трухая сзади, он разглядел одежду сына, обувь. А когда сын наклонился и сорвал что-то, он уткнул голову в вязок и счастливо засмеялся, шепча:

— Как был левша, так и остался, без перемены...

И слова эти, произнесенные не голосом, а только слабым движением обметавшихся губ, показались ему столь забавными, что он опять уткнул голову в колени и беззвучно захлипал, прижимаясь ртом к овчине.

Сын вспомнился ему маленьким, босоногим и длинноволосым, с тонкой шейкой и синим от голода и грязи лицом. На лице тлели испуганные, молящие о чем-то серые глаза. Порою взгляд их доводил старика до бешенства своею беспомощностью. Вспомнил нелюдимость его и болезненность, — будто белый, вялый картофельный росток, вытянувшийся без солнца. «В кого он?» — часто думал отец. Вспомнил свою безмерную любовь и жалость к нему, слабому, чужому, единственному. В любви своей и исступленной жалости, безответно перегоравших в груди, был одинок...

Старик бешено завозился на телеге и стал рвать уди-

лами рот лошади. Обогнал сына, дико глянул в лицо его из-под лохматых клочьев бровей, остановился, присел под животом лошади на карачки, злобно давил ладонью оводов с брюшками цвета красной смородины.

И опять глядел в спину сына, медленно шагавшего обочь дороги.

Вспомнил неизъяснимую гордость свою, когда этот забитый, запуганный, кричавший ночами мальчик вот таким же слепым оводом впился на восьмом году в книгу и ослеп для окружающего. Вспомнил, как он, старик, темный и непонимающий, сразу же поверил ему, поверил тому, что мальчику книга нужна больше хлеба, что он пропадет без школы. И перед ним как бы открылась тайна жизни.

Старик приподнялся на телеге, впиваясь мятущимся взглядом в фигуру сына, словно хотел крепко обнять его, будто прижимался своим горько горевшим лицом к лицу сына. Не верил, что человек, задумчиво шагавший впереди его, человек в странном костюме горожанина, в каком-то белом ошейнике и пестрой тряпочке на груди, с бледными нерабочими руками и бритым лицом, человек этот — сын его, мотавший силу по тюрьмам, а теперь вот воскресший.

— Стало быть, он, сын... Ваньтя...— шептал старик, как бы уверяя себя в этом.— Вместе пахали... косу ему прилаживал...

И старик опять вспомнил, как они действительно вместе пахали. Сыну было четыре года, не больше. Старик взял его в поле. Сеяли рожь. И он не заметил, как мальчик отошел от загона. Крутился около телеги, мурлыкал что-то под нос, а когда старик хватился, мальчика не было. Поглядел в телеге — не спрятался ли? Нет. Позвал его. Не ответил. Закричал громче. Не ответил. Беспокойно заметался, бегал на взгорье, по оврагу, лежавшему ниже. Нигде не было видно. И на кой черт он брал его? Выпряг лошадь из сохи, кружился по полю, потный, злой, с безумно бившимся от страха сердцем, спрашивая, не видел ли кто мальчишки? Никто не видел. Съездил домой. И там не было. В кровь избил жену. Воротился в поле. Уже заходило солнце. Кричал полем, как под ножом, потому что обрывалась жизнь его... Разбитый, с порванным голосом, без шапки, возвращался к телеге. И первой мыслью его, когда он издали увидел телегу, было: «Сейчас убью лошадь, а

сам удавлюсь на тележном крюку...» Мальчик спал в меже, шагах в двухстах от него. Лицо его было заплакано, рубашонка, руки и ноги в тине.

— Где ж ты пропадал, чертенок? — завыл отец, соскакивая с лошади и хватая его на руки.

Мальчик испуганно взметнул ресницы, заплакал, прижался к груди отца,— он водил поить лошадь, а потом никого нет, и он искал телегу, в телеге тоже никого нет, он пошел домой, и дома нет.

— Какую лошадь? — оторопело спрашивал отец.

— Вот лошадь.— Мальчик разжал ладонь и показал ему большого зеленого задушенного кузнечика.— Лошадь пила, а я увяз и соху потерял,— сказал он.

И сколько ж раз потом старик с хохотом рассказывал всем об этом: «Вот стервенок!» — как часто, сидя за столом, он спрашивал сына: «Ваньтя, а лошадь напоил?» — и, когда сын неизменно отвечал: «Она уж издохла»,— ржал, ласково хлопая мальчика по острым лопаткам.

Это был первый случай, когда между ними протянулась слабая паутинка.

VI

...А то раз после троицы они взметали пар. Было так же жарко и душно, как нынче. И так же лошадь бессильно билась от гнуса. Мальчик бегал с кнутом за молодыми грачами.

— Вот они тебя укусят! — смеясь, кричал отец.

Мальчик вправду робко останавливался, боясь, кабы грач не укусил. И старик жалко усмехнулся, вспомнив это.

«Лошадь-то была другая, не эта, та лошадь была добрая»,— подумал он.

И вот середь дня неожиданно, как исполинский ворон, на поле налетела туча, закрыла черными крыльями солнце, и в поле стало почти темно. Забушевал ветер. Запахло гарью и дождем. Будто кнутом, небо стегало молниями. Телега стояла на дне лощины. Он торопливо распряг лошадь и пустил на траву, а сам побежал в лощину. Мальчик сидел на телеге бледный, с развевающимися волосенками. Старик схватил одежу, хомут, мешочек с хлебом и луком и закричал сыну:

— Лезь скорей ко мне, а то намочит!

В этот момент полоснула молния и раздался такой гром, будто над ухом старика переломилась гигантская сухая сосна, и поле застонало. За раскатом грома хлынул ливень.

— Ваньтя, лезь под телегу, я кому говорю? — закричал отец. Сдернул мальчишку с грядки, закутал его полушубком, веретьем, сверху бросил сибирку, а сам прикрылся хомутом, как лиса бороною. Можно было досчитать не больше до двух сотен, не больше трех раз обернуться на полосе, как все кругом залило водою. Раскаты грома были столь часты и оглушительны, так стонало и колебалось небо над ними, с угорий с таким яростным ревом катились потоки мутной воды и такой высокой стеной вода хлынула на телегу, что старик занемел от испуга. И вот в этот момент, сквозь грохот неба и рев потоков, неожиданно раздался крик ребенка:

— Тятя, поехали!

Поток поднял одежу и веретье вместе с мальчиком и понес вниз. Отец бросился в воду, она была выше колен его, гораздо выше, хотел схватить ребенка, но поскользнулся и упал. Вода хлынула через голову. Он кинулся вплавь. Мальчик был шагах в пятнадцати. Тогда он побежал к бровке лощины, перегнал мальчика и, зайдя в воду по пояс, отчаянно борясь с потоком, кое-как выволок его без полушубка, веретья, почти голого. И снова мальчик испуганно приник к нему... Ливень быстро прошел. Опять выглянуло солнце. Лохмотья туч неслись на север. Поток еще ревел, перекатываясь через опрокинутую телегу. Где-то в воде были хомут, одежа, пещер с мелкими инструментами, хлеб,— ляд с ним, с этим навозом! Отец бережно нес мальчика на угорье, ласково урча:

— Присядь тут, тут суше, видишь — солнышко, оно, брат, живо согреет, испугался?.. Ах ты, озорник, право, ей-богу, надо бы кричать: тону!.. а ты смеешься, глуп ты еще, Ваньтя...

А потешнее всего было то, что мальчик опять рассмеялся, когда старик пошел отыскивать худобу.

— Ты что? — удивленно спросил он, останавливаясь.

— Было поехали,— ответил мальчик. Ребенок в самом деле был еще глуп.

Полушубка он так и не нашел, только веретье случайно затинилось у куста.

— Хорошее веретье, новое,— пробормотал старик, сжимая ладонями виски и изумленно глядя в спину шагавшего впереди человека в городской одежде.

«Ведь это он,— с болью подумал старик,— идет и молчит...» И если б сын обернулся в это время и поглядел на отца, он увидел бы пустые, далекие глаза его, глаза очень, очень больного человека,— так они были тусклы и молящи.

VII

Откуда-то раздался еле слышный звук колокола. Старик встрепенулся и задергал вожжами.

«Народ, поди, заждался»,— подумал он.

Догнал сына, хотел сказать ему: «Садись!» — но не посмел. Сын так же задумчиво шагал по тропке. В руках его пестрели васильки, веточка белого донника, мышиный горошек, две-три полевых гвоздики. Изредка он подносил цветы к лицу, будто целовал их.

И снова старик вспомнил сына маленьким, в замашной синей рубахе с красными ластовицами и красным рубчиком по вороту. Из-под рубахи проступали острые лопатки его. Опять они в поле, на пашне. Сын ходит за сохой. Как бессильно вихлялось его тело в борозде, с каким напряжением держал он соху! На поворотах старик видел залитое пóтом худое лицо его, налеты соли на носу, дрожащие мышцы рук под мокрыми рукавами. Работа была ему не по силам. Вечерами, как срезанный колос, мальчик падал у телеги на голую землю и засыпал мертвым сном. Ласково прикрыв его, старик сам вел лошадей в ночное и стерег их до утра. Мужики часто смеялись над сыном:

— Это, брат, тебе не сметану лизать.

Или:

— Барчук, что хвостом-то крутишь, не умеешь за соху взяться?

Отец видел, как болезненно дергалось лицо его от насмешек, и он старался выбирать полоски подальше от людей, запальные; чаще, чем надо, посылал его за водой, обедом, то будто забыл спички, то не хватало овса лошади,— чего он только не придумывал!.. Один раз так схитрил:

— У тебя, Ваньтя, соха что-то неладит,— сказал он.— Пока сбегай покупайся, а я поправлю, ишь вон подвои-то повисли...— Мальчик пошел к реке. Старик обернулся раза два по полосе и, заговорщически ухмыляясь, стал с силой колотить краями палицы по сошникам. Наварное ушко палицы отлетело. Старик лукаво сунул его в землю.

— Вот,— сказал он потом сыну,— вот какая чертова музыка: гляжу, чего соха ни кляпа не стоит, борозда-то — как хряк намочил...— И борозда у него была действительно, как хряк намочил, в извивах.— Поглядел, понимаешь, а ушки-то на палице — тютьки съели, ах, чума ти возьми, шельму!..

И сердце его радостно щемило, когда он говорил это сыну.

— Вот что, Ваньтя, беги домой, возьми у матери денег и пускай кузнец новые ушки приварит, стальные, беги. Ежели у матери нет денег, беги к крестному: дай, мол, крестный, отцу двадцать копеек, ушки наварить, а то сломались, беги скорее...

Знал: у матери нет денег, крестный не даст, тем лучше.

Теплыми глазами старик обнимал голову сына, когда тот доверчиво побрел к деревне. А потом бахвалился понуро стоявшей лошади, как он ловко окрутил мальчугана.

...Через год он видит сына на полосе ярового. Овес буен и гроздист, как рябина, местами вылег. Мальчик ведет ряд сзади отца. Ему двенадцать лет, но никто не дал бы ему десяти, так он худ и мал. И оттого, что он такой дохлый, неудачливый, так бессильны и жалки напряженные руки его, такими напряженными толчками бьется кровь на шее и висках его, будто сейчас жилы лопнут, сердце старика костенеет от злобы и жалости. Вот схватил бы его сейчас на руки, душил бы в объятьях, покрывая поцелуями это милое, беспомощное, безвольное лицо, а потом, может быть, швырнул бы с бешенством об телегу, об колесо спиною, черт бы его побрал!.. Но он только трясется, ласково улыбаясь:

— Ну-ну, сынок, надувайся, жарь помаленьку, ишь овсище-то мер по четырнадцати даст, так, так... Налегай на пятку больше, на пятку... А левое плечо держи выше, так, правильно... Ну-ко, я поточу косу, присядь пока...

Наточив косу, говорит, как ему неудобно возиться с леглым овсом, у него только зря время пропадает с этой дурацкой «постелью».

— Подрезай, сынок, понемногу и складывай на ряды...

И сын бросает свой неоконченный ряд и подкашивает вылегшие пятна «постели», перенося овес небольшими прядями на жнивье.

VIII

Старик видит мальчика школьником с холщовой сумочкой книг. На пройме сумки деревянный верешок, на который сумка застегивается. Говорят, сын лучше всех учится, он в «первых». Зимними вечерами старик неотрывно следит, как мальчик чертит значки и линии на бумаге, по временам заглядывая в раскрытую книгу. Мальчик решает задачи. Старик просит растолковать, что такое задачи.

— Из одного бассейна,— говорит мальчик,— вода вытекает в четыре часа пятнадцать минут, а из другого...

Старик не знает, что такое бассейн и сколько долог срок четыре часа пятнадцать минут, но он жмурится, согласно кивая головой.

— Надо узнать, сколько ведер воды вытекает из первого бассейна, если из второго...

— Узнавай, сынок, обязательно узнавай,— шепчет он.

Отцу хочется придвинуться и обнять ребенка, и он возится по лавке. Но на него удивленно поднимаются большие и тусклые, как у слепца, глаза. В них вспыхивает испуг. Тонкие, худые пальцы выпускают карандаш. Угловато поднимаются плечи. Мальчик начинает дрожать.

«За что же, за что же мне это?» — мысленно кричит старик, с ненавистью глядя в глаза сына.

И так они сидят несколько минут: один дикий и страшный, с ногтями, вдавленными в тело свое, другой — мятущийся и жалкий, с молящими лучиками глаз. Еще момент, и старик, кажется, вопьется пальцами в шейку мальчика. Он с шумом поднимается и говорит, скрипя зубами:

— Сидишь вот с моргасулькой да ослепнешь, надо другую лампу купить, светлую...

IX

Если бы старик видел кинематограф или знал бы хоть приблизительное устройство его, он сказал бы, что с ним что-то случилось, у него в голове завелся какой-то кинематограф, так быстро, ярко и до мельчайших черточек отчетливо проносилась перед ним прошлая жизнь его. Как от ос, старик беспомощно отмахивался от нахлынувших воспоминаний, но они облепили голову его и с болью жалят. И старик ослаб, отдаваясь им. Он свесил на грудь голову, и она мотается, как у пьяного. Из рук вывалились вожжи, вот-вот закрутятся на колесе. Лошадь еле плетется. Заехала в рожь, остановилась, хватает колосья. Старик недоуменно глядит на нее. Потом медленно тянет за вожжу. Лошадь нехотя поворачивает на дорогу. Телега скрипит осями и подпрыгивает в колеях. Шагов через десять лошадь останавливается середь дороги. Старик глядит на круп ее и молчит. Затем начинает тихонько подсвистывать, чтобы лошадь помочилась. Она не хочет мочиться. Налетает гнус, жадно облепляя лошадь. Она срыву дергает телегу и несется вскачь. Подпрыгивая на сиденье, старик хватается за вязок. Вожжи падают. Лошадь круто поворачивает в сторону и чуть не опрокидывает повозку. Старик неторопливо слезает. Колесо заело вожжи. Старик снимает тяж, чеку, упирается пятками в колесо и с усилием расправляет вожжи. Руки его в дегтю. Лошадь бьется от гнуса и то и дело хлещет его хвостом по голове, по лицу и плечам. Старик отпрукивает ее. Сын оглядывается: ни удивления, ни любопытства нет в глазах. Постоял немного, повернулся и зашагал дальше... Ах, будь ты проклята, трижды проклята постылая жизнь!

...Лента кинематографа неумолимо развертывается. Вот старик видит мальчика в распахнутых дверях своей избенки с перекошенным от ненависти ртом. Ему уже восемнадцать лет. Горела та светлая лампа, которую он купил когда-то.

— Отец,— говорит он,— ты донес на наше братство, зачем ты сделал это?

И вот тот же час раздается звук пощечины. Потом сын плюет в онемевшее лицо его. На минуту он беспамятен. Потом слышит свой страшный голос, проклинающий сына. Помнит, как торопливо он обувался, крича,

что сейчас побежит к становому, и подлу их разнесут в пух и прах, он знает, где спрятаны бумаги, оружие, кто прятал, кто поджигал волость, кто убил летом урядника, он все знает. Помнит, как с воем повисла на руках его жена, когда он одевался, и помнит, как он ударил ее ногой в живот, и она беззвучно упала на пол. Потом помнит выстрел, неожиданный и потрясающий, острый ожог в плече и крик мальчика, разразившегося рыданиями...

Старик просовывает руку за пазуху и щупает шрам на плече. Удивленно глядит на сына. Сын молча шагает впереди.

X

...Перед стариком осень, ночь, ветер с дождем и тяжелая тоска на сердце, словно сердце чует беду. Он беспеременно курит, мечется по избенке, приникает к стеклам, ложится, снова встает, опять курит.

— Господи, что же это такое? Господи, что же это? — бормочет он, изнемогая от беспокойства.

Наконец забывается.

Страшный грохот в двери заставляет его вскрикнуть. Он бегает по избе, натыкаясь на лохань, ведра, стол. Как нарочно, завалились куда-то спички.

— Старуха, старуха,— тормошит он жену,— старуха, встань, несчастье!.. Должно быть, несчастье!..

Он бежит к уличным дверям. В двери стучат тихо-тихо. Приподнимут щеколду, ударят, подождут, потом забарабанят тихо-тихо и настойчиво. Через минуту снова застучат. Почему же ему показалось, что в двери грохочут? Он босиком на цыпочках подходит к дверям и берется за щеколду.

— Кто там?

— Отвори, дядя Петра.

И старик чувствует, что говорят крадучись. Человек сперва прикладывает губы к дверной трещине, потом тихо произносит, будто дышит:

— Отвори, дядя Петра...

— Вот и дождался,— говорит старик и не знает, к чему он говорит это: кого, чего дождался — смерти или радости?

Вынимает трясущимися руками запирку. В лицо хлещет дождь. У притолоки стоит человек. Он только

догадывается, что стоит человек. Фыркнула лошадь. Чавкает грязь под ногами.

— Поди завесь чем-нибудь окошки,— говорит человек.

Старик бежит в избу.

— Завесь чем-нибудь окошки, — говорит он жене словами неизвестного человека.

В сенях слышна возня. Старуха сидит не двигаясь. Он подскакивает к окнам, забивая их одеждой, тряпками, охлопьем, юбкой старухи — что попадается под руку. Дверь открывается, и в дверь хотят войти сразу два человека боком.

«Сдурели они, что ли, или пьяные? — дивится старик, пятясь.— Сперва бы один, за ним другой...»

Со свит их густо течет вода. Головы обвязаны башлыками.

— Шагай наискось полегче,— говорит один человек, и голос его хрипл.— Соломки, дядя Петра, найдется?

И только теперь старик видит, что руки этих людей скрещены, что они поддерживают что-то, что между ними болтаются какие-то сапоги носками вверх, что за плечами этих людей, в темноте, стоят еще люди и тоже что-то поддерживают.

«Ну да, несут пьяного; где они нализались, кто они?» — Он торопливо выкручивает фитиль и узнает сына, которого кладут на пол. Лицо его бело, как у покойника, глаза закрыты.

— Двери, двери надо закрыть, двери! — торопливо говорит один из вошедших и, став на колени, наклоняется над сыном.— Тетушка, теплой водицы найдется? Да не кричать!.. Тетушка, не кри-чать, говорю! — угрожающе шепчет он.

Осторожно кладет руки сына вдоль туловища. Он не дышит. Лицо его обметано легкой бородкой. Развертывает свиту, в которую сын закутан, снимает башлык, рвет крючки полушубка. По-видимому, он старший или опытней других.

— Ого,— говорит он,— здорово, сволочи, угостили... Водка есть? — Он высвобождает из-под сына руку, и рука его по кисть в крови.

— Ловко... Тетушка, рушничок надо чистый. Водички припасла?..

Легонько он поворачивает сына на бок. От груди и до колен белье его в крови.

— Так как же насчет водки?.. Ага, березовка есть?

Отрывает вышивку с поданного рушника.

— Это не нужно, это в печку. Положи при мне, тетушка, в печку, а то запамятуешь...

Осторожно смывает запекшуюся кровь с тела сына. Товарищи ему помогают. А один стоит у дверей, не вынимая рук из карманов.

Промыв рану — да, старик теперь видит, что сын его кем-то подстрелен,— человек льет березовку на рану, обильно смачивает тряпку и прикладывает к боку. Подумав, льет на тряпку еще березовки. Потом туго закручивает бок полотенцем. Сын стонет.

— Ну, вот и хорошо,— облегченно говорит старший и осторожно откидывает прядь светлых волос со лба его.— Дай-ко, тетушка, ложку. Да ты не пугайся, дело-полдела... и не кри-чи, слышишь?!.. Это его собака укусила,— сурово добавляет он. Подносит ко рту сына ложку с березовкой. Она течет по щекам его. Терпеливо наливает вторую ложку, третью. Сын поперхнулся и застонал.

— Ну, вот,— говорит старший и садится на лавку.— Теперь ты, дядя Петра, и ты, тетушка, теперь вы спите, а мы покурим. Саша, выйди малость.

Человек, стоявший в дверях, выходит в сени. Фитиль в лампе приспущен. В избе почти темно и тихо. Только за стеной бушует и хлещет дождь. Да изредка стонет сын. Тлеет цигарка в руках старшего. Пахнет махоркой. Человек приподнимается и ниже притушивает лампу. Осторожно возится в темноте, будто укладываясь.

Ночи нет конца и края.

«Кто они? кем и где подстрелен сын? — думает старик.— Не скажут, если спрошу... А может быть, скажут...»

Он спускает босые ноги с лежанки и бесшумно крадется к старшему. Мгновенный ослепительный сноп света, вырвавшийся из ладони старшего, как удар по лицу, отбрасывает его к лежанке. Свет сразу тухнет.

— Нельзя, дядя Петра,— спокойно говорит старший.— Или ты для себя, может? — Тихонько дергает товарища за рукав.— Гриша, выйди малость, а Саша погреется... Саша, ложись, милый, на лавку...

Сын болезненней и громче стонет, но это почему-то радует старшего. Он еще раз дает ему березовки. Кладет смоченные в воде тряпки на голову его.

Сын затихает.

После вторых петухов в избу входит человек из сеней и наклоняется к уху старшего. Старший сует березовку в карман. Как ребенка, они быстро и ловко пеленают сына. Сын стонет. Его бережно поднимают на руки и уносят.

— Дядя Петра, у тебя ночью никого не было, и ты ничего не знаешь.— Человек стоит, склонившись над лежанкой.— Понял, дядя Петра? И когда бить будут, говори, никого не было,— понял, что толкую? Гляди, дядя Петра, у нас шуток не бывает... А скажешь, кровь свою продашь... Держись, дядя Петра...

«Ладно»,— хочет сказать старик, но только мычит.

Хлопает дверь. Тихо. Старик лежит как мертвый. Опять хлопает дверь. К лежанке кто-то подходит и щекочет его ухо волосом. Он ничего не понимает.

«Кто вы? Куда вы его?» — хочет спросить старик, но голоса нет.

Дверь снова хлопает, и в ветре слышен рыв лошадей и брызги грязи. Тогда раздается дикий вопль жены его, который он подхватывает еще горестней и безнадежнее.

XI

Да, старик в ту пору был тверд и не выдал сына с товарищами.

Обессиленные горем, они утром не топили печи, не ели. Старуха совсем расхворалась, бредила. В избе было холодно. Весь день раздавался рев и блеянье голодной скотины в закутах.

«Пускай дохнет, на что она мне»,— думал старик и зябко жался в лохмотьях. И так они лежали, как поленья, двое суток. Старик ласково уговаривал жену не убиваться.

— Вот попомни, хоронить нас обязательно позовут... А может, еще оклемается. Видала, как его тот березовкой-то, почти всю бутылку вылил, это не зря.

На третий день у них был обыск. Насильно стащили старуху с печки. Спрашивали, где сын. Влезали на потолок, дергали крышу, искали в колодце, будто сын пятачок, который может закатиться в трещину. Взломали бабин сундук, и на полу, под грязными ногами, валялось

их белье, приготовленное на смерть. Твердили с револьвером у лица:

— Старик, говори, где сын, тебе же лучше будет...

Он неизменно отвечал:

— Мне и так хорошо...

А когда кнут рассек ему щеку, он вспомнил слова человека, стоявшего над ним у лежанки: «Скажешь, кровь свою продашь...» — и боль повторенного удара и кровь, капавшая с бороды, показались ему сладкими.

И в тюрьме, среди воров, он был крепок, как булыжник. Его держали больше месяца. Ежедневно таскали к начальству. Он почти не ел в тюрьме и был худ и страшен. Тело его было в волдырях и расчесах: он спал на полу и его заполонила вошь. Ему то сулили деньги и свободу, то били и бросали в карцер. Однажды с ним разговаривал большой начальник с медалью на груди.

— Мы сына не тронем, — говорил он, — укажи, где прячутся его товарищи, на вот тебе на табак...

Старик молчал. Он шатался от непереносной жизни. Но вытерпел и слово, безмолвно произнесенное чужому человеку в башлыке, соблюл.

Дома он нашел избу прибранной и теплой. Уже легла зима. Под окнами была навалена загать. Поправлены сени, которые он все собирался поправить. В клети торчали новые пробои. Утеплен двор. В яслях лежал свежий корм. Сарай и амбарушка были на замках.

«Ай-да старуха — молодца́!» — мысленно воскликнул он, ко всему приглядываясь. — Куда ж она сама-то запропастилась? Надо бы перемениться, помыть голову, а то я вошью стравлен...»

Он вошел в избу и посидел, поджидая ее. Потом нашел какое-то бельишко и переменился, а грязные рубахи вышвырнул на снег.

Вскоре сошлись соседи, он с ними болтал.

— Небось, дядя, есть хочешь? — спросил его молодой мужик. Старик даже удивился, как далеко забрел этот мужик, он с другого конца Осташкова.

— Да оно бы не плохо, вот поджидаю бабу, ушла куда-то да застряла, — сказал он.

Тогда сухая старушка, сидевшая против него, удивленно спросила:

— Да ты, мужик, разве ничего не знаешь? Нету ее, Петреюшка, нету, две недели уже нету, схоронили, па-

рень, вот что... в гробу-то, царство ей небесное, белая была, как живая, то и гляди засмеется, вот что...

— Да, вот что... вот что было... все растерял... Бог остался да добрые люди... А потом и бога потерял, сукина сына...— говорил старик, тряся зеленой бородой,— и бога потерял...

...Старик ошалело соскакивает с повозки и хватает прядь колосьев.

— Кажись, наливается? — хрипло бормочет он, поднося колосья к глазам.

Опомнившись, с сердцем бросает их под колеса и идет следом за телегой. Сухие кочки мешают ему, и он переходит на тропу, по которой шагает сын.

— Такой же, только стал погрузнее да лицо бело и безволосо, как у бабы,— вслух говорит он.— А уж годов тридцать с пятком. Дети бы теперь большие были... Вот что! — восклицает старик.

Сын оборачивается и вопросительно глядит на него.

— Но, ты, черт сутулый, дорогу забыла! — кричит старик, подбегая к лошади, и хлещет ее кнутом.— В хлеба прешься?..

Сын наблюдает за ним. Сравнявшись, старик молча останавливается, и сын лезет на повозку. Старик суетливо поправляет веретье.

— Курить хочешь? — спрашивает сын, протягивая кожаную елдовину.

Оттуда желтеют мохом концы папирос. Старик не знает, как вытащить. Сын помогает, и они закуривают, повернувшись спинами к ветру. Пальцы и плечи их соприкасаются, и у старика ноет сердце. Сын видит, в каких глубоких шрамах и трещинах руки отца, как много на них грязи, въевшейся в кожу, и как длинны, черны и страшны его ногти на несгибающихся пальцах. В рубцах морщин лица и шеи тоже непромытые полосы грязи.

— Да, так-то, отец,— говорит он громко.— Не ждал свидеться?

У старика начинает волчком кружиться сердце, и легким не хватает воздуха. Он с усилем приподнимает шерсть бровей и срывно говорит, глядя на светло-сиреневую шелковую тряпочку под подбородком сына:

— Барином стал...

— Барином? — удивленно спрашивает сын.

— У нас только дворовые так ходят...

— Да, я помню... Мать жива, ничего?

— Давно нету.

— Забил?! — почти кричит сын.

Старик вздрагивает и с минуту смятенно молчит.

— Да,— говорит он шепотом, твердо глядя в глаза сына.

— Это бывает,— равнодушно роняет сын.

И до бугристого перевала они едут молча.

XII

Село лежало в низине, на двух крылах реки. Старик вытянул руку с кнутовищем и коротко сказал:

— Вот.

Сын поднял голову. С головы церкви солнце больно стегнуло глаза его золотым песком, и он зажмурился.

По берегам реки была разостлана зеленая вата садов, конопли, ивняка и берез. В вате гнездами грудились избы. Крыши их, цвета старой меди, жарко целовало солнце. Серебряной рябью блестел помещичий пруд, он был похож на большое круглое блюдо, полное мелкой трепещущей рыбы.

В поля присосами тянулись «концы» Осташкова: на север, по московскому шляху — воротилы села, знать, купечество; на юг, через белое крыло реки — нéработь; и на закат, тупым клином в хохлы — просто люди, мужики. Сын помнил это.

Они ехали паровым полем, поросшим сорняками. Словно горох, по полю катались овцы. Кучки навоза были похожи на овец. Кудрявыми яблонями цвел чертополох. Слепила золотом сурепка. Запах горячего навоза мешался с медовым запахом белого клевера. Земля была в глубоких трещинах, серо-пепельная.

Сын попросил остановиться, встал на телеге и долго, туманно глядел на поля, на щетку лилового леса на горизонте, на пасхальные яйца крыш барской усадьбы в густой зелени.

От рассыпавшегося стада с возбужденными личиками наперегонки к дороге бежали два пастушонка. Они были босиком, в зимних шапках и сибирках, с длинными кнутами через плечи. Лица их были красны от волнующего любопытства, загара, пыли и горячих ветров. У одного, поменьше, болталась на спине сумочка с хлебом. Они впились немигающими глазами в не-

знакомого человека на телеге, и из-под шапок их тек серый пот.

— Поедем,— тихо сказал сын.

Одинокая лошадь стояла у кучки навоза и равномерно мотала головою, будто кланялась издали. Когда они сравнялись с ней, за кучкой оказался человек в красной рубахе, крепко спавший.

Лошадь была привязана поводом за босую ногу его.

— Демьян! — окликнул старик.— Демьян!

Повернув голову к подъехавшим, лошадь снова несколько раз поклонилась им.

Старик слез с телеги и стегнул мужика по оголившемуся животу.

— Демьян? Уснул!

— Приехали?! — ошалело крикнул мужик, вскакивая.— Стой же, дьявол, окаянная сила, неймется? — Торопливо сунул обоим мягкую руку, широко улыбаясь.— А меня, брат, пригрело. Что ж вы долго?.. Иду будто по высокой горе, гора вся изо щебню, а внизу огни, огни, аж жутко,— к чему это?

— К пожару,— тихо и уверенно сказал старик.

— К пожару? Не дай бог!.. Да стой же, нечистая утроба, поговорить не дает!.. Не опоздали?.. Что ж вы долго?..

Как пузырь, прыгнул животом на спину лошади, заболтал грязными пятками, зачмокал и помчался к деревне.

Старик скупо улыбнулся.

Вся площадь перед церковью, проулки, крыльца, дорога от церкви в поле были запружены народом. Люди были в лучших нарядах. Как луг, цвели девичьи платья. Не было шуток и смеха. Кое-где над головами трепыхались красные флаги. В церковной ограде, на серых теплых могильных плитах осташковской знати, сидели старики в новых сибирках, тихо переговариваясь. Томил зной. Бесперечь скрипело колесо колодца. Пересохшими губами люди жадно припадали к деревянной бархатно-зеленой бадье и долго, с наслаждением пили студеную воду. Меж ног сновали ребятишки. Поблескивая золотом облачения, на паперти собрались попы. Головы женщин то и дело поворачивались к закату, на ниточку серой дороги меж ярового.

У церковной ограды стоял высокий светлоусый человек с чахоточным лицом. В руках его была картонная папка, перевязанная сахарной веревкой. На груди при-

колот красный бант. Рядом с ним строго вытянулся тщедушный белоглазый босой старик в замашной рубахе с шашкой на боку и красною перевязью, а вокруг группа мужиков и ребятишек внимательно слушала чахоточного человека с папкой. Толпа около него то росла, то сбывала. Одни пролезали в середку и согласно поддакивали светлоусому, другие равнодушно курили.

— Как только подъедет, сразу залпом,— говорил светлоусый.— Пусть глянет, какие теперь у нас порядки. А ты, Артем, не зевай, чисть дорогу,— строго обернулся он к старику с шашкой.

— Я свое дело знаю,— уверенно ответил тот.

— Ты, шахтер, постоянно выдумываешь,— укоризненно говорил светлоусому мужик лет шестидесяти.— Тебя и каторга не угомонила.

— Нет, ты, дядя Сашка, молчи,— убежденно говорил светлоусый.— Ты нам голову не крути, как по пятому году... Забыл пятый год? Спина подсохла? Ты, дядя Сашка, слушайся меня, я председатель...

Светлоусый закашлялся, и тонкие губы его посинели.

Кучка баб, шумно поднявшаяся с травы, прервала их препирательства. Мальчишки с колокольни что-то кричали возбужденными голосами. Снизу, из-за сиреневой поросли, мчался верховой в красной рубахе.

— Едет! Едет! — кричал он, и на солнце, как осколки чайного блюдца, блестели крупные зубы его.

Мужик бил пятками лошадь в бока, дергал пеньковый повод, лошадь старательно прыгала, мужик, не переставая, дерюжился:

— Едет! Дайте, пожалуйста, закурить...— Осадил мокрую кобыленку перед светлоусым.— Едет, Петр Григорьевич! — и расплылся в широчайшую улыбку: — Вот черт, насилушку дождались! — Опять пузырем свалился с лошади, восхищенно кричал: — Кнутягой меня жвыкнул, глазыньки лопни!

Мужик быстро приподнял подол, показывая светлоусому красный рубец на животе.

— Видал? — радостно спросил светлоусый дядю Сашку.— Не переменился карахтером...

— Меня, понимаешь, приморило на солнышке, я уснул... Будто гора какая-то, огни.

— К брани,— промолвил светлоусый.

— Нет, Петр Григорьевич, к пожару! — воскликнул верховой.

— Чтоб ти чирий на язык,— ответили ему.

— Провалиться на месте, к пожару... Гора, огни, шшебень... А он, понимаешь, подкрался на карачках да к-кэк меня дернет по пузу!..

— Видал? — сквозь кашель и пот переспросил председатель и восхищенно потер руки.— Слышишь, Демьян, а из себя-то он какой — прежний?

— Не-е, куда там, к чертям, прежний, чище молодого князя, накажи бог... Вот погоди, глянешь...

Мужик ввинтился в нахлынувшую толпу, тряс головой, рассказывая, как он уснул, как не слыхал, когда подъехали и как он подкрался. То и дело он поднимал подол рубахи, показывая рубец на животе.

— К-кэк, понимаешь, дерябнет кнутиной... Я спросонок-то: да ты за што ж меня, мать твою разэтак! — да было драться к нему. Гляжу, а это он. Головушка моя горькая!

— Сдуру-то еще ляпнул бы его. Мы бы тебе кишки выпустили.

— Не, я сразу огляделся.

Ему говорили, хлопая по спине:

— Мало тебе, дураку, правое слово, мало. Послали караулить, а он дрыхнет, гад.

— Да, дрыхнет, разве я нарочно... Солнышко приморило, гора, огни, как на пожаре...

— Слышь, Демьян, постой, а узнал он тебя?

— Сразу, глазыньки лопни, сразу.

— Слышь, Демьян, постой, а ты узнал его?

— Еще бы, как глянул — он!

— А говоришь, он теперь на молодого князя похож! О брехло!

— Стало быть, на молодого... Там, брат, на нем сибирка одна чего стоит — желтищая, с подкладкой, картуз — желтищий... в очках...

— И еполеты?

— Еполеты при мне снял, ну их, говорит, в озеро, что я, говорит, царь, што ли... К-кэк, понимаешь, урежет меня кнутягой, да как засмеется, во черт!

— Слышь, Демьян, постой, а говоришь: сразу узнал, что ж ты брешешь, мот? Ведь он в деревне в лаптях ходил и сибирка свойского сукна, а сейчас как князь... Как же ты узнал его?

— Как, как — по лошади.

— Да брешешь, дурак. Ты, должно, и пузо-то сам расцарапал себе.

— Провалиться на месте, не сам. Ну-ко, расцарапай себе; думаешь, не больно? Робята, да подите вы к лешему: «брешешь, брешешь!» — кобеля нашли!

С колокольни снова закричали: — Едет, видно!

Толпа запенилась кумачом, тревожно забурлила, и над головами поднялся лес красных флагов.

...Сын услышал легкий перезвон колоколов, насторожился. Старик торопливо застегивал полушубок. Руки его тряслись. Он то сбрасывал босые ноги на грядку, то поджимал под себя. Широкий радостный благовест раздался над полями.

Старик крепко впился руками в возок телеги. Срывно бились жилы на висках его. У церкви толпа нестройно колыхнулась, и закачались знамена.

Были слышны сотни ног. Сотни грудей под волны благовеста глухо и нестройно пели. Толпа казалась несметной. Хвост ее обволакивала пыль.

Сын посерел, сидя с обвитыми вокруг колен руками.

Толпа вышла за крайние избы и остановилась. Уши хлестнул крик ее: «Р-рр! р-ра!» Из смежного переулка, с юга, из-за ребер хилых сарайчиков, в нее втекал новый поток песен, флагов, человеческих тел. На миг замолкший колокол опять метнул в поля медные волны.

— Остановись,— сказал тихо сын.

Он, как больной, с усилием перекинул через грядку ноги. Долго искал носком ботинка колесную ступицу, чтоб опереться. Зябко глядел на приближающуюся толпу, на рощу длинных палок с красными платками на концах их. Обнажив голову, медленно, будто с натугой, пошел навстречу ей.

Впереди толпы шли дети в праздничных рубахах. В руках их были красные ленты, красные знамена, ветви сирени, ветви цветущей жимолости, васильки. Две девочки лет по восьми несли вышитое полотенце. Мальчик рядом — ковригу черного хлеба. Другой мальчик — деревянную солонку.

Личики детей серьезны и тихи. И идут они очень тихо. Неуверенно дрожат и покачиваются в руках их древесины красных знамен; они шершавы, надписи на них не все грамотны, но столько любви и веры в эти красные полотнища, столько заботливости вложено корявыми руками в молитвенные надписи на них. Затаенною гордостью горят глаза малышей, которым отцы доверили нести эти древки: будущее — будущему.

Опираясь о палки, с черными, как земля, лицами, за детями идут старики и старухи, шамкают что-то, устало глядя на знамена,— верят ли они, шельмованные барскою челядью, поротые на конюшнях, глазам своим, радуются ли?

Позади их идут девушки с цветами, они сами похожи на полевые цветы. Они идут рядами, взявшись за руки. Их лица в загаре, а за девушками плотной потной массой, колыхая шесты и палки флагов, грузно шагают мужчины, подростки, замужние женщины и снова старики. Лица суровы и торжественны.

«Отре-чемся от ста-рава ми-ра...»

Многотысячная толпа нестройно подхватывает и глухо отбивает шаг.

Давным-давно эти же люди, как воры, кутая лицо от стражников и черной сотни, пробирались этою же тропкой к станции, чтобы сквозь решетки арестантского вагона поглядеть на односельца, когда его таскали по этапам, поглядеть, из-за угла кивнуть на прощанье.

Они тогда боялись каждого пня, у которого были глаза и уши. А теперь они — хозяева жизни: непривычно, неловко, а больше — радостно, гордо, крикнуть бы теперь через весь белый свет до самой Китай-земли!..

Упругими взмахами колыхается рожь. Через необъятный простор ее несется песня, радостным криком кричат колокола, реют флаги,— так празднично, хорошо на сердце, всеми силами каждому хочется верить, что это не дешевая буффонада «воле-слободе», а доподлинная мощь проснувшегося народного духа, канун великого народного творчества.

Сын подошел к толпе и остановился, борясь с волнением. Сотни рук протянулись ему навстречу, сотни ласковых взглядов обнимали его непокрытую светлую голову.

Старик в длинной белой рубахе тихонько подтолкнул вперед девочек с полотенцем. Они, потупясь, вышли из ряда. Старик взял из рук мальчика ковригу хлеба. Положил на полотенце. Положил соль сверху хлеба — тихий и торжественный. Потом позвал кого-то взглядом. Из толпы вышли пятеро стариков, светлоусый с папкой и женщина в черном. Старик протянул руки перед ними, ладонями вверх. Светлоусый бережно положил на них хлеб и соль. Старик поцеловал хлеб.

— Вот, сынок, не обессудь, прими хлеб-соль... за читель твою,— приблизившись к сыну, сказал он с поклоном.— Добрый тебе путь на свою землю... И добрые дела рукам. Думали, забьют тебя... ну, не забили: мужицкая кость крепкая. И правда мужицкая крепкая... Правды мужицкой не пересилить... Ты как мужицкая правда: били, терзали, под петлю метили, а ты вот цел... здоров... И одежда, как на барине... Дай тебе, господи, еще здоровья.

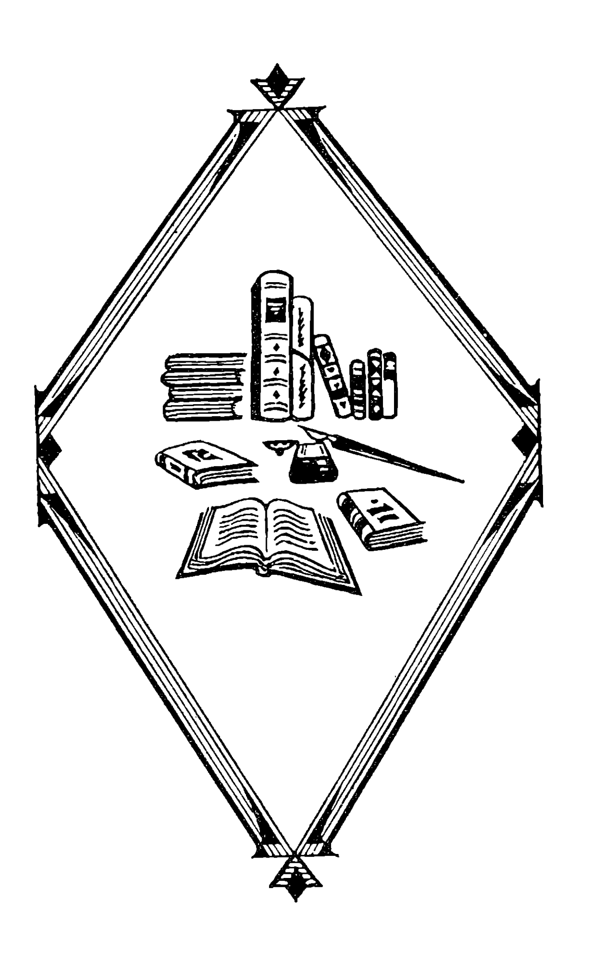
Старик опять низко поклонился, и вместе с ним поклонились старики в белых рубахах.

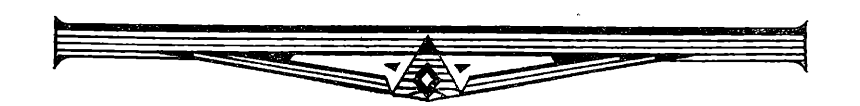
— Правда, сынок, тверже силы... И нам довелось дожить до правды. Ты читель нес за правду... Поклон тебе от нас...— Старик обнял сына, троекратно целуя его. Потом стали целовать его старики в белых рубахах.

А у края канавы, в стороне от толпы, на дне телеги лицом вниз глухо плакал в это время другой старик, грязный и босой, с потрескавшимися до крови пятками, лохматый, в гнилом полушубке, с лицом, искаженным мукой и счастьем.




КОММЕНТАРИИ





Первые произведения И. Е. Вольнова были опубликованы в 1911—1913 гг. в журналах «Заветы», «Современник», «Современный мир», «Просвещение», «Северные записки» и др. После революции он печатался в журналах «Красная новь», «Новый мир», «Прожектор», «Красная нива», «Молодая гвардия». В советское время многие произведения писателя издавались и переиздавались отдельными книгами. В 1927—1928 гг. в издательстве «Земля и фабрика» (ЗИФ) вышло первое собрание сочинений Вольнова в четырех томах. Писатель не только вновь просмотрел и отредактировал вошедшие в него произведения при подготовке их к набору, но и держал корректуру. В 1928—1930 гг. первые два тома были переизданы тем же издательством. В 1931 г. в ГИХЛе вышел первый том нового издания собрания сочинений Вольнова с предисловием М. Горького «Иван Вольнов». Однако смерть писателя помешала выходу в свет последующих томов. После долгого перерыва, в 1956 г. было издано «Избранное» Вольнова (М., Гослитиздат), куда вошли преимущественно дореволюционные повести и рассказы (некоторые из них публиковались впервые). В этом издании была впервые проведена проверка текстов по прижизненным изданиям и рукописям. Наконец, в 1976 г. в изд-ве «Советская Россия» (Москва) и в 1985 г. в Приокском книжном изд-ве (Тула) массовыми тиражами вышло наиболее известное произведение писателя — «Повесть о днях моей жизни», с включением в ее состав глав неоконченной четвертой книги.

В настоящий сборник вошли две первые книги «Повести о днях моей жизни», неоднократно печатавшиеся в таком виде (то есть без «Юности») при жизни автора. Кроме того, в книгу включены рассказы и очерки Вольнова, а также повесть «Самара». Многие из этих произведений печатались раньше только в периодических изданиях или в ставшем ныне библиографической редкостью собра-

нии сочинений 1927—1928 гг. В отличие от «Избранного» 1956 г. в настоящее издание включено много произведений советского периода, чтобы дать читателю представление об идейной и творческой эволюции писателя.

Все произведения печатаются по текстам последних прижизненных авторизованных изданий, сверенным в ряде случаев с текстами первых публикаций.

Год написания произведения указывается только тогда, когда он значительно расходится с годом публикации.

О СЕБЕ

Впервые — в «Роман-газете для ребят», 1929, № 4, с. 2—4, как предисловие к первой книге «Повести о днях моей жизни», напечатанной под названием «Так было».

Печатается по тексту книги «Избранное», сверенному с первопечатным.

В основу этой автобиографической заметки положена автобиография, написанная Вольновым в 1923 г. и опубликованная в кн. Л. М. Клейнборта «Очерки народной литературы (1880—1923 гг.)». Л. 1924.

Стр. 24. *После разгона Первой думы...*— Государственная дума — в России — представительное законодательное учреждение, созданное самодержавием под натиском революции 1905—1907 гг. Первая Государственная дума просуществовала с 27 апреля по 8 июля 1906 г. 9 июля она была разогнана царским правительством, так как показалась ему слишком революционной.

«Союз русского народа» — реакционная черносотенная организация в России, созданная в октябре 1905 г. для борьбы с революционным движением. Основатели «Союза» — А. И. Дубровин, В. А. Грингмут, В. М. Пуришкевич и др. «Союзу» покровительствовал царь Николай II. Лозунгами «Союза русского народа» были: единство и нераздельность России, сохранение самодержавия, великодержавный шовинизм, антисемитизм.

Председатель «Союза» вскоре был убит.— Председатель куракинского отделения «Союза русского народа» М. Наумов был убит товарищами Вольнова в январе 1908 г.

Стр. 25. *...избран членом Учредительного собрания.*— Учредительное собрание — собрание народных представителей, созываемых для решения вопроса о формах власти и составе правительства. В России такое собрание созывалось в 1917 г. В январе 1918 г. было распущено, т. к. контрреволюционное большинство его отказалось принять декреты Советской власти. Вольнов прошел в Учредительное собрание по эсеровскому списку.

ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МОЕЙ ЖИЗНИ

Книга первая — «Детство». *Книга вторая* — «Отрочество».

Впервые — в журнале «Заветы», 1912, № 1—4, 6, 8, 9, под названием «Повесть о днях моей жизни, радостях моих и злоключениях», подписано псевдонимом «Иван Вольный». Первое отдельное издание вышло в 1913 г. под заглавием «Повесть о днях моей жизни. Крестьянская хроника» (СПб., изд. «Прометей» Н. Н. Михайлова). Второе отдельное издание было выпущено в 1918 г. Книгоиздательством писателей в Москве. За годы советской власти «Повесть» издавалась более десяти раз. Кроме того, неоднократно выходили отдельно «Детство» и «Отрочество». «Детство» печаталось под названиями: «Ваньтя», «Детство Ванюши», «Так было»; «Отрочество» — под заголовками: «В работниках», «За всю деревню», «Вася Пазухин», «На заре». «Повесть о днях моей жизни» неоднократно переводилась на языки народов СССР и на иностранные языки.

Печатается по тексту собрания сочинений в четырех томах (т. 1), сверенному с текстами первого и второго отдельных изданий, а также с текстом «Избранного» (1956).

Обе книги «Повести» были написаны Вольновым в 1911—1912 гг. на Капри. М. Горький был их первым читателем, редактором и критиком. К сожалению, рукопись «Повести» с правкой Горького не сохранилась. По свидетельству самого автора, она погибла в Италии после его отъезда в Россию. (См. публикацию М. Минокина «Письма сподвижника Горького» в журн. «Огонек», 1986, № 24, с. 15). Горький же позаботился о том, чтобы рукопись начинающего писателя увидела свет. В начале 1912 г. он рекомендовал ее редактору журнала «Заветы» В. С. Миролюбову: «Ивана Егорова надобно печатать в журнале, конечно, и с первой же книжки,— это даст ей определенный вкус и запах» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29. М., Гослитиздат, 1955, с. 216). После выхода «Повести» Горький обратился также с просьбой к В. Г. Короленко написать автору свое мнение о ней: «...позвольте мне просить Вас, Владимир Галактионович: напишите Ивану Егорову в нескольких словах Ваше мнение *о недостатках* повести! Вольнов — парень упрямый, работающий, к нему можно предъявлять требования высокие, это будет полезно ему» (там же, с. 311). Письмо Короленко Вольнову не сохранилось. Но вскоре в редактируемом Короленко журнале «Русское богатство» появилась рецензия на «Повесть о днях моей жизни», написанная, вероятно, при участии самого редактора. В ней высоко оценивалось это произведение: «...Повесть яркая, глубоко волнующая, захватывающая силой и правдивостью художе-

ственного изображения деревенского мира... Иные страницы производят прямо потрясающее впечатление...» (Русское богатство, 1913, № 7, с. 324, 325).

Сразу после выхода в свет повесть Вольнова стала предметом жарких идейных и литературных споров на страницах демократической и буржуазной прессы. Первым ее суровым критиком стал И. Бунин. Он не только резко выступил на обсуждении рукописи, состоявшемся в доме Горького на Капри, но и дал позднее желчно-несправедливую оценку писателю в письме к критику Д. Тальникову: «Вольный ужасен — груб, преднамерен и т. д. Этих господ, торгующих своим якобы мужицким званием, уже немало, они ездят на гастроли по столицам и ошеломляют интеллигентов» (Русская литература, 1974, № 1, с. 174). Д. Тальников, в свою очередь, выступил в «Летописи» со статьей «При свете культуры», в которой утверждал, что русская литература в лице Чехова и Бунина вступила в новый период «критических переоценок» русского крестьянства и русской деревни. Критик не увидел у Вольнова ничего принципиально нового в изображении деревенской жизни и назвал писателя «эпигоном» Чехова и Бунина (Летопись, 1916, № 1, с. 299). Он невысоко оценил и художественные достоинства повести. Статья вызвала возмущение многих демократически настроенных писателей, в том числе Л. Андреева, К. Тренева, И. Касаткина и др. Горький признал публикацию статьи ошибкой журнала. «Статья Тальникова — ошибка»,— писал он в марте 1916 г. Треневу (Литературное наследство, т. 70, с. 441).

Демократическая печать положительно отнеслась к «Повести о днях моей жизни». Марксистский критик Л. Войтоловский первый отметил принципиальное отличие в изображении деревни Вольновым и Буниным. «Что-то есть в повествовании Ив. Вольного,— писал он,— что придает всей его книге мечтательную духовность, резко отличающую деревню этого автора от бунинской Дурновки... Это — напряженное ожидание возрождения, трепетное предчувствие новой жизни, которое идет из глубины авторского сердца» (Киевская мысль, 1913, № 190, 12 июля).

Большевистская «Правда» также выделила «Повесть» Вольнова среди других произведений о деревне. В статье Ф. Калинина «Литература и демократия», подписанной псевдонимом «В. Вол-кий», говорилось: «Ничего, кроме зверства, темноты и ужаса, не замечают наши писатели в деревне; происходящая в ней творческая, созидательная работа от них ускользает, недоступна их взору». На этом фоне, по мнению критика, выгодно выделяется «Повесть о днях моей жизни», в которой впервые было сказано «яркое, правдивое слово о ... крестьянской демократии» (За правду, 1913, № 2, 3 октября).

Известный критик того времени Вл. Кранихфельд также при-

ветствовал приход в литературу нового крестьянского писателя. В статье «Литературные отклики. В деревне и около нее» он писал, что «книга Ив. Вольного читается с огромным интересом, причем отдельные ее страницы выдают в авторе наличность недюжинного, но, очевидно, еще недостаточно культивированного художественного дарования» (Современный мир, 1913, № 8, с. 271). Сопоставляя повесть Вольнова с повестью «Белый скит» А. Чапыгина, Кранихфельд справедливо подчеркнул разницу их «романтических настроений»: «... в то время как у Чапыгина... романтизм оглядывается далеко назад... Ив. Вольный из убогой деревни Орловской губернии робко всматривается в неопределенную даль будущего — во что-то «лучшее, которое — как он твердо верит — есть на свете» (там же, с. 270).

Появление «Повести» Вольнова в печати сыграло определенную роль в борьбе литературно-эстетических направлений того времени. Ее реалистичность, нравственная чистота, правдивость противостояли болезненному «духу» «модных» тогда декадентских произведений. Это также уловила современная критика. Например, В. Г. Голиков в статье «Лубок символизма или модернистский кумач» противопоставил «Повесть о днях моей жизни» роману Пимена Карпова «Пламень» с его лубочным грубым модернизмом и дурным подражанием Ф. Сологубу и М. Арцыбашеву. (Хотя в рецензии говорилось о третьей части «Повести», многие оценки и характеристики имели отношение ко всему произведению в целом.) «Пимен Карпов — болезнь,— писал критик,— Иван Вольный — здоровье, у Карпова — ложь, тьма и туман, у Вольного — правда, свет и прозрачность, у Карпова — трафарет и подражательность, у Вольного — свежесть и наблюдательность... Деревня пробуждается, сердца теплеют, умы ширятся, огоньки лучшего будущего начинают уже мерцать... вот бодрящее впечатление, веющее от повести Ивана Вольного... Во всем этом видна живая народная душа,— а жива народная душа, жива и надежда на лучшее будущее» (Вестник знания, 1913, № 12, с. 1169, 1173).

В советское время о «Повести» писали многие писатели, критики и литературоведы. Восторженную оценку она получила, например, в статье Л. Тоом «Иван Вольнов». «Эта первая книга Вольнова,— писала критик,— производит неотразимое впечатление. Она читается с увлечением, как обыкновенно читаются романы из мира ярких приключений и глубоких переживаний» (На литературном посту, 1927, № 15—16, август, с. 40). Критика 20-х годов неизменно подчеркивала социально-классовую направленность этого произведения Вольнова. Так, автор предисловия к собранию сочинений писателя 1927—1928 гг. И. Н. Кубиков утверждал, что «в общем «Повесть о днях моей жизни» — это история угнетения крестьян господствовавшим классом; история страданий, отчаяния и скорби за-

битой деревни дореволюционной эпохи» (И. Вольнов. Собрание сочинений. М.— Л., ЗИФ, 1927, т. 1, с. 12). А. Фадеев в отзыве о повести Вольнова также подчеркивал ее социально-критический пафос. Он рекомендовал молодежи читать такие книги, как «Повесть о днях моей жизни», так как они «с предельной силой разоблачают подлость, жестокость, лживость, уродство общественного строя, основанного на господстве частной собственности» (Молодая гвардия, 1932, № 4, с. 120).

В последние годы вновь пробудился интерес к этому произведению Вольнова. Оно получило всестороннее освещение и высокую оценку в книгах М. Минокина «Иван Вольнов. Очерк жизни и творчества» (Тула, Приокское книжное изд-во, 1966) и В. Пономарева «Творчество Ивана Вольнова» (Жешув, Институтское изд-во Высшей педагогической школы, 1976), во вступительной статье М. Минокина к юбилейному изданию «Повести о днях моей жизни» (Тула, Приокское книжное изд-во, 1985).

КНИГА ПЕРВАЯ

Стр. 29. *Клуня* — помещение для молотьбы хлеба и складывания снопов.

Стр. 30. *...от Понтия Пилата, судьи двуликого...*— Понтий Пилат — римский прокуратор Иудеи в 26—36 гг. н. э. По евангельской легенде, во время его правления был распят Иисус Христос. Приговорив Христа к распятию, Понтий Пилат «умыл руки перед народом», этим жестом показывая, что он невиновен в пролитии крови.

Глот — обидчик, озорник.

Стр. 32. *Замашный* — сделанный из грубого посконного холста.

Стр. 34. *Кутник* — часть избы, предназначенная для спанья, прилавок в избе, нара, постель хозяина и хозяйки.

Завес — фартук.

Полштоф — половина штофа, меры объема жидкости, равной одной десятой ведра.

Стр. 37. *Свайка* — крюк для прикрепления снастей или веревок.

Стр. 38. *...на Сионские горы...*— Холм в Иерусалиме, где, по библейской легенде, находилась резиденция царя Давида.

Кутья — кушанье из вареной крупы с медом или изюмом, которое ели на похоронах и поминках.

Стр. 39. *В Крымскую кампанию...*— Речь идет о Крымской войне 1853—1856 гг. между Россией и коалицией государств: Англией, Францией, Турцией и Сардинией.

Стр. 42. *...знаменитые петровки 1892 года...*— После неурожая 1891 г. крестьянское население многих центральных губерний России переживало голод. Самые страшные дни пришлись на весну и лето,

пока не был получен новый урожай. Петровки — «петровский пост», соблюдался в июне.

Стр. 49. *За день же до петровского разговенья...* — Церковный праздник Петра и Павла приходился на 29 июня.

Стр. 52. *На преображение...* — Церковный праздник, отмечавшийся 6 августа; связывался в деревне с началом уборки яблок в садах.

Стр. 53. *Папа* — хлеб.

Стр. 54. *Веретье* — грубый холст, дерюга.

Хребтуг — мешок, из которого кормят лошадь овсом.

Стр. 55. *Осминник* — мера земельной площади, равная четверти десятины.

Сеита — одежда из домотканого сукна.

...ты родился под крещенье... — Христианский праздник, отмечавшийся 6 января ст. ст.

Стр. 56. *Обжа* — оглобля у сохи.

Стр. 58. *Отава* — трава, выросшая на месте скошенной.

Оброть — недоуздок, узда без удил.

Стр. 63. *Утром на Александра Невского...* — Праздник в честь канонизированного русской церковью князя Александра Ярославовича (около 1220—1263), прозванного за победу над шведами в Невской битве Александром Невским, отмечался 30 августа.

Суволока — сухая сорная трава, стебли бурьяна, конопли.

Стр. 64. *Отрошник* — озорник.

Стр. 66. *...с Ивана Крестителя.* — Иоанн Креститель, по евангельской легенде, возвестил приход Иисуса Христа. Церковный праздник его рождения отмечался 24 июня, день смерти («усекновения главы») — 29 августа.

Стр. 68. *На зимнего Николу...* — Николин день отмечался два раза в году: летний — 9 мая, зимний — 6 декабря.

Стр. 69. *Посконь* — домотканый холст из волокна конопли.

Стр. 71. *На трех святителей...* — День трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста — отмечался 30 января.

На сретенье... — Церковный православный праздник, отмечался 2 февраля. Знаменовал конец зимы и подготовку к весенним полевым работам.

Стр. 72. *Старновка* — немятая солома, полученная при обмолоте ручным способом.

Стр. 79. *Шел великий пост.* — Великий пост соблюдался в течение 7 недель перед пасхой.

...на масленой? — Масленая неделя, или масленица — древний народный праздник, посвященный проводам зимы и встрече весны. Отмечался перед началом великого поста.

Коник — ларь с подъемной крышкой.

Сердокрестная неделя... — Так называлась средняя, четвертая неделя великого поста.

Стр. 87. *Было вознесение.* — Церковный праздник вознесения отмечался на сороковой день после пасхи.

Стр. 89. *Чёмер* — тяжелая болезнь.

Стр. 90. *«Вениамин Франклин, его жизнь и деятельность».* — Вероятно, имеется в виду книга Я. В. Абрамова «Вениамин Франклин, его жизнь, общественная и научная деятельность».

«Австралия и австралийцы». — Возможно, речь идет о книге М. Черняевой «Рассказы об Австралии и австралийцах».

«Параша-Сибирячка» — повесть Н. А. Полевого.

КНИГА ВТОРАЯ

Стр. 100. *Голобец* (голбец) — место в избе между печью и полатями.

Стр. 101. *Козыри* — маленькие сани.

Стр. 103. *...к троице — новый картуз, служить до покрова...* — Троица — христианский праздник, отмечался на пятидесятый день после пасхи. Покров — один из наиболее значительных праздников православия, отмечался 1 октября. На Руси связывался с окончанием полевых работ.

Стр. 104. *Повойник* — старинный головной убор замужних крестьянок в виде повязки, надеваемой под платок.

Стр. 112. *Релья* — качели на двух столбах с перекладиной.

...на Фоминой... — Фомина неделя — следующая после пасхальной.

Кичка — женский головной убор, с рогами, род повойника.

Шугай — старинная женская одежда в виде короткополой кофты с рукавами.

Стр. 142. *Чижовка* — каталажка, место предварительного заключения арестованных.

Стр. 143. *Казинет* — вид полушерстяной ткани.

Пещер — котомка, корзинка, чаще всего лубяная.

Стр. 144. *Тропарь* — церковное песнопение, раскрывающее существо отмечаемого религиозного праздника или события.

Литургия — христианское богослужение.

Стр. 147. *Расстегай* — старинный распашной сарафан.

Стр. 148. *Осенью, после воздвиженья...* — Христианский праздник воздвижения отмечался 14 сентября.

Стр. 151. *На Ивана Богослова...* — День Иоанна Богослова отмечался 8 мая и 26 сентября. Вероятно, в данном случае имеется в виду первая дата.

Чапельник — сковородник.

Стр. 154. *Анчутка* — чертенок.

Стр. 156. *Жировать* — ухаживать, заигрывать с девушками.

Стр. 158. *...слышишь, пан Твардовский...* — «Пан Твардовский» — баллада А. Мицкевича. Имя героя стало нарицательным.

Стр. 159. *Пестрядинный* — сшитый из грубой домотканой ткани, вытканной из разноцветных ниток.

Стр. 165. *Бочаг* — яма на дне реки или озера, омут.

Стр. 174. *Поветь* — навес в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.

Стр. 175. *Сухмень* — сухая знойная погода, сушь.

Стр. 181. *Спожинки*—успенский пост, соблюдался 1—14 августа.

Полова — отходы при обмолоте зерна, мякина.

Стр. 185. *Рядно* — толстый холст из грубой льняной пряжи.

Стр. 188. *Валух* — кастрированный баран.

Стр. 197. *Печной боров* — горизонтальная часть дымохода, соединяющая печь с трубой.

Стр. 206. *Куцка* — дубинка.

Стр. 213. *Панева* — шерстяная юбка, которую полагалось носить только замужним или просватанным девушкам.

Залавок — длинный сундук, используемый как скамья.

НА РУБЕЖЕ

Впервые — в журнале «Северные записки», 1913, № 1, с. 47—63, с подзаголовком «Этюд». Печатается по тексту собрания сочинений, т. III, сверенному с текстом «Избранного» (1956).

Первоначально рассказ был послан в журнал «Русское богатство». В. Г. Короленко писал А. Г. Горнфельду, что в рассказе «есть две-три сентиментальности, которые надо исключить, две-три нецензурности (одна — описание карательного побоища — может опять создать «дело»), которые надо сгладить. Но есть и недурные черточки» (В. Г. Короленко. Избранные письма. М., Гослитиздат, 1936, т. III, с. 212). Вероятно, по цензурным соображениям, рассказ в «Русском богатстве» напечатан не был.

В рецензии на третий том собрания сочинений Вольнова, куда вошли многие дореволюционные рассказы, в том числе публикуемые в настоящем издании «На рубеже», «Осенью», «После смены», «Батя» и «Дети нужды», В. Гольцев писал: «Это — писатель, несомненно, одаренный. Он пишет уверенно, ровно, но не очень ярко. Язык его — простой, не лишенный образности... С несомненной выразительностью и знанием действительности изображает он мрачную картину подавления крестьянских восстаний... Мы видим настоящих, невыдуманных людей, идущих каторжным путем, страдающих в тюрьмах, в обстановке, разлагающей волю, убивающей мысль и человеческое достоинство. Хорошо, что Вольнов создает

свои произведения на реальной, фактической основе» (Новый мир, 1927, № 12, с. 247).

Стр. 221. *...подходит к бородачу-аграрнику...* — Аграрники — осужденные за участие в крестьянском аграрном движении 1905—1907 гг.

Стр. 224. *Капелюха* — шапка-ушанка.

Стр. 226. *Подчасок* — заменяющий часового в случае необходимости.

Стр. 227. *Бёрдо* — гребень, являющийся одной из основных частей ткацкого станка.

ОСЕНЬЮ

Впервые — во втором сборнике «Энергия», 1914, с. 149—172.

Печатается по тексту собрания сочинений, т. III, сверенному с текстом «Избранного» (1956).

Рассказ написан в 1912 г. в Италии. Возможно, редактировался М. Горьким. Вольнов писал Горькому 26 сентября 1912 г.: «Когда у Вас подвернется свободное время, отметьте, пожалуйста, неудачные места в моем рассказе «Осенью» и перешлите мне; я его еще раза 2—3 перепишу. Не забудьте упомянуть: окажется ли он подходящим для «Современника» или его необходимо сплавить в какой-либо другой журнал» (Литературное наследство, т. 70, с. 56).

В авторском примечании к рассказу указано, что «под именем Глазкова... изображен зверь Головкин, помощник начальника Орловской губернской тюрьмы, впоследствии начальник Кутомарской каторжной тюрьмы. В августе 1926 г. Головкин расстрелян по приговору Верховного Суда СССР» (И. Вольнов. Собрание сочинений. М.— Л., ЗИФ, 1927, т. III, с. 93). Вольнов еще ранее, в 1911 г., опубликовал ряд материалов о суровом режиме орловских тюрем, о садистской деятельности Головкина: «В Орловской губернской тюрьме (из воспоминаний крестьянина)», «Список тюремных служащих — преступников Орловской каторжной и Орловской губернской тюрем» (Будущее, 1911, № 10, 11).

Стр. 237. *Чалдон* — коренной житель Сибири.

Стр. 239. *Муругий* — рыже-бурый, темно-пестрый (о шерсти коров, собак).

ПОСЛЕ СМЕНЫ

Впервые — в журнале «Просвещение», 1913, № 11, с. 7—11.

Печатается по тексту собрания сочинений, т. III, сверенному с текстом «Избранного» (1956).

Стр. 255. *Перун* — главный бог древних славян, бог дождя, молнии и грома. Культ Перуна сохранялся до принятия христианства на Руси.

Кайло — горный ручной инструмент для откалывания ломких пород.

Стр. 256. *Я тебя породил, а ты меня корми...* — Искаженная цитата из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»: «Я тебя породил, я тебя и убью!»

Стр. 257. *...к Михайлову дню...* — День Михаила Архангела праздновался церковью 8 ноября.

Стр. 258. *...ай оглох, евангелист Лука!* — Согласно церковной традиции, Лука является одним из авторов жизнеописания Иисуса Христа — Евангелия.

БАТЯ

Впервые — в журнале «Современник», 1915, № 5, с. 8—24.

Печатается по тексту собрания сочинений, т. III, сверенному с текстом «Избранного» (1956).

Рассказ открывал собой цикл произведений «Огонь и воды», написанный Вольновым в основном в последние годы пребывания в эмиграции (1915—1917). О замысле этого цикла, повествующего о нескольких поколениях одного крестьянского рода, Вольнов писал Горькому 16 марта 1915 г.: «Вчера послал Вам... рассказ «Батя». К апрелю надеюсь послать второй из той же серии. Работу я задумал такую: в основе житие городового (выдержки его писаний я читал Вам.) Житию предпосылаю несколько очерков в духе «Бати» под общим заглавием «Мафусаилы»; таких очерков будет 3—4; герои — люди крепостные, суровые и безжалостные. За ними пойдут «Подлетки», следующее за Мафусаилами поколение, только молодость прожившие «под барином», люди, с задатками некоей инициативы, но все же жалкие. Наконец, самое житие раба божия Борисия, городового. Параллельно пойдут его сверстники, все люди грамотные и почти порядочные. А все вместе должно составить — так бы хотелось — нечто целое — бытопись «Огонь и воды» (М. Горький. Материалы и исследования. Л,. Изд-во АН СССР, 1934, т. I, с. 371).

В цикл входило девять очерков. Первый из них — «Батя». Второй рассказ — «Орел» — был написан в 1916 г. Рукопись его была утрачена, и Вольнов восстановил его по памяти в 1929 г., во время пребывания в Италии у Горького. Впервые «Орел» был напечатан в журнале «Красная новь», 1929, № 5. Два первых очерка составили серию «Мафусаилы». В марте 1916 г. Вольнов закончил работу над второй серией очерков, которую назвал, по совету Горького, «Круги жизни». К этой серии относится семь законченных произведений: «У Троицы-Сергия», «Молодые годы Бориса», «Круг первый», «Круг второй», «Круг третий» (позднейшее название «Иван»), «Круг четвертый» и публикуемый в настоящем издании «Круг пя-

тый» (позднейшее название — «Дети нужды»). Очерк «Круг первый» под названием «Круги жизни» был напечатан в декабрьском номере журнала «Летопись» за 1915 г., очерк «Молодые годы Бориса», написанный в декабре 1916 г., опубликован в книге «Избранное», рассказ «Дети нужды» был издан журналом «Прожектор» и вошел затем в третий том собрания сочинений. Остальные рассказы не публиковались.

Кроме того, к циклу «Огонь и воды» относится написанная до революции повесть «Под колоколами». В советское время часть повести Вольнов выделил в отдельный рассказ «Свят-Уржум», написал к нему предисловие, но напечатать не успел. Рассказ опубликован М. Минокиным в газете «Орловская правда» за 7 марта 1964 г.

Стр. 259. *Мафусаил наш...*— Мафусаил — по библейской мифологии, один из патриархов, проживший до 969 лет. Его имя стало нарицательным для обозначения долгожителей.

Полех — житель лесной полосы.

Кокора — бревно с корневищем в виде клюки.

Стр. 261. *Надвóрок* — передний, малый двор, ближайший к дому.

Верея — веревка, на которую насажен невод.

Нехалява — неряха.

Норота — верша, рыболовная снасть.

Наметка — сеть на шесте для ловли рыбы с берега.

Стр. 262. *Цибарка* — ведро.

Мяло — приспособление для трепки пеньки и льна.

Пунька — чулан, плетневая клеть.

Стр. 263. *Пáдворок* — сарай.

Алман — разбойник.

Стр. 268. *На красную горку...*— Так называлось Фомино воскресенье, первое после пасхи.

Стр. 270. *Натертуша* — булка из крутого рассыпчатого теста.

Стр. 271. *Под успенье...*— Христианский праздник успения (кончины) богородицы отмечался 15 августа. Совпадал по времени с народным праздником в честь окончания жатвы хлебов.

Стр. 272. *Козюля* — змея.

Крáсна (крóсна) — ткацкий станок; деревенский холст.

Ниченки — часть ткацкого станка, нитяные петли между двух поперечных жердочек, для подъема нитей основы.

ДЕТИ НУЖДЫ

Впервые — в журнале «Прожектор», 1923, № 5, с. 1—6, № 6, с. 1—8.

Печатается по тексту собрания сочинений, т. III.

Написано в 1915 г. в Италии. После революции Вольнов вернул-

ся к работе над циклом «Огонь и воды»: отредактировал некоторые рассказы, сделал наброски новых очерков к серии «Мафусаилы». В 1922—1923 гг. Вольнов вновь отредактировал рассказ и вместе с некоторыми новыми произведениями послал его редактору журналов «Красная новь» и «Прожектор» А. К. Воронскому. 17 апреля 1923 г. Воронский сообщил Вольнову: «Дети нужды» идут в «Прожекторе», но со второй главы. Редакция не взяла всю из-за размера» (Литературное наследство, т. 93, с. 585—586). Для собрания сочинений писатель подготовил это произведение в том виде, как оно было напечатано в «Прожекторе».

Критика 20-х годов справедливо отмечала некоторую «недоделанность» и «тематическую незавершенность» этого рассказа (Новый мир, 1927, № 12, с. 247). Несмотря на эти недостатки, рассказ интересен попыткой показать тяжелую судьбу и сложные душевные переживания рабочего человека из городских низов.

Стр. 275. *Мурин* — арап, негр, чернокожий.

Стр. 276. *...как царица савская...* — Царица Савы, страны, находившейся, по библейской легенде, в южной Аравии и управляемой женщинами.

Стр. 286. *Веред* — чирей, нарыв.

Стр. 296. *Гой* — здесь: изгой, бездомный.

Сумный — унылый, мрачный, больной.

СХОД

Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 2, с. 237—245.

Печатается по тексту собрания сочинений, т. IV.

По замыслу автора рассказ завершал собою цикл «Деревенская пестрядь». Кроме «Схода» в него входили рассказы «Зимний вечер» и «Трясучий департамент» и очерк «Самогонщики». Вольнов в числе первых был приглашен сотрудничать в журнале «Красная новь». Еще 5 ноября 1921 г. редактор журнала А. К. Воронский писал ему: «Не имеется ли у Вас чего-нибудь для журнала? Если есть, немедленно шлите» (Литературное наследство, т. 93, с. 551). В 1923 г. в «Красной нови», № 2 были вместе напечатаны все произведения цикла, кроме «Схода». Воронский сообщал об этом писателю: «Мои соредакторы оказались против напечатания целиком «Деревенской пестряди», в частности «Схода». Поэтому вещь пошла без «Схода». Тем не менее я уверен, что в следующем номере я помещу «Сход»... Не обижайтесь и присылайте еще» (там же, с. 585).

Положительную оценку этим произведениям и рассказу «В поезде», напечатанному в альманахе «Недра», дал М. Горький. 23 января 1925 г. он писал Вольнову: «Я читал Ваши вещи в «Красной нови», в «Недрах», писать Вы стали значительно лучше, чем рань-

ше писали. Сколько ценнейшего могли бы Вы дать, имея такой запас впечатлений. Вы не очень «литератор», а в наше время это особенно хорошо и важно» (Литературное наследство, т. 70, с. 59).

Критика 20-х годов не очень высоко оценила эти произведения Вольнова. Например, Л. Тоом в статье «Иван Вольнов» писала: «Все эти небольшие рассказы, реалистически (иногда — натуралистически) написанные, дышат, однако, глубоким пессимизмом. В деревне Вольнов видит лишь «корысть» мужика, его жестокость... преступление и пьянство должностных лиц («Трясучий департамент»). В этих рассказах в полной мере обнаруживается разрыв писателя с деревней, его неспособность пока понять новый путь деревни, на который она вступила после Октябрьской революции... При этом понижается не только социальная их значимость, но и художественное достоинство, поскольку писатель либо искажает действительность, либо скатывается к натуралистическому показу некоторых ее сторон, либо вместо художественного языка говорит языком публицистики» (На литературном посту, 1927, № 15—16, с. 47). Критически оценивая послереволюционные рассказы Вольнова в целом, Н. Смирнов в рецензии на четвертый том собрания сочинений писателя выделил как один из лучших рассказ «Сход». «Рассказы, входящие в книгу,— писал критик,— далеко не всегда удачны. Впрочем, как бытовые очерки и картины, они, несмотря на некоторую односторонность, имеют некоторый интерес. Лучший среди таких очерков — «Сход», в нем много наблюдательности, живости и изобразительной тонкости» (Известия ЦИК СССР и ВЦИК, 1928, № 108, 11 мая).

Стр. 302. *...комиссия по изъятию церковных ценностей...*— В 1921 г. на молодое Советское государство, ослабленное гражданской войной и иностранной военной интервенцией, обрушилось новое бедствие — засуха, неурожай и как их следствие — голод. Советская власть прилагала героические усилия для борьбы с голодом. В феврале 1922 г. был обнародован правительственный декрет об изъятии церковных ценностей и использовании средств от их продажи для борьбы с голодом в стране. В соответствии с этим декретом в центре и на местах были созданы специальные комиссии по изъятию у церкви наиболее ценных предметов из золота, серебра и драгоценных камней.

Стр. 304. *...про Карла Великого и Магомета.*— Карл Великий (742—814) — король франков. В 800 г. был коронован в Риме папой императорской короной. Магомет (Мухаммед) (около 570—632) — арабский религиозный и политический деятель, основатель ислама.

Похвалил Дюма за Великую революцию.— Речь идет о Великой французской буржуазной революции 1789—1794 гг. Александр Дюма (1802—1870) — известный французский писатель, по возрасту

не мог участвовать во французской революции. Возможно, имеется в виду его отец, генерал республики.

...перед цитатой из Зиновьева... — Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883—1936) — участник революционного движения, после Октябрьской социалистической революции был председателем Петроградского Совета, членом Политбюро ЦК. Неоднократно выступал против ленинской политики партии. В 1934 г. за антипартийную и антисоветскую деятельность исключен из партии и затем осужден.

Стр. 305. — *Послания к рымлянам!* — Крестьяне пародируют «Послание к римлянам святого апостола Павла», составляющее одну из книг Нового завета.

Стр. 306. *...коснуться желтого амстердамского профинтерна...* — Речь идет об Амстердамском интернационале профсоюзов, образованном в июле 1919 г. на конгрессе в Амстердаме. Целью его было: укрепить реформистские профсоюзы и помешать переходу рабочих на сторону революционных профсоюзов.

В ПОЕЗДЕ

Впервые — в альманахе «Недра», 1924, № 5, с. 267—284.

Печатается по тексту собрания сочинений, т. IV.

Рассказ был сразу замечен и единодушно высоко оценен современной критикой. И. Н. Кубиков писал в предисловии к собранию сочинений Вольнова: «Из последних произведений писателя обращает на себя внимание рассказ, производящий очень большое впечатление, — «В поезде»... своей несомненно талантливой обрисовкой всей ситуации Ив. Вольнов как бы говорит, что здесь нет правых и нет виноватых, а есть лишь кошмарное сложившееся положение вещей» (И. Вольнов. Собрание сочинений, т. I. М. — Л., ЗИФ, 1927, с. 21). С. В. Шувалов в статье «Иван Вольнов. Темы и композиция» отмечает «простоту и драматичность» фабулы, которая «строится довольно искусно на игре естественных случайностей и неожиданностей». «Рассказ сюжетно крепок и целен, — пишет в заключение критик. — Старый мотив роковой случайности, будучи вставлен в рамку психологии толпы, приобретает характер социальной темы» (Иван Вольнов. М., Никитинские субботники, 1930, с. 124). Н. Смирнов в рецензии на четвертый том собрания сочинений Вольнова также счел необходимым выделить рассказ «В поезде»: «...в нем много сгущенного и острого драматизма, много и крепкой словесной простоты, напоминающей о старом Вольнове, о крупном писателе, который, надеемся, еще поднимется над уровнем своих прежних вещей» (Известия ЦИК СССР и ВЦИК, 1928, № 108, 11 мая).

Стр. 310. *...почему Гаврила не крутит?* — «Гаврилой» в годы революции называли паровозы и машинистов на паровозах.

Стр. 318. *Гаманет* — кожаный кошелек для денег.

Стр. 319. *Гашник* — ремень или веревка для завязки штанов.

Бахлять — менять.

Ханжа (ханшин) — китайская хлебная водка.

Стр. 324. *Остаметь* — онеметь, остолбенеть.

САМАРА

Впервые — в журнале «Жизнь», 1924, № 1, с. 3—28 (часть I) и в журнале «Новый мир», 1925, № 5, с. 65—78, № 6, с. 59—74 (часть II).

Произведение осталось неоконченным. Отдельным изданием не выходило, в собрание сочинений не включалось. Печатается по тексту первых публикаций, сверенному с авторизованной машинописью, хранящейся в Центральном государственном архиве литературы и искусства.

Сразу после выхода в свет произведение вызвало живой интерес критики, попытавшейся определить как его достоинства, так и недостатки. Г. Лелевич в статье «По журнальным окопам» охарактеризовал «Самару» как «мастерскую и изумительно-меткую повесть бывшего эсера о своих разочарованиях в дни самарской учредилки. Это,— продолжал критик,— документ чрезвычайно *большого художественного и политического значения.* Типы эсеров, в частности Виктора Чернова, даны рельефно и убийственно-верно. Они не забудутся» (Молодая гвардия, 1924, № 7—8, с. 271). И. Кубиков писал, что в «Самаре» «мы находим строчки, дающие представление о душевной драме, пережитой революционером-крестьянином» (И. Вольнов. Собрание сочинений, т. I. М.— Л., ЗИФ, 1927, с. 22). В то же время он справедливо отметил, что «к сожалению, обличение деятелей эсеровской партии носит у Ив. Вольнова в этих очерках временами слишком мелкий и несерьезный характер, и только в отдельных главах он поднимается до необходимой принципиальной высоты» (там же, с. 21—22).

На «глубокую и сложную внутреннюю драму», которую переживает герой «Самары» и которая «является предметом художественной разработки» автора, указывал С. В. Шувалов (Иван Вольнов. М., Никитинские субботники, 1930, с. 94, 97). Отмечая тенденциозность и карикатурность изображения лидеров эсеровского движения как один из основных недостатков произведения, критик далее писал: «В целом очерки «Самара», несмотря на композиционную разорванность (бессюжетная форма записей в дневнике), на малую художественную убедительность некоторых образов, на отсутствие повествовательной динамики, все же представляют значительный интерес, как живое и действенное воспроизведение некоторых моментов гражданской войны в Поволжье, данное с точки зрения кающегося социалиста-революционера, представителя ко-

леблющейся крестьянской интеллигенции того времени» (там же, с. 102).

Стр. 328. *Детям моим — посвящаю.*— Посвящение восстановлено по авторизованной машинописи 1927 г. Вольнов имел пятерых детей.

Вольнов Илья Иванович. Родился в 1913 г. в Неаполе. В 1937 г. вернулся в СССР. Доктор химических наук.

Вольнов Алексей Иванович. Родился в 1921 г. в г. Карачеве Брянской области. Полковник медицинской службы.

Вольнов Александр Иванович. Родился в 1923 г. в с. Куракино Орловской обл. Погиб во время Великой Отечественной войны, в 1943 г.

Вольнова Вера Ивановна. Родилась в 1924 г. в с. Куракино. Учительница, ныне — пенсионерка.

Вольнов Михаил Иванович (1926—1968) — инженер.

Все золото отдали немцам... Сто девяносто шесть врачей расстреляно...— Здесь и далее сообщаются клеветнические измышления врагов Советской власти о якобы имевших место фактах террора и насилия большевиков. Приводимые «факты» не имели под собой никакой реальной почвы.

...грузная фигура... Родзянко...— Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924) — политический деятель, один из лидеров партии октябристов. Депутат 3 и 4 Государственной думы (1907—1917), с 1911 г.— ее председатель. В период гражданской войны находился при армии генерала Деникина. С 1920 г.— эмигрант.

...расстреляна Брешковская...— Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934) — один из организаторов и лидеров партии эсеров, с 1919 г. в эмиграции.

...Г. В. Плеханов... задушен... матросами.— Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — деятель российского и международного социал-демократического движения; после II съезда РСДРП — один из лидеров меньшевизма. Умер 30 мая 1918 г. в пос. Териоки под Петроградом.

Стр. 329. *...позорный брестский договор!* — Мирный договор между Россией и Германией, заключенный в Брест-Литовске 3 марта 1918 г. Несмотря на тяжелые условия, поставленные Германией, В. И. Ленин считал необходимым заключение мира, чтобы сохранить завоевания Октябрьской революции. Брестский мир рассматривался контрреволюцией как позорный для России.

...Козлов... трупы повстанцев... ливенские... поля залиты кровью.— Летом 1918 г. белогвардейцы и кулаки подняли контрреволюционное восстание против Советов в ряде центральных областей России, в том числе в г. Козлове Тамбовской губ. и в г. Ливны Орловской губ. Восстание вскоре было подавлено совместными усилиями Красной Армии и местных активистов.

Стр. 330. *...с А. Керенским и Виктором Черновым...*— Керенский Александр Федорович (1881—1970) — политический деятель, глава Временного правительства. В марте 1917 г. вступил в партию эсеров, после Октябрьской революции — организатор антисоветского мятежа; с 1919 г.— эмигрант. Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — один из организаторов, лидеров и главных теоретиков партии эсеров, председатель Учредительного собрания. С 1920 г.— в эмиграции.

И казаков вызывал в имение? — В газете «Биржевые ведомости» от 21 февраля 1906 г. в статье «Рабочие у Л. Н. Толстого (Рассказ рабочего)» сообщалось, что жена Толстого С. А. Толстая вызвала казаков для охраны имения от крестьян. Сообщение было перепечатано рядом других реакционных изданий. По этому поводу Толстой писал 22 марта 1906 г. А. С. Марову, приславшему ему эту вырезку из газеты: «То, что пишет корреспондент о том, что вызвали казаков, совершенно несправедливо. Никогда об этом не было речи у моей жены, кот<орая> владеет и заведует Ясной Поляной, и я вполне уверен, что даже, если бы и был к тому какой-нибудь повод, она никогда этого не сделает» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 томах, т. 76. М., Гослитиздат, 1956, с. 127).

Герострат — грек из г. Эфес, сжегший в 356 г. до н. э. храм Артемиды Эфесской, чтобы обессмертить свое имя. Имя Герострата получило нарицательное значение, им называют честолюбцев, добивающихся славы любой ценой.

...«Исторические письма» Лаврова.— Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — теоретик русского революционного народничества, философ и публицист. «Исторические письма» (1869) — наиболее известное сочинение Лаврова, ставшее теоретической основой для деятельности революционных народников.

Стр. 332. *Время сеять и время жать...*— Реминисценция из Апокалипсиса: «...пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела».

Стр. 335. *«Сам» — здесь...*— Прототипом «Самого» является лидер эсеров В. М. Чернов.

Стр. 342. *...с нами или против нас...*— Неточная цитата из доклада В. И. Ленина на пленуме ВЦСПС 11 апреля 1919 г.: «Кто не с нами, тот — против нас» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 289).

Стр. 343. *...Гершуни, Каляев, Егор Созонов, Халтурин, Перовская, Желябов...*— Гершуни Григорий Андреевич (1870—1908) — один из основателей и лидеров партии эсеров. Каляев Иван Платонович (1877—1905) — член боевой организации партии эсеров. 4 февраля 1905 г. убил московского генерал-губернатора, вел. князя Сергея Александровича (дядю Николая II). Казнен. Созонов Егор Сергеевич (1879—1910) — революционер, эсер. Убил царского министра В. К. Плеве. Халтурин Степан Николаевич (1856/57—1882) —

рабочий, революционер. В 1882 г. вместе с Н. А. Желваковым убил в Одессе военного прокурора генерала В. С. Стрельникова, за что был казнен. Перовская Софья Львовна (1853—1881) — революционерка, член Исполнительного комитета «Народной воли». Казнена как организатор покушения на Александра II. Желябов Андрей Иванович (1851—1881) — революционер, член Исполнительного комитета «Народной воли». Казнен как один из организаторов покушения на Александра II.

...дворянин Борис Савинков, провокатор Евно Азеф, сумасшедшая Спиридонова... — Савинков Борис Викторович (1879—1925) — один из лидеров партии эсеров, писатель. Участвовал во многих террористических актах. После Октябрьской революции участвовал в контрреволюционном мятеже Керенского — Краснова, в создании Добровольческой армии. Азеф Евно Фишелевич (1869—1918) — один из лидеров партии эсеров, провокатор, секретный сотрудник департамента полиции. В 1908 г. был разоблачен и приговорен ЦК партии эсеров к смерти, но успел скрыться за границу. Спиридонова Мария Александровна (1884—1941) — один из лидеров партии левых эсеров. Была активной участницей эсеровского мятежа в июле 1918 г. в Москве, арестована, в день приговора амнистирована. В дальнейшем Спиридонова отошла от политической деятельности.

Стр. 344. *...новых сторонников Вандеи.* — Вандея — департамент на западе Франции. В конце XVIII — начале XIX века была центром контрреволюционных мятежей, которые возглавлялись дворянством и католическим духовенством, выступавшими за реставрацию династии Бурбонов, свергнутых Великой французской революцией. В дальнейшем название «Вандея» стало нарицательным для обозначения очагов контрреволюции.

Стр. 345. *Эн-эсы* — члены народно-социалистической партии. Партия народных социалистов (трудовая) — мелкобуржуазная партия в России. Выделилась из правого крыла партии эсеров в 1906 г. Лидеры партии — Н. Ф. Анненский, В. А. Мякотин, А. В. Пешехонов и др.

...Николай Александрович, Павел Николаевич, Александр Федорович, Георгий Валентинович... — Носителя первого имени установить не удалось. Павел Николаевич — вероятно, Милюков (1859—1943), политический деятель, историк и публицист, с 1920 г. белоэмигрант. Александр Федорович — Керенский, Георгий Валентинович — Плеханов.

Стр. 346. *...Иоффе, Красин, Зиновьев... удрали за границу.* — Иоффе Адольф Абрамович (1883—1927) — советский государственный и партийный деятель, дипломат. Член Петроградского Совета, член ВЦИК, член Петроградского ВРК. Красин Леонид Борисович (1870—1926) — советский государственный и партийный деятель. Зиновьев — см. комментарий к рассказу «Сход». Поводом для слухов

послужил отъезд Иоффе в 1918 г. в Берлин в качестве советского посла, а также отъезд Красина летом 1918 г. в составе советской делегации в Берлин, где ему удалось добиться экономически выгодных соглашений с Германией.

...Литвиновы, Цюрупы...— Литвинов (Валлах) Максим Максимович (1876—1951) — советский партийный и государственный деятель, дипломат. Цюрупа Александр Дмитриевич (1870—1928) — советский государственный и партийный деятель. Член ВРК. В 1918—1920 гг. ведал снабжением Красной Армии.

Стр. 347. *...Камкова, Биценко, Мстиславского и Колегаева.*— Камков (Кац) Борис Давидович (1885—1938) — один из лидеров партии левых эсеров, участник левоэсеровского мятежа в Москве 6—7 июля 1918 г. Биценко (Камеристая) Анастасия Алексеевна (1875—?) — эсерка. 22 ноября 1905 г. убила генерал-адъютанта Сахарова, за что была приговорена к бессрочной каторге. После июльских событий 1918 г. вышла из партии эсеров, вступила в РКП(б). Мстиславский (Масловский) Сергей Дмитриевич (1876—1943) — русский советский писатель, автор романов по истории революционного движения в России. С 1904 г. состоял в партии эсеров, с которой порвал после июльского левоэсеровского мятежа. Колегаев Андрей Лукич (1887—1937) — один из лидеров партии левых эсеров. После июля 1918 г. порвал с этой партией и вступил в РКП(б).

Стр. 348. *...с Гостомысла мечтали.*— Гостомысл — легендарный славянский князь, по преданию, основавший Великий Новгород и правивший в нем до призвания на Русь варягов.

Стр. 350. *...Гучков... Тихон...*— Гучков Александр Иванович (1862—1936) — крупный капиталист, основатель и лидер партии октябристов, член Временного правительства. После Октябрьской революции боролся против Советской власти, в 1918 г. эмигрировал. Тихон (Белавин Василий Иванович) (1865—1925) — патриарх Московский и всея Руси. Выступал против декрета Советского правительства об отделении церкви от государства, в посланиях к верующим предавал анафеме Советскую власть. За контрреволюционную деятельность привлекался к судебной ответственности. В дальнейшем отмежевался от контрреволюции.

Стр. 352. *Убит Ленин.*— Имеется в виду покушение на жизнь В. И. Ленина. 30 августа 1918 г. он был тяжело ранен эсеркой Ф. Е. Каплан.

Стр. 356. *Каутский... Виктор Михайлович..*— Каутский Карл (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германского социал-демократического движения и II Интернационала, идеолог центризма. Вначале марксист, затем ренегат. Виктор Михайлович — Чернов.

Стр. 358. *Пасма* — часть мотка ниток.

Прасол — скупщик по деревням мяса, рыбы, холста, пеньки и т. п., перекупщик.

Шпак — презрительное название военными штатских.

Стр. 360. «*Дело народа*» — ежедневная политическая и литературная газета, орган партии эсеров. Издавалась в Петрограде с 15 (28) марта 1917 г. по 30 марта 1919 г.

Стр. 370. *Ватерпруф* (от *англ.*) — непромокаемое пальто.

Стр. 372. *...после ... разгона... Учредительного собрания...*— Заседание Учредительного собрания проходило 5 (18) января 1918 г. в Петрограде. На нем преобладали эсеры во главе с В. М. Черновым. Контрреволюционное большинство Учредительного собрания не признало декреты Советской власти, принятые на Втором Всероссийском съезде Советов. В ночь с 6 на 7 января ВЦИК принял по докладу В. И. Ленина декрет о роспуске Учредительного собрания, одобренный народом и делегатами Третьего Всероссийского съезда Советов.

Стр. 381. *...в наших «Глаголах» печаталась его... «Повесть о шестом пальце»?* — Намек на факт биографии самого Вольнова: публикацию в эсеровском журнале «Заветы» его «Повести о днях моей жизни».

Охотился за Дыбенко...— Дыбенко Павел Ефимович (1889—1938) — советский военный деятель, командарм 2-го ранга. Активно участвовал в подготовке Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Член Петроградского ВРК, нарком по морским делам.

«Юрий Милославский», «Князь Серебряный», «Макбет»...— произведения М. Н. Загоскина, А. К. Толстого, В. Шекспира.

Стр. 387. *...добрался до земли Ханаанской...*— Так в Библии называется земля обетованная (обещанная) богом Аврааму и его потомкам.

ПЕРЕДЫШКА

Впервые — в журнале «Красная нива», 1926, № 45, 7 ноября, с. 6—8.

Печатается по тексту первой публикации.

Рассказ представляет собой отрывок из повести «Встреча», написанной в 1923—1926 гг. (опубликована в журнале «Молодая гвардия», 1927, № 3—5; вошла в собр. соч., т. IV). В юбилейный номер «Красной нивы» Вольнов дал одну из лучших сцен этой повести, показывающую приобщение широких народных масс к идеям революции, общность интересов народа и Красной Армии, крестьянства и Советской власти. М. Горький особо отметил это место в отзыве о повести «Встреча»: «Очень хорошо сделано пение «Интернационала» мужиками» (Литературное наследство, т. 70, с. 62).

Стр. 391. *...войска самарского правительства...*— Летом 1918 г. в Поволжье эсеры и меньшевики, опираясь на восставших пленных белочехов и иностранных интервентов, свергли Советскую власть и

образовали в Самаре свое марионеточное правительство «Комитет членов Учредительного собрания» (Комуч). Для борьбы с Советами и Красной Армией самарское правительство создало так называемую «добровольческую» армию, состоявшую преимущественно из бывших царских офицеров и кулацких элементов.

Против Каппеля... и Недоуздкова с Португаловым...— Каппель Владимир Оскарович (1883—1920) — белогвардейский генерал-лейтенант. Во время гражданской войны командовал войсками Комуча, действовавшими в июне — августе 1918 г. на правом берегу Волги в районах Сызрани, Симбирска и Казани. Недоуздков и Португалов — персонажи повести «Встреча», командиры добровольческой армии.

Стр. 392. *Третьячок* — жеребенок на третьем году.

Стр. 396. *...генерал-Скобелеву ездить!* — Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — русский генерал. Прославился во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в сражении под Плевной, затем в битве при Шипке.

ЖЕНМАССА

Впервые — в собрании сочинений 1927—1928 гг., т. IV, с. 214—234.

Рассказ написан в 1926—1927 гг. Печатается по тексту первой публикации.

Стр. 402. *Опойки* — сапоги из телячьей кожи.

Стр. 407. *Сновать* — здесь: продавать.

Куколь — травянистое сорное растение с ядовитыми семенами.

Стр. 408. *...читал вторую книгу Ездры?* — Ездра (середина 5 в. до н. э.) — автор одноименной книги Ветхого завета и кодификатор Пятикнижия. Ему приписываются еще две книги (вторая и третья книги Ездры), не вошедшие в канонический текст Библии.

Землей можете владеть, а паразиты никогда.— Искаженная цитата из «Интернационала»: «...владеть землей имеем право, а паразиты — никогда!»

Стр. 409. *Шкрабы* — в 20-е гг. принятое сокращенное название школьных работников.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Впервые — в журнале «Молодая гвардия», 1927, № 6, с. 162—170.

Очерк в собрание сочинений не входил и не переиздавался. Печатается по тексту первой публикации.

Стр. 416. *...не Керзон и Гришка Распутин...*— Керзон Джордж Натаниел (1859—1925) — государственный деятель Великобритании, один из организаторов военной интервенции против Советской России. Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1872—1916) — фаво-

рит императора Николая II и его жены Александры Федоровны. Пользовался неограниченным влиянием на царскую фамилию.

Стр. 418. *Лýток* — лыко, мочало.

Подсошка — столб, подпора.

«Завузу» — заведующий уездным земельным управлением.

Стр. 421. *«Узу»* — уездное земельное управление.

«Куманьки».— В подстрочном примечании в публикации это слово объясняется как «коммунисты».

Стр. 422. *...государь император расстрелян?..*— Император Николай II был расстрелян в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге (Свердловске) по решению Уральского областного совета.

Стр. 423. *Губзу* — губернское земельное управление.

Стр. 424. *...«укажи мне такую обитель»...*— Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда».

БАТЯ НА ПРАЗДНИКЕ

Впервые — в журнале «Прожектор», 1928, № 44, с. 26—27.

Рассказ в собрание сочинений не включался. Печатается по тексту книги И. Вольнова «Избранное», сверенному с первопечатным.

ЭПИТАФИЯ

Впервые — в журнале «30 дней», 1929, № 3, с. 52—62.

Рассказ не переиздавался. Печатается по тексту первой публикации.

В 1924 г. Вольнов написал первый вариант рассказа, который был напечатан в 1925 г. под заглавием «Случай с инструктором» (Известия Одесского окружкома, 1925, 1 ноября). В 1928 г. он был включен автором в четвертый том собрания сочинений под названием «Плановая работа». В этом варианте рассказ кончался сценой попойки вновь избранного правления сельской потребкооперации с приехавшим из уезда инструктором. Вскоре на сюжет этого рассказа Вольнов начал писать пьесу «Благодетели». На черновой рукописи он сделал следующую запись: «Пересмотреть. Изменить имена действующих лиц. Переделать конец, написать обязательно 2-е действие: общее собрание Е. П. О., чистка благодетелей...» (Цит. по кн.: Минокин Мих. Иван Вольнов. Очерк жизни и творчества, с. 72). Закончив пьесу, писатель опять возвратился к работе над рассказом. Были дописаны страницы, изображающие закономерный конец «деятельности» членов нового правления — суд над ними. Более определенной стала в этой редакции авторская оценка изображаемого. Изменился сам тон повествования, рассказ превратился в остросатирический произведение. В таком виде он получил новое название — «Эпитафия».

Стр. 433. ...*«Богатство народов»... Смита.*— Смит Адам (1723—1790) — шотландский экономист и философ. Его основное произведение — «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776).

Стр. 437. *Егорий* — почитавшийся на Руси святой Георгий Победоносец.

Стр. 440. ...*на груди значок ОДВФ...*— ОДВФ — Общество друзей воздушного флота.

Стр. 449. *Канифас* — льняная прочная полосатая ткань.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Впервые — в книге: Вольнов И. Избранное. М., Гослитиздат, 1956, с. 366—397.

Печатается по тексту первой публикации.

Рассказ представляет собой часть незавершенной Вольновым повести «Комиссар Временного правительства», которая должна была составить четвертую книгу «Повести о днях моей жизни». Писатель на протяжении всей жизни мечтал написать продолжение своей повести. Еще в 1914 г. он создал повесть «Предутреннее» (позднейшее название — «В прошлом»), в которой рассказывалось о дальнейшей судьбе Ивана Володимерова и других героев «Повести о днях моей жизни». Отрывок из этой повести был напечатан под названием «В сумерки» в журнале «Рабочий мир», 1919, № 6. Вернувшись на родину в Куракино в июне 1917 г., Вольнов по свежим впечатлениям от встречи с земляками, от своей деятельности на посту уездного комиссара написал несколько очерков, которые затем вошли в будущее произведение. Все три очерка: «Встреча», «Не укради» и «Выборы уездного комиссара» — были опубликованы в газете «Дело народа», 1917, № 120, 121, 123, 6, 8, 10 августа.

В середине 20-х годов Вольнов опять вернулся к идее написать продолжение своей автобиографической трилогии. Сам автор так определял свой замысел: «Написать 2-ю «Юность» — зрелую, из революции 1917 г. ...Начать «Юность» (название, конечно, д<олжно> б<ыть> другим, но род повествования приблизительно тот же)... Провести эту «Юность» до 1925 г. с теми же героями. Наметить: фигуры будущих коммунистов, эсеров, эсерствующих, перебежчиков, крепких хозяев, бедняков, разбогатевших...» (цит. по кн.: Вольнов И. Избранное, с. 613).

Вольнов работал над этой повестью в течение 1928—1930 гг. Повесть осталась незаконченной. Черновая рукопись ее (120 страниц) под названием «Комиссар Временного правительства» хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Первые главы этой повести публиковались отдельно: в журнале «Подъем», 1957, № 2; в виде продолжения «Повести о днях моей

жизни» в изданиях этого произведения 1976 и 1985 гг. В архиве писателя в Орле имеется авторизованная беловая машинопись первых двенадцати глав повести. Эта часть под названием «Возвращение», вполне законченная и отредактированная автором, предназначалась им для публикации в виде самостоятельного рассказа. Скоропостижная смерть помешала осуществлению этого намерения. Следуя воле автора, публикуем это его последнее завершенное произведение как отдельный рассказ.

Именно эту часть повести Вольнов читал М. Горькому во время пребывания у него в гостях в Сорренто. В письме к жене писатель сообщал о том впечатлении, которое произвели первые главы повести на Горького: «Два дня тому назад я читал ее вслух на il Sorito. А<лексей> М<аксимович> все время плакал и говорил, что вещь будет необычайная.— «Я знаю, что увлекаюсь, и, увлекаясь, не всегда беспристрастен, тем не менее книга выйдет исключительной и нужной...» Это радует и тяжело обязывает. Книга изматывает меня. Но пишу я ее с напряжением и любовью» (цит. по кн.: Вольнов И. Избранное, с. 613—614). В очерке «Иван Вольнов» Горький вспоминал о работе писателя над этим произведением: «Живя в Сорренто в 1928 году, Иван писал повесть, читал начало ее, и мне казалось, что эта повесть будет наиболее зрелым произведением его. Начиналась она сценой возвращения эмигранта-революционера в деревню, его встречей на станции со своим отцом и торжественной встречей, которую устроила эмигранту деревня. В этом торжестве, смешном и трогательном, отец эмигранта не принимает участия, он, в стороне, спрятался под телегу и горько плачет... Не знаю, кончил ли он эту повесть; судя по началу, она могла быть лучшим из всего, что ему удалось написать» (т. 20, с. 342—343, 338).

Стр. 454. *Подлисок* — лесина под дрогами повозки, соединяющая подушку с задней осью.

Стр. 465. *Худоба* — домашнее имущество.

Стр. 474. *Загать* — огороженное место, где хранится корм (сено) для скота.





СОДЕРЖАНИЕ

Н. Примочкина. Творчество Ивана Вольнова . . . 3

О себе 21

ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МОЕЙ ЖИЗНИ

Крестьянская хроника

Книга первая. Детство 29
Книга вторая. Отрочество 100

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

На рубеже 221
Осенью 237
После смены 254
Батя 259
Дети нужды 275
Сход 299
В поезде 310
Самара *(Из дневника)* 328
Передышка 391
Женмасса 399
Новая земля 416
Батя на празднике 428
Эпитафия 433
Возвращение 451

КОММЕНТАРИИ 485

Вольнов И.

В 71 Избранные произведения: Повесть о днях моей жизни; Рассказы; Очерки /Состав. А. Вольнова и Н. Примочкиной; Вступ. статья и коммент. Н. Примочкиной.— М.: Худож. лит., 1987.— 510 с., портр.

В книгу включены избранные произведения русского советского писателя Ивана Вольнова (1885—1931): первая и вторая части автобиографической «Повести о днях моей жизни», избранные рассказы и очерки, рисующие жизнь русской деревни до революции и рассказывающие о становлении новой жизни в деревне в годы Советской власти.

В $\frac{4702010200\text{-}241}{028\,(01)\text{-}87}$ 40-87

ББК 84Р7

ИВАН ЕГОРОВИЧ ВОЛЬНОВ

Избранные произведения

Редактор
К. Нещименко

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
Е. Полонская

Корректоры
Б. Тумян, Т. Филиппова

ИБ № 4306

Сдано в набор 23.09.86. Подписано к печати 24.03.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Банниковская». Печать высокая. Усл.-печ. л. 26,88+1 вкл.=26,93. Усл. кр.-отт. 27,4. Уч.-изд. л. 27,96+1 вкл.=28,0. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-2367. Заказ № 6—750. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первой Образцовой типографии» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

Отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР. Киев, ул. Воровского, 24.